

Великая смута уничтожила Русское государство. Об этом никогда не пишут в учебниках и редко, с большой неохотой — в популярной литературе. В конце 1610 года Россия как самостоятельная политическая реальность перестала существовать. В Кремле сидело бессильное боярское “правительство”. Рядом с ним действовала могучая польская администрация. Но ее могущество распространялось лишь на одну столицу: в ее пределах оно поддерживалось большим польско-литовским отрядом, расположившимся на территории Кремля и Китай-города.

За пределами Москвы русская земля представляла собой рванину самостоятельных областей. Где-то господствовали бойцы Лжедмитрия II — его убили в декабре 1610-го, но армия “царика” отнюдь не распалась; где-то стояли шведские гарнизоны; где-то устроилась польская армия; где-то большие городские общины решали и спорили — за кого “зататься”? За поляков? За шведов? Или выдвинуть кого-то из своих? Кое-кто присягнул чужеземному отроку — королевицу Владиславу. Но он не шел к Москве и не желал переходить в православие, а ведь только выполнение этих условий гарантировало ему русский трон. Владислав не выполнил их, и присяга, данная на его имя, рухнула.

Воцарилось безвластие.

*Около двух лет единого русского государства не существовало.*

Оно вновь возникло лишь по одной причине: русский народ и Русская Церковь пожелали его восстановить и претворили свой план в жизнь. Ненависть к захватчикам — иноземцам и католикам — оказалась столь сильной, а желание жить своей головой — столь неотступным, что под Москвой собралось Первое земское ополчение.

В августе 1612-го к Москве явилось Второе земское ополчение. Объединив усилия, земцы отбили натиск отборного польско-литовского корпуса Ходкевича, взяли Китай-город штурмом, принудили к капитуляции вражеский гарнизон Кремля и разбили в предместьях Москвы авангардный отряд польской армии Сигизмунда III.

Осенью 1612 года в Москве образовалось единое земское правительство, представлявшее оба ополчения. К тому моменту под контролем земцев оказалась значительная часть Московского государства, но далеко не всё. Многие города и области земскому правительству не подчинялись.

Нужен был новый царь.

Как показала русская история, выбор, сделанный в 1613 году “выборными” людьми, был правильным. Михаил Фёдорович оказался именно тем царём, фигура которого сплотила страну.

*Читайте в номере статью Дмитрия Володихина “Земский собор 1613 года”, посвящённую 400-летию восстановления Российской государственности.*

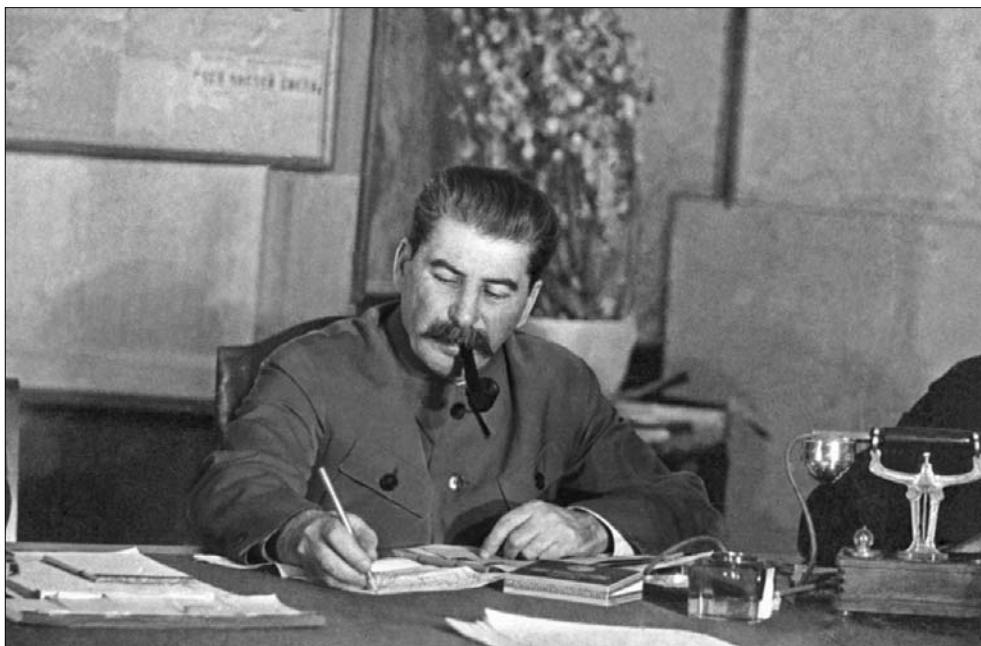
# НАШ СОВРЕМЕННОК

*Журнал писателей России*



## № 3 2013

## 60 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ И. В. СТАЛИНА



*Чтобы ответить на вопрос о сущности сталинизма, надо установить, чьи интересы выражал Сталин, кто за ним шёл. Почему моя мать хранила портрет Сталина? Она была крестьянка. До коллективизации наша семья жила неплохо. Но какой ценой это доставалось? Тяжкий труд с рассвета до заката. А какие перспективы были у её детей (она родила одиннадцать детей!)? Стать крестьянами, в лучшем случае — мастерами. Началась коллективизация. Разорение деревни. Бегство людей в города. А результат? В нашей семье один человек стал профессором, другой — директором завода, третий — полковником, трое стали инженерами. И нечто подобное происходило в миллионах других семей. Я не хочу здесь употреблять оценочные выражения “плохо” и “хорошо”. Я хочу лишь сказать, что в эту эпоху в стране происходил беспрецедентный в истории человечества подъём многих миллионов людей из самых низов общества в мастера, инженеры, учителя, врачи, артисты, офицеры, учёные, писатели, директора и т. д. и т. п.*

*Сталин был адекватен породившему его историческому процессу. Не он породил этот процесс, но он наложил на него свою печать, дав ему своё имя и свою психологию. В этом была его сила и его величие. Не исключено, что молодёжь ещё будет когда-нибудь тосковать по сталинским временам. Народ (тот самый, якобы обманутый и изнасилованный) уже тоскует и встречает упоминание его имени аплодисментами.*

**Александр ЗИНОВЬЕВ**

Материалы, посвященные И. В. Сталину, читайте в номере.

## Ивану Переверзину — 60!



### ПУТЬ НА СЕВЕР

*Настанет день — и мы уедем  
На дальний Север, где в лесу  
Малиной кормятся медведи  
И пьют тетерева росу.*

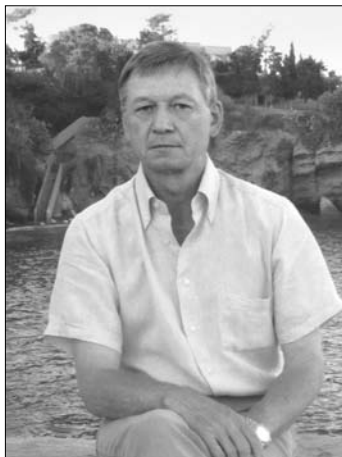
*Где в небесах, открытых взгляду,  
Встаёт над сопками закат  
И ясным именем распадок  
На вечной мерзлоте распяты.*

*Где Лена катит от истока  
Сквозь всей России ширину  
Весной без отдыха, без срока  
К торосам Арктики волну.*

*Где ничего не позабудешь,  
Что хоть однажды увидал:  
Как зверя бьёшь, как рыбу удишь,  
Кого любил и целовал.*

*Морозы долгие и злые  
Грядут задолго до зимы...  
О, путь на Север, дни былые,  
Где в сердце сердцем вмерзли мы!*

## ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН



## ВСЯ НАША ЖИЗНЬ — В ЛЮБВИ...

### ПРЕД ВЕЧНЫМ НЕБОМ

Дождь перестал, как я услышал —  
по тишине глухой на крыше,  
ещё бы ветер с гор не дул...  
Не много ли опять хочу я,  
стихом высоким жизнь врачуя —  
под уходящий в небо гул.

А разве половиной сердца  
стихи, достойные бессмертья,  
сумеет кто-нибудь сложить?  
Конечно — нет! И он в природе,  
пусть до конца хоть в непогоде,  
живёт себе — как хочет жить.

Но чтоб сполна в моё оконце  
с утра пораньше лилось солнце,  
вливаясь в душу, как в раю,  
а вместе с ним — и птичий гомон,  
которым так я очарован,  
что сам, набравшись сил, пою.

Так я хочу, и так — бывает...  
Но только Бог определяет  
всё — даже миг и блеск зарниц.  
Поэтому — душою строгой  
я каждый день взываю к Богу, —  
упав пред небом вечным — ниц.

## СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ

Вот она — лежит, как на ладони, —  
на вершине, до сих пор жива...  
Старая, ещё, наверно, помнит  
византийцев чуждые слова.

Многие дома стоят — открыты,  
день да ночь их только сторожат...  
За деревней кладбище разбито,  
где почти все жители лежат.

Пусть земля им, Боже, будет пухом...  
Пусть царит в деревне забвенье...  
Но не раз, не два — по здешним слухам —  
разорить пытался враг её.

Ветер векового запустенья  
бьёт дверьми и створками окна...  
За помин твой, старая деревня,  
с грустью выпью доброго вина.

\* \* \*

По закрайкам утиных болот  
вот и выпал серебряный иней.  
И сполна побелел небосвод,  
ещё утром казавшийся синим.

Горный воздух заметно остыл,  
но тихи и светлы ещё ночи,  
только что-то я вдруг загрустил  
и не рад поэтической строчке.

Ничего тут не скажешь — пора  
наступила в природе такая...  
То-то будет ещё, как с утра  
снег закружит метель молодая...

\* \* \*

Пусть душу страх не беспокоит,  
что в первый раз так далеко  
зашёл я в лес, где терпкой хвои  
напиток пью, — как молоко...

Да, человека нету рядом...  
Но сколько — посмотри скорей! —  
скворцов, чьи души на порядок  
добрей, чем у иных людей.

\* \* \*

Вновь птахи, обживая сад,  
подняли вдруг переполох:  
то ястреб прилетел — вот гад! —  
и ищет жертву...  
Чтоб он сдох!

И — сдохнет! —  
даже не вскричит...  
Мне только надо взять ружьё...  
Но слышу — небо говорит:  
“Брат, это дело — не твоё...”

\* \* \*

Жизнь моя — то зной, то холод,  
непростая жизнь, хоть плачь.  
Но в любви я вечно молод:  
верен, искренен, горяч!

Пусть душа твоя поплачет,  
что ревнив до злости я...  
Я — люблю! И это значит,  
что и в смерти ты — моя!

Ветер-коршун в поднебесье  
разгоняет нудный дождь...  
Ты вернёшься — я воскресну,  
но умру — коль вновь уйдёшь.

\* \* \*

Под плеск волны и крики чаек  
сижу за столиком — с тобой,  
в которой я души не чаю,  
с которой верую в любовь!

Немного душно, хоть и дует  
прохладный, шелковистый бриз.  
И в небе, где луна колдует,  
созвездья первые зажглись.

Пора домой... но в этот вечер  
глаз от тебя не оторву...  
Как будто повстречал я вечность,  
как будто в вечности — живу!..

\* \* \*

Песок да ил со дна морского  
подняли волны, теша злость...  
И жгучее до боли слово  
застряло в горле, словно кость.

Ведь я охотиться собрался —  
с утра пораньше, у камней,  
где мне не раз уже встречался  
косяк проворных окуней.

Но всё равно, как у корыта  
разбитого, мне слёз не лить —  
морская даль всегда открыта,  
чтоб ей навстречу плыть и плыть...

Эй, малый, подгони-ка лодку,  
дай понадёжнее весло!  
Ух, погребу я вновь в охотку —  
волне неистойой назло...

Всю страсть души, всю волю сердца  
вложу в движенье, чтоб жизнь  
вслед за душою, как в бессмертье,  
летела и летела — ввысь.

Да, я такой неугомонный,  
меня сломать и чёрт не смог,  
поскольку, хмурясь недовольно,  
мне всё же помогает Бог.

\* \* \*

Вот оно — прекрасное — мгновенье!  
Над землёй с горящим опереньем  
солнце птицей в облаках кружит.  
Обо всём на свете забывая,  
я ему молюсь за радость края,  
где душа — стихами говорит...

Я для солнца, словно червь, ничтожен!  
Да, ничтожен, ну, и что же, что же!  
Пусть оно попробует хоть раз,  
как стихами я, сияньем зримым  
вызволить из смерти жизнь любимой,  
чьи глаза любых прекрасней глаз!

\* \* \*

О, эти ночи, эти ночи!  
Когда во тьме душой тону,  
вновь столько горя мне пророчат,  
что глаз до света не сомкну!

И как ребёнок, плачу горько, —  
в бессилье что-то изменить.  
А тьма глухая смотрит волком,  
готовая со мной завывать...

## КРИТСКАЯ БАЛЛАДА

Штормит, но не так, чтобы очень...  
Но — очень хочу по волнам  
уплыть, как мой предок, на коче  
к далёким, чужим берегам.

Но жаль: исполненье желанья  
придётся на год отложить —  
настала пора расставанья  
с землёю, что не разлюбить...

И как в этом случае часто  
бывает, зайду в “Семь морей”.  
Бармен, надо выпить за счастье!  
Неси всё подряд и живей!..

И сам не замечу, что к водке  
я вновь от вина перейду...  
Ах, что за закуска — селёдка?!  
Такой вряд ли дома найду.

С чего так печальна гитара  
в руках твоих быстрых, цыган?!  
Давай — наше русское, с жаром, —  
покамест я в доску не пьян!

Швыряю цветастые евро,  
к ним руки цыган потянул, —  
и — словно за самые нервы, —  
гитарные струны рванул!

И выдал на свет, мать честная,  
такую вдруг радость-игру,  
что вспомнилась жизнь золотая,  
забылось, что всё же — умру...

От чудной игры — в полумраке,  
в сигарном дыму, как навек,  
не помню, плясал я иль плакал,  
но помню, что был человек!..

И пел я про чёрные очи,  
которых — вовек не забыть...  
И море не то, чтобы очень,  
но всё же пыталось штормить.

## ГИМН СЕМЬЕ

Всё кончено! Прощай! А может, может, только —  
всё начинается, ведь нам с тобою толком  
друг друга не понять, — так взвинчены душой  
вопросом: кто кому за муки должен больше...  
Ах, что за ерунда! Позора нету горше!  
И жизнь, как никогда, пугает нас бедой...

Но знаю, как душой ни взвинчены мы в спорах,  
вся наша жизнь — в любви, горящей, словно порох,  
на протяжении всех высоких, звёздных лет!  
И как в любви — без мук? Никак! Но в жизни надо  
не помнить долго их... А вот любви отраду —  
упрямо вспомнить, как сердцем вешний свет!

На радости святой — навек узлом навязан  
смысл той семьи людской, которой не заказан  
путь в будущее, где — хотим мы, не хотим —  
а будем жить мудрей: друг в друге видеть друга,  
а не врага на час, когда рвёт души мука —  
и мы в сердцах с тобой чёрт знает что творим!

## ЧЁРНАЯ СОЛЬ

Не думал я... И — думать не хочу  
о жизни, пролетевшей, словно ветер.  
Теперь бы мне немного первачу,  
да и уснуть, забыв о всём на свете.

А что ещё я предложить горазд  
своей душе, спалённой напрочь болью, —  
ведь это время, если не предаст,  
то раны мне посыплет чёрной солью.

\* \* \*

Что за мука! — я снова не умер!  
Хотя всё говорило о том:  
и — сигналящий холодно зуммер,  
и — гремящий неистово гром.

Не везёт... а давно надоело  
в душу горестной жизни смотреть.  
Будто кончилось доброе дело —  
и осталось о прошлом жалеть...

Говорят, что я гений... Что толку,  
если руку мне жмут дураки,  
что болтают себе без умолку,  
аж протёрли до дыр языки...

От судьбы ничего не желаю,  
ибо всё, что мечталось, пропел...  
Никого не люблю... но прощаю  
даже тех, кто меня не жалел...

И летает меж твердью небесной  
и земной беспокойная весть,  
что пришедшая в старости песня —  
это чуть ли не юности месть...

Пусть однажды помру и не охну,  
но заветный оставшийся стих  
не осудит ни жизнь, ни эпоху,  
ведь я всё-таки — выкормыш их.

## СЫН РУССКОГО ПРОСТОНАРОДЬЯ

Внук столыпинского крестьянина, поселившегося в начале XX века в Якутии, и сын школьного учителя советской эпохи, солдата Великой Отечественной, Иван Переверзин родился и вырос на просторах Восточной Сибири, изрезанных многоводными реками, текущими вдоль сопок, обросших тайгой, изобилующей зверем и птицей. Естественно, что эта вольная, но трудная для жизни земля сформировала его, как человека.



Терпи, мужик, твоя судьба не зряшна,  
Ты сам для жизни место выбирал,  
Тебе не раз в тайге бывало страшно,  
Лицо мороз до мяса обдирал.

Зато какие будут перемены!  
Дождясь весны, прими, как Божий дар,  
Синичье пенье, плеск и шёпот Лены,  
Сосновый несмываемый загар.

Этот загар до сих пор лежит на лице поэта, которого с юных лет жизнь научила косить траву, вершить стога, натаскивать на зверя собак, корчевать новину, рубить избы, ставить фундаменты, плести корзины, трелевать лес, добывать тайменя и соболя. Полжизни он отдал земным трудам, которые не помешали, а, наоборот, помогли ему почувствовать себя поэтом.

А я всего-то, видит Бог,  
любить взахлёб хотел  
и ширь полей, и сенный стог,  
и звёздный запредел.

“Терпи, мужик” – как тут не вспомнить поучение великого Некрасова либералам своей эпохи: “Эту привычку к труду благородную нам бы не худо с тобой перенять, благослови же работу народную и научись мужика уважать!” Вечно живые слова...

Переверзин всегда верил, что главная страница его судьбы ещё впереди, и первый шаг к ней сделал в 1969 году, когда стихи семнадцатилетнего девятиклассника были напечатаны в районной газете “Ленский коммунист”. А когда в роковом 1991 году в Якутске вышла его первая книга “Откровение дней” и ее по счастливой случайности прочитал Валентин Распутин, то с его одобрения Переверзина приняли в Союз писателей России.

В 1994 году бригада “Нашего современника” прилетела в Якутию, Переверзин познакомился со Станиславом Куняевым, Сергеем Бабуриным, Юрием Кузнецовым, Александром Казинцевым, Татьяной Петровой, Геннадием Касмыниным и с тех пор стал желанным поэтом для лучшего толстого журнала России. Вскоре Юрий Кузнецов пригласил его на Высшие литературные курсы института имени А. М. Горького в свой знаменитый поэтический семинар, великую школу которого благодарный поэт будет помнить всю жизнь.

Сибирские полки, в составе которых воевал отец Переверзина, спасли в 1941–1942 годах Москву и Сталинград. Появление его сына в столице обогатило веяньем свежего сибирского зимнего ветра современную поэзию, во многом погрязшую в тусовочных страстишках, в русскоязычной иронической болтовне, в кастовом либеральном высокомерии и выморочном постмодернизме – во всём том, что выдавливают из себя, как писал Юрий Кузнецов, “певцы своей узды, и шифровальщики пустот, и общих мест дрозды”.

Когда-то Осип Мандельштам мечтал о “крупнозернистой жизни в поэзии”. Но такая жизнь может пульсировать лишь в стихах поэтов простонародного мировоззрения с его “открытыми” чувствами:

**“Только нет мне от века дороже / наших встреч на морозе зимой... / Взгляд поднимет она, и по коже / Будто вихрь пролетит огневой”.** Постмодернизм так писать о любви не умеет. Природа, Любовь, Работа, Красота, Вера – вот “крупнозернистые” стихии, живущие в поэзии Переверзина. Но не только они. В 1993 году он, находившийся в далёком Ленске, своим русским сердцем понял вершившуюся в столице России под залпы танковых орудий трагедию, которую с глумливым восторгом, словно театральный фарс, приветствовали лакейские стихотворцы кровожадной либеральной тусовки и подписанты позорного “расстрельного письма”.

**“Наступит ночь, окна коснётся тень, / И развернётся чёрная страница. / Вот загнан я, как северный олень, / Вот словлен я, как утренняя птица. / Спасенья нет сознанию моему, / Оно в тисках печали и тревоги... / Кому я верил, те ушли во тьму, / Никто не задержался на пороге. / А новые не знают, что творят, / Им всё равно – что человек, что свёк-**

**ла. / Когда ударил танковый снаряд, / По всей России вылетели стёкла. / Народ нельзя при помощи полков / Загнать в свободу, – знаешь ли, тупица? / Я вырвусь сам оленем из оков, / Я сам взлечу, как утренняя птица!”** Эти стихи стоят на водоразделе нынешнего народного сознания. . .

У Переверзина почти нет стихотворений, в которых не ощущалось бы “дуновение вдохновения” (М. Цветаева).

За десять с лишним лет жизни в Москве Переверзин стал поэтом, известным всей России, насколько это возможно в наше время всеобщего одичания. Он издал несколько стихотворных книг, переведённых в Болгарии, в Армении, в Украине, во Франции – везде, где хотят ещё знать литературные имена новой России. Композитор Александр Морозов, прославившийся музыкальным циклом на слова Рубцова, написал и на стихи Переверзина множество прекрасных романсов. Благодаря опыту и энергии этого человека, который, сочиняя стихи, одновременно учился руководить людскими коллективами на многих должностях – от директора совхоза до заместителя главы администрации района размерами с Бельгию, обрели новую жизнь совсем было угасавшие писательские структуры – Международный Литфонд, Российский Литфонд, Международный Союз писателей. . .

Знаменательна судьба трёх поколений семьи Переверзиных в XX веке; дед – столыпинский крестьянин, отец – сельский учитель и воин, кончивший войну капитаном при штабе Георгия Жукова, их сын и внук – истинный поэт и одновременно один из самых талантливых в наше время устроителей писательской жизни. Вот они – вехи Великого русско-советского пути людей нашего простонародья. . .

**Станислав КУНЯЕВ**

**Поздравляем Ивана Переверзина с 60-летием!**

АНАТОЛИЙ РОГОВ



МОЙ ГЕНИЙ,  
МОЙ АНГЕЛ, МОЙ ДРУГ

РОМАН

1

Последним в роду богатых тульских помещиков Буниных был Афанасий Иванович — Белёвский городничий и предводитель уездного дворянства. Бунины исстари жили неподалёку от Белёва в большом имении Мишенское, владели другими поместьями в Тульской и Орловской губерниях, тысячами крепостных, имели дома в Белёве, Туле и Москве.

В екатерининские времена, когда Потёмкин покорял Крым, один из воевавших там друзей Бунина привёз в Мишенское двух пленных девочек-турчанок и подарил их хозяину. Одна из них — по имени Сальха — была очень красива. Их, конечно, крестили, Сальху нарекли Елизаветой, по отчеству Дементьевной, обучили русскому языку и грамоте. Елизавета оказалась умницей, трудолюбивой, необычайно деловитой, и уже в юности жена Бунина Мария Григорьевна доверила ей должность ключницы. С возрастом она всё больше хорошела, и уже не молодой к тому времени Афанасий Иванович со-

---

*РОГОВ Анатолий Петрович родился в 1928 году в Москве. Учился в Московской средней художественной школе и Тартуском художественном институте. Автор повестей и романов: "Алые кони", "Махонька", "Давняя пастораль", "Ванька Каин", "Доношение", "Соломония", книг, посвящённых русской культуре и русскому искусству: "Черная роза", "Народные мастера", "Лики России", "Мир русской души" и других. Автор художественных и документальных фильмов. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

блазнился, не устоял — согрешил со своей подневольной. Да не раз: Елизавета Дементьевна родила подряд двух девочек, умерших вскоре, а в тысяча семьсот восемьдесят третьем году разрешилась мальчиком, коего нарекли Василием, и, как было принято в ту пору среди бар, записали новорожденного за человеком, не имевшим к его рождению никакого отношения, но жившим в усадьбе Буниных в качестве приживала, бедным дворянином Андреем Григорьевичем Жуковским.

А за два года до того — в восемьдесят первом — в семействе Буниных стряслась страшная трагедия: их единственный девятнадцатилетний сын Иван из-за несчастной любви покончил с собой. Безумно его любившая мать Марья Григорьевна не могла с того момента видеть в своём доме никаких мальчиков и юношей, всех слуг и служек заменили девками и девочками.

И вдруг этот приплод. Буря разразилась такая, какой Афанасий Иванович не видывал за всю свою немалую жизнь. Ключница Елизавета была немедленно отставлена от должности, выгнана из дома и поселена с младенцем в отдалённой избёнке на самое скудное содержание. Невольный отец повинно молчал, боялся заступиться, характер у его жены был крутейший, властный, недаром он в глаза и за глаза называл её только барыней и всегда опасался — рыльце-то было в сильном пушку...

Но однажды он уехал, а Елизавета Дементьевна со спелёнутым Васенькой на руках пришла в покои барыни, положила его на пол у её ног, встала на колени и сказала:

— Простите, Христа ради, Марья Григорьевна! И меня, и его. Он-то не виноват ни в чём. Посмотрите, каков!

И развернула смугленького кареглазого улыбающегося младенца.

Глаза Марьи Григорьевны застлали слёзы, Васенька ей понравился, расстрогал — и она всё простила.

А вскоре и привязалась к маленькому Жуковскому, полюбила, как когда-то ненаглядного сына, и лелеяла и воспитывала его, как своего, став по существу ему второй матерью, не менее важной, чем настоящая. Да она и сама считала себя таковой. И сдружилась по-настоящему с Елизаветой Дементьевной, назначив её пожизненно своей домоправительницей.

В Мишенском все полюбили маленького красивого, ласкового, доброго и любознательного Васеньку.

Помимо погибшего сына, у Буниных были четыре взрослых дочери, две к тому времени уже замужние, и скончавшийся в тысяча семьсот девяносто первом году семидесяти семи лет от роду Афанасий Иванович все свои владения завещал им поровну, но перед самой смертью всё же сказал жене о сыне Васеньке и его матери:

— Барыня! Для этих несчастных я не сделал ничего, но поручаю их тебе и детям моим.

— Будь совершенно спокоен. С Лизаветой я никогда не расстанусь, а Васенька будет моим сыном.

И взяла из наследства каждой дочери по две с половиной тысячи рублей, то есть всего десять тысяч, и отдала их Елизавете Дементьевне, чтобы та хранила для Васеньки.

В раннем детстве гувернёр немец учил его дома немецкому и французскому языкам, а русский учитель — русской грамоте. Затем его увезли в Тулу, где жила одна из дочерей Буниных, его крёстная Варвара Афанасьевна Юшкова, и отдали учиться в частный пансион Роде, где он и жил. У очень любившей его сводной сестры и крёстной бывал только по воскресеньям. Затем его перевели в Главное народное училище Тулы, а в тысяча семьсот девяносто седьмом году Марья Григорьевна сама отвезла четырнадцатилетнего Жуковского в Москву и отдала в одно из двух самых престижных в то время учебных заведений — Московский Университетский благородный пансион. То есть пансион только для благородных, где Василий проучился четыре года и крепко сдружился с Александром Тургеневым, его старшим братом Андреем и Алексеем Мерзляковым, учившимися в университете, Дмитрием Дашковым, Дмитрием Блудовым, братьями Кайсаровыми, отставным конногвардейцем Александром Воейковым — он был постарше остальных. Всех этих юношей

Господь одарил и умом и разными талантами, среди которых преобладали литературные. Вместе увлекались они поэзией и прозой, многое вместе читали, спорили о Виланде, Руссо, Сен-Пьере, Хераскове, Державине и особенно о Карамзине, самым громком тогдашнем писателе, принесшем в русскую литературу много нового: сентиментализм, неожиданный, очень лёгкий, гладкий и вместе с тем цветистый язык. Пробовали писать сами, конечно, невольно подражая Карамзину. Пробовали переводить. Создали “Дружеское литературное общество”. В шестнадцать-восемнадцать лет Василий, как и остальные члены Дружества, уже печатал в журналах первые поэтические опыты и переводы.

После окончания благородного пансиона его выпускники обязаны были служить. Жуковский тоже служил чиновником в скучнейшей Московской казенной Соляной конторе и одновременно урывками переводил роман Сервантеса “Дон Кишот” (тогда писали так). Начал его печатать. Перевод имел успех, и он осознал, что литература совсем не случайно уже несколько лет так властно влечёт его к себе, что только ею ему хочется заниматься. Он подал в отставку, получил её и в девятнадцать лет от роду уехал назад в родное, любимое Мишенское.

## 2

Жизнь всякого дитя прекрасна, даже если на самом деле она совсем не такова — он-то этого ещё не знает. Он радуется буквально всему, что вокруг него, и всем, кто рядом, если они не обижают его, не делают больно, а тем более, когда ласкают, любят. И за видимым миром для любого дитя есть ещё и необъятнейший, прекраснейший и интереснейший мир невидимый: те же игрушки! Разве для ребёнка они деревянные, тряпичные, глиняные или ещё какие? Это только обличье. Они — живые, они разговаривают, они смеются, делают всё то же, что делают люди: сердятся, проказничают, вредничают, любят, не любят. Есть очень, очень ласковые, преданные, без которых жить невозможно...

А Бог и всё божественное! Когда с мамой или с кем ещё опускаешься на колени перед строгими ликами мерцающих золотом икон, тёплыми разноцветными огоньками лампад и трепещущими язычками свечей и начинаешь повторять за взрослыми таинственные, завораживающие слова молитв, и вся церковь наполнена множеством людей, тоже стоящих на коленях и бьющих поклоны, и в ней дивно пахнет, в ней плывут синеватые дымки от кадила, которым размахивает облачённый во все золотое громкоголосый дьякон, и невероятно проникновенно поёт хор, а высоко-высоко из купола на всё это смотрит сам большеглазый седой Бог, пронзённый яркими солнечными полосами из узких окошек, — каким невыразимым светом озаряется тогда детская душа, какие горние вершины видятся ей — и сам Бог!..

А сказки! Как начнёт кто рассказывать, если уже и слышал какую не раз, всё равно, все, о ком речь, мгновенно вокруг тебя, и все неожиданности, превращения, ужасы и чудеса происходят и с тобой, так что дух перевести нет сил; леденеешь от ужаса и ликуешь от радости.

То же самое и когда читаешь интересную книжку: всё, всё видишь, во всем участвуешь...

А музыка! Слов никаких нет, ничего нет, одни необыкновенные звуки из фортепьяно или скрипки, или из какого другого инструмента, а картины возникают одна за другой, происходят разные события, становится весело, или грустно, или тревожно...

Взрослея, большинство перестаёт видеть такие картины, хотя в чудеса продолжают верить и взрослые. А Василий никогда не переставал, видел и видел в отрочестве, в юности, да и теперь.

Он рано начал читать по-немецки и по-французски, потом и по-английски. В пансионе он читал запоем, там всё их Дружество читало так, что надзиратели грозили наказаниями за чтение посторонних книг в классах и даже за полночь в доргуарах. Больше всего любил немцев, любил потому, что в их повестях, балладах, поэмах, драмах и даже небольших стихотворениях почти всегда было то, чем жил он сам: романтика, загадочность, чудеса, восхи-

шение всем сущим вокруг, глубокие мысли, идеи. Лучшее стихотворное без труда запоминал наизусть довольно в больших объёмах, удивляя тем друзей и знакомых. И переводил больше всего немцев, стараясь, чтобы и по-русски всё звучало так же легко и напевно, как в оригинале. Причём нередко в оригинал даже и не заглядывал, не сверялся с ним, хотя они были у него, книг привёз много, целую стенку с полками заняли в кабинете. Главное, считал он, сохранить суть, сюжет, идею, настроение и интонацию, а в частностях могут быть и вольности, просто нельзя без вольностей на другом языке, без приближения или даже перенесения на родную русскую почву.

Спал мало, просыпался всегда в пять утра, летом и зимой, умывался, одевался и, не завтракая, сразу в кабинет, за стол, продолжать начатое или записывать надуманное, представленное и сочинённое накануне.

Двухэтажный усадебный дом стоял на высоком холме. Перед ним лежал старинный сад, за которым начинался пологий спуск в овраг к узенькой речке Семьюнке. Из его окна со второго этажа справа был виден конец сада, бегущая вниз тропа и густая извилистая урема по-над речкой из ольхи, ивняка и краснотала, за ней довольно круто поднимался другой холм в кустарниках и тропах, по верху которого тянулись огороды, бани и избы села Мишенское. Их села. Большого. С большой церковью, с высокой колокольней, которые тоже хорошо просматривались меж высокими деревьями. Он сидел и не раз радостно думал, что может теперь любоваться всем этим каждое утро, в любое время дня, как всё меняется при разных погодах, на закатах, к ночи, может во все вслушиваться, и думать, думать.

До десяти, одиннадцати часов ему никто никогда не мешал.

Любил ездить. Любил любые дороги. Кроме непролазных в распутицу, разумеется. Ехал ли с попутчиками в громоздком многоместном дормезе или один в коляске, постоянно смотрел по сторонам. Потому что и на хорошо знакомом пути обязательно вдруг обнаруживалось что-нибудь новое, интересное, не замеченное раньше. А уж на незнакомых-то дорогах только успевал крутить головой. А какой разный, любопытнейший народ встречался в пути, на станциях, какие затевались разговоры, сколько случалось всяких неожиданностей, приключений! Впрочем, один тоже любил ездить, иногда только в одиночку и старался ездить: в движении, при непрерывном покачивании, потряхивании, скрипе и повизгивании колёс или полозьев, при непрерывно бегущей мимо земле, видах, небесах, — а по сути-то бегущей, проходящей зримо самой жизни, — в одиночестве уж больно хорошо думалось, очень цельно, проникновенно. И сочинялось порой отменно; он всегда держал в кармане сюртука, крылатки или шубы узкий блокнот в коже и свинцовый карандаш. И уж совсем было великолепно, когда ехал один да в своих мишенских колясках, или карете, или, как теперь, в старинном кожаном возке с квадратными застеклёнными окошками по сторонам, в котором было так уютно, привычно, да на мишенских же двух, караковой масти, крупных, сильных рысистых лошадях, незадышливых на бегу, не знавших усталости, делавших по сорок, по шестьдесят верст в день. К концу второго дня долетал до Муратова. Тем более по такой ещё неглубокой, но уже накатанной колее.

День был синевато-серебристый, тихий, с лёгким морозцем. Несколько раз ненадолго выглядывало неяркое солнце. Полозья при сильном ходе аж посвистывали. Он думал о фантастической балладе Бюргера “Ленора”. Опять не о прямом переводе, а о пересказе на русской основе. Уже мелькнуло название “Людмила”. В сознании вышлывали образы, начальные строки...

К часу пополудни остановились в заснеженном смешанном леске подкармливать лошадей, кучер разжёг костер, достали погребец. У Василия с детства был крепостной слуга Максим, но в короткие поездки он его с собой не брал. Мишенского же кучера, большого хмурого Никандру с нависшими густыми чёрными бровями и чёрной же бородой, начинавшейся чуть ли не под глазами, в раннем детстве даже побаивался, прятался от него, но тот оказался рассудительным, услужливым, любившим всерьёз поговорить о жизни и мироустройстве, и Жуковский полюбил и ездить с ним, и эти разговоры. Сидя на валежине на лёгком морозце у жаркого костерка и закусывая, любясь белизной берёз на фоне густых ёлок, они могли проговорить

с Никандрой не один час — тот мыслил о многом весьма интересно, необычно, — но ноябрьский день короток, надо было спешить, и положенных трех-четырёх часов не дали лошадям отдохнуть, двинулись дальше, а вскоре напоззли и сумерки, и темь. Но он не дремал, не спал, в этой кибитке он почти никогда не спал, даже ночами. Сидел, завернувшись в огромный овчинный тулуп, а то и полулежал, положив вытянутые ноги на две больших кожаных подушки, — и сочинял, изредка взглядывая в окошки: есть ли там луна, не замерцали ли звёзды? Шелей в кибитке не было, и становилось совсем не холодно. К внутренней темноте привыкал, а для того, чтобы что-то записать, на передней стенке имелся небольшой фонарик со свечой.

Три строфы “Людмилы” уже сочинились:

— *Где ты, милый? Что с тобою?  
...С чужеземною красою,  
Знать, в далёкой стороне  
Изменил, неверный, мне;  
Иль безвременно могила  
Светлый взор твой угасила?*

Подумал, что пора доставать огниво, записывать, и вдруг увидел Машу — ясно-ясно, тут, в темноте кибитки, перед собой, теперешнюю, прелестно-женственную. Заулыбался. Безумно обрадовался. Сказал ей об этом, сказал, до чего она стала обаятельна. Она тоже заулыбалась: “Спасибо! Спасибо!..” И сделалась ещё милей. Он сказал ей, чем был занят в этой тьме. Она вопросительно посмотрела на него, ожидая, что он прочтёт ей только что сочинённое.

Она никогда прежде не являлась ему в видениях. Ни разу — ни маленькой, ни девочкой, — и вдруг так явственно, так ярко, буквально воочию... Мало того, он вдруг совершенно явственно ощутил и её тепло, её запахи, свет, шедший от её лица — в кибитке вроде даже стало светлей.

Он прочел ей только что сочинённое, она напряжённо слушала, напряжённо глядела ему прямо в глаза. Он взволновался, не понимая этого взгляда, — и она исчезла.

А он вспомнил, что и в предыдущий приезд его был такой же напряжённый, непонятный, долгий взгляд.

Он попытался увидеть её вновь — ничего не вышло.

### 3

Младшая дочь Буниных Екатерина Афанасьевна вышла замуж по большой взаимной любви за тульского же помещика, предводителя дворянства Тульской губернии Андрея Ивановича Протасова. Он был хорош собой, она же — подлинная красавица: высокая, статная, с горделивой походкой, правильными, будто точёными чертами лица, с роскошными тёмно-русыми волосами. Её с полным основанием именовали первой красавицей губернии. Брак был счастливым. В тысяча семьсот девяносто третьем у них родилась девочка, названная Машей, а через два года вторая — Саша.

Дочери Буниных почему-то все рожали только девочек: три по две, а крёстная Василия Варвара Афанасьевна Юшкова — четверых, и к тому времени, в возрасте всего лишь двадцати восьми лет, она уже умерла.

А мужа Екатерины Андрея Ивановича Протасова в девяносто седьмом стремительно, в несколько месяцев съела скоротечная чахотка, и молодая вдова навечно облачилась в память горячо любимого мужа в траурные чёрные одежды. После Протасова остались большие карточные долги, Екатерине Афанасьевне пришлось продать его имение Сальхово, располагавшееся тоже в Белёвском уезде, и она не только расплатилась с долгами, но на оставшиеся деньги построила в Белёве дом, осенью и зимой жила с дочерьми в нём, а весной и летом — в Мишенском с матушкой. Наезжали туда и зимами — от города до него было всего пять с половиной вёрст. Там же почти постоянно проживали у бабушки и осиротевшие дочери Варвары Афанасьевны,

они были постарше Протасовых. Вдовый отец Пётр Николаевич Юшков лишь навещал их. Часто гостили у бабушки вместе с матерями и внучки Алымовы, и внучки Вельяминовы. В общем — сплошное женское да девчонье царство.

Возвращаясь туда после многомесячного отсутствия, Жуковский всякий раз поражался, до чего быстро выросла и менялась тамошняя девичья команда: Дуня Юшкова в шестнадцать лет вышла замуж и уже родила подряд двух сыновей. Анюта и Катю-Катя Юшковы превратились в зрелых, сдержанно-степенных невест. Самая младшая, Саша Протасова, всё больше походила на мать: тоже становилась будто точёной красавицей, только совершенно иного характера — весёлого, неужённого, пяти минут не могла усидеть спокойно, всё бегом да рывком, да с проказами.

А при последней встрече Василий даже несколько опешил, увидав, как повзрослела Маша, хотя ей ещё не исполнилось и пятнадцати, но вот-вот будет. Сделалась она женственной, обаятельной, мягкой, плавной; ладная фигура, руки, лицо с огромными глазами, маленький лепной рот, чуть вздёрнутый нос. Ему ужасно захотелось нарисовать её, хотя портретов почти не рисовал, в основном пейзажи. Сказал ей об этом.

Обрадовалась. Засветилась.

— Я очень по тебе соскучилась! — промолвила она негромко. — Без тебя плохо.

— Да! — подхватила присутствовавшая при сём Саша. — Без тебя совсем плохо, ты бы ездил поменьше! — И рассмеялась.

— Постараюсь! Я по вас тоже очень скучаю, — признался он, восхищённо глядя на Машу.

...Муратово досталось Екатерине Афанасьевне от отца. Оно было более чем в ста верстах от Мишенского, уже в Орловской губернии. Места похожие на белёвские: тоже холмы, покатые поля, овраги с речушками. Усадьбы там не было, а была на высоком холме обыкновенная большая изба с прирубями для изредка наезжавших господ. За избой — небольшая тенистая дубовая роща, за ней — село Муратово, а перед холмом, в неглубоком овраге, тихая прозрачная речка Орлик, за ней, на новом взгорье — деревушка со странным названием Холх, принадлежавшая уже другому хозяину. Наверное, явная похожесть всего этого на Мишенскую усадьбу и потянула сюда Екатерину Афанасьевну. В восемьсот седьмом, забрав дочерей, она прожила с ними в тамошней большой избе чуть ли не всё лето, только к избе пристроили ещё просторную открытую веранду. И начали разбивать впереди на холме парк. Она надумала строить там настоящую усадьбу с большим домом, службами. Навестивший их Василий вызвался спроектировать ей эту усадьбу, сделал детальнейший проект понравившегося ей дома, сам следил за всеми работами. Недавно двухэтажный дом с портиком и колоннами уже накрыли крышей, достраивался флигель, уже стояла людская, кухня, конюшня, сарай, в парке были проложены дорожки, устроены клумбы, принялись посаженные весной деревца, речку Орлик перегородили земляной плотиной, и в конце парка, под холмом образовался удлинённый пруд, в чистую гладь которого теперь днём и ночью смотрелась деревушка Холх.

Ходил в новом доме по пахнущим свежим тёсом и клеем покоем второго этажа, по просторной светлой зале в четыре окна, и сначала вроде снова ощутил слабое знакомое тепло и ароматы — и представил, почувствовал, будто Маша невидимо, неслышно, невесомо шагает рядом, и стал всё ей показывать, объяснять, что надо ещё доделать, сказал даже, что на днях опробовали несколько печей, и одну надо перекладывать, что от неё в правых угловых комнатах попахивает дымом. А в общем-то к весне уже можно будет, благословясь, поселиться.

Было очень приятно, радостно разговаривать с ней.

Никандру отослал в Белёв с письмом-отчётом Екатерине Афанасьевне, а сам укатил из Муратова в Москву на почтовых.

С тех пор Маша часто была с ним: он вдруг чувствовал, почти осиял её, даже мог вызвать, увидеть, поговорить, и всё чаще и чаще любовался ею. А накануне Рождества, уже в постели, уже задув свечу и смежив веки, сно-



ва ясно увидел её, светящуюся лицом, со светящимся венчиком русо-золотистых волос вокруг головы, в её любимом сиреневатом платье, обтягивающем плечи, и неожиданно взял её за эти мягко-упругие плечи, притянул к себе и крепко обнял, и она вся была мягко-упругая и такая податливая, так горячо прильнула к нему всем дивным жарким телом своим, что он запыляхал, задохнулся от блаженства, от страсти и желания ещё крепче прижать её, раствориться в ней.

Он никогда, кроме как ребёнком, не обнимал её.

На Крещение помчался в Мишенское.

Утром с барскими и всем селом были на водосвятии у иордани на Сёмьюнке, и там он сумел ей одной, так, что никто больше не слышал, тихонько сказать:

— Я каждый день думаю о тебе, вижу тебя. Не знаешь, что со мной?

Румяная от мороза, она ещё больше зарумянилась и так же тихо ответила:

— И я думаю.

И — глаза в глаза, совсем как в его видениях, а в них — золотишки.

— Я бы совсем перестал ездить, но понимаешь — необходимо. Постарайся ездить пореже, поменьше.

Счастливо рассмеялась.

— Хорошо!

Вскоре понял он, что влюблён, что никого прекрасней, светлее её не встречал, что она ему дороже всех на свете, даже дороже матери, Марьи Григорьевны, — всех, всех. Страшно захотелось, чтобы она узнала об этом. Но как? Сказать? Написать? Но она же ещё девочка, только становящаяся девушкой. Как воспримет? Да, она тоже его любит, он видел, но как друга, как родственника, как учителя. Но у него же совершенно другая любовь, он убеждался в этом всё больше. Что из неё может получиться? В их-то обстоятельствах? Ведь ничего... Хотя почему? Нет, нет, пока не вошла в полную зрелость, в полный разум, открываться ей никак нельзя, надо подождать... Ждать! Ждать!.. Но намекнуть, если поймёт — как-то проявится, и он тоже поймёт, можно ли надеяться?

И он придумал: первого апреля восьмьсот восьмого года были Машины именины, он, конечно, приехал, и за праздничным столом поднялся и сказал, что наткнулся у французского поэта Фабра О'Энглантина на стихотворение, которое адресовано всем прекрасным девушкам, он, де, перевёл его и хочет посвятить, подарить сегодня Маше. То, что это был никакой не перевод, а собственное стихотворение, названное "Песней", он, разумеется, скрыл. И проникновенно прочёл:

*Мой друг, хранитель, Ангел мой,  
О ты, с которой нет сравненья,  
Люблю тебя, дышу тобой,  
Но где для страсти выраженья?  
Во всех природы красотах  
Твой образ милый я встречаю:  
Прелестных вижу — в их чертах  
Одну тебя воображаю.*

И далее, в том же ключе.

Маша светилась; кажется, всё поняла...

В Москве же спросил себя: а хорошо ли я сделал, что открылся ей этим стихом? Хорошо ли, если она и взаправду поняла? Двадцатипятилетний мужчина, почитаемый учитель, почитаемый поэт вдруг признаётся в любви пятнадцатилетней ученице, родственнице, которую знает с младенчества, с которой играл во все игры, — какая юная душа не восплачет огнём, какая голова не пойдёт кругом? В пятнадцать лет бывает только так — как он не подумал об этом!.. Для взрослого это непозволительно, непрослительно. Стало стыдно — опять не сдержал порыв. Убедился, что любит, — да, да, чувствовал, понимал это все яней, сильнее! — но должен, обязан был сдер-

жаться и должен держаться отныне железно, пока ей не будет шестнадцать, семнадцать..

Но разве два года он выдержит?!

#### 4

Николай Михайлович Карамзин издавал журнал “Вестник Европы” всего два года — в 1802-м и 1803-м, — но сделал его самым интересным и популярным изданием в России. В первый же год напечатал и первое значительное, большое стихотворение Жуковского “Сельское кладбище”, перевод с английского Греевой элегии. Хвалил его, они познакомились, Жуковский бывал у него. Но, начав работу над “Историей Государства Российского”, Карамзин перестал редактировать “Вестник Европы”. За это дело взялся журналист Михаил Трофимович Каченовский, который одновременно преподавал в Московском университете, защитил диссертацию, стал доктором философии, адъюнкт-профессором и был там так перегружен работой, что на журнал у него уже не хватало времени. “Вестник” катастрофически хирел, плохо расходил. А издателем журнала, его коммерческим хозяином был хороший приятель Жуковского, издававший его “Дон Кишота”, “Антологию русской поэзии” и другие книги, Иван Васильевич Попов. Он, по совету Карамзина, предложил Василию Андреевичу заменить Каченовского. Тот уступил редакторство Жуковскому очень неохотно, только под напором Попова. Жуковский же взялся за журнал, потому что возмечтал вернуть “Вестнику Европы” былую карамзинскую славу — опять сделать его лучшим в России.

Активность развил необычайную: привлёк к работе всех друзей, сам писал статьи по разным животрепещущим вопросам, литературные и театральные обзоры и рецензии, переводил интересные статьи с французского, немецкого и английского, много печатал переводной прозы, переводил сам, заставил делать то же даже свою родню; Маша перевела повесть Марии Эджворт “Прусская ваза”, Дуняша помогала ей, Анюта и Катя Юшковы тоже переводили.

Отличие от поэзии и драматургии, русская настоящая новая проза тогда ещё только нарождалась, искала себя, — и начал её своими повестями Карамзин. Жуковский считал, что переводами лучшего из западной литературы помогает этому процессу. Буквально в каждом номере “Вестника” были, конечно, и его стихи, и стихи Константина Батюшкова, Василия Пушкина, Ивана Дмитриева, Петра Вяземского. Они участвовали в полемике между ревнителями архаичного тяжёлого слога тогдашнего литературного русского языка, во главе которых стоял Президент Академии наук адмирал Шишков, и так называемыми обновленцами во главе с Карамзиным, которые приветствовали проникновение в литературный русский язык лёгкости, яркости языка разговорного, приемлемых иностранных слов, ратовали за совершенствование самого его строя.

“Вестник Европы” снова стал самым популярным журналом России. “Мы, мой друг, — писала ему Марья Григорьевна из Мишенского, — все без ума от твоего “Вестника”, не только читаем, но даже учим”. Он всегда знакомил своих близких со всем, что писал и издавал.

Отношения с Каченовским сложились поначалу самые добрые; Василий Андреевич крестил его новорожденного сына, охотно печатал в журнале его научные статьи, но после года редакторства стал замечать, что Каченовского задевает растущая популярность “его” “Вестника”, и это ранит самолюбие, и он не прочь вернуться, дабы показать, на что и он способен. Они выясняли отношения; даже обменялись весьма колкими посланиями, и в десятом году у журнала уже было два редактора, а вместе с тем и два владельца, так как редактор имел определённый доход от реализации журнала. Поначалу Василий даже радовался, что так сложилось, что работали они вдвоём, и он больше времени отдавал истории, поэзии и Антологии русской поэзии, которую собирал, и она уже набиралась — два солидных тома. Однако профессор оказался не только честолюбивым, но и весьма алчным и хитрым: потихоньку, но неутомимо стал он оттирать Жуковского от журнала, прежде

всего как совладельца, а потом и в редакторстве, и в сокращении его публикаций. Жуковский, разумеется, возмущился, решил не сдаваться, в открытую выкладывал Каченовскому всё, что думает о его кознях и как будет поступать с ним сам.

Как раз в разгар сей “приятельской” баталии вдруг пришло неожиданное письмо из Мишенского: матушка с Марьей Григорьевной купили ему деревушку Холх, что была напротив Муратова за рукотворным прудом. Расплатились за неё теми десятью тысячами, выделенными когда-то Марьей Григорьевной из общего наследства маленькому Васеньке, и он сделался владельцем нескольких сотен десятин земли и двадцати трёх крепостных душ. Женские души не считались, только мужские. Туда, к Холху, уже перевезли и поставили по-над прудом бывшую большую муратовскую избу с прирубками и верандой. Для него.

Был, конечно, очень рад и признателен обоим своим матушкам и всем, им помогавшим.

Приехал же в этот новый свой дом впервые уже по подсохшим дорогам, к поздней Пасхе, в самом конце апреля десятого года, в солнечный тёплый день с высоким голубым небом, и первыми, кого увидел он у своего дома, были Маша и Саша: сажали перед верандой на разделанных грядках цветы. Обе в простеньких сереньких платьях, в простеньких соломенных шляпках, с испачканными руками, с маленькими грабельками и совочками. Остро пахло перекопанной, унавоженной сыроватой землёй. Обе радостно вскрикнули, Саша даже взвизгнула, ринулись к нему, раскинув руки, чтоб не замарать, целовали, что-то радостно тараторили, и он будто нырнул в горячее счастье, поплыл в нём — так был рад снова видеть их. И уже через каких-нибудь полчаса думал, что напрасно второй год убегает от них — от неё, прячется в работу, истязает себя работой, стараясь меньше думать о Маше, хотя она, пусть и неосознанно, всё равно все время в нём, с ним, и он совсем не случайно почти всё, что пишет, посылает сюда, зная, что она непременно прочтёт присланное и оценит, отзовётся, напишет. То есть связь между ними не прерывалась никогда. Внутренняя связь. Но не виделись-то месяцами. И сейчас, у этих свежих грядок понял, что больше не может по столько времени не видеть её, не может больше без неё.

И тем же вечером твёрдо решил, что, как ни тяжело расставаться с делом, в которое вложил столько сердца, сил и времени, как ни обидно, но Бог с ним, с Каченовским, — пускай тешится! Жить решил теперь только здесь, рядом с ней, чтобы видеть её каждый день, слышать каждый день, разговаривать, делать для неё, для них всех всё так, чтобы их жизнь стала как можно краше и радостней.

Весёлые прогулки, игры, домашние концерты и представления, громкие читки, общие рисования, музицирование — он был неистощим на выдумки интереснейших занятий и развлечений. Наладил даже выпуск рукописных газет “Муратовский сверчок” и “Муратовская вошь”, в которых описывал “исторические события в Муратовской империи”, некую якобы войну между “печенегами и пупистами”, себя называл в одной “Маршалом Василием, кавалером ордена Трёх печёнок, кардиналом и настоятелем аббатства старых париков”. А Маша именовалась “Мария, королева и самодержавный обладатель всех прелестей”. Имелись в газетах и сообщения такого типа: “Козловский поп впервые от роду пил воду, а астроном его прихода предсказывает наверное светопреставление”.

Газеты регулярно вывешивались для всеобщего прочтения.

Нашёлся у него и прекрасный напарник по сочинению всяческой галиматии, как он говорил, — двоюродный брат Маши и Саши по отцовской линии Александр Алексеевич Плещеев. Невысокий, некрасивый, широконосый, губастый, курчавый, смахивающий на негра, очень живой, талантливейший актер, музыкант, композитор, стихотворец, он имел собственный крепостной театр, сам сочинял для него пьесы и музыку, сам играл в нём, а украшением этого театра была его жена, необыкновенная красавица и великолепная певица Анна Ивановна, урождённая графиня Чернышёва, дочь фельдмаршала Чернышёва.

Их огромное, богатейшее имение Чернь находилось в сорока верстах от Муратова близ Болхова, на высоком берегу реки Негрь. С появлением Жуковского Плещеевы стали завсегдатаями Муратова, и многие они устраивали уже вдвоём: большие костюмированные празднества с профессиональными плещеевскими музыкантами, на которые приглашались соседи помещики и сходились крестьяне окрестных деревень. Жуковский сочинял комические пьески, Плещеев — к ним музыку, они разыгрывались ими на сцене вместе с крепостными актёрами. Одна называлась “Скачет груздочек по ельничку”, другая — “Коловратно-курьёзная сцена между господином Леандром Пальясом и важным господином доктором”. Несколько стихотворений Жуковского Плещеев превратил в романсы, и Анна Ивановна их великолепно пела. И Василий Андреевич несколько раз неплохо пел.

Случалось, что все они вместе с гостями снимались из Муратова и целой кавалькадой катили в Чернь, и веселье продолжалось там, да с застольем, с иллюминацией в огромном парке, с фейерверками в вечернем и ночном небе.

В самые весёлые моменты Саша заходила так, что зажимала уши ладонями, утыкалась лицом в колени и всё равно вся тряслась от смеха. А потом растирала болевшие от него щёки, но как только опять видела чудивших Жуковского или Плещеева, снова хохотала и убегала от них подальше. К шестнадцати годам она была уже ангельски красива — нежнейший голубоглазый ангел! — но ещё более непоседлива, проказлива, и поведением больше походила на юношу, чем на ангела. Любила и отлично ездила верхом, любила и отлично стреляла из ружья, отлично рисовала и писала красками, прекрасно играла на фортепьяно. Никто никогда не видел её грустной.

У Маши же и в самые весёлые минуты в глазах вдруг пробегала какая-то лёгкая тень. Он замечал и всегда хотел разгадать, какая работа шла в эти мгновения в её бездонной и такой отзывчивой на всё происходившее вокруг душе. А в общем-то страшно радовался, что добился задуманного, что они с Плещеевым сделали их жизнь такой праздничной, такой насыщенной, и чаще всего он видит и Сашу, и Машу, и их матушку по-настоящему счастливыми. Да и он никогда не чувствовал себя таким счастливым, как теперь, постоянно рядом с ней, когда она, уже восемнадцатилетняя, стала ещё мягче, ещё женственней и плавней, ещё обаятельней, жутко манящей. Он изо всех сил скрывал, как властно она влечёт его к себе, но она-то, с её чуткостью, видела, чувствовала это, и так же точно он влёт её — об этом говорили её глаза. Но словами о сём не сказано было ни разу.

А как легко и счастливо ему писалось в те времена! Как-то выкроил несколько ранних зорь, вернулся к неиспользованным заготовкам к “Людмиле” и написал почти на тот же сюжет совершенно новую балладу, которую назвал “Светлана”:

*Раз в крещенский вечерок  
Девушки гадали:  
За ворота башмачок,  
Сняв с ноги, бросали...*

## 5

Тринадцатого мая тысяча восемьсот одиннадцатого года умерла Мария Григорьевна Бунина. Он в это время был в Москве, забирал два тома вышедшей в свет Антологии. Матушка приехала сообщить ему горестную весть, легонько занемогла и внезапно тоже скончалась ровно через десять дней после своей пожизненной хозяйки и подруги. Жуковский любил их обеих, но почувствовал себя очень виноватым перед матерью, что слишком мало дарил ей тепла, хотя на самом деле это было совсем не так: сыном он был внимательным, послушным и заботливым как к ней, так и к Марье Григорьевне. Горе есть горе, печаль навалилась страшная, и если бы не существовало Маши, неизвестно, к чему бы она привела. Маша была спасением, Маша стала абсолютной жизненной необходимостью. И весной двенадцатого он сказал ей:

— Я хочу говорить с твоей матушкой о нас с тобой. Можно?

— Да! Да! — засветилась она...

Фигурой и статью Екатерина Афанасьевна походила на Екатерину Великую, как её изображают на парадных портретах, знала это и всегда невольно слегка подражала ей. Величавая, всегда в чёрном строгом платье и белом чепце; лицо её было красивей, чем у императрицы, будто точёное, кожа нежная, выразительные голубоватые глаза глядели всегда строго.

Василий встал напротив неё, в трёх шагах. Он был на голову выше неё, худой, стройный, тоже красивый: с удлинённым смуглым лицом, большие тёмно-карие глаза, чёрные брови вразлёт, каштановые волнистые волосы почти до плеч, одет в изящный оливковый сюртук и белоснежную рубашку со стоячим воротником, перехваченным сиреневатым шейным платком.

Волновался очень, но начал без предисловий:

— Я прошу у вас руки Маши!

Голубоватые глаза её удивлённо округлились, брови поползли вверх.

— Что это вы говорите? Она же ваша...

Не дал ей договорить:

— Вы знаете, мы любим друг друга. Прошу вас, сделайте наше счастье!

Она мне нужнее всех на свете, а я ей. Сделайте наше счастье!

— Постойте! Постойте! — растерялась она, осознавая услышанное. Глянула тревожно. — Вы как себя чувствуете, Василий Андреевич?

— Прекрасно, Екатерина Афанасьевна, вам это хорошо известно. Я говорю серьёзно. Поймите!

— Как же серьёзно, когда вы явно сошли с ума, что просите руки Маши, зная, что это нельзя, невозможно. Как это вообще пришло вам в голову?

— Мы любим друг друга.

— Мы все вас любим. Как и вы нас. И Маша любит вас точно так же.

— Нет! Мы с ней знаем точно, что совсем иначе.

— Это всего лишь ваши безудержные поэтические фантазии, не больше. — Екатерина Афанасьевна величаво заулыбалась. — Уверю вас, это пройдёт. Потерпите немного — и пройдёт. Сами ещё будете улыбаться вашей фантазии.

— Мы говорили с Машей о нашей любви.

Глаза Екатерины Афанасьевны гневно сверкнули.

— Как вы могли?! Кто вам позволил? Без моего ведома, без разговора со мной...

— Она не знает, что я прошу у вас её руки. Мы говорили с ней только о наших чувствах — разве на это тоже нужно ваше разрешение?

— Конечно! Обязательно! И вы прекрасно это знаете. — Она умолкла. Помрачнела. — Я не извиняю вас, но понимаю, что тоже виновата. Вы все слишком близки, слишком дружны — девочки и вы. Вы слишком много для них значите, они не просто любят, они почти боготворят вас, — отсюда эта напасть, эта ваша фантазия, помрачение. Не хмурьтесь! Не хмурьтесь! Вы же прекрасно понимаете, что никак и никогда не можете стать мужем Маши, и все-таки про-си-те её руки. Что это, как не помрачение? По-мра-че-ние! И я категорически запрещаю вам далее искушать Машу своими чувствами-фантазиями и вести с ней какие-либо разговоры на сей предмет. И больше никогда не просите её руки. Пожалуйста! Кончим этот разговор!

А он-то собирался всё растолковать, распахнуть ей душу, уговоривать, но знал, что коли сказала: “Кончим разговор”, — слушать больше ничего не будет, может даже величаво повернуться и уйти.

Так она и сделала, и он остался один в пустой гостиной у окна, за которым был большой, ещё голый апрельский парк, светило яркое солнце — он даже чувствовал, как оно нагрело окно. На аллеях парка ещё держались крупные, сверкавшие на солнце лужи, но через два-три дня они высохнут, и там уже можно будет ходить. Вглядываясь сквозь чёрные и зеленоватые стволы деревьев, различил он за парком на холме поблескивавшие серебром тесовые крыши деревни. Слышен был азартный гомон грачей, устраивавшихся в парке.

Как он надеялся утром на этот солнечный день! Специально ждал такого, весеннего...

Через два месяца, двенадцатого июня, в день летних поворотов, когда солнце пошло на зиму, а лето на жару, великая армия великого Наполеона перешла реку Неман, вторглась в Россию и двинулась на Смоленск. Все, кто в силах был держать в руках оружие, поднялись на защиту Отечества. Из добровольцев формировалось всенародное ополчение. Жуковский сразу же вступил в него и в сентябре, после Бородинского сражения, был прикомандирован к штабу Кутузова, где директор походной типографии, его друг Андрей Кайсаров выпускал летучую армейскую газету “Россиянин”. Жуковский помогал ему, писал для газеты. Выполнял различные штабные поручения, в том числе устраивал в ближних к военным действиям городах и селениях госпитали, закупал для армии сукно.

Преследуя с войсками уже отступавшего противника, на бивуаках писал в продолговатом блокноте в зелёной коже патристическую элегию-оду “Певец во стане русских воинов”, которая вскоре была напечатана, и её с восторгом читала вся армия и вся Россия, многие переписывали от руки и распространяли, многие выучивали наизусть, ибо в ней говорилось о самом важном, самом большом и кровном, чем жила тогда вся Россия от мала до велика. И как говорилось! Там шёл диалог между воинами и певцом-поэтом:

*Воины:*

*Наполним кубок! Меч во длань!*

*Внимай нам, вечный мститель,*

*За гибель — гибель, брань — за брань!*

*И казнь тебе, губитель!*

*Певец:*

*Отчизне кубок сей, друзья!*

*Страна, где мы впервые*

*Вкусили сладость бытия,*

*Поля, холмы родные...*

Он воспевал в этой элегии-оде всех великих героев, защищавших, спасавших Русь-Россию, начиная со Святослава и Дмитрия Донского, вплоть до Кутузова, Милорадовича, Платова, Коновницына, Воронцова, Платтена, Багратиона...

В Вильно Жуковский сильно простудился и слёг в жестокой лихорадке, из которой выбирался по госпиталям почти три месяца. За участие в боях был пожалован орденом Святой Анны и уволен из ополчения в чине штабс-капитана.

...Воейков приехал в мороз перед вечером в полуоткрытой кибитке, сильно промёрз, попросил водки, залпом выпил три больших рюмки, отдышался, согрелся, потом они ужинали. Мороз к ночи лютед, брёвна в стенах потрескивали, и Василий велел в их комнатах второй раз истопить печи. Когда в отведённом Воейкову покое голландка уже разгорелась, они перешли туда и уселись в кресла друг против друга. Воейков закурил тоненькую длинную вересковую трубку, поплыли сизоватые, приятно пахнущие мёдом дымки. Открыли дверцу печки, оттуда пошёл сильный жар, пришлось отодвинуться от горячей полосы пляшущих огненных отсветов, протянувшейся по низу комнаты. Печь ровню, тихо гудела, потрескивала, постреливала, они поглядывали в топку на красные, розовые и белые языки пламени и мерцающие угли и говорили, говорили который час подряд. Правда, всё медленней, раздумчивей — тепло и выпитое за ужином вино размячило, расслабило.

Они не виделись полтора года. В двенадцатом Воейков поступил в военную службу, в конную гвардию, в которой был некоторое время и до пансионата. Побывал со своим полком на Кавказе, участвовал в боевых операциях.

— Ты заметно изменился.

— Ты тоже. Неизбежность... Война... Зрелость.

— Да, хлебнули...

Средний рост, правильные черты лица, густые выщипанные чёрные волосы, чёрные же, глубоко посаженные, по-калмыцки чуть раскосые глаза под на-

висшими чёрными бровями — всё это заострилось, стало выразительней, выдавало недюжинную страсть, напористость. Держался он куда прямее, чем прежде, и уверенней, и голос стал твёрже, хотя и звучал, как и раньше, в основном через нос — он чуть гундосил. Это был, пожалуй, единственный в нём недостаток, к которому, однако, все быстро привыкали и переставали его замечать. В пансионе они одновременно начинали писать стихи и пробовали переводить, и были самыми активными членами их Дружеского литературного общества. Воейков первым из них удачно перевёл “Историю царствования Людовика XIV и Людовика XV” Вольтера и напечатал, потом ещё удачнее “Эклоги” и “Георгики” Вергилия, начал переводить “Сады, или Искусство украшать сельские виды” Делиля, привёз и его книгу, и эту рукопись с собой, чтобы продолжать свою работу здесь.

— Я так тебе благодарен, что пригласил сюда. Меня так раздражает пустая московская суета, толкотня, болтовня, сплетни, склоки, алчность, редакции, салоны, приёмы, балы, свет... После Кавказа, как снова окунулся во всё это, думал, завою, взбешусь. И тут твоё письмо-спасение. Еду и, веришь, несмотря на мороз, петь хотелось — такой кругом снежный простор, такие холмы, леса, поля, деревни, такая благодать, тишина. Слов нет, как я тебе признателен и рад.

— А я как тебе рад! — засмеялся Жуковский. — Думал, занят по горло, ни за что не приедешь, тем более перед Рождеством. Молодец! Спасибо!

Он очень радовался потому, что хотя и работал здесь без всякого отдыха чуть не целыми днями, а то и ночами, полное одиночество уже надоело, уже изводило — хотелось отвлечения. Воейков же был всегда очень разный и интересный: то злой, саркастичный, как змий, писал уничтожающие сатиры на братьев-поэтов, то непосредственный, душевный, как ребёнок, боготворил и поклонялся тем, кого любил. Жуковскому как-то прислал поэтическое послание, в котором называл его гением, своим учителем и требовал, буквально требовал: “Напиши поэму славную, // В русском духе повесть древнюю. // Будь наш Виланд, Ариост, Боян”.

Хотелось поделиться с ним главным, что мучило, и у этой жаркой, потрескивающей печки в тот первый вечер он поведал Воейкову всё об их отношениях с Машей, и какая она, как он просил её руки и получил отказ, как вернулся с войны после тяжкой болезни с надеждой, что её мать в минувшее лихолетье многое прочувствовала и продумала, помягчела к нему и к ней, и всё у них сладится, а вместо этого встретил ещё большую жёсткость: за два с лишним месяца, проведённых с ними под одной крышей в Мишенском, он ни разу не остался с Машей наедине, ни разу не смог переговорить с ней с глазу на глаз — мать ни на шаг не отпускает её от себя. И её младшую сестру тоже, чтобы ничего не могла передать, сообщить ему. Всё общение — только совместное да при посторонних, при бесконечных родственниках и гостях.

— Вижу, стена вокруг меня каменная, неприступная — и уехал оттуда в Муратово, вернее, в свою избу в Холхе. Это я тут тебя ждал, там места мало. Завтра сходим туда, покажу. И что теперь мне делать, думаю, думаю — всё впусую.

— Не отступать! — почти вскричал Воейков. — Ни под каким видом не отступать! Проси руки Маши ещё раз. Откажет — снова проси! Возьми осадой, изводом, измором.

— Ничего другого не остаётся.

— Она красива — эта Маша?

— Да как тебе сказать... Она обыкновенная... и необыкновенная, единственная. Её нельзя пересказать словами... Я не могу...

— Господи! Как мне уже хочется увидеть её! Если её полюбил ты, Жуковский, представляю, какое она диво!

Василий улынулся, потом задумался.

— Знаешь, а ведь это хороший предлог: познакомить тебя с ними. Они знают твои стихи, твои книги, я рассказывал о тебе. Мы можем поехать туда на Рождество. А?

Воейков, голосуя за, поднял вверх обе руки.

По утрам оба работали в разных комнатах, после обеда гуляли. Жуковский показал ему свою обитель за прудом, шли туда прямо по льду, на котором деревенские мальчишки раскатали ледяные дорожки, и они по ним тоже с удовольствием и смехом прокатились несколько раз. Водил его по своей деревушке, староста угостил их холодным густым молоком с пахучим свежим чёрным хлебом. Воейков жмурился от наслаждения, как кот, и говорил, что никогда в жизни не едал и не пивал ничего вкусней. Чёрные глаза его при этом превратились в щёлочки и маслянисто блестели. Суховатый старик-староста был польщён, благодарно кланялся. Жуковский водил Воейкова и в дубовую рощу за усадьбой, хотел показать там древние огромные раскидистые дубы, но снег в роще был такой глубокий, что вязли по колени, шагов через сто взмокли, сдвинули шапки на затылки, распахнули воротники и вернулись, ступая в свои же глубокие ямки-следы. Водил он его и в село Муратово, показал украшенные затейливой резьбой избы, в тамошней скромной старенькой церкви поставили большие свечи в поминовение всех погибших в отгремевших битвах, батюшка по их просьбе отслужил панихиду. Две молодые и две пожилые бабы негромко и проникновенно пели на клиросе. По-прежнему крепко морозило, но Воейков просил ещё куда-нибудь сходить, ещё что-нибудь ему показать, с кем-нибудь познакомиться, и полтора, два, а то и три часа они ходили-гуляли ежедневно. Воейков всем любовался, восторгался, блаженствовал, говорил, что такой отрадной, полезной и плодотворной жизни у него, пожалуй, прежде никогда и не было. После прогулок ещё немного работали, а вечерами сидели у той же помаленьку топившейся печки. Гость покуривал свой приятный, пахучий табачок, пускал сизоватые дымки, они читали друг другу написанное за день или в последние дни, или что-то старое, обсуждали, спорили, говорили о разных разностях, но в основном, конечно, о литературе, о войне, о друзьях и товарищах, погибших и пострадавших в ней. Жуковский рассказал, как разорвавшееся шальное ядро в тринадцатом году под Ганау в Пруссии буквально изрешетило Андрея Кайсарова.

— Он был огромного таланта, и литературного и исследовательского, писал научные труды, профессорствовал в Дерптском университете.

Погрустили.

— Слушай, а его кафедру в Дерпте никто не занял? — спросил потом Воейков.

— Говорили, что пустует.

— Я бы с удовольствием занял её. Мне без места никак нельзя. Знаешь же, какие у меня доходы.

— А что! Ты прав, преподавание — святое дело, лучше не придумаешь. Давай попросим Уварова с Тургеневым — они в больших чинах, может, подействуют.

— Давай! Буду вечно признателен.

Жуковский написал друзьям письмо, Воейков сделал приписку.

В один из вечеров Воейков сообщил, что у него появилось кое-что новое в “Дом сумасшедших”. Года уже три или четыре назад он надумал объединить свои старые и новые сатиры на братьев-поэтов и литераторов в своеобразную большую поэму, которую можно было бы продолжать бесконечно, для чего стал помещать, “упрятывать” всех своих “героев” в сумасшедший — жёлтый — дом, причём в совершенно конкретный, реально существовавший в Петербурге за Обуховым мостом. Никакой большой поэмы ещё не существовало, лишь отдельные её фрагменты, главки-персонажи, а в литературно-художественных кругах Москвы и Петербурга ею уже пугали, многие боялись, что Воейков и их обличит, власть и зло раскритикует и засунет навечно в свой “Дом сумасшедших”, который, конечно же, будет когда-нибудь напечатан целиком, а стало быть, останется на века.

...Во второй половине следующего дня опять шёл редкий тихий снег. Они возвратились с гулянья заснеженные, начали меж колоннами отряхиваться, и в этот момент тройка гнедых рослых мишенских коней подкатила к дому большой заснеженный возок, из которого первой выпорхнула в беличьей шубке и беличьей шапке Саша, за ней в лисьей шубке Маша и, наконец, медленно вылезла Екатерина Афанасьевна в большой, тоже лисьей дохе и енотовом



капоре. Это было так неожиданно, что Жуковский и растерялся, и безумно обрадовался — они вроде бы не собирались сюда. “Выходит, Афанасьевна переменилась к нему, коль приехала с дочерьми, приехала именно к нему!” — подумал он в первые мгновения, подходя к ним. Саша же выпалила: “Здравствуйте!.. Здравствуй! Не ожидал!” — и завертелась, оглядывая причудливые снежные узоры вокруг, восторженно засмеялась, захлопала в ладоши.

— Маменька! Маша! Это же чудо что такое! Смотрите! Смотрите!

Но радостно улыбающаяся Маша смотрела лишь на него, а он на неё.

— Видим, Сашенька, видим! В самом деле, очень красиво, — согласилась Екатерина Афанасьевна, опираясь на протянутую ей руку Жуковского. — Представьте нас, Василий Андреевич!

Увидав Сашу, Воейков будто застыл меж колоннами, глядел только на неё, и сейчас, восторженно, представляемый матери, Маше и Саше, всё равно не сводил горящих чёрных глаз с неё одной. Она, как и все остальные, конечно, это сразу заметила, но, как обычно, привычно не очень-то обратила внимание, так как в неё, в этого голубоглазого ангела во плоти, сходу влюблялись абсолютно все молодые, да и немолодые мужчины и многие женщины.

Оказалось, что Плещеевы, не видевшие Жуковского после войны, пригласили всех на Рождество к себе в Чернь, потому за ним и заехали. А они теперь пригласили туда и Воейкова, зная, что Плещеевы будут ему тоже рады, ибо знают и любят его стихи.

Воейкова было не узнать, он словно выросстал, стройнел на глазах, хотя на самом деле был довольно кряжист: он легче, чем обычно, двигался, светло улыбался, почти не говорил в нос, а глуховато, вкрадчиво; сощуренные чёрные глаза его непрерывно загадочно горели; он удачно острил, каламбурил, ко всем был внимателен, галантен. Екатерину Афанасьевну слушал с великим почтением, а Сашу — просто с восторгом. Да и Машу. За ужином обе вдруг принялись вспоминать, какие здесь, в доме и усадьбе совсем недавно устраивались великолепные спектакли, концерты, гуляния, фейерверки. Саша с гордостью сообщила Воейкову, как она побеждала на здешних скачках и стрельбах.

— Невероятно! — почти испуганно ахал Воейков. — Вы, такая неземная — и скачки! Не может быть!

— Может! Может! — улыбаясь, уверяли его Маша и Екатерина Афанасьевна.

Вспомнили и потешные газеты, которые выпускал здесь Василий Андреевич.

А Воейков рассказывал им про Кавказ, про то, как красивы горы, особенно Казбек с его двумя остроконечными снежными вершинами, как своеобразны и шумливы горные реки, какая буйная, богатая там растительность, какие сложные уступчатые виноградники и роскошные могучие леса растут по склонам, и как, поднимаясь вверх, они мельчают и начинаются скалы, опутанные разными колючками, а потом и вовсе голые, зачастую совсем отвесные, забираясь на которые, иногда вдруг чувствуешь на лице и руках какую-то сырость и видишь вокруг себя такую же туманную сырость.

— В первый раз я не понял, что это, и спросил попутчиков, что это за морось? А они засмеялись и сказали, что это облака, что мы поднялись в облака. Это были мои солдаты, конногвардейцы. Там одному в горы никак нельзя. Потому что за любой расщелиной, на любом уступе может таиться чеченец или черкес с ружьём, а стреляют они очень метко. И рубятся саблями превосходно. И наездники лихие. Что молодые, что старые. Конь, сабля и ружьё, нет, еще аркан волосной для каждого чеченца, черкеса, кумыка, любого горца — самое главное. Потому что все войны, все воюют против нас, а некоторые — ещё и между собой, по кровной вражде мстят. Не отомстить за гибель близкого, родного человека — величайший грех для мусульманина, величайший позор. Такой человек будет проклят в веках.

— Нам-то, русским, за что мстят? — ужаснулась Екатерина Афанасьевна. — Ведь, сколько помнится, Кавказ сам под русскую державу пришёл.

— Часть народностей действительно сами, а часть ни в какую не хотят в Россию. Там ведь их очень много, народностей-то, есть вовсе маленькие, живут тесно, тут — мирные, а за горой — уже чистые дьяволы. Хотя днём в аулах и у них полная тишь да гладь. Мужчины вечером сидят возле какой-нибудь сакли вокруг горшка с курящимся табаком — кальян называется, — и через трубки длинные потягивают оттуда дым. Я пробовал — приятное курево. Спокойные, молчаливые, рассудительные. Внешне — никакой злобы, ненависти. Но как стемнеет — ночами, на рассвете, — они же ватагами, на конях и пешими, в одиночку по ущельям, лесным зарослям и на скалах потаённо, внезапно, подло стреляют, налетают, рубят, а хуже всего — если арканят и увозят, увозят живём. Тогда непременно жестоко истязают и отрывают головы, и на шест их, на всеобщее обозрение и ликование.

Девушки и матушка сидели ошеломлённые, побледневшие. Потом закрепились, переглянулись. Потом Саша тихонько спросила:

— Вы участвовали с ними в сражениях?

— В стычках не раз.

— Бог миловал?

— Да, только левую ногу пуля задела, но теперь уже зажило...

Воейков очень им понравился. Жуковский и не предполагал, что он может быть таким оборвожительным.

...А вечером наедине Воейков обречённо сказал Жуковскому:

— Я пропал. Влюбился.

— Я не виноват! — пошутил Жуковский.

— Я серьёзно. Как обожгла! Ничего похожего никогда не было. Я погиб! Что делать?

— Как тут можно советовать. Думай сам... А как тебе Маша моя?

— Небо и... — он осёкся, задумался. — Извини, не разглядел. Смотрел только на сестру. Извини, ничего сказать не могу...

Однако Василий видел, как он разглядывал и Машу. “Не впечатлила, решил не откровенничать. Ладно!”

Почему Екатерина Афанасьевна сразу дала согласие на брак Саши с Воейковым, Жуковский понял лишь много позже, спустя многие годы. Знала ведь, что наследственное имение у него совсем крошечное, три десятка душ, капиталов никаких, что живёт он в основном изданием книг да собственных сочинений. Так что единственным их будущим обеспечением была половина Муратова, которую она давала за Сашей; вторая половина предназначалась Маше — доходы тоже невеликие. И все-таки сразу согласилась, и помолвку назначили скорую — на май. Удивлялся, но на помолвке, конечно, был. От души поздравлял и Сашу, и друга, хотя сердце всё-таки легонько туманило: прежде он всегда представлял себе, что будущий муж Сашенции должен быть таким же блестящим красавцем и умницей, как она, и вдруг — Воейков. Нет, он вовсе не худ, но... не совсем, что ли, для неё, хотя любит безумно, и она влюбилась без памяти, замороженная его кавказскими подвигами и жаркими, яркими речами. “Дай им Бог счастья! При такой-то любви! Дай Господь, пожалуйста!” А от себя надумал подарить им на свадьбу десять тысяч рублей: продать свою деревушку Холх за такие деньги — и подарить. Никаких иных денег и богатств у него не было. Сказал об этом Екатерине Афанасьевне, но попросил, чтобы до свадьбы держала намерение в секрете. Она расчувствовалась, расцеловала, благодарила, нахваливала. Она давно не была такой деятельной и довольной, как на помолвке и в подготовке к свадьбе. Часто улыбалась, подобрела. Отношения с Жуковским установились самые тёплые, и месяца через полтора после разговора о подарке, оставшись с ней наедине, он сказал:

— Ну, вот, теперь младшая ваша дочь устроена. Сделайте счастье и старшей, я снова прошу у вас руки Маши!

Екатерина Афанасьевна молчала. Сидела в кресле, опустив голову, и молчала.

Он стоял перед ней. Повторил:

— Я снова прошу у вас руки Маши!

Она сокрушённо вздохнула.

— Как я надеялась, что за минувшие два года, за войну вы остынете, одумаетесь. Вы столько повидали, пережили. Мы все пережили. Неужели ваше сердце не утихло?

— Утихло?! Оно полыхает! Оно жжёт! Я не могу жить без Маши! Поймите, не могу! Вы это прекрасно видите. Месяц еле выдерживаю, не видя её. Приезжаю! Приезжаю!

— Полноте! Это всё ваше воображение.

— Нет! Нет! Я безумно люблю её. И вы прекрасно это знаете...

— И знаю, что, как настоящий большой поэт, иначе и не можете любить. Только безумно. Но это не та любовь. Вы сами себя отуманили, одурманили.

— Та! Та! Вы это тоже знаете, и напрасно хотите переубедить меня. Не тратьте время — не переубедите! И Машу зря отгораживаете от меня, не даёте нам общаться. Знаете ведь, что она тоже любит меня.

— Ошибаетесь! Я уже говорила вам: глубоко ошибаетесь. Это совсем другая любовь, она слишком привыкла к вам, привыкла с младенчества, не знает человека лучше вас, интересней, красивей. И это правда: вы действительно таковы, вас невозможно не любить. Вспомните, как любила вас моя матушка, ваша, вспомните мою старшую сестру, вашу крёстную. Да все мы! Я говорила об этом с Машей, она согласна: её любовь именно такова. И чем быстрее вы это поймете — именно вы! она уже поняла, — тем лучше будет для вас, для неё, для нас всех. Иначе — драма, трагедия — тоже для всех, может быть, страшнее, чем в ваших балладах. Поймите! Я потому так длинно сейчас и говорю, что хочу спасти уже только вас. Маша уже поняла.

Екатерина Афанасьевна поднялась с кресла, вскинула голову, покраснела, крепко сжимала у живота руки — так сильно хотела убедить его.

Но он недавно, оказавшись рядом с Машей, шёпотом известил её, что снова будет просить её руки, не возражает ли она? И она, просясь, прошептала: “Что бы тебе ни говорили о моих чувствах — не верь! Они ещё сильнее!” Значит, разговор у них был какой-то иной, чем трактует его мать.

— Я понял... вы и Машу старались убедить в том же, в чём убеждаете сейчас меня. Потому, что слишком хорошо видите и чувствуете, насколько не правы, насколько истинна и велика наша любовь. Зачем? Зачем вы делаете это зло?

— Зло?! Я делаю зло?! Я спасаю вас обоих от дурмана, а вы... — Кровь отлила от её лица, глаза горели гневом. Она величаво распрямилась, медленно опустилась в кресло. — Господи! Господи! Вразуми их! — Перекрестилась. — Я веду с вами разговоры, которые мы вообще не должны бы вести, которые непозволительны, противоестественны, а вы ещё... Дядя просит руки своей племянницы! Какая церковь вправе освятить такой брак?! Я ведь недаром спрашивала в прошлый раз: как вы себя чувствуете, Василий Андреевич? Дурман! Полный дурман! Жаждете прелюбодеяния! На церковном языке это называется так.

— Не усугубляйте! Я не полный её дядя, и вам брат лишь сводный, вы могли бы вообще ничего не знать о моём существовании, сколько по Руси и по миру таких побочных детушек. А сколько браков между кузенами и кузинами двоюродными! Церковь их разрешает... А если я получу разрешение на наш брак?

— Господи! Господи! — Она схватилась за виски, сильно сжала их.

Он повторил:

— Если я получу разрешение Церкви?

— Его не будет никогда.

— И всё же?

Она не ответила. Смотрела на него тяжело и скорбно.

Он тоже сел в кресло, стоявшее слева от неё. Долго молчали. Он мучительно соображал, что бы сказать ещё, как бы всё же поколебать её — но так ничего и не придумал. Заговорила она. Повернулась к нему и заговорила:

— Послушайте меня, Василий Андреевич, поотсутствуете, пожалуйста, ещё некоторое время!

— Вы отказываете мне от дома?! — вскинулся он.

— Бог с вами! Как вы могли подумать! Не обижайте меня!.. Просто я убеждена, что чем меньше вы будете видеться после столь уже долгих разлук, тем вернее остынете, наконец, друг к другу, быстрее одумаетесь и поймёте, как я права, что нет и не может быть у вас никакого будущего. Может быть только драма, трагедия. Нужны они вам? Нам?

## 7

Было ветрено, холодно, а Дуняша выскочила встречать его в лёгком платье с укороченными рукавами, с рапахнутым воротом.

Он быстро взбежал по ступеням, сердясь, увёл её в дом.

— Право, как дитя!

Расцеловались.

— Ну что? Рассказывайте!

— Погоди! Как дети?

— Слава Богу! Они в детской, ждут вас.

Слуга понёс его вещи в отведённые ему комнаты, они пошли следом, и он вкратце пересказал ей свой позавчерашний разговор с Екатериной Афанасьевной.

— Ах, тётушка! Попросила *поотсутствовать*! Делает несчастье самым близким людям, нисколько не думая о вас, а только об себе; чтоб все видели, какая она истая христианка и какой железный, державный у ней характер.

— Говорит, что только о нас и думает, спасает нас. Говорит очень искренне.

— В том-то и дело, что искренне. Только сердце-то у неё каменное или и вправду железное. Как его пробить?! Как?

— Я написал вчера в Петербург Тургеневу, чтобы он переговорил с митрополитом Филаретом, передал мою просьбу, разрешить наш брак с Машей. Если он разрешит, Афанасьевне ничего не останется, как...

Дуняша запрыгала, чмокнула его в щёку.

— Великолепно! Великолепно! Вы умница.

Невысокая, крепенькая, с острым носиком, выпяченными губами и глубоко посаженными, очень живыми, темно-серыми глазами, она была всегда удивительно энергична, непосредственна и сердечна. И выглядела нередко совсем прежней, восторженной девочкой, хотя имела уже двоих сыновей, пережила страшную личную трагедию. И была она всего на шесть лет моложе Жуковского и всего на четыре года старше Маши. С Машей они дружили так крепко, как ни та, ни другая не дружили больше ни с кем. И открывали друг другу буквально всё, в том числе и то, чего не знали ни матушка, ни сестра, ни Жуковский. И переживала Дуняша все Машины перипетии по своей сердечности даже сильнее, болезненней её.

...Кабинет Дуняша устроила ему в отдалённой угловой большой комнате, откуда было видно, как занимается заря и поднимается солнце. Работая тут, Жуковский в солнечные дни почти до полудня купался в его тёплых и жарких, слепящих лучах, даже надевал от них собственноручно изготовленный картонный козырёк на резинке и каждый день наблюдал, как солнце приветливо будит землю, как потом радостно касается всего, что есть на ней, будто за ночь сильно соскучилось по деревьям, домам, крышам, дорогам, человекам, каждой живой твари — по всему-всему.

Жуковский перевёз в Долбино большинство своих книг — в кабинете по его просьбе сделали хорошие полки на целую стену. Над столом повесил рисованный им портрет Маши, с которого она неотступно, постоянно смотрела на него, когда он работал.

Просыпался он от того, что в уме складывались строки; складывались во сне или при пробуждении — он не улавливал, всё происходило в каком-то полусне-полубодствении, но после уже не спал, хотя глаз не размыкал и не шевелился — продолжал складывать дальше легко и быстро, строк во семь-десять, редко больше, но всегда самые нужные, важные, которых ждал накануне утром или днями. Голова была ясная-ясная, слова все точные-точ-

ные. Повторял строки раз, два, три, проверяя смысл и звучание, и запоминающая — всё это по-прежнему не размыкая глаз и не шевелясь. Редко когда приподнимался, запалил свечу и записывал родившееся в лежавший всегда рядом на столике альбомчик. В основном же, твердя накатившее, быстро, блаженно засыпал. Случалось, ещё раз за ночь так же неожиданно пробуждался с продолжением предыдущего, и поутру, едва умывшись, сразу садился к столу и слово в слово переносил всё на бумагу, правил очень редко. И писалось дальше всегда ходом, легко, легко, часами, а мог бы, наверное, писать и сутками напролёт, потому что он жил в таком состоянии в своём втором, а может быть, и главном, более важном мире, чем мир реальный, который есть только у поэтов и иных художников.

Часто поднимал глаза на Машин портрет. Она неотступно смотрела на него. Он — на неё.

Писал, писал и писал. Завершил перевод баллады Саути “Лорд Вильян”, но назвал её “Варвик”. Перевёл балладу того же Саути “Радигер”, назвав её “Адельстан”. Начал переводить шиллеровские “Ивиковы журавли”.

Сюжеты новых, как и прежних его баллад, были острейшие, фантастически-мистические, полные чудес, привидений, выходящих из могил мертвецов, чудищ, злых и добрых духов. Он считал, что чем таинственней и увлекательней рассказанная поэтом история, тем большее она произведёт впечатление и воздействие на читателя. Переводил и стихи, делая их, как и баллады, чаще всего значительно лучше оригиналов.

И сам удивлялся, сколько успевал в этом Долбино, борясь с то и дело накатывавшей, истязавшей его тоской безысходности.

...Но, что бы ни делал, в сознании всё равно вдруг вспыхивало: Маша! Маша! Не имя, а что-то огромное, единственное на всём белом свете, без чего совершенно невозможно жить, и его насквозь, от макушки до пят, прожигало одно невыносимое желание: видеть её! Просто видеть! Глянуть в ясные распахнутые глаза, услышать её воздушно-лёгкое дыхание...

Пытался скрывать от Дуняши эти приступы и невыносимо сжимавшую после них душу и тело тоску, но она по своей чуткости всё подмечала, понимала, тоже страдала и придумывала какой-нибудь предлог, по которому они могли бы вдвоём неожиданно нагрянуть в Мишенское. Она бы отвлекла тётушку, а он тем временем повидался бы с Машей — поддержал бы, ободрил её — тоже ведь мучается. А раз, разгорячившись, вдруг заявила, что выход есть только один: надо собраться с духом и просто выкрасть Машу, увезти и обвенчаться тайно.

Он рассмеялся.

— Полагаешь, мы способны на такое?

Успокаиваясь, помолчала, вздохнула, махнула рукой.

— Конечно, нет.

— То-то! Я же согласился поотсутствовать. Дал слово.

— Да... да...

Ни тени лицемерия и лжи, никогда никому никакого зла, только добро, чтобы совесть была чиста, как слеза, — только тогда человек имеет право быть поэтом, писателем, учителем, наставником других. Ибо литература не развлечение, не услаждение и удовольствие, а проникновение в самое главное, высокое, божественное, во что должен проникнуть каждый, пока он пребывает на Земле. Войдя в разум, Жуковский думал только так и делал, старался делать себя только таким. Хотя сил порой не хватало. Ох, как не хватало! И теперь тоже, когда внутри полыхал этот испепеляющий огонь. Гасил, гасил — и не мог погасить. Хотел, хотел, безумно хотел её видеть. Думал, думал и думал о ней, о них. Полыхал и полыхал. Старался и старался победить себя.

И вдруг Дуняша объявила, что какое-то время назад отправила Екатерине Афанасьевне письмо, в котором предложила: если та считает брак Жуковского с Машей великим грехом, то она, Авдотья Петровна Киреевская, готова уйти в монастырь, постричься, чтобы там пожизненно замаливать этот грех. То есть предложила себя в жертву, чтобы только эти два великодушных человека обрели счастье, которого заслуживают больше, чем кто-либо.

И вот от Екатерины Афанасьевны пришёл ответ. Она протянула его Жуковскому.

Об этой её затее он не знал.

“Дуняша, милый друг, ты меня ужасаешь, — писала тётушка, — что это за предложение ты мне делаешь? Ты всё забыла! Бога, детей, Машу, твои должности, о себе я уже не говорю; ты ни о чём не думаешь, кроме страсти Василия Андреевича, и для удовлетворения её ты всё бросаешь. Какая мысль у тебя о Боге; сперва ты сама говоришь, что Он милосерд, потом предлагаешь Ему себя жертвой...”

Преступление! Погубить твоих невинных детей, тебя заключить в монастырь, позволить влюбдеянии жить дочери — Церковь не признает брака между родными — и быть счастливой, как ты говоришь. Дуняша, каким ты меня извергом воображаешь? Ежели бы ты видела все слёзы, которые вылились на это письмо, право, ты пожалела бы мне этакое предложение...

Я пойду в монастырь точно, и от раскаяния, что моей привязанностью и глупой доверенностью погубила Василия Андреевича. Это моя неосторожность всё сделала... Я всему этому виною, я допустила усиливаться страсти Василия Андреевича. А за Машу я и теперь ручаюсь, что она не влюблена, а несчастлива тем, что знает в неё влюблённым человека, которого она с ребячества привыкла любить... Мне очень жаль, что ты при мне с ней не говорила; ты бы увидела её любовь ко мне, истинное и благоразумное суждение, совсем страстью не помрачённое... Любовь моя к Василию Андреевичу так чиста, так непорочна, я заблуждалась и думала ему заменить матушку, батюшку, Елизавету Дементьевну и даже видела и в нём к себе истинную любовь брата, а это было всё одни искания для получения Машиной руки. Ежели бы он видел мои мучения, как меня убивает его положение, он по прекрасному своему сердцу старался бы себя победить...”

Да, он старался, старался... И она знала, что Дуняша непременно даст ему прочесть это письмо.

## 8

Вряд ли кто-нибудь из присутствующих видел когда-нибудь такую божественно красивую и сияющую новобрачную, как Саша. Так счастливо улыбающуюся, с такими восторженными глазами. Венчавший их священник — и тот, взглядывая на неё, расплывался в улыбке, и голос его звучал все теплей и ласковей. И как ни наряден и ни торжественен был в чёрном фраке Воейков, рядом с ней, воздушно-белоснежной с головы до пят, он смотрелся не больно-то ей подходящим. И кажется, мгновениями сам ощущал это: в тоже счастливых глазах его вдруг мелькало тревожное напряжение. Только мелькало, потому что слишком радостна была она, соответственно и он, и все многочисленные гости и в церкви, и дома.

Подарки были преподнесены, и самое большое впечатление произвели десять тысяч Жуковского. Новобрачные не знали, как благодарить. Маша, радуясь за них, хлопала в ладоши. У Екатерины Афанасьевны, знавшей о подарке, всё равно навернулись прочувствованные благодарные слёзы.

А Жуковский в застолье ещё и поднялся, показал всем небольшую новенькую книжицу, сказал, что это только что вышедшее второе издание баллады “Светлана”. Первая разошлась в двенадцатом году в несколько дней и сразу же стала знаменитой, только война на время отвлекла людей от подобных творений. Развернул эту книжицу и показал, что в ней есть печатная дарственная, что автор дарит свою “Светлану” А. А. Воейковой в najważнейший её день.

И прочёл начальные строки баллады, а потом и новую концовку, специально для Саши написанную:

*Улыбнись, моя краса,  
На мою балладу,  
В ней большие чудеса,  
Очень мало складу.*

И передал книжку Саше.

Все бурно аплодировали. Саша порывисто поднялась, подняла и Воейкова, они подошли к нему, горячо благодарили, целовали, смеялись, говорили что-то восхищённое, но он не расслышал, потому что застолье тоже восхищённо гудело и аплодировало ещё громче.

Было четырнадцатое июля, но, ко всеобщей радости, совсем не жарко.

Была музыка. Были танцы. Пение. Вечером разноцветные фонарики горели в парке. Все гуляли. На другой день кавалькадами на украшенных лентами, цветами и нарядными сбруями с бубенцами тройках ездили в Белёв, в огромный Долбинский парк, там было устроено гулянье для народа. Продолжались и застолья. На третий день тоже.

Маша три дня была рядом. Временами совсем близко, за столом так через три человека, но им опять ни разу не удалось остаться вдвоём, наедине. Екатерина Афанасьевна, несмотря на всю свою свадебную озабоченность и хлопотливость, ни на шаг не отпускала её от себя. Будто приклеила. Глаз не спускала. Но он — как увидел её, как увидел, какой радостью вспыхнули её глаза при его появлении, как почувствовал при поцелуе, как тепла, трепетна, отзывчива её рука — так исчез, испарился из души сжигавший её огонь. Всем существом своим он ощутил, что ничего в ней не переменялось. И взглядами стал уговаривать, чтобы ещё потерпела, чтоб сработало само время и всё улеглось бы после этой скороспелой свадьбы, чтобы успокоилась, наконец, матушка.

Воейков, конечно, знал о втором отказе Жуковскому, знал от него, возможно, и от неё. И на общей прогулке в парке во второй день увлёк его в боковую аллею и заговорил о том, что тёща к нему весьма расположена, и он теперь изо всех сил постарается убедить её в том, насколько она не права, считая Жуковского кровным родственником. “Не возражает ли Василий против таких его стараний?” — “Конечно, нет!” — “Убежден, что преуспею, и вскорости мы погуляем и на вашей свадьбе. Устроим такую грандиозную, что все ахнут! Карамзина пригласим, друзей. Сам Жуковский женится!”

Говорил так горячо и убеждённо, и тёща действительно благоволила к нему — это все видели, — так что Жуковский поверил: у него может получиться! И заранее был признателен другу.

## 9

Вскоре Воейков праздновал в Муратове день своего рождения. Тёща уже передала ему права на управление имением, и он явно хотел продемонстрировать это.

А недели за две до того Жуковский получил письмо от Уварова, сообщившего, что должность профессора словесности в Дерптском университете для Александра Воейкова добыта, что тот официально об этом уведомлён Министерством просвещения с назначением сроков прибытия в Дерпт и вступления в должность. Жуковскому же всё это сообщается для совместного разделения успеха и ликования с одним из закадычных друзей. Петербургская их часть уже отликовала. Так что при встрече Василий от души поздравил Воейкова не только с днём рождения, но и с этой огромной удачей. Воейков благодарил: “Да, да, слава Богу!”. Но гости шли косяком, он всех встречал, всем распоряжался, был на разрыв, и всерьёз об этом важном событии они практически не поговорили ни при встрече, ни через час, ни через два, а потом уже сели за стол, начались тосты, потом по просьбам гостей Воейков начал читать, как он сам определял, “некоторые портреты некоторых литераторов” из своего “Дома сумасшедших”. Прочёл Шишкова, Глинку, затем новое...

— А Василий Андреевич есть? — зашумели за столом.

— Теперь есть.

— Просим! Просим!

*Вот Жуковский, в саван длинный  
Скутан, лапочки крестом,*

*Ноги вытянув умильно,  
Чёрта дразнит языком,  
Видеть ведьму воображает  
И глазком ей подмигнёт,  
И кадит, и отпевает,  
И трезвонит, и ревёт.*

Все смотрели на Жуковского — как оценит он? А что тут было оценивать! Усмехнулся. Сказал со вздохом:

— Пожалел!

— Слишком тебя люблю.

Где-то через час или полтора Воейков неожиданно стал громко рассказывать, как именно здесь, в Муратове, он впервые увидел несравненную Сашу Протасову и мгновенно влюбился, “буквально очумел и до сих пор не могу опомниться, не верю своему счастью”. А потом, мол, стал постепенно влюбляться и в её матушку — удивительную Екатерину Афанасьевну, женщину не только поразительно красивую, но ещё более поразительной твёрдости характера и духовной силы. И теперь счастлив, что она его тёща, и что он ей как сын, а она ему как вторая мать. И провозгласил тост за её здоровье, долголетие и всяческое благополучие.

Афанасьевна сияла от такого пафоса.

Чёрные же глаза Воейкова всё больше сужались и маслянисто блестели. Так бывало, когда он хмелел или злился. Впрочем, хмелея, он всегда злился. Неужели перебрал — удивился Жуковский. Давно ведь держался, не позволял себе.

Через несколько минут Воейков снова поднялся и объявил, что не кончил, что должен продолжить, что в этой редкостной семье есть ещё один необыкновенный человек, его дорогой, любимейший друг, дружбой с которым он счастлив и безмерно гордится, Василий Андреевич, о котором он узнал нечто совсем удивительное, только войдя в эту семью: то, что Василий Андреевич фактически заменил Саше и Маше рано умершего отца, стал их отцом-воспитателем, сделавшим вместе с Екатериной Афанасьевной из них два необыкновенных цветка, которые мы видим тут, перед нами.

— За тебя, мой дорогой Жуковский — фактический отец! Я горжусь тобой!

Екатерина Афанасьевна величаво кивала головой в знак согласия с зятем.

Маша и Саша недоуменно переглянулись.

Жуковский опешил: вот так похвалил!

Да и многим за столом стало не по себе, ибо большинство знало о происходившем в их доме, многие были на стороне Жуковского, но были и подерживавшие Афанасьевну, — и ляпнуть в этих обстоятельствах о фактическом отце можно было только с одной целью.

Жуковский даже смотреть не мог после этого на Воейкова.

По завершении застолья, уже на закате все перебрались в сад, разбились на группы, гуляли, разговаривали. Воейков к Жуковскому не подходил. Показалось даже, что, завидев издали, старался поскорее удалиться. Вспомнилось, что вёл он так себя с самого утра. Зато вскоре его разыскала среди гуляющих Саша, взяла под руку, увела в сторону и принялась благодарить от имени мужа и от себя за должность в Дерптском университете.

— Ты — чудо, Базиль! Спасибо! Спасибо! Спасибо!

— Ты преувеличиваешь. Просили вместе.

— Главное — ты, я знаю. — Задумчиво помолчала. — Мы ещё не укладываемся, но внутренне уже собираемся. Ведь почти заграница, чужой народ, чужая речь. Матушка тоже внутренне собирается.

— Поедет провожать?

— Нет. Едет с нами насовсем. И берёт с собой Машу. Но ей пока не говорит, что насовсем. И мне запретила говорить.

— Как насовсем?! Зачем?

— Ты не понимаешь, зачем?! — В глазах Саши заблестели слёзы. — Так было решено, как только Александр объявил о соискании. Ещё зимой, к вес-



не. Я сама узнала всё совсем недавно и сочла своим долгом поставить тебя в известность. Прости, что поздно!

Вмиг он всё понял: был сговор, отсюда и поспешная свадьба, и просьба ещё поотсутствовать, и неустанный надзор.

Сделалось так худо, так мучительно, как ещё не бывало в жизни: голова налилась тяжелой болью, будто поплыла, ничего не соображая, тело перестало чувствовать. Проштал Саше: “Извини!” — и пошёл, пошёл от неё вглубь сада, вниз, к бывшему своему рукотворному пруду, стараясь прийти в себя, опомниться. Солнце зашло, сад наполнялся синевой и прохладой. Услышал, как гулявшие возвращаются в дом, скликают отдалившихся. Поспешно вернулся к ним, отозвал Сашу.

— Прости! Больше не могу! Передай Маше, что прошу у неё прощения, что не прощаюсь! Скажи, чтобы не сердилась! И ты прости! Больше никому ничего. Не волнуйся! И ей передай, чтоб не волновалась — всё образуется! Дуняше тоже.

Сам отыскал в людской долбинского кучера, который привёз их с Дуняшей, велел немедленно потихоньку закладывать и через полчаса выехал из Муратова в синюю мглу.

## 10

Всё, что терзало, — выливалось в стихах.

Сначала выплеснул мрак, переполнявший душу: всего за несколько дней вольно перевёл балладу Саути “Старуха из Беркли”, сюжет которой Саути заимствовал из средневековых английских хроник про грешников, ведьм и всеильного Сатану, творящего невероятные ужасы. Действие опять перенёс на родную землю, да в православный храм, где дьявол и действует. Называлось это теперь так: “Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на чёрном коне вдвоём, и кто сидел впереди”. По насыщенности жутью это творение, несомненно, самое жутейшее у него — мороз подирает по коже!

*Вдруг затускнел огонь во всех свечах,  
Погасли все и закурились;  
И замер глас у певчих на устах,  
Все трепетали, все крестились.  
И раздалось... как будто оный глас,  
Который грянет над гробами;  
И храма дверь со стуком затряслась  
И на пол рухнула с петлями...*

После “Старушки”, в октябре же, ответил большим поэтическим посланием на послание Василия Львовича Пушкина, жаловавшегося на травлю его писателями, членами академической “Беседы любителей русской словесности”. О том же писал ему и Пётр Вяземский. Отвечал обоим.

*Хотеть, чтоб нас хвалил весь свет,  
Не то же ли, что выпить море?*

После послания сочинил вроде бы средневековую историю о царской дочери Мирване, полюбившей простого бедного поэта-певца Арминия. Он отвечал ей тем же. Отец Мирваны узнал об этом и навеки разлучил влюблённых, выслал певца из своего царства за тридевять земель. То есть это была иносказательная их с Машей история. Писал почти весь ноябрь. Землю поливали холодные дожди. Дни были тёмные, свечи на столе гасил иногда лишь к полудню. И всё поднимал голову и смотрел на Машин портрет, как она, легко улыбаясь, неотступно наблюдает за ним. Кивал или моргал ей. Баллада получалась большой, многостраничной. Называлась “Эолова арфа”.

*Сидела уныло  
 Мирвана у древа... душой вдалеке...  
 И тихо всё было...  
 Вдруг... к пламенной что-то коснулось щеке;  
 И что-то шатнуло  
 Без ветра листья;  
 И что-то прильнуло  
 К струнам, невидимо слетев с высоты...  
 И вдруг... из молчанья  
 Поднялся протяжно задумчивый звон;  
 И тише дыханья  
 Играющей в листьях прохлады был он.  
 В ней сердце смутилось;  
 То друга привет!  
 Свершилось, свершилось!..  
 Земля опустела, и милого нет...*

После “Эоловой арфы”, в первых числах декабря, написал стихотворение-раздумье “Теон и Эсхин”. Были в древней Греции такие подлинники писатель и философ. Дружили. Теон “долго по свету за счастьем бродил — но счастье как тень убегало...” Увяла душа, в ней скука сменила надежду, и он вернулся в места своей юности к другу Эсхину, который прожил всю жизнь на том же месте, однако обрёл подлинное большое счастье, потому что любил:

*Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг,  
 Уже одиноким не будет...  
 Ах!.. свет, где она предо мною цвела, —  
 Он тот же: всё ею он полон...*

Когда читал Дуняше написанное, она замирала, бледнела, плотно смыкала и подбирала выступавшие губы, говорила, что в какие-то моменты даже затаивает дыхание — так многое её восхищает.

— По-моему, вы никогда не писали так много, так плодотворно и великолепно, как в эту Долбинскую осень.

— Долбинская осень! Как хорошо ты сказала. Считаешь, действительно есть удачное?

— Всё! И Маша так считает, я говорила.

Дуняша не представляла себе, как будет жить дальше без постоянного общения со своей ненаглядной Машей, ненаглядной Сашей, с тётушкой, и потому бывала в Мишенском в эти месяцы почти каждую неделю, то по несколько часов, то целые дни — всё никак не могла наговориться, глядеться на них. Они испытывали то же самое. Екатерина Афанасьевна, конечно, прекрасно понимала, что при этих посещениях Жуковский через неё как-то сообщается с Машей, следила за племянницей так же неотступно, как за ним при его появлениях, и всё же ни разу не уследила, как Дуняша передавала ей вновь им написанное, и его речи о ней, а ему — её слова и её мнения о написанном.

Воейков в Мишенское только наезжал то из Москвы, то из Петербурга, то из Муратова — был весь в хлопотах по назначению в Дерпт. Про Жуковского он будто позабыл — ни звука хотя бы через Дуняшу, которую встречал в Мишенском, ни письмаца.

В середине декабря Дуняша принесла весть: выезд назначен на конец января, когда окончательно станет санный путь. Он послал Екатерине Афанасьевне записку с просьбой разрешить ему провожать их хотя бы до Москвы, а лучше бы до самого Дерпта. Она ответила через Дуняшу устно, что “категорически запрещает, дабы напоследок ещё раз не травмировать Машу”.

В начале января Жуковский ринулся в Москву: встретит там, и уж от кареты-то его никто не прогонит — сколько-то времени будет рядом.

Прямо с дороги — на Малую Дмитровку, к Карамзиным, давно не видел, сильно соскучился. Они, оказывается, тоже. Не отпустили, оставили

у себя. Николай Михайлович атаковал расспросами: где давно обещанный “Владимир”? Объяснял, оправдывался, как мог. Тот укоризненно качал головой. Потом поднялся, ушёл и принёс две большие папки с уже готовыми главами первых томов своей “Истории Государства Российского”, положил перед ним на стол.

— Читайте. Разрешаю делать нужные вам выписки.

Читал с упоением именно о тех легендарных временах.

И ждал, ждал.

...Приехали целым небольшим обозом. Маша безумно обрадовалась, что она оказалась в Москве и встретил их. Благодарила взглядом. И Саша очень обрадовалась. И Дуняша, которая провожала их. А Екатерина Афанасьевна польхнула гневом, но все-таки сдержалась, ничего не сказала. Ни на шаг не отпускала от себя Машу. Воейков же, увидев его у кареты, слегка даже оторопел, но следом так возликовал, так кинулся обнимать, что растрогал Жуковского. И только после этих объятий он разглядел, что Маша сильно осунулась, что в глазах её затаилась печаль, что вся она какая-то заторможенная. Стало безумно жалко её.

Пробыли в Москве всего полдня: покормили лошадей, отобедали, чуть отдохнули — и дальше. Он провожал до заставы. Махал рукой, пока не скрылись они в снежной дали. Словно растворились в ней. Как будто их и не было.

И дома снова увидел эту снежную поблескивающую даль, и как они растворились в ней. Исчезли. Может, правда исчезли? И она исчезла. А если насовсем? Навсегда... Стало страшно... Может, правда что-нибудь случилось? Может, правда уже нет её? Их?

Через три дня появилась неузнаваемая, шатающаяся Дуняша. Её появление перепугало вконец, потому что она собиралась провожать их до Дерпта и некоторое время побыть там — и вот... Оказалось, что в Клину почувствовала себя очень плохо, поднялся жар, видимо, простудилась в дороге до Москвы. Воейковым-Протасовым пришлось провести в Клину из-за неё почти два дня; сбили жар и отправили в хорошем кожаном тёплом возке назад. Жуковский не отпускал её, пока доктора не ликвидировали простуду, и она рассказывала ему всё, что было с Машей в последнее время, все их разговоры о нём, об их любви, и как она теперь при матери почти всё время молчит, ни в чём не перечит, потому что та при любом несогласии мгновенно свирепеет и отчитывает, наставляет так, что слушать страшно: говорит, что Маша её несчастье и позор, что сведёт её в могилу. Маша уже начала плохо кашлять, кашляла всю дорогу и молчала, молчала, всё время прикрывала глаза, будто задрёмывала. А как похудела-то, он сам видел.

В глазах Дуняши стояли слёзы. И он еле сдерживал их.

Отправив её, помчался в Питер к Тургеневу, узнавать, был ли у него разговор с митрополитом Филаретом. Да, был. И вполне положительный. Тургенев советовал просто напористей долбить “каменную матушку письмами-просьбами разрешить ему приехать в Дерпт для их лучшего там устройства, а уж там сообщить и мнение Преосвященного, к которому она не может не прислушаться”.

Разрешение приехать в Дерпт пришло от Екатерины Афанасьевны в середине марта.

## II

Солнце уже садилось, когда разглядел далеко впереди город вокруг высокого холма и на нём, с несколькими спаренными острыми шпилями кирх и с православными куполами, с крутыми черепичными крышами. Пошло неинтересное приземистое предместье. Карета прогромыхла по горбатому гранитному мосту через довольно широкую реку Эмбах, ещё закованную в лёд, попетляла по уже сумеречным улицам к названному адресу, и он с замирающим сердцем вошёл в их здешний двухэтажный деревянный дом, снова увидел Машу, которая похудела и потускнела ещё больше. Увидел, что и Саша выглядит неважно. И Екатерина Афанасьевна. Они ещё не устроились

тут окончательно: в некоторых комнатах стояли неразобранные сундуки, нераспакованные короба, баулы и узлы, от которых пахло сухой полынью — её клали в одежду от мышей. Один только Воейков выглядел молодцом; весь подтянувшись, был полон энергии, заботливости, с удовольствием показывал Жуковскому дом. За ужином рассказывал о Дерпте.

— Хотя большинство тут так называемые эсты, но город абсолютно немецкий, они тут главные: первые дома — графа Ливенштерна, графа Мантейфеля, графинь Менген и Вильбоа. Профессора университета — все немцы, кроме меня да одного шведа. Студенты тоже в основном немцы да лифляндцы, есть и эсты, но мало, как и русских. Преподавание — на немецком.

Жуковский слушал Воейкова, а сам поглядывал на Машу, спрашивал глазами, как она чувствует себя на самом деле? Словами-то она ответила при встрече, что хорошо. А как её душа? — и она сияющими взглядами отвечала: ты разве не видишь, как я счастлива, что ты снова рядом.

— Помимо немцев, тут полно и наших военных, — сказала после Воейкова Екатерина Афанасьевна.

— Представь себе, одних генералов шесть штук, во главе с прославленным Паскевичем, — подхватила Маша. — С некоторыми мы уже познакомились.

— Под Дерптом расквартированы наши победоносные войска, вернувшиеся из Европы, — пояснил Воейков.

Душа Жуковского наполнилась тем радостным теплом, тем невыразимым наслаждением, по которому он безумно тосковал последнее время, и которое испытывал всегда прежде, когда они были все вместе. Он-то уже ужасался, уже думал, что всё последнее разорвало их, а оказывается — нет: видел, чувствовал, что и они испытывают то же, что и он, глядя на него сейчас. Даже Афанасьевна. Говорили о разном. Он расспрашивал, сколько стоил дом, о прислуге, дорого ли здесь житьё, осваиваются ли психологически, интересно ли здешнее общество, чем увлечена Маша, чем Саша, не забыла ли Екатерина Афанасьевна на новом месте свое шитьё?

Засиделись заполночь.

— У меня завтра до двух лекции, — сказал напоследок Воейков. — После мог бы показать тебе город.

— Спасибо! Я поутру сам схожу, посмотрю.

— Как скажешь! — И придержал Жуковского за локоть, когда дамы расходились. Продолжил, когда уже ушли, причём понизил голос. — Ты прости, всё не было возможности объясниться по поводу Муратова. Ну, того, что я ляпнул тогда на дне рождения. Только потом сам-то сообразил, что ляпнул. Прости великодушно! Хотел как лучше. Натура проклятая. Тёще потом объяснял, что имел в виду. Я точу её, точу, как и обещал. Видишь, как она помягчала.

— Ладно. Прошло. Прощаю!

## 12

Через три дня казалось, что весь Дерпт хочет познакомиться или хотя бы повидать знаменитого Жуковского. Визит следовал за визитом.

Однако за эти дни они с Машей ни разу не оказались наедине. Общались только прилюдно, за столом, в гостиной. Мать по-прежнему ни на шаг не отпускала её от себя; поднималась, уходила сама — поднимала и уводила её.

...Загрохотал лёд вскрывшейся реки Эмбах. Утром вчетвером, без Воейкова, который спешил в университет, пошли смотреть ледоход. В Белёве, когда вскрывалась Ока, всякий раз ходили смотреть и слушать, как оглушительно ухают, точно пушки, лопнувшие толстенные, светящиеся под солнцем, зеленовато-серо-белые ледяные громадины, как, налезая друг на друга, они жутко скрежещут, трещат, со звоном колотятся, рассыпаются сверкающими брызгами, дождём. Каким неповторимым холодом веет тогда от этого страшноватого и вместе с тем такого могучего, такого завораживающего, восхитительного и бодрящего ледяного движения. Как пронзительно-радост-

но визжала всегда в эти часы в Белёве ребятня и замирали, ахали и охали взрослые. Там только совсем старые да немощные не появлялись в эти часы на крутояре над Окой. Здесь всё было так же. Народу тоже полно. Замирали, ахали, раскраснелись. Только берег был значительно ниже Белёвского. Возвращались в приподнятом настроении, и он попросил Екатерину Афанасьевну уединиться для разговора. Начал как мог доброжелательней с того, что, согласно её воле, они с Машей уже чуть ли не год ни разу не разговаривали наедине, виделись только при ней, и он всё это время, согласно её же совету, постоянно размышлял о своём отношении к Маше и её — к нему, а точнее говоря, не столько размышлял, сколько безумно терзался, всё больше, всё яснее понимая, что не может жить без неё и не сможет дальше, не представляет даже, возможно ли это вообще, ибо душа уже в постоянном огне, и если Екатерина Афанасьевна не войдет в их положение, ибо он убеждён, что Маша испытывает то же самое, он не представляет, чем все это кончится, какой трагедией.

Слушала внимательно. Заглядывала в глаза.

— Господи! Василий Андреевич, дорогой, всё давно сказано: не-воз-можно! Грех! Величайший грех! Как жить во грехе, без будущего Царства Божия? Разве я могу пойти на это? Не-воз-мож-но!

— А митрополит Филарет, высший предстоятель Русской Церкви, считает, что возможно.

— Филарет?! — она напряглась. — Не может быть!

— Александр Иванович Тургенев по моей просьбе говорил с ним, описал наши обстоятельства, и митрополит сказал, что грех не велик, родство малое, и если супруги будут жить в благости, то...

— Не верю!

— Кому, Екатерина Афанасьевна? Митрополиту? Тургеневу? Мне?

Она задумалась.

— Он может подтвердить это письменно?

— Его не просили об этом. Вы хотите, чтобы я попросил, — я попрошу.

Она растерялась, понимая его решимость. Напряженно думала. Замотала головой.

— Нет! Нет! Всё равно не соглашусь! — Вдруг умоляюще протянула к нему руки. — Василий Андреевич, дорогой, вы уже ославили нас в родных краях, и мы были вынуждены бежать в эту Чухонию. Теперь через митрополита хотите ославить на весь белый свет. Заявились сюда. Вы подумали, что ваш приезд сюда уже расстраивает репутацию Маши?

— Чем? — удивился Василий. — Вы же всем представляете меня как вашего брата. Разве тут кто-нибудь знает о наших обстоятельствах?

— Представьте себе, знают! Мне уже делали крайне неприятные, многозначительные намёки и вопросы в здешнем обществе, как только вы появились.

— Кто же мог “просветить” здешнее общество? И зачем?

— Думала — не пойму.

— Вы сами-то не могли где-то случайно обмолвиться?

— Помилуйте! Вы же знаете меня. Разве я могу делиться с кем-то своей мукой, кроме близких? И Маша неспособна. И Саша.

Ещё их обстоятельства знал здесь только Воейков, и Жуковский спросил Екатерину Афанасьевну, не мог ли он ненароком или под хмельком разболтать. Она замотала головой.

— Не мог.

— Почему?

— Потому, что он понимает ваши отношения с Машей точно так же, как я, и во всём поддерживает меня, и больше всего не хочет огласки происходящего ещё и здесь.

— Воейков?! — пробормотал ошарашенный Жуковский.

— Воейков! Воейков! Он же говорил вам об этом.

— Говорил? Мне? Да-а-а...

Он понял, что это мог сделать только Воейков. Но зачем?.. Надолго замолчал, соображая, как быть дальше. Екатерина Афанасьевна, видя, как он

все больше мрачнеет, заговорила сама. Тон был мягкий, уговаривающий.

— Василий Андреевич, дорогой, у меня к вам ещё огромная просьба: не ищите, пожалуйста, с Машей встреч наедине, не старайтесь поговорить без посторонних! Вы видите, как я оберегаю её. Оберегаю потому, что любая встреча с вами безумно травмирует её. Вы видите, как она извелась, как похудела, потому что — повторяю это в который раз! — вы глубоко, очень глубоко ошибаетесь в её чувствах к вам. Я знаю доподлинно от неё самой.

— Простите, не верю! — вспыхнул он.

— Уверяю вас!

— Давайте спросим у неё!

— Ну, да, потерзаем ещё раз! Не пожалеем, а потерзаем ещё.

— Пожалеть-то должны только вы.

— Я?!

— Да, только вы одна. Большинство знающих происходящее жалеют нас, прежде всего — её, и вы это знаете. Давным-давно жалеют и не понимают вас, не могут объяснить себе ваше упорство... Так мне просить митрополита Филарета писать к вам, прислать какую-то разрешительную бумагу?

— Нет! — осеклась, растерялась. — Не знаю, право... Мне надо время подумать...

— Сколько?

— Не знаю, я должна подумать...

Он впервые видел её такой нерешительной, впервые видел обнадёживающее движение её души. “Только бы не спугнуть! Только бы не спугнуть!” — твердил про себя.

Маша в тот же день за обедом спросили его тревожным взглядом: как? Посмотрел в ответ ободряюще, улыбнулся. Она посветлела, старательно занялась едой.

С Воейковым решил пока не говорить — посмотреть, разобраться.

...Екатерина Афанасьевна молчала и, казалось, ещё строже блюла Машу.

Поздними вечерами, когда расходились гости, или он возвращался из гостей в затихший дом, ему становилось невыносимо одиноко и тоскливо. И он ходил по комнате из угла в угол и думал, думал только о ней, безумно хотел видеть её, хотя иногда видел всего полчаса назад, и, главное, хотел говорить, слышать её тёплый голос, рассказывающий, что творится сейчас в её душе, чего он уже так давно не слышал, не может услышать. Ходил и ходил, не раз и за полночь, пока однажды не сел к столу, запалил ещё одну свечу и начал писать ей письмо, в котором размышлял, как бы отлично ему работалось в Дерите: “никакого рассеяния, тьма пособий... И теперь, в ту самую минуту, когда я только думал начать жить прекраснейшим образом, — новые неожиданные препоны...”

Надеялся утром незаметно передать это письмо Маше. Но даже и не попытался, ибо подумал, что при той слежке, которой она подвергается, письмо наверняка окажется в руках неистойвой матери, и какие это может иметь последствия, невозможно предугадать. Так что лучше он даст прочитать Маше писанное потом, когда у них, дай Бог, всё всё же устроится.

В следующую ночь написал следующее письмо: советовал ей искать утешение у давнего доброго товарища — смирной покорности Провидению.

В третью ночь в третьем письме рассказал о поступке Воейкова: “Человек, который имеет полную возможность осчастливить тебя и который не только этого не делает, но ещё делает противное, может ли носить название человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удержаться от ненависти. Я не могу и не хочу притворяться. Между им и мною нет ничего общего и... — Следующие строки решительно зачеркнул, оставив лишь последние. — Дай мне способ сделать ему добро — я сделаю. Но называть чёрное белым...”

Если б он только знал, что в эти же ночи, всего через несколько стен и дверей, в своей, как она говорила, светёлке, Маша тоже сидела за столом и писала ему похожие письма, в которых изливала душу и которые тоже решила прочитать ему лишь тогда, когда у них, даст Бог, что-нибудь, наконец...

Скоро пришло письмо от Тургенева: он требовал немедленного приезда Жуковского в Петербург.

### 13

...Он знал, что императрице-матери Марии Фёдоровне к шестидесяти. Думал увидеть старушку, а увидел изящную моложавую обаятельную особу со следами былой красоты в лице и фигуре, с величественной осанкой, приятным тёплым голосом. Только глаза сильно щурила, и вокруг них всё морщинилось, однако взгляд был ясный, быстрый, словно вспыхивал в прищурах.

Принимала с Уваровым в уютной розовой гостиной с мебелью вишневого цвета и камином сиреневатого мрамора, который топился, хотя было уже десятое мая — весна выдалась очень холодной. На императрице был лиловый муаровый роброн и кремовая парчовая пелерина. Сидела она в кресле возле овального столика. После представления внимательно оглядела его с головы до ног и сказала, что внешностью он удивительно соответствует своим стихам, что она именно такими и представляет себе настоящих поэтов и рада, наконец, познакомиться очно. Поблагодарила Уварова, что привёл его. Оба благодарно поклонились. Пригласила сесть в кресла напротив. Спросила, не знают ли они, когда кончатся холода? Уваров сказал, что знает. “Когда же?” — “Когда придёт тепло”. — “Спасибо! Успокоили!” Поинтересовалась самочувствием Жуковского после зимнего недомогания и как он съездил в Дерпт, слышала, что впервые, — понравился ли? Сказала, что с удовольствием читает его стихи, восторгалась “Светланой” и “Певцом во стане русских воинов”, хотела бы издать его за свой счёт. “Не возражаете?” — “Для меня это великая честь! Благодарю!” Жуковский привстал и снова поклонился. Восторгалась она и его прошлогодним посланием “Императору Александру Первому”, её сыну, в котором “так прекрасно освещены все исторические события последних лет и взятие Парижа, и очень бы хотела услышать, как он сам читает строки из этого великолепного поэтического памятника эпохе и государю”. Прочёл несколько строф, вдруг ощутив, что кое-что в них совсем не так хорошо, как ему ещё недавно казалось. Императрице же чтение очень понравилось, она одарила его благодарной улыбкой. Поблагодарила и словесно. По-французски.

Хотя стихи звучали русские. За всю встречу она произнесла лишь несколько отдельных русских фраз, и он спросил себя: по-настоящему ли она знает русский, способна ли почувствовать музыку стиха? Усомнился. Потом говорили о литературе и искусстве вообще. Спрашивала, кого он чтит из древних и нынешних великих европейцев; кого ещё собирается переводить? Кого почитает в Отечестве? Чем порадует в ближайшее время? Он отвечал, как всегда, легко, просто и откровенно, никого не хая, не оскорбляя из неприемлемых и нелюбимых, и проникновенно восторгаясь любимыми. Она тоже высказывала свои симпатии, антипатии и оценки, и все они были совершенно категоричны и коротки, как приговоры, причём некоторые были абсолютно несправедливы. И что бы она ни спрашивала, что бы ни говорила, что бы ни слушала, её моложавое красивое приятное лицо почти не менялось, будто это была маска, и даже по посверкивающим глазам он не мог понять, что она чувствует и думает на самом деле.

В общем, какой она человек, он так и не ощутил. Ощутил только императрицу, которая перед расставанием немного помолчала и объявила, что желала бы видеть его ещё, ну, скажем, через неделю — он бы смог? “Разумеется! Для меня это великая честь, Ваше Величество!”

В карете Уваров поинтересовался:

— Ты доволен?

— Конечно! — потом тяжело вздохнул.

Тот засмеялся.

А через четыре дня принёс слух, что императрица-мать сказала своим фрейлинам, что Жуковский и внешне совершеннейший поэт, что очень естественен, скромен, приятен, ей понравился.

— При дворе днём с огнём не сыщешь естественных и скромных — гордись!

— Ладно.

Написал об этом представлении Дуне и далее — о заботах друзей, о его достатках, о том, что никакого богатства он не ищет, “да и не считаю его нужным, а почести — сушая низость, когда стоишь на той сцене, на которой раздаётся хвала, гул шумный и невнятный; быть полезным — эта химера кажется только в Белёве чем-то существенным, здесь её иметь невозможно... Теперь стоит только поглядеть на тех людей, которые посвятили себя общей полезной деятельности, чтобы сказать себе, как эта цель безумна. Будешь биться, как рыба об лёд, убьёшь в себе прежде смерти то, что составляет твою жизнь, и останешься до гроба скелетом”. И далее: что “в большом свете поэт, заморская обезьяна, чревовещатель и тому подобные редкости стоят на одной доске — для каждой из них одинаковое, равно продолжительное и равно непостоянное внимание”. А в конце письма просил Дуняшу, чтобы в Долбине “на всякий случай была отделана для меня комната и в ней шкафы для моих книг, простые, но крепкие и недосыгаемые для мышей, и в эти шкафы да перенесутся и поставятся книги мои так, чтобы я мог их обрести в порядке при своём приезде... Что не говори судьба, а ещё весело подумать, что у меня есть прекрасный уголок на моей родине”.

Маше не писал, боялся, что письмо попадёт в чужие руки. Но она постоянно переписывалась с Дуней, и та сообщала все дерптские новости ему.

Императрица-мать предложила ему быть её чтенцом: читать ей вслух раз или два в неделю по обоюдному согласию, что сочтут интересным, важным или увлекательным. Согласился только на время, так как в июле собирался снова в Дерпт. Саша должна была родить; договорились, что он будет крёстным. Познакомился при дворе с членами царской фамилии, со многими высшими сановниками и придворными.

## 14

Приехавши в Дерпт, Жуковский в первые мгновения онемел, увидав, что сделала с Машей болезнь, а потом, слушая рассказы Екатерины Афанасьевны и Саши о том, как всё происходило и какой молодец доктор Мойер, еле сдерживал слёзы.

Мойера в тот же день сердечно благодарил, пошёл провожать и попросил по дороге ничего не скрывать, сказать, что всё-таки с ней было и есть? И насколько это опасно? Тот остановился, задумчиво нахмурился. “Крайне опасно! Такая душа. Новая атмосфера, люди, обстоятельства — слишком много нового, непривычного. Если бы не родился младенец, не приехали бы вы — я не берусь сказать, что бы было... Вы понимаете?” И многозначительно, долго смотрел через свои стёклышки Жуковскому в глаза. Жуковский понял.

Маша была ещё слаба, однако в гостиную в первый вечер на беседу с Жуковским пришла, полулежала в подушках на диване. И никто ещё и рта не успел открыть, как Екатерина Афанасьевна весьма торжественно, даже ликующе заявила, что хочет от имени родни и всех присутствующих поздравить их дорогого, любимого Василия Андреевича с высочайшей должностью, которой он удостоен недавно при дворе, при самой государыне императрице-матери Марии Федоровне.

Жуковский вытаращил глаза: откуда узнали?

Екатерина Афанасьевна победно сияла, Воейковы тоже. Маша глядела тревожно. Догадался: известила Дуняша.

— Поздравлять не с чем. Напрасно вы это. Никакая это не должность, а обязанность. Неинтересная, нежеланная.

— Не скромничай! Не скромничай! — вскричал Воейков. — Обязанность при самой матушке императрице, которую Россия почитает уже сорок лет.

— Честь! Великая честь! — подхватила Екатерина Афанасьевна и гости.

— Расскажите о ней! О Марии Фёдоровне. Какая она? Как вы себя с ней чувствуете? Государя видели? Разговаривали?



Стал рассказывать. Первый раз рассказывал о своих впечатлениях от двора. Увлёкся. В одну из пауз раздался напряжённый Машин голос:

— Значит, ты не сможешь теперь приезжать?

— Почему?

— Не пустят.

— Моя судьба не в руках императрицы.

...Он решил дожидаться её полного выздоровления. И никак не докучать, не пытаться повидаться наедине, чтобы излишне не разволновать. Виделись раз, два в день за обедом, ужином или в гостиной при других, при гостях — и ладно пока. Маша бодрела день ото дня. Все, конечно, радовались этому, включая Мойера. Только теперь уже не один он понимал, какое лекарство тут действует столь благотворно.

И вот однажды, встретив её с матерью в коридоре, он распахнул ближайшую дверь столовой, попросил зайти туда и сказал, что снова, уже при самой Маше, просит у Екатерины Афанасьевны руки её дочери.

Екатерина Афанасьевна запольхала гневом:

— Что вы себе позволяете! Как это можно, при ней...

— Простите! Простите! Но я три месяца жду ответа.

Маша бледнела на глазах.

— Маша! Оставь нас! Выйди, пожалуйста! — грозно приказала Афанасьевна.

— Нет! Прошу вас! Прошу тебя, не уходи! Давайте хоть раз при ней. Давайте начистоту, без хитростей!

— Начистоту! Без хитростей! — Афанасьевна задыхалась.

Маша, не двигаясь, испуганно глядела то на неё, то на него.

— Скажите, наконец: я должен просить Филарета или не должен?

Екатерина Афанасьевна не отвечала, справлялась с дыханием, горделиво распрямлялась, каменела лицом.

— О чём вы, скажите?! — взмолилась вдруг Маша.

— Я просил Тургенева переговорить о нас с митрополитом Филаретом, и он сказал, что наш с тобой брак возможен. Твоя матушка спросила, может ли он подтвердить это письменно. Я готов его просить об этом, но она не говорит, надо ли? Велела подождать ответа. Так просить или не просить?

— Нет! — выдохнула Екатерина Афанасьевна.

— Почему?

— Потому что он не прав, и я всё равно никогда не соглашусь на ваш брак! Никогда! Поймите вы это наконец! Поймите! — яростно выговорила она.

Маша глядела на неё с ужасом.

— Екатерина Афанасьевна, послушайте, посмотрите на Машу, что будет с...

— Всё! Всё! Всё! — почти закричала она. — Сил больше нет! Это последнее моё слово. Больше не пытайтесь даже заговорить со мной об этом! Всё! Несколько мгновений все молчали, не двигались.

Затем он приблизился к Маше, взял её безвольно повисшую, похолодевшую руку, поцеловал и тихо сказал:

— Прости! Крепись! Я сейчас уеду.

Душу сжимало отчаяние.

## 15

Он жил у братьев Тургеневых, в верхнем этаже дома Голицына на Фонтанке, и в первые дни поздними вечерами и бессонными ночами подолгу простаивал у окна, из которого был виден Михайловский замок, где окончил свои дни несчастный император Павел. Громаднейший, массивнейший чёрный замкнутый квадрат, отражавшийся в чуть поблескивающей Фонтанке, окутанный пеленою очередного дождя, похожий не только на рыцарский замок-крепость, но и на тюрьму, он олицетворял для него сейчас весь Петербург. И он — в нём.

Попросил Тургеневых, чтобы они пока никому не сообщали, что он приехал; ему надобно побыть одному, кое-что завершить. В историю свою их не

посвящал. Но только и делал, что маялся, мотался в одиночестве из покоя в покой, торчал у окна, оцепенело сидел в креслах, лежал на диванах и думал, думал непрерывно о ней, о себе, искал и искал выхода и, не находя, всё больше и больше отчаивался, не смыкал глаз одну ночь, вторую, на третий день голова сделалась чутунной, мысли ворочались с трудом, а сердце сжималось от жуткого безысходного ужаса, и он поймал себя на том, что уже не десятки, а сотни раз задаёт себе одни и те же вопросы, и сотни раз одно и то же отвечает на них, то есть, по-видимому, сходит с ума. С ума так с ума, что ж такого? Какой-никакой, дикий, страшный, прискорбный, но всё же выход... Для него. Ему. А ей? Она же тоже сойдет с ума. Не может не сойти. Из-за него. Он, он, не способный жить без неё, так её любящий, будет её несчастьем, жутким несчастьем, наказанием, убийцей. Леденящий ужас сжал, сковал его всего так, что он не мог шелохнуться, не мог даже глубоко вздохнуть. Сколько так продолжалось, не заметил. Потом начался мелкий озноб, испуг, но он с невероятным усилием всё-таки шелохнулся, приподнялся с кресла, испуг и озноб усилились, но он вышел в прихожую, взял накидку и шляпу, не надевая их, спустился вниз и пошёл по набережной Фонтанки к Неве, сначала ничего не замечая, ни на кого и ни на что не глядя, и озноб постепенно затих, испуг исчез, он стал всё видеть, озираться — поуспокоился.

Дождя, слава Богу, не было, ненадолго даже выглядывало солнце. Катились, поскрипывая, кареты, коляски, погромыхивали телеги, покрикивали кучера и возницы. Прохожих было немного. Подумал, что на Литейном их куда больше, там лавки, присутственные места, литейный двор, дорога к пристани — и двинулся туда, и медленно шествовал там, поглядывая на встречных и обгоняющих мужчин и дам, мужиков и баб, подростков и детей, на разные — хмурые и веселые, и такие вдруг прекрасные, или уродливые, или забавные — лица, вслушивался в такие разные вокруг звуки — голоса и разговоры, — ловил разные — волнующие, вкусные и противные — запахи, и чувствовал себя всё лучше и лучше, и подумал, понял, что в его состоянии никак нельзя оставаться одному, действительно можно рехнуться, нужно всё время быть с людьми, на людях.

В тот же вечер нанёс первый, обещанный ещё до отъезда визит. А следующим ранним утром встретился со своим издателем, с коим занимался до обеда, и привёз домой целую кипу гранок для корректур. Отправил императрице-матери письмо с извещением, что прибыл и весь к её услугам. А вечером сделал ещё визит. Буквально ринулся во встречи, свидания, разговоры, переговоры и всяческие хлопоты и заботы, чтобы только не быть одному. Случалось, в первые дни ни минуты свободной не оставлял, даже и на рассветах недели три не подходил к столу, не мог писать, потом, правда, потихоньку начал. И никто, ни один человек в Петербурге не знал, что он скрывает под такой кипучей общительностью и вседашней своей ровностью, обаянием и добродушием. Да он и сам-то не подозревал в себе таких способностей — не быть никому в тягость, не обременять своим горем.

## 16

Странно, но ни разу не видел Машу во сне. Однажды даже где-то ходил среди деревьев и каких-то домов, искал её, выглядывал — не нашёл, хотел спросить у кого-нибудь, не видели ли её, но никого не встретил. Проснувшись, долго испытывал чувство этого бесплодного поиска, гнал его, гнал, еле прогнал...

“Чёрт знает, что делается с моею душою, — писал в ноябре Вяземскому, — она расщепилась, как ветошка; всё как будто из неё выдохлось...”

...Письмо с дорогим почерком на конверте пришло в середине ноября. Безумно обрадовался, но, вскрывая конверт, сильно волновался — что в нём?

“Мой милый, бесценный друг! — писала Маша. — Я решаюсь писать к тебе, просить у тебя совета, как у самого лучшего друга после маменьки... Я хочу выйти замуж за Мойера. Я имела случай видеть его благородство

и возвышенность его чувств и надеюсь, что найду с ним совершенное успокоение. Я не закрываю глаза на то, чем я жертвую”. Дальше объясняла, что это для того, чтобы Жуковский мог, как прежде, жить вместе с ними, то есть и вместе с её маменькой, “а я получу право иметь и показывать тебе самую святую нежную дружбу, и мы будем такими друзьями, какими теперь всё быть мешает. Милый Жуковский! Я воображаю, что мы все можем быть счастливы!.. Что касается до меня, то я потеряю свободу только по имени; но я приобрету право пользоваться дружбой твоею и сказывать тебе её”.

Показалось, что от жаркого ужаса зашевелились волосы на голове, внутри всё больно сжалось.

Жертвует собой только для того, чтобы я был по-прежнему рядом, чтобы по-прежнему видеть меня, чтобы по-прежнему любить. Но я-то?! Могу ли я-то быть рядом с ней, уже с чьей-то женой, и с её каменной маменькой?! Куда же мне-то деть свои чувства? Задавить? Позабыть? Избавиться? Как?! Как?.. Не смогу! Не могу! Она же знает об этом. Почему не подумала? Не-е-ет, она наверняка подумала! Как наверняка думала и о том, как невыносим, ужасен и несчастлив может быть для неё такой брак, да и для него, для этого Мойера, ведь он, кажется, догадывался, зачем я бывал в Дерпте. Может быть, даже знает. Как же это при нём мы будем по-прежнему свято и нежно дружить? Не могла она не думать обо всём этом, а пишет такое. Значит, заставили! Мать заставила! Придумала выход!

Пододвинул лист бумаги, стал писать:

“...Милый друг, не ты сама на это решилась. Тебя решили с одной стороны требования и упреки, с другой — грубости и притеснения! Не давши времени твоей душе придти в себя, от тебя требуют последнего пожертвования на целую жизнь, называя это пожертвование твоим же счастьем и даже не принимая его за пожертвование!.. Одним словом, ты бросаешься в руки Мойера потому, что тебе другого нечего делать! Тебя тащат туда насильно!”

Дальше писать не мог. Потому что увидел её бледное, расстроенное лицо, распахнутые, полные муки глаза, услышал железный голос маменьки. Стало безумно жалко Машу. Из глаз потекли слёзы. Себя тоже стало жалко. Душа стонала. Мысли ворочались жуткие, безысходные...

Вернулся к письму только поздним вечером:

“Мойер прекрасный человек, сколько я его знаю. Но тебе надобно с ним счастье. Прежде узнай наверное, что его получишь, а там уже располагай собою. Неужели нельзя тебе иметь году отерочки? Неужели я такая презренная тварь, что уже мне никакого утешения сделать не можно, что уже меня можно раздавить, не думая даже, что я могу почувствовать боль? Сердце разрывается, когда подумаю об этой жестокости, об этом холодном самовластии, которое величают материнскою любовью. Но скажи, Маша, разве ты не обязана подумать и обо мне? Разве тебе не нужно избавить меня от такой мысли, которая отравит всю мою жизнь, что тебя принудили выйти замуж, опасаясь меня! Я убеждён, ты идёшь за Мойера только по произволу матери. Она не упустила ни одного случая, чтобы не разорвать мне сердце!.. Что ей до меня, когда она не падит своих детей!.. Она сделала из меня какое-то чудовище. Пожертвовав собою, не думай из меня сделать ей друга. Скорее соглашусь двадцать раз себе разбить голову, нежели искать места в этой семье... За что хочет убить тебя?! Я не могу согласиться на замужество твоё, теперь не могу! И есть ли...”

Не дописал. Не мог дописать потому, что никогда в жизни ни к кому не испытывал ещё такой лютотой злобы, какую испытывал сейчас к Екатерине Афанасьевне. Даже прикрыл недописанное чистым листом, чтобы не видеть этой злобы.

Буквально на следующее утро пришло письмо от Дуняши, ответ на его последнее к ней, в котором он сообщал, что, к великому сожалению, по всем обстоятельствам и своему состоянию, вынужден теперь жить в Петербурге и даже слышать, вместо того, чтобы...

“Милый брат! Милый друг! — писала Дуняша своим размашистым подчерком. — Бесценное письмо ваше оживило меня, хотя в нём нет ничего оживительного, — те же желанья не того, что у нас есть, та же непривья-

занность к настоящему, та же пустота, скука, которые до вашей милой души не должны бы сметь дотронуться, — но этот почерк, этот голос дружбы, который слышен и в скуке, и в пустоте, и в шуме, — и возможность счастья невольно воскресла! Авось! Бросьте всё, милый брат! Приезжайте сюда, ваше место здесь свято!.. Ваши рощи, ваша милая Поэзия, ваша прелестная свобода, тишина, вдохновение и верные сердца ваших друзей — здесь всё цело, всё живет, всё вечно! Что это за состояние, для которого вам надобно служить? Что это значит? Чем жить? Это и глупо и обидно! Забыли вы, что я хотела всё своё продать, бросить, чтобы с вами в 14-м году ехать в Швейцарию? Разве вы не знаете, что у вас, слава Богу, есть чем жить... что и тогда бы было, когда б я сама для жизни своими руками работала, и тогда бы вы могли жить со всеми прихотями, каких бы вам угодно было! А когда бы вы здесь были с нами, я была бы вашим богатством богата; милый друг, неужели мне сказывать вам, что такое для меня любить вас?..”

Забыл! Да разве ж такое забывается: что сделала, чем была для него в четырнадцатом году эта святая, пылкая душа! И что она была всегда для Маши, и особенно теперь — единственной отдушиной! И для него тоже единственной. И вот опять готова пожертвовать собой и чем угодно, только бы помочь. Как истинный Ангел во плоти!

Сознавал, что должен сказать ей самые горячие и глубокие слова признательности, но не было в нём сейчас таких слов, ничего в нём не было, кроме Маши, кроме невероятной, неподъёмной, невыносимой жалости к ней и бесконечных раздумий, как ей помочь? Чем? Что предпринять? Целесообразней всего было бы, конечно, поехать туда, но он же не сможет не только разговаривать, но даже и смотреть на “маменьку”... И тут уж неважно, каков на самом деле этот Мойер. Подходит или не подходит? Выбрала-то она...

Всё пошло по новому кругу. Опять молил и молил:

— Господи! Пожалей Машу! Молю тебя, пожалей!

Начатое к ней письмо пролежало на столе два дня, потом, так и не дописав его и не перечитывая, запечатал в конверт и отправил.

А Дуняше написал: “Моё положение теперь хуже прежнего, здешняя жизнь тяжела, и я не знаю, когда отсюда вырвусь. Ваше одно и то же кажется мне прекрасным положением; работать без всякого рассеяния в кругу своих, отделяясь от прошедшего и будущего, — вот чего мне хочется. Поэзия отворотилась. Не знаю, когда она опять на меня взглянет. Думаю, что она бродит теперь или около Васьковой горы, или у Гремячего, или в какой-нибудь Долбинской роще, несмотря на снег и холод! Когда-то я начну её там отыскивать! А здесь она откликается редко, да и то осиплым голосом. О Дерпте не хочу писать ни слова...”

## 17

Вдруг вошёл Воейков. Радостно улыбаясь, протянул к нему обе руки.

Жуковский застыл от удивления.

— Какими ветрами?!

Пришлось обняться.

— Дела журнальные, да и по тебе соскучился.

Ну и чудеса! В Дерпте бегал от него, как чёрт от ладана, ни разу не потлковали, и нате — соскучился!

А месяца два назад их со товарищ по благородному пансиону, директор медицинского департамента Дмитрий Александрович Кавелин тоже был в Дерпте и сообщил ему, что Воейков в последнее время почти всякий день пьян, безобразно ведёт себя в семье и в университете, весь город судачит о его поведении. Кавелин попытался поговорить с ним об этом и помянул Жуковского, какую, мол, тень он бросает и на него, а Воейков взорвался, кричал, что Жуковский и все они уже стоят у него поперёк горла, и он не желает больше, чтобы его учили, и прочее, прочее в том же духе. И вот, пожалуйста — соскучился!

Воейков осунулся, потемнел лицом, глубокие маслянистые глаза горели.

— Ты здоров?

— Да.

— Как твои: Саша, дочь, тёща? Как в университете?

Сказал, что все здоровы, в университете по-прежнему, новость одна — Маша.

— Что с ней?

— Собралась замуж.

— Я знаю. Как она?

— Как? А-а-а, здорова, здорова... Если, конечно, можно назвать это здоровьем...

Предложил ему сесть, сел напротив, внимательно вглядываясь: что-то в нём появилось новое, но он не улавливал, что именно.

— Ты знаешь, что Мойер уже сватался к ней весной?

Кивнул. Узнал об этом недавно из письма Дуняши.

— Тогда она отказала. Матушка одобрила её. Я успокоился... Но от дома ему не отказали, ты видел. Лечил их. Почти каждый вечер играл, давал ей уроки. Зачем? Каждый день ходил, как к себе домой.

— И принимал роды у Саши. Врач-то он хороший?

Передёрнул плечами.

— Разве их разберёшь? И вот снова посватался, и ему сказано, чтобы ждал. Она сказала. И мать. Но это же измена тебе. Да, да, измена, не кри-вись! Я не могу понять, как они решились на это. Он кто? По-но-ма-рё-нок! Пономарёнок. Сын пастора. Не дворянин. Старинная фамилия Протасо-вых — и вдруг такое родство. Позор! Стыд! Я пытался говорить с Машей, просил объяснить, как можно так обойтись с тобою, но ничего вразумительного она не сказала. Я даже взорвался, накричал, виноват, не сдержался, сердце ведь разрывается от боли за тебя и за неё. Не могу ни понять, ни при-нять! Понимаешь меня? Больно...

Воейков буквально клокотал от негодования; кулаки крепко сжаты, ли-цо стало ещё темней, чувствовалось, что он еле сдерживается, чтобы не раз-бушеваться, не кричать. Жуковский прежде никогда не видел его в таком диком напряжении, таким переживающим за него и за Машу.

— Я запретил его принимать. Теперь они не видятся.

— Как запретил?!

— Ради неё! Ради тебя! Чтобы...

— Позволь! По какому праву?! Это же произвол! Издевательство!

Воейков вздрогнул, мгновенно съёжился, стал нервно потирать руки. Помолчал.

— Да, чувствовал, что перегнул. Чувствовал! Но уж больно было обид-но. Потом-то понял, что переборщил. Проклятая натура: не могу удержаться, когда больно за других. Обжигает! Жжёт! Знаешь, как стыдно стало. Так стыдно! Прости! Прости великодушно! Ты можешь, я знаю! Теперь всё! Взял себя в узду. Взнуздal. Всё! С Машей схлестнулся, сорвался — уже просил прощения. Простила. Мочи нет, как стыдно! Теперь всё, злость на себя та-кая, что не сорвусь никогда. Чувствую...

Снова крепко-крепко сжал кулаки, глаза наполнились тьмой.

Жуковский понял: он испугался сообщений Кавелина и приехал оправ-даться, загладить свои неблагоприятности. Ну, что ж — уже поступок.

Воейков каялся ещё, и поклялся, что ничего подобного с ним больше не случится. Однако Мойера продолжал называть пономарёнком и всячески уничижать. И в обществе-то тот чаще всего молчит, а когда человек постоян-но молчит, значит, ему нечего сказать, значит, он пустой. И игра его на фортепьяно только потому считается виртуозной, что в городе нет других приличных пианистов. И сколько же у него остаётся времени на больных в собственной лечебнице, если на нём же лечебница университетская и лек-ции, и практика со студентами, и частные лечения, и бесконечные музици-рования, и...

Заметив же, что при последнем излиянии Жуковский поморщился, тут же перешёл на другое и больше не трогал Мойера. Рассуждал, что коли уж так сложилось, что им невозможно быть вместе, и Машу надо непременно выдать замуж, то можно же составить прекрасные партии — в городе столь-

ко блестящих состоятельных военных, генералы, есть и благороднейшие профессора...

— Остановить её можешь только ты.

Жуковский промолчал.

В Петербурге Воейков пробыл четыре дня. С утра и днями занимался своими делами, а два вечера они сидели и говорили о разном почти как когда-то. Воейков считал, что к теще все-таки можно подобрать какой-то ключ, но какой именно, не представлял, только морщил лоб, разводил руками да тяжело вздыхал, да ругал себя, что ни до чего столько времени не может додуматься. Больше же всего говорили, конечно, о литературе, о литературных новостях, что у кого появилось нового.

## 18

Пришло новое письмо от Маши, в котором она просила его приехать в Дерпт.

“Что же будет пользы в моём приезде? — написал он. — Я не поеду за тем, чтобы непременно сказать “да”; но затем, чтобы узнать твои мысли, узнать, что делается в твоём сердце! Я чувствую, что мой приезд так же нужен для меня, как и для тебя!.. Если тебе нужно, чтобы я приехал, то надо, чтобы маменька решилась поступать со мною как сестра и чтобы ты решилась сказать мне всё”.

С нетерпением ждал Плещеева, который поехал навестить Протасовых-Воейковых, посмотреть Дерпт, побывать в Ревеле и Риге. Тот вернулся в середине января сильно расстроенный и возмущённый: оказывается, Воейков после Петербурга почти всякий вечер пьян, устраивает безобразные скандалы, кричит, что Жуковский потрясен поведением Маши, и целиком одобрил все его действия против неё и Мойера.

Плещеев даже оказался нечаянным свидетелем одного из таких скандалов. Они гуляли с Екатериной Афанасьевной и Машей, он зашёл в кондитерскую кушать пирожных, они поджидали его на воле, там был народ, он чуть подзадержался, а когда вышел — подле Протасовых подвыпивший Воейков громко, грубо требует, чтобы Екатерина Афанасьевна дала ему денег. Та ответила, что у неё с собой ничего нет, и просила вести себя потише, во-круг все уже оглядываются, останавливаются. А он ещё громче: “Не верю! У вас есть! Вы обязаны дать!”

— Я подскочил. Он никак не ожидал увидеть меня, вытаращил глаза, замолк. Я пристыдил его и спросил, как он себя чувствует, вид, мол, у него совершенно больной, впечатление, что он сходит с ума, и я по приезде в Петербург немедленно расскажу об этом Жуковскому, Тургеневу и Кавелину, чтобы они срочно пожалели, позаботились о тебе. Он мигом сцепил руки, умоляюще прижал их к груди и чуть ли не со слезами на глазах стал просить прощения у меня, у Екатерины Афанасьевны, у Маши за свою гадость и уговаривал меня плюнуть за неё ему в лицо. Именно уговаривал, как в припадке. А люди мимо идут, смотрят, слушают. Еле убралась. А тем же вечером, в моё отсутствие, снова измывался над Екатериной Афанасьевной. Представляешь! Обе болеют, стали, как тени, и страшно боятся, что буйствуем Воейкова не будет конца.

Жуковский был раздавлен.

Три недели назад он всё простил Воейкову, давнее и недавнее. Даже написал Дуняше: “Он поехал отсюда, давши святое обещание переменить свой образ обхождения и строить своею жизнью друзей своих! Чтобы он мог это исполнить, надо непременно всё старое забыть и иметь к нему доверенность. Эта помощь необходима Воейкову!”

Помощь Воейкову! Господи! Какой же я дурак!

А Плещеев продолжал:

— От отчаяния и для поддержки Маша попросила приехать к ним в Дерпт Авдотью Петровну. И та сразу же выехала. Но при переезде через Оку лёд под ними проломился, сани, люди и лошади оказались в ледяной воде, барахтались в ней, но, благодаренье Богу, все выбрались, никто не пото-

нул, и лошади не погибли, но Авдотья Петровна жестоко простудилась, очень болела, кажется, лежит и сейчас.

— Когда это было?! Мне ничего не сообщили.

— Накануне моего отъезда из Дерпта пришла её коротенькая записка.

— А мне ничего! Боже мой!

Через день Жуковский помчался в Дерпт.

Сердце сжалось, когда увидел он, как обе они действительно сдали за минувшие пять месяцев: похудели, под глазами — тёмные круги, а в глазах — слёзы. Слёзы боли и радости, что видят его. У Маши-то понятно. Но и у Екатерины-то Афанасьевны они явились впервые в жизни — так сильно она обрадовалась ему. Расцеловала. И с Машей расцеловались. И с Сашей. Воейков тоже вышел в прихожую встречать, но не приблизился, замер, съёжившись, как побитая собака, позади дам. Хорошо, что они не оглядывались и не видели его в этой жалкой позе. Жуковский кивнул ему, сказал: “Здравствуй”, — но руки протянуть не смог.

Через час он уже разговаривал с Екатериной Афанасьевной наедине, и это была совсем не та величаявая, гордая, властная женщина, которую он знал всю жизнь. Заметно постаревшая, сникшая, растерянная, она всё время вертела в руках белый кружевной платочек, несколько раз поспешно подносила его к мокрым глазам, боясь вконец разрыдаться, и с горечью, откровенно отвечала на всё, о чём он её спрашивал. Да, Воейков целиком на её совести, ошиблась, поторопилась, никого не послушала, хотя предупреждали о его дурном характере, понадеялась, что ангел-Саша выправит, облагородит его, однако теперь только и делают с Машей, что скрывают от неё, сколько могут, его безобразия. Подробно о них даже не захотела говорить, потому что тяжело вспоминать, настолько они были ужасные, тяжкие. А против Мойера его борьба такая же, какую он до того вёл против него. “Да, да, Василий Андреевич, против вас! Поосторожней, конечно, но пел мне и пел, чтоб стояла на своём, не допускала поругания христианства”. А уж против Мойера идет напраую, потому что она ещё одну великую глупость совершила: передала Воейкову право распоряжаться всеми её владениями и состоянием. Он и распоряжается, даже не ставя её теперь ни о чём в известность. Когда же Маша выйдет замуж, половина Муратова и всего остального поменьше отойдет как приданое ей и её мужу, то есть Мойеру. Так что лучше всего для Воейкова, чтобы Маша вообще не выходила замуж, и уж совсем было бы счастье, если бы её совсем не стало.

— Полагаете, этот мотив основной, главный?

— Убедена.

Помолчали.

Она смотрела на него с надеждой. Прежде никогда так не смотрела.

Сделалось безумно жалко её.

— А почему Мойер?

— Потому что он замечательный. Правда! Правда! Так весь город считает. Недостаток только один — он не дворянин. Но благороден, вы сами видели. А познакомитесь поближе, поймёте, поймёте, почему он. Генерал Красовский, толстый-то, тоже сватался. Но разве он сделал бы счастье Маши?.. А Мойер сделает — я вижу, надеюсь...

Глянула на задумавшегося Жуковского, замолчала, опустила голову.

— Екатерина Афанасьевна, я хотел бы и с Машей поговорить наедине. Позвольте?

Вскинулась, несколько мгновений напряжённо-вопрошающе глядела прямо в глаза.

— Надеюсь, вы не станете воздействовать на неё, воскрешать былые чувства?

— Обещаю. Уж не за тем ведь приехал.

— Да, да. Пожалуйста!

Январский день короток. На воле быстро темнело, хотя было всего четыре часа пополудни. В гостиной зажгли свечи. Маша вошла, уже переодевшись в очень шедшее ей и очень нравившееся ему старое сиреневое платье с округлым стоячим воротником. Грустно улыбалась. В жёлтом зыбком све-

те свечей бледность лица была не видна, только худоба, а завитушки русых волос, обрамлявших лицо, прозрачно золотились, и она показалась ему ещё прелестней, чем прежде. Встали друг против друга и молча разглядывали, любовались друг другом, глядели глаза в глаза, улыбались всё радостнее. Всё было, как раньше.

— Ты сегодня ещё красивей, ещё прелестней! — вымолвил он, наконец, зачарованно.

— Потому что вижу тебя. — Усмехнулась. — Увидел бы меня неделю назад или месяц. Я почти не сплю.

И рассказала, что Воейков методически поздними вечерами устраивает ей совершенно изуверские допросы, разносы, скандалы. Почти всегда пьяный. Орёт, обзывает любовницей Жуковского, а потом одновременно и Мойера. И ещё хуже обзывает. И его поносит непрерывно: после приезда говорил, что Жуковский её уже ненавидит за всё, что перенёс из-за неё. Знает, что она не уснёт после его криков, и издевается. Она уже не раз просила, молила его дать возможность хотя бы выспаться, передохнуть, даже пообещала, что если он оставит её в покое, она откажет Мойеру. Настолько была взмотана и истерзана. Не только не оставил, ещё хуже издевался. Она уж думала, как и куда бы ей убежать из дома и Дерпта, может, к Дуняше. С Мойером последние месяцы тоже не видятся и переписываются тайно, как прежде с ним, кухарка молодец, передаёт. Запреты и слежка непрерывные. В припадке отчаяния он даже кричал, что убьёт Мойера, и Жуковского убьёт, а потом зарежет себя, чтобы все поняли, на что способен Воейков. А в другой раз, когда у матушки шла горлом кровь и она слегла от его бесчинств, он заявил, что она притворяется, и продолжал издеваться. Когда же у неё случилось то же самое, он смеялся и говорил, что это от бешеной страсти, что прежде шла так же кровь от неудовлетворенной страсти к Жуковскому, а теперь — к Мойеру, а через год будет идти из-за какого-нибудь генерала.

Жуковский был раздавлен окончательно. Дышалось с трудом. Через довольно долгую паузу он почти прошипел:

— Надо усмирить его!

— Прошу тебя! — Помолчала. — Но главное-то — Мойер... Знаешь, безысходность была такая после августа, когда распоясался Воейков, что я готова была хоть за чёрта пойти, только бы перестать видеть его и терпеть его издевательства и над маменькой, и над Сашей. Тут опять Мойер. Схватила, как за якорь, за подвернувшееся спасение. Сначала только от полной безысходности. А потом стала думать, думать, какой он, и поняла, что это может быть настоящее спасение не для одной меня, для нас обоих. Хотя, конечно, он не ты, ему до тебя как до неба, но истинно по-человечески главное, высокое и чистое в нём тоже есть — поверь мне! Я сообщила ему твоё мнение о годе отсрочки, он совершенно с тобой согласен. Ты поговори с ним сам.

— Завтра же.

Жуковский совсем забыл, что привёз ей и всему семейству в подарок несколько первых томов своих сочинений. Пошёл, принёс, подарил.

Господи, как она радовалась, восхищалась, даже порозовела. Поздравила. Несколько раз разглядывала книгу со всех сторон, ласково гладила, удивлялась её толщине и тяжести, листала, читала оглавление, погладила и гравюру со сфинксом, снова листала...

Ночью, конечно, не спал. Думал о том, как в минувшие месяцы искал забвения, потешался, развлекал и развлекался в красотах Павловска и Царского, а она тут каждодневно терпела муку за мукой. Из-за него! За него! За то, что любила и любит, он это видел, ощутил сегодня снова сполна. Может быть, и не совсем по-прежнему, но любит, любит. И готова ради любви на новый подвиг. А он-то на что готов ради неё? Смирился, что общего счастья не будет, и всё? Но личное-то счастье у неё может быть? Должно быть! Может, выйдет за Мойера, — оно и вправду будет? Но какое может быть там счастье, когда они по-прежнему не могут друг без друга?..

С Воейковым встретился утром. Разговор был короткий. Не садясь. Объявил, что никаких объяснений, оправданий и покаяний слушать больше не



будет, что судьба Воейкова, как ему хорошо известно, целиком в руках, — тут на мгновение умолк и проговорил медленней:

— Его бывших друзей... Если совершит ещё хоть раз что-нибудь подобное бывшему, даже малую малость бывшего, пусть не ищет снисхождения.

Он, Жуковский, сумеет защитить и прокормить и Сашу, и крестницу. Уже содеянного же ему никогда не замолить и не поправить.

И ушёл из дома погулять, додумать то, что не додумал ночью.

А ночью шёл снег, и мело, и намело много, дворники хотя и вышли затемно, но местами всё ещё сгребали снег большими деревянными лопатами с улиц у присутственных мест, у лавок и ворот. Ширрр! Ширрр! Ширрр! Этот звук сопровождал его всюду. Вдоль заборов и тротуаров тянулись и росли высокие длинные сугробы. Но морозило не сильно, воздух был ядрёный, вкусный, с дымным запахом.

Вечером увиделся с Мойером и сам удивлялся той ясности, с которой взирал на него и разговаривал. Сказал, что в курсе всего происшедшего и происходящего, и, по его мнению, им следовало бы познакомиться поближе. “А сколько вы будете в Дерите?” — спросил Мойер. “Недели две наверняка, может быть, чуть больше”. — “Дело в том, что днями у меня совершенно нет свободного времени, — объяснил тот, — и я должен что-то отменить из своего расписания, чтобы видеться”.

Оказалось, что он не занят только вечерами, и Жуковский пригласил его снова бывать у них и не держать серьёзной обиды на того, кто по невольной несдержанности и горячности запретил ему посещать их дом. Мойер благодарно кивнул.

Он действительно мало говорил, а если уж говорил, то коротко и только по делу. Светлые глаза его за круглыми очками были умны. И никогда никаких лишних движений, жестов, поз. Спокойное, крепкое, удлинённое лицо с тяжеловатым подбородком. Высокая мускулистая широкоплечая фигура. Когда он оказывался рядом с нежной, утонченной Машей, Жуковский невольно несколько раз ставил себя на его место; он был по-прежнему красив, строен, элегантен, большезлаз, курчав. Мойер, конечно же, не выдерживал с ним никакого сравнения. Но уж больно всё в нём было основательно и прочно. Жуковский с каждым днём всё яснее ощущал в нём эту внутреннюю физическую и духовную прочность и вместе с тем вдруг обнаружил, что когда тот снимает очки, глаза его, оказывается, выглядят совершенно растерянными и глубоко-глубоко всё чувствующими. Наверное, тут играла роль и близорукость, но главное было в другом: он и за рояль садился, только сняв очки, — Жуковский заметил это только теперь. И вся суть, все высоты, глубины и страсти исполняемой им бесподобной музыки были всегда в его полыхающих глазах, а когда он прикрывал их, то и на его неузнаваемо менявшемся в эти минуты, совсем не спокойном лице. Он жил музыкой.

И на Машу не раз смотрел он очень похоже, и однажды наедине признался Жуковскому, что любит её сумасшедше, больше жизни. Признался просто, глядя ему прямо в глаза и явно зная об их взаимных чувствах и отношениях.

## 19

...В начале апреля по ещё не просохшим дорогам, через ещё голые леса, вдоль чёрных полей и ярких озимей Жуковский укатил в Дерит.

Было объявлено, что он едет поработать в уединении. И только Тургенев да Плещеев доподлинно знали, зачем он едет на самом деле. Обнимая его у коляски, Тургенев дрогнувшим голосом, со слезой в глазах, тихо сказал, почти прошептал:

— Только ты способен на это. Спаси тебя Господь!

А Дерит изнывал от июльской жары. Вечерами благородная публика чинно гуляла по ухоженному берегу Эмбаха, часами наслаждаясь речной прохладой, любуясь разноцветными парусниками и лодками. А простоголюдины и мальчишки в отдалении и на другом берегу шумно купались, радостно горланили.

За ночь город заметно остывал, рассветные часы были самыми лёгкими, и он работал почти так же, как памятной осенью в Долбине, складывая и складывая новые строки. А вечерами читал их в гостиной при распахнутых окнах.

*Там небеса и воды ясны!  
Там песни птичек сладкогласны!  
О, родина! Все дни твои прекрасны!  
Где б ни был я, но всё с тобой  
Душой...*

Читая, видел, какое наслаждение, да, да, наслаждение и радость испытывает Маша. Она уже месяца два была совсем прежней Машей. Нет, все-таки не прежней, чуть-чуть иной: внешне такой же мягкой, светящейся, внутренне она наполнялась какой-то прочностью, силой. Глаза же любили его.

И в глазах матушки её он видел теперь любовь к себе и своим стихам. Она и заботилась о нём, как никогда прежде. Снова распрямилась, величаво вскидывала голову, хотя властности в голосе больше не было.

*Страданье в разлуке есть та же любовь,  
Над сердцем утрата бессильна...  
Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг,  
Уже одиноким не будет...*

Саша восхищенно ахала, замирала, хлопала в ладоши, поздравляла.

Мойер слушал напряжённо, старательно. Слушал, конечно, в основном ритм, музыку стихов, явно не всё ещё в них понимая. Но общее настроение захлестывало и его, он тоже радовался, восхищался Жуковским.

Сиял и Воейков. Поэт в нём брал верх, чувствовал, как совершенен и прекрасен его “бывший друг”. Он притих, почти не пил, но временами бывал мрачен, сильнее сугулился, чернел лицом, видимо, бушевали страсти, желчь разливалась, и он держался из последних сил. Жуковский жалел его, сочувствовал, зла уже не помнил. Но тот сам держался на расстоянии, разговаривали нечасто. Однако вечерами при гостях Воейков несколько раз тоже читал свои новые, совсем неплохие стихи. Жуковский хвалил.

В прошлом, трагическом году он написал лишь несколько безысходно-печальных стихотворений. А тут, в Дерпте, к этой июльской жаре уже были готовы три небольшие баллады “Мицение”, “Гаральд”, “Три песни”, несколько стихотворений, а главное — он вернулся к большой стихотворной повести “Вадим”, названной по имени подлинного древненовгородского витязя, упомянутого в летописи, и начатой ещё в Долбине, в четырнадцатом. Потом, когда всё остановилось, остановилась и повесть, и как-то минувшей зимой он пожаловался Блудову, что не может продолжить её, потому что уже не увлекает сюжет, сама его суть кажется мелкой и... и потеряно что-то ещё, чему он даже не знает обозначения. Блудов подумал, подумал, да и сказал:

— “Двенадцать спящих дев” у тебя баллада совершенно русская. И “Вадим” совершенно русский. Может, их соединить?

И вот пошло, пошло:

*И в зареве открылась им  
Пещера под скалою.  
Спешит к убежищу Вадим;  
Заботливой рукою  
Он снял сопутницу с коня,  
Сложил с рамен кольчугу,  
Зажёг костёр и близ огня,  
Взяв на руки подругу...*

Чувствовал: прежде его стихи были мягче, нежнее, задумчивее, теперь

становились чётче, чеканней, сильней, пронзительней, то жгли, то леденили душу.

И вдруг понял, нет, сначала просто ощутил — это от Маши, от её близости, от того, что у них всё стало иным, она стала иная — потому и стихи стали другими, что вообще он пишет упоённо только тогда, когда она близко, когда осязаема и досягаема, — сделал двадцать или пятьсот шагов — и увидел. Досягаема и осязаема. Это что-то непостижимое, необъяснимое, что-то несомненно небесное, как всякое чудо, но он это почувствовал, ощутил всем своим составом, всей душою. В десятые годы были неразлучно близки в Долбине — несмотря на отрыв, была осязаема и досягаема. А как далеко-далеко — так всё иначе. Даже написал об этом в первых строках вступления к “Спящим девам”:

*Опять ты здесь, мой благодатный Гений,  
Воздушная подруга юных дней;  
Опять с толпой знакомых привидений  
Теснишься ты, мечта, к душе моей...*

В начале октября ещё стояло ведро, было ясно, тепло, а лица домашних делались всё озабоченней, иногда в доме поднималась суета — начали готовиться к свадьбе. Венчание назначили на четырнадцатое января следующего года.

Он завершал “Вадима”. Отослал поэму для ознакомления в Петербург.

В Петербург не тянуло. Друзей хотел видеть, скучал по ним, скучал по “Арзамасу”, а самого в Петербург не влекло нисколько, и он уже в который раз думал, не остаться ли в Дерпте навсегда. Купить небольшой домик недалеко от своих и... Никаких отвлечений. Работать так, как он мечтал работать всю свою жизнь. Вон как здесь идёт-то!.. Решение вышло твёрдое — остаться! И уже стал подыскивать подходящий дом, но пока втайне от своих, чтобы Маше был настоящий подарок.

...В десятых числах декабря получил от Тургенева срочный вызов в Петербург “по Государеву делу”.

Александр Первый был до того несколько месяцев на Венском конгрессе, подводившем черту под многолетними войнами Европы с поверженным Наполеоном. Значит, недавно вернулся.

А шестого января семнадцатого года в доме Блудова Александр Иванович Тургенев торжественно и взволнованно прочёл собравшимся “арзамасцам” Государев указ:

“Господину министру финансов. Взирая со вниманием на труды и дарования известного писателя, штабс-капитана Василия Жуковского, обогатившего нашу словесность отличными произведениями, из коих многие посвящены славе российского оружия, повелеваю, как в ознаменование моего к нему благоволения, так и для доставления нужной при его занятиях независимости состояния, производить ему в пенсион по четыре тысячи рублей в год из сумм государственного казначейства. Александр”.

Назначено было пожизненно.

Радовались и праздновали это событие до следующего утра.

“Я ни о чём не заботился и не хлопотал, — написал Жуковский Дуняше. — Всё сделала попечительная дружба Тургенева. Он без моего почти ведома заставил поднести кн. Голицына, нынешнего министра просвещения, государю экземпляр моих сочинений. Правда, надобно было написать посвятельное письмо государю — но вот всё, что сделано с моей стороны... Мысль, что будущее обеспечено, успокаивает душу. Теперь постоянный труд для меня обязанность”.

А восьмого января, при личной аудиенции, Государь пожаловал ему ещё и бриллиантовый перстень со своим вензелем.

Десятого января Жуковский уже снова катил в Дерпт, на свадьбу Маши. И вёз Мойеру стихотворное послание, которое вручил накануне венчания.

*Счастливец! Ею ты любим,  
Но будет ли она любима так тобою,  
Как сердцем искренним моим,  
Как пламенной моей душою!  
Возьми ж их от меня и страстию своей  
Достоин будь судьбы своей прекрасной.  
Мне ж сердце, и душа, и жизнь, и всё напрасно,  
Когда нельзя всего отдать на жертву ей...*

20

Песнопения кончились. Через три-четыре минуты священник спросит Мойера, согласен ли он взять в жёны стоящую рядом рабу Божию Марию, а получив положительный ответ, спросит о том же её: согласна ли она взять в мужа раба Божия Иоганна, ранее в браке не состоявшего. Потом священник спросит у всех присутствующих в храме, не имеет ли кто каких-либо заявлений-возражений, препятствующих сему священному таинству. Стало быть, ещё две, одна минута... он ещё может успеть... Шагнуть к Иоганну, просить прощения, отстранить его, стать на его место рядом с ней и объяснить священнику и всем предстоящим, что это его, только его, Жуковского, должен сейчас батюшка венчать с ней, рабой Божьей Марией, потому что она подлинная, самой судьбой, всей их жизнью определённая ему невеста, только ему, и она это сейчас горячо подтвердит, и Иоганн Мойер это хорошо знает и тоже подтвердит, как и многие вокруг, и он поймёт их и простит — он мудрый и великодушный. И великодушный Господь простит...

Ещё была минута! Ещё можно было рвануться и свершить это. Он безумно хотел этого! Он полыхал огнём и еле держался, напрягшись всем телом и прикрыв глаза, чтобы не видеть её...

“Последний шанс! — мелькнуло в сознании. — Единственный!”

Несколько раз он глубоко-глубоко вздохнул, открыл глаза, и, как всегда в подобные моменты, стал медленно проговаривать про себя покаяние: “Иисусе, Хранителю мой Преблагий Иисусе, очисти грехи моя, Иисусе, отыми беззакония моя, Иисусе, Надеждо моя, не остави меня”.

И пришёл в себя.

Было, конечно, грустно, что опять не совладал с фантазией там, где ей не место. Но... ни для кого, даже из рядом стоявших с ним, внешне ведь ничего не происходило: как стоял — худощавый, смуглолицый, черноглазый, большелобый, изысканно одетый, легонько улыбающийся, — так и стоял.

Храм был переполнен, немало людей не вошло, остались на паперти и снаружи. Пришли ведь все университетские, многие студенты, наверное, все, кого когда-либо лечил Мойер, и все поклонники Мойера-пианиста — он был очень популярен и почитаем в городе, и много военных. И немало тех, кто ещё не видел знаменитого русского поэта, но прослышал, что он будет на этом бракосочетании. Были, наверное, и такие, кто что-то ведал про какую-то сложнейшую историю, связывающую его с этим бракосочетанием. Недавние скандалы Воейкова тоже ведь были достоянием всего города.

В сплошь белом подвенечном наряде, с венчиком флёрдоранжа на голове, Маша была так прекрасна, что он старался как можно меньше смотреть на неё. Она напоминала ему лики святых подвижниц на иконах, которые тоже украшают по окладам венчиками флёрдоранжа с белыми цветочками и нежно-зелёными листочками. И ещё он заметил — стоял сбоку и совсем близко, — что она слушает священника, смотрит на него, взглядывает на жениха, но вряд ли видит их, лицо застылое, глаза отсутствуют — напряжённо смотрят в себя.

А долговязый дюжий Мойер в строгом чёрном фраке просто лучился счастьем в золотисто-сизоватом трепетном свечении вокруг. Стёкла его очков временами ослепительно вспыхивали — это когда он чуть поворачивался и чуть наклонялся, чтобы ещё и ещё раз удостовериться, что белое дивное

диво во флёрдоранже по-прежнему рядом с ним, плечом к плечу, и это теперь его законная, венчанная Богом жена.

— Слава Богу! Слава Богу! — думал Жуковский, наблюдая Иоганна. — Он любит её по-настоящему, он железный и душевный — ей будет с ним хорошо, он никогда её не ранит, не обидит — это определённо. У них будет своя жизнь... Будет... Своя...

В минувшем году Мойер впервые в жизни дал несколько больших платных концертов, ездил с ними в Ревель, добавил к заработанному свои сбережения и купил двухэтажный отличный дом, заново его обставил и только в столовую перевёз целиком столовую из дома отца. Там, в бывшем пасторском доме, осталась младшая замужняя сестра Иоганна Грета, которая без сожаления рассталась со старинным длинным тёмным дубовым столом, покрытым выбоинами и зазубринами и отполированным по краям до блеска. Этот стол никогда не покрывался скатертью. Дюжина стульев вокруг тоже были дубовыми — тёмные, грубые, в бесчисленных ранах, с очень высокими спинками и, как и стол, необычайно прочные. На стене у пастора по центру стола висело большое резное, тоже тёмное распятие, сын и его тоже перевёз и повесил так же. Окна столовой выходили на север, и даже когда не были задернуты тяжёлыми зелёноватыми шторами, в дни без солнца сообщали столовой сумеречный вид. Маша, войдя в неё впервые, пришла в полный восторг, сказала, что на неё тут дохнуло седой рыцарской стариной, трубадурами и миннезингерами, духом Жуковского, и отныне она будет есть только здесь, и угощать Василия Андреевича тоже только здесь.

Мойер был очень рад, что ей понравилась эта простота, что она так близка Жуковскому, а он сохранил обстановку, дорогую и любимому отцу, и ему самому.

Хозяйствовала в новом доме пережившая вместе с ним старшая вдовая бездетная сестра Герда, похожая на него и ростом, и удлинённым лицом с тяжёлым подбородком, только она была грузная и уж совсем немногословная. Случалось, за целый день слова не вымолвит, лишь кивает, здороваясь да в знак согласия. И, как у брата, у неё был свой редчайший талант: готовила так вкусно, изобретательно и разнообразно, что раз отведав любое её блюдо, буквально все старались поест у неё за длинным столом еще и еще раз, сколько удастся. Маша тоже, конечно, мгновенно влюбилась в ее еду и сразу же попросила научить и её каким-нибудь кулинарным чудесам.

Жуковский навещал их вечерами через день-два. Мойер был само радушие. О Маше и говорить нечего, будто бы ничего и не изменилось: он читал только что написанное, обсуждали, Иоганн музицировал, строили планы, как по весне поедут втроем в Муратово, половина которого отошла теперь Маше, как заживут там.

Часто бывали гости, веселились. О пережитых драмах никто не вспоминал — так всё наладилось, получало. И вдруг он обнаружил, что после свадьбы у него с Машей не было ни одного разговора наедине. За два с лишним месяца ни одного разговора, как прежде. Даже глазами почти не говорили. Лишь спросит мельком: “Как ты?” — “Хорошо! Прекрасно! Я всем довольна”, — спокойно отвечали её глаза. И если прежде она почти всегда всё своё внимание уделяла ему, то теперь — в основном мужу; они постоянно выразительно переглядывались, касались друг друга, перешёптывались, вместе входили и уходили из гостиной. То есть она уже отдалась от него и продолжала ощущимо отдаляться, и никакого огня к себе в душе её он уже не чувствовал, не видел. А к Мойеру видел, чувствовал. И страдал. Хотя понимал, что это глупо, что только так и должно быть, что именно такого брака он ей и желал. Удачного! Счастливого! Получилось. Чего ж он рвёт себе душу? Радоваться должен! Радоваться, что Мойер действительно настоящий, а он стремительно превращается в третьего лишнего, в только мешающего им попутчика. Душу охватывала холодная тоска. И страх. Не мог он себе представить, как будет без неё.

И продолжал с ними детально обсуждать, когда они должны выехать в Муратово, что необходимо не забыть взять, кого пригласят летом, хорошо бы пробыть там до самой осени.

“Старое всё миновалось, а новое никуда не годится, — писал он Тургеневу, — душа как будто деревянная. Что из меня будет, не знаю. А часто, часто хотелось и совсем не быть. Поэзия молчит. Для неё ещё нет у меня души. Прошлая вся истрепалась, а новой я ещё не нашёл. Мькаюсь...”

Но в Дерпт вдруг приехал бывший здешний профессор русской словесности Григорий Андреевич Глинка. В восемьсот десятом году он был приглашён двором на должность помощника воспитателя великих князей Михаила и Николая Павловичей и с тех пор жил в Петербурге. А теперь Николай Павлович вырос, собрался жениться на дочери прусского короля Фредерике-Луизе-Шарлотте-Вильгельмине, а та не знала русского языка, её нужно было учить, и Григорию Андреевичу Глинке предложили стать её учителем. А его, ещё не старую, но тучного и медлительного, одолевали болезни, он собрался в Европу лечиться на водах, и его согласились отпустить лишь при условии, что он найдёт себе достойную замену. И он явился в Дерпт — специально к Жуковскому.

“Сделал мне от себя следующее предложение, — писал Жуковский Тургеневу. — Для принцессы Шарлотты нужен учитель русского языка. Место это предлагают ему с 3000 жалованья от Государя и 2000 от Великого Князя, с квартирою во дворце Великого Князя... Занятие один час каждый день. Остальное время свободное... Обязанность моя соединена будет с совершенною независимостью. Это главное... Это не работа наёмника, а занятие благородное... Здесь много пищи для энтузиазма, для авторского таланта”.

Глинка, разумеется, согласовал своё “предложение от себя” с кем следовало. Жуковский хорошо это понимал, как понимал и то, что, как ни крути, а это всё равно служба, закабаление, да в самых-самых верхах, а стало быть, самая страшная, чреватая Бог знает чем. А с другой стороны, она отвлечёт, уведёт его из Дерпта, от неё, может быть, вылечит, спасёт... Хотя он несколько не хотел спастись, лечиться, отвлекаться, он хотел, очень, очень хотел ехать с ними на всё лето в Муратово, и уже почти приглядел себе домик в Дерпте...

Терзался долго. Глинка приехал в начале апреля, при голых деревьях, а решился Жуковский и дал, наконец, согласие в середине мая, когда вокруг всё было зелено.

Маша испуганно-удивлённо спрашивала:

— Зачем тебе это?

— Интересно. Хочу попробовать. Ты сама говорила, что у меня прирожденный учительский дар.

— Зачем это теперь?

— Тургенев и Карамзин советуют...

## 21

Заниматься с Александрой Федоровной начал, как и было намечено, в Москве, двадцать второго ноября. И первое время он не раз с грустной иронией вспоминал слова уговаривавшего его в Дерпте Григория Андреевича Глинки: “Занятия один час в день, остальное время свободное, и полная независимость”. Да, занятия редко длились более часа, её время было строго расписано. И независимость в преподавании ему предоставили полнейшую. А вот свободного времени фактически не оставалось никакого. Потому что он хотел научить её говорить по-русски без акцента и писать грамотно, и придумал невиданные таблицы основных русских звукосочетаний, слов и букв, сравнивая их с похожими в её родном немецком, итальянском и французском, которые она тоже знала. Сам рисовал множество таких таблиц, раскрашивал их. Смотри — и повторяй вслух. К каждому занятию ещё и готовился, составлял план, переводил любимые ею стихи немецких поэтов на русский, и она заучивала их наизусть. Ему нравилась эта работа, он испытывал на занятиях те же радостные чувства, какие испытывал когда-то, занимаясь с Машей, Сашей, другими бунинскими девочками, потом с маленькими кириятами, — в учении было глубокое внутреннее родство с поэзией, с её целью, задачами.

Но общее положение, в котором он оказался, категорически не нравилось ему, было тяжело, порой просто невыносимо, ибо при царствующей фамилии он попал в среду самых к ней приближённых, причём его ученица и её супруг благоволили к нему, и государь с государыней благоволили знаменитому поэту, и императрица-мать, а следом за ними, разумеется, и вся знать, весь высший свет стремились выразить ему своё почтение и расположение. И в Москве, где, по случаю пребывания двора, буквально каждый день устраивались торжественные молебны, приёмы, церемонии, собрания, балы, представления, обеды, ужины, катания, гуляния, его вообще чуть ли не рвали на части: до дюжины приглашений выпадало на иные дни. И на многие невозможно было не откликнуться; приходилось и танцевать, и развлекать сановных львиц и львов стихотворными экспромтами и остротами, вести утончённые и пустые великосветские разговоры, ухаживать за записными придворными и московскими красавицами и делать всё иное праздное и пустое, что делается на любом светском приёме и бале. Приучал себя не возмущаться всем этим, терпеть, сохранять свою обычную непосредственность, доброту, достоинство, весёлость. Иногда это требовало больших усилий, но он привыкал, медленно, медленно, но втягивался в сей водоворот, всё спокойней вращался в свете, проводил ночи без сна на вечерах и балах и, в конце концов, летом был даже доволен, что нырнул в этот омут и закрутился в нём, потому что если бы не нырнул и не закрутился, то по сей день так и жил бы там, рядом с ней, с ними, и она бы всё отдалялась и отдалялась от него, и что бы из такого существования вышло, трудно даже представить, какие мучения. Поэзия-то ушла уже там и не возвращается, хотя он и пробовал много раз, насильно заставляя себя писать. Но разве так работают! Ему бы тоже отдалиться от неё душой, нет, душой невозможно, хотя бы мыслями, хотя бы не чувствовать постоянно, что она есть, пусть далеко, но... душой она не с ним, не с ним, она отдалилась и отдаляется катастрофически. Сердце сжимала тоска, боязнь жуткого одиночества.

Осенью писал Авдотье Петровне: “Пока не кончу начатых давно своих грамматических таблиц, которые скоро кончатся, — тогда гора свалится с плеч, я опять сделаюсь поэтом, вырвавшись из этих таблиц, как из клетки, скажу друзьям и поэзии: я ваш снова! — И дальше через три строки: — Не думайте, чтобы настоящее было дурно; я им доволен... В моём нынешнем положении много жизни, и я нахожу его часто прекрасным, точно по мне (эти слова подчеркнул). Одним словом, вообще не желаю перемены; и воспоминание прошедшего не иное что, как сон”.

...Письма от Маши приходили всё реже, становились всё равнодушной, холодней. По два, по три месяца не было ничего. Он-то писал часто, но... не отсылал, потому что никак не мог удержаться — начинал жаловаться на накатывавшее жуткое одиночество, на замолкшую музу, на Машину холодность. Напишет, представит, как это растравит её душу, какую причинит боль, и станет ему стыдно самого себя. Приходилось сообщать только житейское.

Он затевал с ней прежние безмолвные разговоры. Иногда они получались про самое важное, иногда она была в нём, но, почти как в письмах, какая-то невнятная, не отвечала на вопросы, он пугался этого ощущения, не мог его понять, терзался ещё сильнее. Что с ней? Что?

## 22

Дождь лил такой сильный, что пока добежал от кареты до двери их дома, изрядно вымок, хорошо ещё, что навес был большой, уже не поливало. Стучал долго, явно не слышали из-за дождя — тот прямо гудел. Стоял в нетерпении, отряхивался. Наконец, открыла горничная, ойкнула, кланяясь, приняла мокрую крылатку и шляпу и, приговаривая: “Сейчас, сейчас!” — убежала по лестнице наверх. В прихожей было темно, и он, озираясь, привикал к этой темноте, когда сверху с грохотом буквально слетела, скатилась Маша, оказалась на его груди, прижалась сильно, сильно, обхватив руками, и он тоже обхватил её, задирая кверху всё ещё мокрое лицо, чтобы не на-

мочить её. Впервые в жизни так крепко, страстно они обнялись. И она бормотала:

— Ты! Ты! Ты! Какое счастье! Здравствуй!

И он бормотал:

— Здравствуй! Здравствуй!

— Господи! Господи! Жуковский! Я не могу больше так! — продолжала она срывающимся голосом, негромко.

— Как?

— Без тебя!

— Без меня?!

— Без тебя! Без тебя! Не могу больше!

— Ты так давно не писала. Я испугался.

— Я писала, но драла письма. Мне было стыдно мучить тебя своими мучениями. Мне так плохо без тебя, так одиноко!

— И мне. До жути...

Они, наконец, отстранились друг от друга, но держались за руки, напряжённо вглядываясь в лица друг друга, но мало что различая в темноте прихожей.

— Пойдём отсюда!

Поднялись вверх в гостиную, там из-за ливня было тоже сумеречно, но каждый всё-таки разглядел другого и оценил, что с ним произошло за полтора года, которые они не виделись. Она похудела, потускнела, потухла, потухли, прежде всего, её распахнутые дивные глаза, в них стояла боль, мучение, и по мере разговора они начали вдруг кричать: “Жуковский! Спаси меня!” — “Как? Как?” — вопрошал он в ответ.

— Я старалась отдалиться от тебя, чтобы тебе было не так больно без меня. Старалась уйти в новую жизнь, я уже принимала роды.

— И я старался уйти, отдалиться...

— Вот видишь, у нас даже слово одно и то же — душа-то одна. Я поняла: у нас единая душа, и разорвать её невозможно.

— Единая душа?

Он никогда об этом не думал, а сейчас мгновенно понял, что так оно и есть, только он называл это любовью, но любят-то душой.

— Душа-то моя всегда с тобой.

— А моя — с тобой.

— Вот видишь! Зачем же нам мучить друг друга?

— А Мойер?

— Мойер — святой! Он всё знает. Знает про мою душу, и про твою, ты сам писал ему в послании своём. Знает, что всё продолжается. Мы говорили с ним об этом.

— И что?

— Он тоже любит меня. И мы венчаны Богом...

Он не ожидал такой встречи и таких слов, приготовился совсем к другому и к другой Маше, а она была его прежней Машей. Ошеломлённый, потрясённый, в первые минуты он даже не осознавал, что происходит, а когда осознал, возликовал невероятно и, несмотря на её кричащие о спасении глаза, утонул в радости, растёкся в счастливой улыбке, и она поразилась этой улыбке, удивлённо вытаращилась на него, но через мгновение уже поняла, чему он, и тоже вспыхнула, засияла радостью, перекрестила его, потом себя.

— Господи, какое счастье — ты приехал! Какой ты молодец! — Рассмеялась. — А я-то! Не переоделся, не умылся. Голодный.

Они и не заметили, как ливень на воле слабел, всё слабел и, наконец, прекратился. Увидели это, только когда стало светло и появилось предзакатное солнце, и за окнами всё стояло умытое, посвежевшее, поярчавшее: и дома, и красные черепичные крыши, и тёмные голые деревья. Настроение обоих росло и росло. Она вместе с Гердой вкусно накормили его, устраивали ему спальню и близости небольшой кабинет, чтобы он мог поработать, пусть всего и одну-две недели. Как ему без кабинета! Говорили без умолку — и она, и он — о многом, многом, что случилось, что накопилось, что переживалось, что передумалось за прошедшие полтора года отдаления. И он,



как и прежде, удивлялся и восхищался тем, что они оба могут говорить друг с другом бесконечно, и всё всегда будет интересно и важно, потому что у неё на всё свой, удивительно светлый взгляд и даже вроде бы сущие пустяки — и те выглядят у неё значительными и достойными внимания.

Такая теплота разливалась в груди от общения с ней, будто само предвечернее солнце вливалось в грудь, в голову, во всё его существо. Видел он, что и она испытывает то же самое — так же полна солнцем.

Мойер тоже сильно обрадовался его приезду и сетовал, что занятия с великой княжной так крепко привязали его к Петербургу. А когда остались ненадолго наедине, с тревогой сообщил:

— Маше бывает очень плохо... без вас.

— Я обещаю приезжать.

— Спасибо! Вы понимаете меня?

Они рассказывали ему о Воейковых и о матушке. Он знал, что в прошлом году Саша родила вторую девочку, описывали, какая она. Какова нынче Саша. Матушка чувствует себя неважно, болела. Воейков по разным причинам перессорился со многими профессорами, носил скупщику серебряные оклады с икон (профессор — скупщику!), а оказалось, что эти оклады — с фамильных икон Екатерины Афанасьевны. Разразился скандал, который стал достоянием общества и университетского начальства. Кое-как замяли.

Жуковский пробыл в Дерпте почти три недели. Город на глазах одевался в легкую нежную зелень. Появились ландыши, дом наполнился их густым волнующим ароматом. Маша очень любила их, и он любил, и Саша. Он носил белоснежные трогательные букетики и той, и другой. Бывал у Воейковых несколько раз, а матушка и Саша у них — дважды, без главы семейства, разумеется. Маша и Мойер не желали его видеть. Воейков же встречал Жуковского совсем как в лучшие их времена, охотно делился планами, раздумьями, ругал неудержимость своего характера, ни на кого не жаловался, рассуждал о том, что, видимо, преподавание всё-таки не его стезя, остыл он к профессорству, остыл, тянет только писать, переводить, редактировать, издавать: родился он литератором и чувствует это всё определённой. Жуковский понял, на что намекает его “бывший друг” — ищет поддержки. Однако продолжения этой темы не было.

С Машей за эти три недели если и расставались, то не больше, чем на три-пять часов в день, остальное время или вместе, или были рядом в её доме или ещё в чём-нибудь. И говорили о чём-либо или молчали, и был или не был при этом Мойер, она всё время оставалась прежней, его Машей, необычайно чуткой, необычайно чувствующей каждое движение его души, каждое его слово, взгляд, вздох, настроение.

Прежде, когда он добивался её, хотел в жены, он, конечно, хотел обладать ею целиком, безумно хотел, даже представлял, как это произойдёт, как будет, и что это будет за наслаждение, но даже и тогда всё это не было главным — главным был её свет и дух, свет и дух, желание, стремление, чтобы они, прежде всего, они были с ним, в нём, всегда с ним и в нём. И вот сейчас они были, они наполняли его до краёв — её свет и её дух. И никакая плотская близость не была нужна, он ни разу даже и не подумал о ней. И о недавнем жутком одиночестве ни разу не вспомнил. Потому что никогда не был так счастлив, как в эти недели.

— Что же сделаешь, когда всё так сложилось! — сказала она при расставании. — Располагай собой, как угодно, но помни: моя душа всегда твоя, с тобой, в тебе — они едины. Мойер только следом...

## 23

...Рождество обещал встречать с ними и двадцать пятого декабря снова вошёл в их дом. Но там стояла тревожная тишина и сильно пахло лекарствами. Тяжко болел Мойер. “Простудная горячка”, — объяснил его друг, толстый круглоголовый доктор Эрдман, который уже несколько дней не отходил от его постели. Мойер горел как в огне, грудь его шумно вздымалась и опускалась, словно кузнечный мех, сознание было затуманено. Эрдман опа-

сая, что такого жара может не выдержать сердце, то и дело менял на лбу и груди больного холодные компрессы, прикладывал к ним сверху лёд, ложками вливал в рот Мойера с потрескавшимися, сероватыми губами какие-то микстуры. Маша и Герда всё время помогали ему. Приехавшему Жуковскому позволили только глянуть на Мойера из двери. Однако через четыре дня жар, наконец, спал, а всего Иоганн маялся уже вторую неделю. На пятый день сильно похудевший, посеревший, обессиленный Мойер слабо улыбнулся, и Эрдман разрешил Жуковскому пообщаться с ним. А тот, оказывается, ещё и голос потерял — мог только с трудом прошептать одно-два слова. Виногато показывал при этом на своё горло. Жуковский решил развлечь его: стал рассказывать столичные придворные новости, выбирая, разумеется, самые веселые. На другой день Мойеру стало ещё лучше, рассказы продолжились. Маша и Эрдман тоже слушали. Вспомнил и о прогулке при луне с императрицей Марией Фёдоровной, и о написанной по её просьбе поэме.

— Фрейлины и кавалерственные дамы наперебой просят что-нибудь написать в их альбомы. Я сначала возмущался: я, мол, серьёзный поэт — как можно! А оказалось, это не так-то просто — писать альбомные барочные стихи.

— Ты пишешь? — насторожилась Маша.

— Представь себе! Стараюсь, конечно, делать это достойно.

— И написал императрице про луну?!

Смотрела на него удивлённо, потом возмущённо.

— И ещё написал поэму “Платок графини Самойловой”.

— Фрейлине?! Написал? Ты! Жуковский! Великий Жуковский! Это же пустой салон! Придворные вирши! Зачем? Я потрясена!..

Мойер испуганно смотрел на жену. Эрдман тоже.

Жуковский улыбался.

— Представь себе, не только уже слышал подобное, но даже и читал в журналах о себе. Однако послушай сначала чуть-чуть про эту мою луну и белую ночь.

Она кивнула.

*Изгнанница-луна теперь на вышину  
Восходит нехотя, одним звездам блистает;  
И величаяся прозрачностью ночей  
Неблагодарная земля её лучей  
Совсем не замечает...*

Читал негромко, медленно, без нажима, словно рассказывая, а она с каждым мгновением светлела, глаза загорались. И Мойер слушал с удовольствием. А Эрдман весь напрягся, стараясь уловить смысл этих красивых, напевных, ритмичных стихов — он плохо знал русский, говорил на нём с трудом.

— Великолепно! — выпалила Маша. — Если и остальное таково...

— Я снова начал писать. Понимаешь, снова начал писать! Потом почти ещё.

— Ча-ас! Ча-ас! — сипло прошептал вдруг Мойер, протягивая к Василию руки.

— Сейчас? — и обращаясь к Эрдману: — А его не утомит это?

— Наоборот — очень полезно.

— Хорошо!

*О гений мой, побудь ещё со мною;  
Бывальый друг, отлётом не спеши,  
Останься, будь мне жизнью земною;  
Будь Ангелом — хранителем души.*

Маша сидела в глубокой задумчивости, потом медленно поднялась, подошла к нему, приобняла и благодарно поцеловала в щеку. А Мойер отвернулся, чтобы скрыть заволокшие глаза слёзы.

В марте Маша написала Дуняше:

“Знаешь ли ты, что у меня в пузе шевелится маленькое творение, которое просит твоего благословения и части той нежной любви, которую та делала его мать так счастливо”.

Сообщила, что понесла, и Жуковскому, и он, неожиданно для себя, очень обрадовался, стал гадать, кто будет — мальчик или девочка, — и кого он бы хотел больше, и так и не решил, кого, и стал думать, как она, при её-то не больно крепком здоровье, перенесёт беременность; только бы не болела, не маялась, как многие, первенцем-то, надо, чтобы береглась, не заразилась бы чем, Мойер ведь с разными заразными возится, принесёт что-нибудь — надо очень беречься! И хотя сознавал, что Мойер разбирается в этих делах в тысячу раз лучше, чем он, да и она сама наверняка думает о себе, однако обо всех своих опасениях написал ей, и попутал, и умолял беречься как можно старательней.

“...Ты всё говоришь: беды, несчастье, необычайное и проч., — писала она в ответ. — Дурак мой! Разве мы не одно понятие имеем о будущей жизни? Там для нас всё, а здесь такое чрезвычайное счастье, как моё теперешнее, должно казаться феноменом и должно пугать, т. е. пугать тем, что не перенесёшь его достойным образом. Я из трусости желаю смерти... За младенца моего чего бояться? Ты и его душу возьмёшь на свои руки так же, как взял некогда душу матери; а если это единственное желание об его будущем исполнится, то не могу ли я смело возвратиться к Тому, Кто мне дал столько счастья. Друг мой, я сделала расчёт свой, как ты приказываешь, и вот резюме: что бы со мной ни было, всё будет счастье в этой жизни.

Обнимаю тебя, мой брат, друг, дедушка, сокровище, всё, что есть прелестного и великого на свете. Благослови мое дитя!”

## 25

Кабинет в квартире Жуковского в одном из флигелей Аничкова дворца был такой огромный, что Александр Пушкин, впервые войдя и обзрев его, рысцой пробежал от двери в дальний угол, присел там сбоку дивана, приложил руки рупором ко рту, прокричал “Ау-у-у!”, и кабинет ответил эхом. Александр звонко, залиvisto засмеялся и ахнул ещё раз.

— Полагаю, человек сто сюда войдёт. Войдёт, Василий Андреевич?

Жуковский улыбнулся.

Александр Тургенев, как всегда, тяжело пыхтя, уже устроился на ближайшем к двери диване — их было несколько у стен — и, глядя на Пушкина, тихонько посмеивался. Последнее время он был восторженно влюблён в молодого поэта, часто сопровождал его и всячески опекал.

А тот уже мерял кабинет широкими шагами, наслаждаясь простором, и попутно, как всегда, быстро оглядывая книги в двух высоких шкафах у стен, висевшие картины, беломраморный камин, мраморные же небольшие бюсты на нём — Гомера, Данта и Александра I, большущее бюро, стоявшее у среднего из трёх окон поперёк кабинета. Окна выходили на Фонтанку, по которой ещё два дня назад проплывали истаявшие серые льдинки и обильный мусор, а теперь темно-синяя бурливая вода поднялась почти вровень с берегами, и вот опять закапал крупный дождь, побежал струями по оконным стеклам — значит, Фонтанка поднимется ещё и может затопить набережные, лодки уже тычутся, стучат о деревянные настилы.

Шла вторая половина марта.

— Когда я тоже стану знаменитым, заведу себе точно такой кабинет. Можно, Василий Андреевич?

— Необходимо!

— Чтобы входил весь цвет художественного Петербурга, и все бы нахваливали меня, восторгались бы мной и славили, славили!

— Завидую загодя. Меня, случается, и поругивают.

— Негодяи! Жалкие завистники! Причина только в этом.

Чёрные глаза Пушкина озорно блеснули. Он ни секунды не оставался в покое, двигался, гримасничал, даже чёрные его кудри — и те всё время мотались, подрагивали.

— Ой! — вскричал он, приблизившись к бюро. — Какой восхитительный ваш портрет! Как похож! Подарите, пожалуйста! Я давно мечтаю иметь ваш портрет. Умоляю!

Жуковский накануне привёз пятьдесят оттисков своего литографированного портрета, сделанного художником Эстеррейхом. Портрет действительно получился отличный: он был на нём красив, легонько, обворожительно улыбался; пышные волнистые волосы, выразительные глаза под чёрными бровями вразлёт, отцовский прямой аристократический нос — единственное, что он унаследовал от Бунина.

— Ну-ка, ну-ка, покажи и мне! — приподнялся с дивана Тургенев. — В самом деле, хорош. Будь я женщиной, а лучше — девушкой, без памяти бы влюбился в один этот портрет. С приложением стихов, конечно.

Пушкин уже стоял перед Жуковским с умоляюще сложенными руками.

— Предлагаю мен: вы мне — портрет, я — пятую песнь.

— Не продешевить бы! Что, если песнь так себе? Как самому-то кажется — ничего?

— По весу большая, целых двадцать страниц. Портрет перетянет.

— Дай подумаю!..

Речь шла о только что завершённой и привезённой для чтения пятой песни первой большой поэмы Пушкина “Руслан и Людмила”. Четвёртую песню он вместе с Тургеневым тоже привозил и читал Жуковскому первому минувшей осенью ещё на прежней квартире, где жительствова­вал с Плещеевым.

На портрете, который Пушкин отложил для себя, Жуковский написал внизу мелко: “Победителю-ученику от побежденного учителя — в тот высокопраздничный день, в который он окончил свою поэму “Руслан и Людмила”. 1820, марта 26, Великая пятница”.

## 26

...Сам Воейков объяснял свою отставку тем, что столкнулся в Дерпте с врождённой ненавистью проклятых париковых немцев к русским, особенно к русским патриотам, к коим он имел честь принадлежать. Они плели интриги против него все годы, клеветали и клеветали, а в начале этого года был назначен новый попечитель университета князь Ливен, и подлецы-немцы оболгали и обнесли его так, что он как благородный человек вынужден был немедленно подать прошение об...

Появился он в Петербурге сначала один. Просил Жуковского, Тургенева и кое-кого ещё подыскать ему место для службы, без коей существовать большому семейству было невозможно. Причём без всякого стеснения высказал сокровенное желание стать, ни много ни мало, инспектором или директором Царскосельского Лицея. “Считаешь, что справишься?” — спросили его. “Убежден!”. Однако хлопотать не стали. Тургенев предложил ему в своём Департаменте духовных дел должность чиновника особых поручений. А Жуковский уговорил журналиста и педагога Николая Ивановича Греча, и тот выхлопотал ему место инспектора классов артиллерийского училища и, кроме того, поручил в своём журнале “Сын Отечества” вести отдел критики и обозрения журналов. Последнему Воейков обрадовался больше всего.

Подыскивал он и подходящую квартиру семейству, которое оставалось пока в Дерпте.

И вдруг через тамошних знакомых Жуковскому стало известно, как на самом деле он ушёл в отставку. При вступлении в должность нового попечителя каждый профессор университета обязан был лично представляться ему, и тот имел с ним беседу, короткую или длинную, в зависимости от личности. Когда очередь дошла до Воейкова, он, как все, парадно одетый, распрямился, чтобы не сильно бросалась в глаза его сутулость, и шагнул за дверь, а всего через пару минут буквально выскочил оттуда, обсыпанный бумагами, а следом за ним вылетел взбешённый невысокий худенький князь Карл Андреевич

Ливен, кидая вслед Воейкову ещё бумаги и крича срывающимся голосом: — Вон! Вон! Чтобы я больше никогда вас не видел! Немедленно в отставку! — И оглядев ожидавших в приёмной очереди профессоров, так же возмущённо выкрикнул: — Господа, этот негодяй писал на всех вас доносы! На всех! С изложением всех ваших страстей, тайн и образа мыслей. Вы видели, я швырнул их ему в лицо!

Безумно жалко стало Сашу, матушку. Воейкову о том, что узнал, не сказал — не имело смысла: будет врать, изворачиваться. Но здесь-то ратовали за него, а что он выкинет ещё, ведомо только Богу или Сатане. Опять выходило одно: постоянный надзор, присмотр, постоянно чтобы был рядом. Только если жить рядом, вместе. И Саше будет лучше, и Афанасьевне. Сказал об этом Воейкову. Тот возликовал:

— Так мне искать? Или ты сам?

— Сдаётся пол-этажа в доме Меньшикова, как раз напротив Аничкова дворца, мне только мост перейти. Побывай, посмотри!

Апартаменты понравились. Воейков поехал за семейством, но удивительно долго не возвращался.

Если бы Жуковский знал, почему: почтовая контора Дерпта отказала ему в лошадях. Он задолжал в городе столько и столько, что кредиторы сговорились и потребовали от ямской службы не выпускать его из Дерпта. Он очень многое скрывал всегда от Саши. Она была единственным человеком, которому он старался не доставлять неприятностей; по-прежнему временами, как писал в своём “Послании”, молился на неё как на своего Ангела-спасителя. Это был единственный ясный свет и отдушина в его жизни. Саша понимала это и многое ему прощала, но, как он ни таил от неё свои безобразия, отголоски-то всё равно долетали, терзали её, она часто заболела. Когда он сказал, наконец, что их не выпустят из города, пока он не рассчитается с крупными долгами, она мигом поняла, чего он хочет. У него в Москве был состоятельный брат, но он никогда не дал бы ему займы денег — знал слишком хорошо. А если попросит Саша — даст.

И она ездила в Москву, просила, и привезла деньги — и они приехали в Петербург.

Друзьям и знакомым было, конечно, интересно посмотреть, ради чего и на что променял Жуковский роскошную казённую квартиру в таком великоленном дворце. Они ещё только устраивались в Меньшиковском доме, а визитёры уже шли чередой. Многие, никогда не видевшие “его легендарную Светлану”, только ради этого и навевывались. И она как хозяйка дома первой их и встречала. И ошеломляла.

А Тургенева он сам привёз. Тот тоже прежде её не видел. Тургенев вошёл в гостиную, поклонился, поцеловал у неё руку, сказал, что вот, наконец, сподобился увидеть воочию легендарную жуковскую Светлану, очень счастлив сему, и, по своему обыкновению, начал пятиться широким задом к ближайшему дивану. Но на полпути неожиданно замер, ибо теперь только разглядел как следует, до чего она ангельски бесподобна в своем изящном голубом платье с синим прозрачным шарфом на точёных открытых плечах, с потрясающе большими синими глазами, пышными золотистыми волосами. Он оторопело постоял, снова приблизился к ней, заговорил. И в этот вечер совсем не лежал на диванах. Держался всё время возле нее. И не поглощал за ужином всё подряд.

А через день пожаловал без приглашения и завёл при ней разговор о том, что при её красоте и обаянии, при таком муже-поэте и поэте Жуковском, она могла бы стать хозяйкой блестящего литературного салона, которому не будет равных в Петербурге. Жуковский сам думал занять Сашу именно так, и был очень рад, что они подумали с Александром так заедино. Воейков, конечно, горячо поддержал идею. С удовольствием обсудили её.

## 27

...Жуковский поехал в Германию, и, разумеется, через Дерпт.

Маша двадцать седьмого сентября сообщила Авдотье Петровне: “Жуковский спит под моей горницей. Он пробудет только до 3 октября”.

А он, как только вошёл и скинул крылатку, внимательно осмотрел её выпуклый круглый живот, лицо — и обрадованно заулыбался, обнял её.

— Ты очень похорошела! Как себя чувствуешь?

— Прекрасно!

Она действительно внешне похорошела, чутьчку пополнела, налилась живительными соками, порозовившими её прежде бледноватое лицо. Он все дни любовался ею, радовался, что она полна сил, бодра, весела...

\* \* \*

В Швейцарию из Берлина ему переслали долгожданное письмо Маши: “Милый ангел! Какая у меня дочь! Что бы дала я, чтоб положить её на твои руки!”

Вздыхнул с великим облегчением. Ведь столько месяцев жил в затаённом страхе за Машу. Слава Богу, что всё обошлось, что она и малышка здоровы.

В декабре был снова в Берлине при великокняжеской чете. Чета стала собираться домой, а он каждую свободную минуту отдавал “Шильонскому узнику” — рассказу Бонивара.

*И виделось, как в тяжком сне,  
Всё бледным, тёмным, тусклым мне;  
Всё в мутную слилось тень.  
То не было ни ночь, ни день,  
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,  
Столь ненавистный для очей,  
То было тьма без темноты...*

В начале января двинулся в обратный путь. Туда с ним был всего две поклажи с бельём и верхним платьем, а теперь — целых семь, три из коих — громоздкие ящики с купленными небольшими мраморными бюстами великих мыслителей и поэтов и картинами берлинского художника, романтика-символиста, очень созвучного по мотивам и настроениям поэзии Жуковского Каспара Давида Фридриха. Они крепко сошлись и подружались в Берлине. И ещё с ним был довольно большой, очень тяжёлый кожаный саквояж, который он постоянно держал рядом в карете, а выходя из неё, носил с собой. Саквояж был до отказа забит альбомами с его рисунками и толстыми тетрадами в кожаных переплётах с его многочисленными записями, с почти завершённым “Шильонским узником”, с набросками новых задумок, с подробными планами некоторых из них — их были десятки.

...Временами завывающие снежные заряды налетали на возок так, что он сильно кренился влево — вот-вот упадет, но, слава Богу, всё же не падал, полз и полз сквозь лютую пургу, только в нём становилось всё холоднее. Как продувался — непонятно, не было ни единой щелочки. Ноги закоченели давно, коченели и руки в специально для таких случаев припасённых вязаных шерстяных рукавицах, мерзли и уши, и нос, хотя высокий пушистый воротник енотовой шубы был поднят, и он прижимал к нему то одно ухо, то другое, то нос. Крошечные, залепленные снегом окошки возка еле светились, хотя шёл лишь второй час пополудни. Мысли, казалось, тоже замерзали, еле шевелились в этой ледяной полумгле.

“К чему бы это? Уж не случилось ли чего, что так лютует?!”

У их дома остановился часа через два уже в полной круговерти и темноте.

И, как уже было однажды, встал в прихожей у двери, стряхивая с себя снег, разоблачаясь и отогреваясь, а все Мойеры тем временем сбегались туда с восторженными приветствиями и восклицаниями, и последней наверху показалась Маша со спелёнутой дочкой на руках, а он подышал на свои, отошедшие от мороза руки, и дальше всё пошло так, как он уже представлял себе: широко перекрестил дитя и мать, сказал: “Благословляю! И беру на себя!” — протянул обе руки и принял Катюшку, глазёнки у которой оказались

синенькие и кругленькие, и она подвигала пухлыми губёчками так, что его охватило жарким счастьем, он восторженно и глупо заулыбался, переводя взгляд с неё на мать, на Мойера, на всех остальных. Маша сияла. И Иоганн сиял. И остальные в прихожей. Он поцеловал девчущку в лобик, погладил тугие щёчки и вернул матери, та прижала её к себе *столбиком*, девочка засмеялась, разулыбалась, и Маша сказала:

— Катя, я, папа и все остальные от всего сердца горячо, горячо поздравляют тебя с днём рождения! Желаем здравствовать ещё сто лет и всегда оставаться таким, каков ты есть, то есть лучшим из лучших на всем белом свете Жуковским! Ура-а-а-а! Сла-а-а-ва-а-а! Сла-а-а-ва-а-а!

И все возгласили негромко: “Ура!” и “Слава!” Катюшка разинула удивлённо рот.

## 28

Маша с мужем были тем летом в Белёве и Муратове. Позже из её писем и рассказов он узнал подробности этого пребывания.

Когда Жуковский ещё учился в Благородном пансионе, сводная сестра его Авдотья Афанасьевна Алымова подарила ему старенький дом, стоявший в Белёве неподалеку от протасовского на высоком берегу Оки. Когда он вернулся в Мишенское, дом был уже настолько ветх, что Жуковский решил построить на его месте новый. Место было уж больно божественное: дали открывались на десятки верст, летом напоенные густыми луговыми и полевыми запахами, зимой — прокалёнными, вьюжными, с завораживающей игрой воды в могучей Оке под крутыми кручами. Начал строительство, Марья Григорьевна дала своих плотников, помогала материалами и деньгами. Мечтал, как перевезёт сюда матушку, и она обретёт, наконец, собственный дом, и живут они своей семьёй, вблизи и постоянном общении со всеми родными.

Приехав в Белёв, Маша на заре пошла одна на этот крутояр над Окой. Солнце только что показалось над землёй. Над водой стлался лёгкий туман, на глазах расплывшийся в клочья, которые через мгновения исчезали. Длинные косы высоких плакучих ив легонько покачивались, тихо шелестели, будто что-то нащёптывали ей. Что? Она вспомнила, как помогала когда-то Базиллю сажать их, какие они были тогда маленькие, тоненькие. Может, они благодарили её теперь за то, что принимала она в этом участие. Долго смотрела на его дом. Ужасно хотелось зайти в него, и уже было подошла, но не решилась; там теперь помещался земский суд — пришлось бы объяснять, кто да что, да зачем?..

Потом писала Дуне:

“В этом доме пережила я лучшие часы моей жизни; каждое утро было для меня наступлением блаженства, и каждый вечер был мне лоб, потому что я засыпала в ожидании следующего утра. Солнце начинало всходить, и ветер приносил волны к моим ногам. Я молилась за Жуковского... Я окончила мои счёты с судьбой, ничего не ожидая более для себя...”

С крутояра она пошла прямо в церковь. Снова молилась за него, и вдруг упала без чувств на каменный пол.

Сердце не выдержало таких сильных воспоминаний.

Две недели лежала пластом. Поначалу Мойер с трудом прощупывал пульс. Не отходил ни на шаг, прекрасно понимая, отчего вдруг такой тяжкий приступ. И Жуковский понял, когда рассказали, и еле держался, чтобы не плакать от боли и сострадания к ней и собственного бессилия что-либо сделать, помочь, переменить.

Мойер перевёз её в Муратово.

А она уже послала ему письмо.

“Ангел мой, милый, старый мой Жуковский! Письмо твоё так меня утешило, что мне бы хотелось на коленях благодарить тебя за него... Меня довели сюда опасно больную... О, милый! Твоё письмо возвратило мне всё: и прошедшее, и потерянное в настоящем, и всю прелесть надежды... Восхождение солнца встретила я между садом и мельницей... Ты мне отдал всё, мой ангел! Теперь нет для меня горя! И в Муратове я теперь счастлива! Твоя

комната с письмом твоим в руках есть мой рай земной! Душенька, не сердись за это письмо: крепилась, крепилась, да и прорвалось, как дурная плотина, вода бушует, не остановить! Из окна большой твоей горницы виден твой холм с твоим тростником и твоя деревенька... Теперь всё в этом кладбище ожило, всё говорит: прошедшее — твоё! В Муратове опять всё — счастье!.. С каким наслаждением домолюсь тихомолком до тех пор, покуда из него вынесут!.. Тебе или, лучше сказать, в тебя я привыкла верить с тех пор, как знаю, что такое вера. Я знала, что я тебе была...”

## 29

...Маша снова собралась родить. Помятуя, как она боялась первых родов, он решил, что должен перед этим, а может быть, и в самый момент родов побыть возле неё. Предполагался март. То же самое решила сделать и Саша, причём взять с собой матушку и детей и пожить потом в Дерпте несколько месяцев, может, всё лето — их дом пустовал, ждал хозяев.

Из Петербурга выехали в огромном, раскачивающемся, словно корабль, тёплом дормезе двадцатого февраля, в Дерпт прибыли двадцать пятого.

Из писем Маши казалось, что они знают о ней и её жизни всё, а оказалось, что далеко не всё. Выглядела она неважно, пожалуй, впервые так неважно: лицо припухшее, в серо-коричневых пятнах, живот небольшой, круглый, фигуры никакой, движения замедленные. Но восхищённо перецеловала Сашиных детей, мать, Сашу, Жуковского, восхищалась, разглядывая Андриюшку, горделиво знакомила с сестрицами свою крепенькую, щекастую, белокурую, веселоглазую прелестницу Катюшку и ещё двух милых девчушек постарше: черную и рыженькую, — и белокурого, остроносого насупившегося мальчика лет пяти — это были её воспитанники. Сказала, что чувствует себя хорошо, и, несмотря на медлительность, всё время двигалась, устраивала их всех на время в своём доме — в свой Воейковы перебрались на другой день, — угощала, расспрашивала, рассказывала, что по-прежнему помогает Иоганну в лечебнице, акушерствует, устраивает у себя вечера и обеды для студентов, среди которых оказалось необычайно много талантов.

— Сами увидите.

Дети под присмотром нянь — мойеровской и воейковской — играли в гостиной. Сначала их было не слышно, но потом оттуда донеслись весёлые крики, заливиный смех, топот. Прислушались. Маша различила тоненький звенящий голосок дочки, а Саша — вскрики своей старшей. Екатерина Афанасьевна прислушивалась, недовольно хмурясь. А там всё шумней, шумней. Пошли посмотреть, что они вытворяют. Оказывается, играли в жмурки, водила с цветной повязкой на глазах как раз старшая Воейкова, Катя, а остальные, включая обеих нянь, бегали вокруг, аукали, хохотали, прятались за стулья, за рояль. Разошлись, развеселились так, что не остановились при их появлении. А они посмотрели, посмотрели от двери, порадовались за них и решили не мешать.

— Как легко сошлись! — сказала Екатерина Афанасьевна.

— Родная кровь! — улыбнулась Маша.

А через три дня она уже представляла им опекаемые ею молодые таланты: невысокого, курчавого Александра Хрипкова — художника-пейзажиста, изучавшего военные науки, большого задумчивого Петера Фреймана, изучавшего математику и сочинявшего музыку, маленьких, худеньких философов — братьев Алексея и Андрея Тютчевых, сочинявших стихи, — и рослого, большелобого, сероглазого красавца с русыми волнистыми волосами Николая Языкова.

— Он тоже на философском, — сказала Маша, — и наша гордость и надежда. Также пишет стихи, которые знает не только каждый студент, но, наоборот, уже и половина города. Есть и песни, которые вы обязательно услышите по ночам, потому что они у него все разгульные.

Языков зарделся, как красна девица, отчего стал ещё краше.

— Марья Андреевна!

Маша открыто любовалась им.



Он же, как увидел Сашу — впервые увидел! — так и не отрывал от неё своих прекрасных светло-серых восхищённых глаз.

— Николай Михайлович только в прошлом году приехал в Дерпт, — продолжала Маша, — и, по некоторым сообщениям, в Дерпте уже не осталось ни одной красивой девушки, которая хоть раз не оказывалась бы в его шумных компаниях. Я не преувеличиваю, Николай Андреевич?

Языков снова покраснел. Все улыбались, так эта застенчивость не вязалась с тем, что говорила Марья Андреевна.

Стихи сначала читали братья Тютчевы. Стихи были выпренные, корявые, скучные. Увлечённый Сашей Языков всё-таки нет-нет, да и поглядывал на Жуковского. С большим интересом поглядывал — он подметил. Наконец, нахмурился и пророкотал приятным баском:

— Теперь, выходит, моя очередь! Марья Андреевна верно меня представила: я действительно поэт радости и хмеля. Разве это предосудительно, плохо?

— Нисколько! Нисколько! — почти в один голос сказали Маша и Жуковский. — Читайте!

— Можно не целиком? Целиком не для этого собрания. Отрывки.

— Как угодно.

*Свобода, песни и вино —  
Вот что на радость нам дано,  
Вот наша Троица Святая!  
Приди сюда хоть русский царь,  
Мы от бокалов не встанем.  
Хоть громом Бог в наш стол ударь,  
Мы пировать не перестанем...*

Всё примерно в таком духе.

— Вы наслаждаетесь, когда из вас льются стихи? — спросил Жуковский.

— Да.

— И забавляетесь: усложняете и усложняете себя?

— Да.

— А ведь поэзия — вещь бездонная, необъятная, сильнее поэзии на свете нет ничего. И только подлинное погружение в её глубины даёт какой-то результат.

— У меня есть и серьёзное, — объявил Языков.

— Читайте!

*Прошли те времена, как верила Россия,  
Что головы царей не могут быть пустые  
И будто создала благая длань Творца  
Народа тысячи — для одного глупца.  
У нас свободный ум, у нас другие нравы:  
Поэзия не льстит правительству без славы,  
Для нас закон царя — не есть закон судьбы,  
Прошли те времена — и мы уж не рабы!*

Повисла тишина. Все смотрели на Жуковского: не слишком ли смело?

А ему стихотворение понравилось: всё верно, прошли те времена. Сказал об этом, похвалил Языкова, добавив, что писать нужно только о том, что тебе ближе, дорожке всего, что идёт из глубины твоей души, жжёт её, остальное всё — пустота, и никому, кроме самих ослеплённых, упоённых собой авторов, не нужно. К сожалению, подобные так называемые поэзия и проза были во все времена, и их всегда больше, чем настоящего, ныне тоже, и серьёзным людям просто нужно учиться различать одно от другого.

— Видите, даже впал в резонёрство. Старею! Извините!

К большой радости Маши и Саши, Языков его заинтересовал, они виделись наедине, подолгу разговаривали.

Дни стояли солнечные, не морозные, с мягким снежком. Они втроём ходили гулять на Домберг. Маша поднималась туда медленно, с остановками,

они уговаривали её вернуться, но она отказывалась, улыбалась и говорила, что всё нормально, ей и должно быть сейчас трудно подниматься в такую гору. Там по снежным мягким дорожкам под обсыпанными снегом деревьями ходила совсем легко, не задыхаясь. Они вспоминали прежние свои прогулки здесь. Он рассказал, как искал сверху крышу их дома. Говорили о том, как сильно изменилась их жизнь. Хвоя сосен над головами временами тихонько шуршала. От снега уже веяло предвесенней сыростью. Вспомнили о своей мечте: опять поселиться когда-нибудь всем вместе в Муратове и поблизости. Мойер совсем уже собрался в отставку, мог бы запроситься и он. Всё представлялось вполне реальным.

Короткий отпуск Жуковского кончался, родов всё не было. На восьмое марта он заказал экипаж. На поздний вечер.

Все собрались внизу проводить его, но лошадей долго не подавали. “Всех клонил сон, — писал он позже Евдокии Петровне. — Я сказал им, чтобы разошлись, что я засну сам. Маша пошла наверх с мужем. Сашу я проводил до её дома... Возвратясь, проводил Машу до её горницы; она взяла с меня слово разбудить их в минуту отъезда. И я заснул. Через полчаса всё готово у отъезду. Встаю, подхожу к её лестнице, думаю — идти ли, хотел даже не идти, но пошёл. Она спала, но мой приход её разбудил; хотела встать, но я её удержал. Мы простились; она просила, чтоб я её перекрестил, и спрятала лицо в подушку”.

Девятого к полудню у неё начались схватки, которые становились все сильнее и сильнее. Иогани помогал, как мог. Был и подлекарь Зейдлиц. Она терпела, не кричала, только всё больше белела, да временами длинно глухо стонала. Через два часа адских мучений появился, наконец, ребёнок — мёртвый мальчик. Она была в забытьи и не узнала об этом. Через полчаса примерно вдруг приоткрыла затуманенные глаза и тихо, медленно вымолвила:

— Жу-ков-ский.

Мойер решил, что она зовет его, и сказал, что он вчера уехал.

Она перестала дышать.

## 30

Жуковский вернулся в Петербург двенадцатого, а пятнадцатого пришла эта жуткая весть. Это было не письмо, не записка, это передали по почте: на Фонтанку пришёл почтальон и сказал: просили передать, что умерла в Дерпте родами Марья Андреевна Мойер. Он ему не поверил, не мог поверить, стал спрашивать, верно ли и как это было, но тот ничего не знал, он был питерский, ему велели передать, и всё. Почтальон пошёл к двери, скрылся за ней — и жизнь для Жуковского кончилась. Кончилась в нём самом. Он всегда ощущал, как она непрерывно течёт, движется, а временами бурлит, кипит внутри — всегда чувствовал этот ток, — а тут всё вдруг замерло, застыло, грудь сдавило, голова поплыла, он не мог удержать ни одной мысли, не мог ничего обдумать, всё уплывало, навалилось жуткое отчаяние, от которого немели, холодели руки, ноги и что-то внутри, и он надрывно твердил одно: ехать! ехать! ехать! Состояние в дороге временами было ещё тяжелей, только сознание больно долбило уже другое: “За что?! За что?! За что?!”

Девятнадцатого вдали показался Дерпт.

“Я опять на той же дороге, по которой мы вместе в Сашей ехали на свидание радостное, — рассказывал он позже в письме Авдотье Петровне. — Её могила — наш алтарь веры, недалеко от дороги, и её первую посетил я. Покой божественный, но непостижимый и повергающий в отчаяние! Ничто не изменяется при моём приближении; вот встреча Маши! Но, право, в небе, которое было ясно, было что-то живое. Я смотрел на небо другими глазами: это было милое, утешительное, Машино небо”.

Ему рассказывали, как она умирала, как её хоронили: пришли сотни людей, студенты толпами, было море цветов. Младенца положили в одну с ней могилу.

“Боже, Боже мой! А меня не было!!!”

Ему передали её письмо. Оказывается, она не просто боялась родов — она предчувствовала, и давно, загодя расставалась, прощалась с ним.

“Друг мой! Это письмо получишь ты тогда, когда меня подле вас не будет, но когда я ещё ближе буду к вам душою. Тебе обязана я самым живейшим счастьем, которое только ощущала!.. Не огорчайтесь, что меня потеряли. Я с вами. Жизнь моя была наисчастливейшая — выключая два-три дурных воспоминания... и всё, что не было хорошего, — всё было твоя работа. Ангел мой! Одна мысль, которая меня беспокоит, есть та, что я не довольно была полезна на сем свете, не исполнила цели, для которой создана была... Сколько вещей я должна была обожать только внутри сердца, — знай, я всё чувствовала и всё ценила. Теперь — прощай!”

Он счёл, что не вправе утаивать эти последние её слова от мужа, от сестры, от матушки, и давал им читать письмо. Страшно сникшая, постаревшая, совершенно седая Екатерина Афанасьевна уже не имела сил плакать, много раз останавливалась, не в состоянии дочитать его, и всё больше горбилась, горбилась. Ему было безумно жаль её.

“Теперь мы плачем все вместе, — пишет он. — Это не утешает, это ничего не изменит. Хотелось бы найти какой-нибудь исход, мысленно даже пытаешься найти его, но снова осознаёшь, что это бесполезно, что всё конечно, и снова льются слёзы”.

Мойер, Саша и он три дня сажали молодые деревья возле её могилы.

“Первый весенний вечер нынешнего года, прекрасный, тихий, провёл я на её гробе, — писал Жуковский в другом письме Елагиной. — Солнце светило на него так спокойно. В поле играл рог. Была тишина удивительная... Поэзия жизни была она. Но после её письма чувствую, что она же будет снова поэзией жизни”.

Он много раз подолгу бывал на её могиле с Мойером, с Сашей, и один сидел там на скамеечке, сажал цветы, но Маша и там по-прежнему постоянно была в нём живой, он по-прежнему ощущал её тепло, свет, слышал её душу, они хорошо разговаривали. Всё было, как все последние годы, и он понимал, что для него она не умрет никогда. Однако суть её, поэзия жизни, выплеснулась только в одну из первых бессонных ночей и больше не возвращалась. Слава Богу, что хоть нашёл в себе силы и записал их тогда.

*Ты предо мною  
Стояла тихо,  
Твой взор унылый  
Был полон чувства.  
Он мне напомнил  
О милом прошлом...  
Он был последний  
На здешнем свете.  
Ты удалилась,  
Как тихий Ангел;  
Твоя могила,  
Как рай, спокойна!  
Там все земные  
Воспоминанья,  
Там все святые  
О небе мысли.  
Звёзды небес,  
Тихая ночь!..*

Больше стихи не звучали, не рождались в нём ни через десять дней, ни через двадцать, ни через месяц.

Отметили тяжкие сороковины.

Он не уезжал до конца апреля, до первых проклюнувшихся листочков на нескольких принявшихся на её могиле деревцах.

...В конце июня он снова был в Дерпте.

Мойер страшно изменился: одни мослы, лицо мрачное, глаза ввалившиеся, полные страданий и печали, говорил мало, к роялю не притрагивался,

дома всё время проводил с дочкой, которая становилась всё прелестней и неуёмней, и без конца спрашивала то отца, то тётю Сашу, а потом и Жуковского, когда придет мама?

Саша прихварывала. Её дети, под неослабным присмотром бабушки, были, слава Богу, здоровы, прилежны, послушны, но и проказливы. У самой же бабушки, по её словам, болело уже всё, и сильнее всего — душа, что не уберегла она свою дорогую Машу. Тяжко, прерывисто при этом вздыхала, отворачивалась, подносила к мокрым глазам платок.

Жуковский объявил Мойеру, а потом и Саше с Екатериной Афанасьевой, что всё своё состояние и последующие прибавления к оному определил в наследство своим племянникам Катюше и Сашиным дочерям тремя равными частями и уже оформил все необходимые для этого бумаги.

Между ними никогда не было никаких разговоров ни о чём подобном, его никто не просил об этом, он сделал это совершенно неожиданно для них. И признательности и благодарностям не было, конечно, конца. Благодарным слезам тоже.

Не писал. Душа безмолвствовала. Стихов до конца года не было ни одного. И переводить не мог, не хотел. Спрашивал Машу, что происходит? Где поэзия жизни? Не отвечала. Делалось страшно. И не представлял, что и как будет дальше. Так продолжалось и в следующем году. Наконец, подумал, что фактически он ведь всю жизнь писал для неё, ей, её душе, живой. А как писать теперь? И ещё подумал, что она приходила на свет, чтобы сделать его поэтом. Господь именно для этого её послал — сделать его поэтом. Для того она и мучилась так невыносимо, была так несчастна... и одновременно так счастлива им.

“Жизнь моя была наисчастливейшая...” Всё правда! Всё так!

Однако одно озарение всё же случилось, всё же спустилось к нему в середине двадцать четвертого года.

*Я музу юную бывало  
Встречал в подлунной стороне,  
И вдохновение летало  
С небес, незваное, ко мне;  
На всё земное наводило  
Животворящий луч оно —  
И для меня в то время было  
Жизнь и поэзия одно.*

*Но дарователь песнопений  
Меня давно не посещал;  
Бывалых нет в душе видений,  
И голос арфы замолчал.  
Его желанного возврата  
Дождаться ль мне когда опять?  
Или навек моя утрата,  
И вечно арфе не звучать?*

*Но всё, что от времён прекрасных,  
Когда он мне доступен был,  
Всё, что от милых, тёмных, ясных  
Минувших дней я сохранил —  
Цветы мечты уединенной  
И жизни лучшие цветы, —  
Кладу на твой алтарь священный,  
О, Гений чистой красоты!..*

Жуковский прожил ещё двадцать девять лет. Продолжал служить. В двадцать четвертом году был назначен воспитателем сына Александры Фёдоровны, будущего императора Александра Второго. Его отец Николай Павлович стал императором, а мать — императрицей в трагическом декабре двадцать пятого. Жуковский воспитывал наследника до его совершеннолетия.

После ухода Маши настоящих стихов не было ещё год, и три, и пять. Медленно, но всё же вернулся к переводам. Переводил и прозу, как всегда, вольно, и всё больше и больше. Перевёл несколько рыцарских баллад Уланда. Пересказал в стихах большую прозаическую романтически-символическую повесть немецкого писателя де ла Мотт Фуке “Ундина”. Пересказывал стихами сказки братьев Гримм. Живя в старости в Германии, несколько лет переводил на русский “Одиссею” Гомера. Приступил к “Илиаде”. Думал над собственным большим “Странствующим жидом”, просил Гоголя, побывавшего в Палестине, описать ему для этого многие тамошние места.

И всё же все высочайшие творения были только там, в прежней жизни. Новые не появились.

*О милых спутниках, которые наш свет  
Своим сопутствием для нас животворили,  
Не говори с тоской — их нет!  
Но с благодарностью: были!*

Это его строки.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ



## ЗЕЛЕНОГЛАЗАЯ ЛАСТОЧКА

1

И сыпался снег, и чернели громоздкие вязы,  
И вьюга мела помелом по задворкам,  
и вдруг —  
Когда ж это ласточки сделались зеленоглазы,  
С каких это пор они не улетают на юг?

Ты впархивала и весну рисовала в блокноте,  
Весёлую песенку, словно молитву, творя.  
Звук плыл, прерываясь на самой  
мучительной ноте,  
Над шалью морозной и над чехардой января.

Ты пела тихонько и взглядом лукавым летела  
Поверх канители колючих метелей и вьюг.  
Ты зябла, как позднее яблоко, и не хотела  
В тепло огрубевших  
и слишком застенчивых рук.

И зимнее солнце тонуло в невиданной бездне  
Двух самых зелёных и самых солёных морей.  
О, ласточка милая, смилуйся, о, не исчезни,  
Останься хоть звуком,  
хоть именем в жизни моей!

---

*ВАСИЛЬЕВ Сергей — автор нескольких стихотворных книг и поэтических переводов с языков народностей Северного Кавказа. Живёт в Волгограде.*



Ужель и впрямь реальность такова,  
Что ты способна жить тысячекратно,  
А брошенные через стол слова  
Уже не возвращаются обратно?

5

Ты помнишь, как лето шло на водопой,  
А я, предоставив его насекомым,  
Носился, как с писаной торбой, с тобой  
По пляжам, по рошицам и по знакомым?

Бывало, наскучит в толпе городской —  
И мы уж в степи, узкоглазой, татарской,  
Вдыхаем старинный и пряный покой  
И радостно шепчем судьбе: “Благодарствуй!”

И с нами деревьев зелёных толпа  
И жирный, купеческий дух перегноя.  
И пращуров наших лежат черепа,  
Белея в траве, пожелтевшей от зноя.

Не слышавшим колокола отродясь,  
Ходившим трамвайным испытанным бродом,  
Как страшно и весело чувствовать связь  
С землёю, с историей, с русским народом!

И мы по горячей дороге брели,  
Свободные, словно бездомные кошки,  
Лениво и щедро купая в пыли  
Мои башмаки и твои босоножки.

И лето над нами бездумно текло,  
И облако, как колыбелька, качалось,  
И шмель о небесное бился стекло,  
И плакал кузнечик, и жизнь не кончалась.



ЛИЛИЯ КУЛЕШОВА



ДЛЯ ИСПОВЕДИ  
ПРОСИТСЯ ДУША...

\* \* \*

Защитница,  
Помощница,  
Заступница,  
Святая Богородица моя!  
Придёт к Тебе последняя отступница,  
Прибежища и помощи моля.  
Твоя икона —  
Ввысь окно небесное,  
Помолишься —  
И на душе светло!  
Посмотришь на часы,  
А время местное  
На вечное уже перетекло.

\* \* \*

Мерцающая женственность воды,  
Молитвенные белые туманы;  
Не верю предсказаниям беды,  
Когда цветут весенние поляны.

---

*КУЛЕШОВА Лилия Владимировна — член Союза писателей России с 1994 года, автор десяти стихотворных книг и поэм, многочисленных публикаций в коллективных сборниках, альманахах, журналах. Живёт и работает в Челябинске.*

Блаженны нищие,  
И я, одна из них,  
Выпрашиваю солнечные блики,  
Огонь небесный в закромах земных,  
Слова любви из самой главной книги...

Для исповеди просится душа,  
Все страхи, все мольбы мои — на волю!  
А после — хоть в ночные сторожа,  
Стеречь огонь звезды, брести по полю...

## ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Ранней зарёй —  
Босиком через сад!  
Яблочный Спас  
Краснощёк и богат.  
Яблочный Спас,  
Прибывающий свет,  
Солнцем обласканный спелый ранет.  
Сад соловьиный,  
Душистая тень, —  
Преображенья Господнего день!  
Сердце прилепится к жарким плодам —  
Нынче святить урожай по садам.  
Праздное слово, подточенный плод  
Ветер закружит, цвет оборвёт...

Шепчет с небес леденцовый налив:  
“Кто из вас меньше, тот будет велик”.  
Кружит ветвей золотое шитьё:  
“Спасом насытится сердце твоё!”.

\* \* \*

Ты осваиваешь пространство,  
Мне его заселить дано.  
Ты проходишь свои мытарства,  
Мне их выплакать суждено.

Ты идешь по пескам зыбучим,  
Я на них разведу наш сад.  
А когда твоё небо в тучах,  
Я оттуда пошлю свой взгляд.

Ты возводишь воздушный замок,  
Я на нём укрепляю крест,  
Приношу на рассвете запах,  
Тот, что дарит весенний лес.

Ты любви отрицаешь образ  
И свою охраняешь власть...  
Но любовь моя, как Апостол,  
Божьей истиной облеклась.

\* \* \*

Белый цветок на меня глядит,  
И я гляжу на него.  
Мне его запах принадлежит,  
И более — ничего.

В дереве я прозреваю огонь,  
Но он до времени скрыт.  
Мне не известен идущий за мной,  
Но путь наш в единый слит.

Видимый свет,  
Невидимый мир —  
Всё на земле сплелось.  
Даже ослепший король Лир  
Видит меня насквозь.

.....

Мы поздравляем Лилию Кулешову с юбилеем  
и публикуем заметку Н. Ягодинцевой о её творчестве

Через всё творчество челябинской поэтессы Лилии Кулешовой проходит главная мысль, которую хочется назвать не красной нитью, а лучом света, озаряющим жизнь: Вселенная движима любовью, любовью соединены в ней великое и малое, и в каждой мелочи, делая её драгоценной, сквозит свет, мерцает любовь. Эта главная мысль, утверждающая себя от стихотворения к стихотворению, от книги к книге, в принципе, известна всем, но суть состоит в том, чтобы прочувствовать её максимально и положить в основу всей своей жизни.

Незадолго до выхода первой книги, в 1994 году, Лилия Кулешова стала участницей Первого Всероссийского Совещания молодых писателей в Москве. Её стихи высоко оценили и руководители семинара, и участники, собравшиеся со всех уголков страны. Поэтесса была принята в Союз писателей России. Через год вышел в свет первый сборник её стихов “Прощёное воскресенье”, который уже своим названием задаёт лейтмотив радостного обретения веры:

В Прощёное воскресенье  
Прости, что жила как в чаду,  
Лукавила во спасение,  
Не знала, куда иду.

Земля ещё спит весенняя,  
Со мной её благодать.  
В Прощёное воскресенье  
И я научусь прощать.

Здесь уже в полную силу зазвучала особая интонация русской женской поэзии: задушевная, чистая, торжественная. Поэтессу привлекают темы, имеющие глубокие корни в русской лирике: тема родины, её исторической судьбы, русская природа, любовь. Свет женственности и жертвенности, сочувствия и всепрощения озаряет трагедию окружающего мира. Православная направленность большинства стихов счастливо совпадает с празднично-яркими образами, чистой музыкой, и это славянское, русское, кровное чувство

радостной веры словно противостоит тревожному тёмному времени, накрывшему нашу страну:

С северным ветром,  
Страшна и крылата,  
Ходит беда по горам и долам,  
А на звезде  
Засветилась лампада.  
“Будьте как дети”, —  
Завещано нам.

И каждая книга Кулешовой своим названием причастна Православию, кругу его одухотворённых образов. Всего в свет вышло десять сборников её стихов и поэм: “Прощёное воскресенье”, “Яблочный Спас”, “Свет Рождества”, “От свечи до свечи”, “Преображённый мир”, “Венец небесный”, “Память о рае”, “Радость моя”, “Свете тихий”, “Цветы, посаженные небом”... И сотворение светлой поэтической Вселенной продолжается.

*Нина Ягодинцева,  
член Союза писателей России  
г. Челябинск*

ВЛАДИМИР СИТНИКОВ



УРОЧИЩЕ

РАССКАЗ\*

Зима прошла в любовании и умилении.

Я и не предполагал, что у нас с тобой, Майечка, всё так складно получится весной. Весна эта стала не только порой любви под соловьиные трели в черёмуховом аромате, но и такой согласной работы, которая вызывает сплошные восторги. Ты, Майечка, оказалась старательным, кропотливым и неустанным домашним агрономом. Мой бобьевский огород, заросший дурнотравьем и лебедой, запущенный без маманиных рук, вдруг похорошел и заулыбался.

Под твоим началом всё получалось легко, весело, как говорится, играючи. Я с удовольствием перекапывал грядки, пушил их граблями и формировал так, как просила сделать ты. Убирал и корчевал старые кусты, сажал свеженькие, которые кто-то тебе дарил в знак особого расположения.

Товаровед, зампреда райпотребсоюза — фигура видная. Хотят фигуре понравится и завмаги, и продавцы, и шофёры, тащат всякую “невидаля” вроде рассады, саженцев, редкостные первые плоды вроде редиса и укропа. Да и сама ты на нашем пристанционном базарчике и в Кирове приглядывала всякое саженье-коренье, удобрения.

---

*СИТНИКОВ Владимир Арсентьевич родился в 1930 году в деревне Мало-Кабаново Куменского района Кировской области. Окончил филологический факультет Ленинградского университета. Автор 30 книг, среди которых романы “Свадебный круг”, “Эх, кабы на цветы да не морозы”, повести “Русская печь”, “Белогривская метелица и др. Лауреат Всероссийской премии им. Н. М. Карамзина “За отечествоведение”. Член Союза писателей России. Живёт в г. Кирове.*

\* Из книги повествований в рассказах “Влюблённый матрос”.

А Женька Золотуха принёс как-то тебе в подарок замороженного белого котёнка. Отказаться ты не смогла. Такой он был беспомощный, жалкий, тощий и голодный. Видать, надоел он юным Золотухиным, вот и сплавил его нам. Котёнок всё время пищал, пока ты его не накормила подогретым молочком, не укутала в шаль. Откормила, отогрела, и он превратился в весёлого белого пушистого красавца по имени Пушок. Пушок ходил следом за тобой, требовал, чтоб ты его гладила, играла с ним, и ты исполняла все его прихоти. Привязав за нитку клочок бумаги, волочила его по полу, а этот белый зверёныш носился за добычей, терзал бумагу, веселя тебя своей игривостью. И ты, увлечшись, заливалась смехом, мой милый, чудесный ребёнок.

На подоконниках проклюнулись луковички гладиолусов, топорщились в ящиках и баночках из-под сметаны и йогурта какие-то щетинки и листики, которые ты называла гвоздичками, маргаритками, ноготками, астрочками. И всё это было потом не воткнуто куда попало, а любовно высажено в определённом порядке. Мама моя цветы терпела, поскольку считалось, что есть неминуемая такая нужда дарить букеты, но по-настоящему она считала только съедобные, полезные огородные растения, вроде лука, чеснока, морковки, свёклы, репы, редьки и, конечно, незаменимой картошки. Крестьянская боязнь военной голодухи всё ещё таилась в её сознании. С картошкой отослала ты меня в поле, примыкавшее к нашему огороду, а вся мелочь по твоему мановению выстроилась на аккуратненьких грядках.

— Где ты всему этому научилась? — недоумевал я.

— Да ты что, Васенька, я ведь не первый день на белом свете. В Черняховске мы тоже с мамой огород держали. Там культ цветов. Ух, какие у нас немецкие гладиолусы росли!

Мы допоздна с тобой после работы возились на усадьбе, пока я, подкравшись, не брал тебя на руки.

— Да у меня ведь лапы грязнущие, — отбивалась ты.

— Не грязнущие, а золотые, и не лапы, а рученьки, — бормотал я, неся тебя в дом, и целовал запястья, ямочки на сгибах рук, всё, всё. — Ах, какая ты у меня вкусная! Ты — восьмое чудо света!

— Разве такое есть? — лукаво глядя, шептала ты.

— Ты, ты — моё чудо, — задыхаясь, шептал я. — Майечка, ты без маечки ещё прелестней. Чудо моё!

А в ненастье, когда на огород не выскочишь, я хватал гитару. Начинали струны выговаривать:

*В городском саду играет духовой оркестр.  
На скамейке, где сидишь ты,  
нет свободных мест...*

*Почему ты мне не встретишься, юная, нежная,  
В те года мои далёкие, в те года вешние?..*

Всё это про тебя, конечно.

*Услышь меня, далёкая,  
Услышь меня, красивая, —*

тоже о тебе. Ну и:

*...Всё, что я ни сделаю,  
Светлым именем твоим я назову, —*

тоже в честь тебя. Какую песню я ни начну, всё о тебе, всё о том, что без тебя мне не прожить и ты — радость моя и счастье.

А ты только заливалась смехом.

— Ой, Васенька, что ты в голову себе вбил. Для всех эти песни.

— Нет, для тебя и о тебе, — настаивал я.

— Ну, и о тебе, — уступала ты место в песнях мне. — Как я без тебя-то одна в песне останусь?

Песни договаривали то, что я о тебе и о нас не успел ещё сказать.

А несогласие твоё можно было примирить только долгим, насколько дышанья хватит, поцелуем.

Однажды, прижавшись ко мне, ты сказала:

— Васенька, я так хочу, чтобы у нас был ребёночек.

— И я хочу.

— Но я хочу, чтоб он был здоровенький, а не дитя весёлого ужина, как немцы говорят. Не дебил, упаси Господи, это от нас зависит.

В глазах у тебя возникли страх и страдание.

— Я понял. Не буду пить, — быстро согласился я.

— Да, еслилюбишь меня и будущего нашего ребёнка, не пей никогда.

Ты так серьёзно об этом говорила, что я тоже поверил в твой страх и твои опасения.

Выходит, у меня раньше не душа, не тяготение друг к другу, а водка была стимулом сближения.

Да, я забыл упомянуть, что мы с тобой на твой девичий капитал завели подержанный “Жигуль” — девятку. Это ты настояла. Да и деньги вложила ты. Я-то ещё был гол как сокол. Зато как славно мы ездили теперь на твои сборенья не только на работу и с работы, но и в лес, и в луга, и на реку Молому купаться и рыбу удить. Я взгляд не мог отвести от тебя, когда ты в жёлтом купальничке под цвет твоих золотых волос шла к воде, входила в реку. Фрина, рождённая из пены морской.

А дома огород улыбался, но ты поутру и вечером, озабоченно всматриваясь в грядки, замечала уйму недоделок.

— А если, Васенька, нам поставить плетень вот там, где ты развёл крапиву, и сделать беседку? Будет уютный райский уголок, — говорила ты. И я, подцепив к “Жигулям” тележку, ехал на берег речки Кипучи за ивняком, вострил колья и заплетал такую огорожу, которая нравилась тебе. Ты отыскала где-то деревенские глиняные кринки, тележное колесо и всё это водрузила на колья. Получилась деревенская идиллия с пнями вместо стульев, а столом служил самый возрастной спил с толстеного тополя, который загромаждал подступы к дому соседки Вассы Митрофановны. Она его с радостью отдала нам. Это чудище я прикатил с Серёгой Цылёвым к нам в огород.

Люди, проходя мимо нашей усадьбы, останавливались, любуясь, старушки судачили. Злые неприязненно говорили: “Декуются от нечего делать”, — добрые хвалили, а молодёжи нравилось и нам с тобой тоже.

— Пава, — называла тебя соседка Васса Митрофановна, и добавляла: — По павушке и славушка.

— Хочешь, я куплю сайдинг, и мы обошьём с тобой дом гладкими жёлтыми планками, — предлагал я.

Ты задумывалась.

— По-моему, Васенька, будет красивее, если ты стены бревенчатые покрасишь охрой с желтинкой, а на окна мы повесим белоснежные резные наличники.

Конечно, ты была права: лучше охра с желтинкой и окна в наличниках. Ты нашла резчика по дереву, у которого было в запасе много нарядных кружев. И дом наш превратился в терем. Белое с желтовато-коричневым смотрелось нарядно. Да и по карнизу крыши прибил я “кружево”. А если в резном оконце возникла такая ненагляда, как ты, с белым Пушком на руках, красками живописать хотелось. Жаль, такого дара Бог мне не дал.

Теперь уж все прохожие оборачивались на наш дом и огород и дивились, даже фотографировали.

— Видать, Вася Душкин не на шутку взялся за ум.

Брату своему Вове Иванову ты так восторженно описала наш дом и огород, что он захотел после рейса навестить свою малую родину. И на нашей машинке мы встречали его. Выскочил он из вагона с двумя чемоданами под крокодиловую кожу, усатый, бородатый, с шикарными бакенбардами, брови — как стриженные крылья — врзлёт, этакий живчик в фуражке-капитанке — и заорал:

— Боцман Иванков прибыл, — и, раскрыв объятия, пошёл на тебя.

— Ну, что ты, Вова, неистовый какой, — выбираясь из его объятий, протонала ты. — Все кости переломал ведь.

А он заржал по-жеребячи, показывая весёлые золотые зубы, и пошёл на меня. Меня, конечно, он так тискать не стал. Зато выдал сразу два афоризма:

— Земляков надо знать в лицо. Вася, значит? Главное, Вася, наполнить себя мечтой и неуклонно идти к её выполнению. Ты как родственник мне поможешь.

А какая мечта была у Вовы, выяснилось, когда углядел он через штакетины забора соседку Вассу Митрофановну.

— Я чувствую, что вы — моя землячка. Я — Владимир, попросту Вова.

— Васса Митрофановна, — церемонно подавая руку поверх забора, сказала Митрофановна.

— Ну, Васса, станцую асса, — мгновенно пошёл на сближение Вова. — Так, значит, Вам известно, где моя родимая деревня Иванково?

— Да я там зоотехником работала, — откликнулась Митрофановна. Начал Вова этот разговор, так сказать, “от фонаря”, а попал в точку.

Соседку Вассу Митрофановну моя маманя уважала, но дружбы избегала, потому что была Митрофановна слишком говорлива. За сутки не переслушаешь. Ну, и в пору своей работы зоотехником проявляла строгость и придирчивость. Мной она была недовольна из-за того, что я не так, как ей хотелось, поставил свой забор, а мой тополь не только затенял часть её участка, но и вышивал соки из её земли, предназначенные для её картошки. От этого, по утверждению Митрофановны, картошка у неё стала мелка и уродлива.

Тополь-то не я сажал. Ему за сто лет, так что я тут ни при чём, а Митрофановна считала, что есть тут моя вина.

— Значит, замётано, повезёте нас в Иванково, — постановил Вова.

— Да уж не знаю, как здоровье, Вовушка, будет. Я ведь старинная. Сталинское время помню. Раз в Курью к нам сапоги забросили. Васина мать Дуся Душкина кушила себе. Приходит в них на ферму. Дояркой тогда работала. Притопывает сапожками и поёт: “Спасибо Сталину-грузину за то, что нас обул в резину”. Мы обомлели. Разве можно эдакое петь про самого Сталина? Посадят, как пить дать. Но, слава Богу, обошлось.

— Значит, проводишь, Васса, до Иванкова, — настаивал Вова.

— До пятнадцатого не могу. Пятнадцатого пенсию принесут. Праздничный у меня день. Получаю денежки и говорю: “Здравствуй, махонькая моя крохотулька”. Из-за внуков не выработала стажу. Вот и обидели: крохотульку дали.

— А мы не обидим, правда, Вась? — подключал меня в союзники Вова.

— Её обидишь, — откликнулся я, но потише, чтоб не слышала Васса. Завонные, золотой пробы получились отпускные Вовины денёчки, скрашенные его запасами виски, которые не поленился он везти из Калининграда, хотя и в Белой Курье теперь достаточно этого добра.

Вова сам себе нравился умением сходу знакомиться с людьми и ввернуть комплимент особам женского пола.

Был у нас с тобой, Майечка, вечерок в честь встречи гостя и негласная наша свадьба. Через пять минут Серёга Цылёв и его Тома Томилина, пришедшие на торжество в честь такого гостя, стали его закадычными друзьями.

— Золотое перо России, — с ходу назвал Тому Вова, узнав, что она журналистка из районки.

— Откуда вы узнали? Только не России, а Кировской области. Над моими очерками героини плакали, — сразу всё и выложила о себе Тома.

— Я телепат и прорицатель, — запросто приписал себя Вова к магнетическому племени.

— Вы будете положительным персонажем моей будущей книги, — пообещала растроганная Тома. Она, видимо, ещё не знала, что путь писателя устлан ненаписанными романами. И неизвестно было ей, что писать повести иногда куда продуктивней, чем повести. Это я знал по книге Яна Парандовского “Алхимия слова”. Но разве скажешь об этом обидчивой и тщеслав-



ной Томе. Пусть тешит себя надеждой стать писательницей. Теперь ведь племя женщин-романтисток ежегодно множится и стало уже несчётным. Я смягчил свои рассуждения о Томином писательстве.

— Пушкин говорил, что у него 36 источников дохода — по количеству букв в тогдашнем алфавите, так что у тебя, Тома, доход будет не намного меньше, чем у классика, — ввернул я. — Ждём роман. Главное, чтоб писучесть не исчезла.

— Ну, и змей же ты подколодный, — возмутилась Тома, которая не могла никак привыкнуть к моим добавлениям и поправкам.

— Кончайте бои местного значения, — остудил нашу перепалку Серёга. — Вон Вова сказать рвётся.

— Выпьём за то, чтобы вам, Майечка и Вася, состариться на одной подушке.

Сначала мы опешили, а потом поняли: здорово это. Ну, как за такое пожелание не выпить?! А я, дав тебе слово, вертел в пальцах рюмку и подливал воду из соседнего стакана, чтоб не разоблачили.

Ох, и мука предстояла мне. Придётся теперь постоянно мухлевать, подливать воду вместо водки, сок вместо вина, и принимать бесчисленные упреки. И придётся отказаться от вино-водочного фольклора. Выдержу ли?

Добрались до третьего тоста.

— Не так опасен чёрт, как чертовски красивая женщина, — объявил Вова. — А поскольку собрались сегодня красивейшие женщины планеты, за них! Мужчины пьют стоя, а женщины — до дна, — воскликнул он, вскакивая. Поднялись и мы с Серёгой, у которого уже давно вертелось на языке заготовленное впрок, извлечённое Бог знает из каких сборников стихотворение.

— Алаверды, алаверды, — поднимая по-школьному руку, закричал он:

*Ногами стройными пружиня,  
Со всей Вселенною на ты,  
Идёт по улице богиня,  
Как символ женской красоты.  
Несёт уверенно и смело,  
Неторопливо, не спеша,  
Обворожительное тело  
Её безгрешная душа.  
Кому-то выпала награда,  
И стынет сердце у мужчин.  
С большим трудом отводят взгляды  
От нежных взгорков и лоцин.*

Я понял так, что выпала награда мне, потому что ты досталась мне, Майечка. А Серёга, наверное, считал богиней Тому. Но это их дело. Я-то знал, что ты самая, самая-пресамая моя красавица и богинюшка.

По программе пребывания высокого гостя, которую мы с тобой разработали, я свозил Вову порыбачить на реку Молому, где он пристал к мужикам, ловившим рыбу бреднем, и так их накачал, что они забыли про свой бредень, а уху пришлось варить мне. Мы так и оставили неводчиков спящими, приколов записку к рюкзаку: “Спасибо за улов”.

Признаюсь тебе, дорогая, что ведро черники и корзинку земляники мы сами не собирали, а купили вместе с тарой у старушек в попутной деревне, потому что боцман испугался в черничнике комаров, которые кочевой ордой налетели на нас. А тут всё получилось спокойно и красиво. Даже ведро и корзинка вместе с ягодой.

Ты нас похвалила за усердие, а мы, потупив очи долу, принимали твои похвалы и рассказывали, как тяжело нагибаться за каждой ягодкой.

Вова прибыл оснащённым до зубов фото- и кинотехникой. Была у него кинокамера, какой-то редкостный фотоаппарат с выдвигным объективом, сверхчуткий сотовый телефон, которым можно фиксировать каждый шаг. Мы с тобой, Майечка, были запечатлены во саду и во лесу. Вове не терпелось сфотографироваться в Иванкове.

И вот, видимо, получив свою “махонькую крохотульку”, объявилась Васса Митрофановна в сапогах и косынке, с корзиной, с косою-горбушей. Видимо, всё это надо было для поездки в Иванково.

— Вась, литовку возьми, а то теперь туда не продерёшься, — распорядилась она. — Ну, и ведёрко, корзину. Говорят, грибы пошли. Хоть грибовницей гостя накормим.

Пришлось все указания Митрофановны исполнить.

Уместившись в машине, начала Митрофановна с ходу свою исповедь.

— Я ведь девка военная. Ой, вспомнишь — не верится. Будто не со мной это было. Домотканину носили. Сарафан портяной, оболочка-спанча — тоже.

В густой сини голубичных глаз Митрофановны мелькнула искорка-слеза:

— Два годика всего мне было. Голодно. Побрела на ферму к матери и чуть не замёрзла. Мать рассказывала: вроде кошка мяучит. Открыла дверь, а это ты. И руки уже побелели. Печники навели глинистый раствор, дак туда руки-то сунули. Отогрели... Когда от отца похоронка пришла, дак мать убивалась. Чтoб не слышно было стонов, голову в бочку с водой сунет. Дояркам ведь на ферму и воду в бочках возить приходилось.

Васса Митрофановна утверждала, что всё про всё знает.

— Вон там была твоя деревня, — тыча пальцем в небо, кричала она Вова. — Теперь чащоба непролазная. Ветробоем падалища уронена.

Но когда подъезжали по высоченной траве к заросшей еловой гриве, Васса Митрофановна начала сомневаться, туда ли мы заехали.

— Помню пальник. Малины там много было. А теперь я инвалид по зрению, туск на глазах, поди, не туда попали?

Пришлось оставить машину на высоком видном месте и идти пешком через великанскую крапиву, дикий малинник и репей. Джунгли, да и только.

— Был ложбень, а в нём два пруда, друг за другом уступом шли. В одном скот поили, в другом люди купались. Рыба водилась, — вспоминала Митрофановна.

Как пройти через затянутую малинником и крапивой непролазь к ложбенью с прудами, угадать, где была деревня, Митрофановна не знала. Растерялась.

— Погодите, погодите, там ведь проезд был, — вспомнила она. — Вова, сбегай-ка туда, взгляни, не видно ли прудочков-то?

Вова по-медвежьки полез в дурнотравье и вскоре заорал:

— Вода!

Оказалось, там уже не два, а четыре пруда, причём не рукотворных, а сделанных бобрами. Высоченные берёзы уронили эти трудолюбивые зверёньши, перегрызли стволы своими могучими зубами. Торчали из земли заточенные, как карандаши, столбы. По бобровым плотинам мимо хаток перебрались мы в настоящий райский уголок. Я подумал: определённо таким бобровым обитающим было Иванково, когда прорубались сюда сквозь тайгу первые его поселенцы. Всё вернулось на круги своя, когда уехали отсюда хлебопашцы.

— Вот и Иванково, — облегчённо сказала Васса Митрофановна и отёрла жаром полыхающее лицо косынкой. — Думала — не найду. Стыдобушка бы случилась.

Вова выскочил на середину прогалины и заорал, напугав нас:

— Здравствуй, родина! Это я — твой блудный сын — Владимир Иванов. Узнаёшь меня? — и бухнулся сначала на колени, а потом лёг, распластавшись в траве, обнимая своими мощными лапами землю.

То ли спектакль устроил он, то ли от души признавался в любви к деревне, но я видел слёзы у него на глазах.

Долго искала Васса Митрофановна место, где стоял ваш дом.

— Хоть бы кирпичик найти, — вздохнул Вова.

— Нет, кирпичей не должно быть. Печи были глинобитные, не кирпичные, — поправила его Васса.

Мне удалось найти старый лемех.

— Гляди-ка, сохранился, — удивилась наша провожатая. — Как раз около вашего дома он и висел на берёзе. Отец-то твой, Савелий Никифорович, Вова, бригадирил. Вот и созывал народ на работу.

Мы с удивлением рассматривали изъеденную ржавчиной железяку. Вова сказал, что снова повесит её на берёзу. И принялся искать проволоку или провод.

— Это будет рында, как корабельный колокол, — сказал он.

Хорошо, что по настоянию Вассы Митрофановны захватил я косу-литовку. Она с горбушей, а я с литовкой сделали прокос по направлению к машине, минуя пруды и бобровые плотины. Когда уже заканчивали прокос, раздался призывный звон. Всё-таки боцман Иванков сумел повесить лемех или, по его выражению, рынду. И теперь звала она нас к месту, где стоял ваш дом.

— Вот здесь поставим памятник нашей деревне Иванково, — сказал решительно Вова.

Когда на покосиве расстелили скатерть-клеёнку и принялись за трапезу, Вова первую чарку налил Васе Митрофановне.

— Ой, ой, что ты, боговой, — взмолилась та.

— Пей, не церемонься, — приказал он. — За мою деревню.

— Дак осудят. Скажут, старуха, а эдак лопают.

— За корни, за корни наши надо, — сказал я. Хорошо, что у меня была спасительная отговорка: я за рулём.

Вова принял чарку и выпил стоя.

— За моё Иванково!

— Ой, ой, — опять завела скорбные воспоминания Васса Митрофановна о том, как выталкивали доярки своих дочек в лёгкую городскую жизнь. — Няньками за кусок хлеба работали, лишь бы прописку там получить да паспорт охлопотать и не повторить судьбу своих горемычных матерей.

Я ел бутерброды, приготовленные твоими ручками, Майечка, слушал Митрофановну (сколько воспоминаний о каждой деревне хранится в головах стариков!), вертелся, озирая окружину. Вдруг приметил в ельнике-березнике таких красавцев в коричневых шляпах, что вроде Вовы истошно заорал:

— Белые!

Кинулся к белым.

— А красных-то сколько, — удивлённо захлопала руками по бокам Васса Митрофановна.

И тех, и других грибов, оказалось, в Иванкове косой коси — полки. Началась бескровная резня. Несли грибы в корзине и ссыпали в багажник.

Много мы нарезали и белых, и красных в заброшенном твоём Иванкове. Помнишь, Майечка, как ты растрогалась и сказала, что это родина шлёт вам с Вовой привет.

Обратно ехали с песнями. У Митрофановны частушек оказался целый припол. Рассказывала, как озоровали, как устраивали перепевки, когда самая памятливая одерживала верх. И такой прижёршей чаще всего оказывалась моя мать, но это уже было в Белой Курье.

На следующий день поехали мы с Вовой в ритуальный магазин, где каких только крестов и памятников не было. Нам понравилась валявшаяся на улице в сторонке гранитная глыба, которую, видимо, ритуальщики не знали, к чему приспособить.

— Вот это памятник, — сказал Вова и поставил ногу в модном заграничном ботинке на глыбу.

Как мы везли эту глыбу в Иванково, ты прекрасно помнишь, потому что ездила с нами и собирала грибы в своей родной деревне. И лемех при тебе звенел на берёзе.

Ещё ты предложила нам расчистить родничок, установить трубу, по которой бы лилась на полевые камни вода, издавая бодрящий ручейный звук пробудившейся весёлой жизни.

Камней-голышей полевых мы набрали, а вот установку трубы и надписи на глыбе перенесли на следующую поездку. Надпись со снимком деревенского дома ритуальщики изготавливали в Кирове, и её пришлось прикрепить к камню позднее.

Теперь Вова, да и ты, жили воспоминаниями о своём Иванкове, хотя по сути ничего помнить не могли, потому что тебе было два года, а Вове —

всего год, когда увезли вас мать с отцом в Калининградскую область, где поселились у завербовавшихся туда родственников.

Ты рассказывала о самом вкусном иванковском молоке, о сметане с пенками в точечках топлёного масла, которые ела в Иванкове. А ещё о том, как любила олады с этой самой сметаной. А ещё помнила, как топилась русская печь и какое пламя бушевало в ней, вызывая этакое языческое почтение к огню.

Вова же, видимо, приплетал воспоминания калининградские, когда жили вы на хуторе близ Черняховска. Он якобы ездил с отцом верхом на лошади. Ты сомневалась, что это было в Иванкове, а он настаивал, что было так и никак иначе:

— Конечно, я ещё был мелким шпротом, но за гриву конскую держался и гордость испытывал оттого, что еду с отцом на лошади, — утверждал Вова.

— Это называется генетическая память, — блеснул я эрудицией. — С тобой такого быть тогда не могло, а было с твоими родителями.

— Нет, со мной, — стоял на своём не привыкший соглашаться Вова Иванов.

В тот день мы взяли в ритуальной мастерской табличку, на которой значилось время существования вашего Иванкова: 1670—1990.

Нашёл я на одной карте, как называются брошенные деревни. Оказываются, урочищами. Так вот, ваше Иванково — урочище. Было селение, а теперь лесная чащоба или пустошь, затянута травяной дурниной.

Подумал я, что теперь по России урочищ больше, чем деревень. Считается, что в 1925-м, самом благоприятном для крестьян году, было на территории Вятской губернии 35 тысяч деревень. Тогда ведь шло бурное становление отрубов, починков, малодворок, а сейчас на счету три тысячи деревень с небольшим. Количество урочищ счёту не поддаётся. И оно пополняется. Многие из оставшихся деревень пустеют, напоминая стариковский рот, где каждый третий, а то и второй зуб выпал. А сколько переходит в разряд урочищ...

Зато города теснятся, разрастаясь донельзя. Дома лезут друг на друга, утром на улице не протиснешься. Пробки, пробки, заторы.

Слово “урочище” какое-то для меня неприятное, говорящее об уродливости, выморочности сельской жизни, умирании. Но и городское слово “урбанизация”, говорящее о превосходстве города, задавившего деревню, мне не нравится. Такой вот я привередливый.

В общем, Майечка, ваше исчезнувшее Иванково вызвало у меня горькие чувства и мысли о бренности существования, а наша попытка оживить урочище была попросту вызвана жалостью к бедному Иванкову, давшему таких хороших человек, как ты с Вовой. А сколько их ещё было, трудолюбивых работяг, рукодельников-выдумщиков, гармонистов одарённых? Скоро об этом никто и знать-то не будет. И это горько.

— Вы там уютее, я баньку истоплю, — обещала ты нам, провожая нас в Иванково. И мы собрались всё сделать быстро, но хорошо. Прикрепили на болтах табличку, а потом оборудовали родничок. Конечно, не как в Петродворце, но вода по трубе потекла прозрачная, студёная, и шум от её падения был ручейный. Ударили в лемех. До встречи, Иванково! Теперь мы знаем, куда ездить за грибами и где поклониться предкам.

Не стану описывать, что и как там было. Мы спешили в Белую Курью, чтоб попасть к хорошему банному пару. Когда въезжали на Колхозную улицу, навстречу нам проскочила багряная пожарная машина. Вызывая смутную тревогу, донёсся запах дыма. И вдруг открылось такое зрелище, что до сих пор не верится в его реальность. Вместо нашего кружевного дома торчали чёрные обугленные стены, которые ещё продолжали чадить. Печь высилась уродливым памятником. Ко мне в ноги бросился наш кот Пушок, опалённый и жалкий. Он мяукал, жалуясь мне. Обжёг свои лапки, выбираясь из огня. Вторая пожарная машина делала проливку соседнего дома. Дымился забор.

В сторонке на груде выглядевшего ненужным скарба сидела ты, отчаявшаяся, чумазая, заплаканная, убитая горем. Ты подняла на меня виноватые, страдающие красные глаза:

— Это я, Вася, во всём виновата, — зарыдала ты и бросилась ко мне. — Я перетопила баню. А такая жара и ветер в сторону дома. Мгновенно, за пятнадцать минут сгорело всё, — и задохнулась в рыданиях. С тобой случилась истерика. Пришлось тебя отпаивать валерьянкой.

Что ругать тебя, сердце в ругани срывать? Плакать? Ещё одного несчастья мне не надо. Лишиться тебя из-за дома? Ни за что!

— Это я виноват, а не ты. Труба асбестовая лопнула. Должен был я её сменить да вот поленился, — обнимая тебя, жалкую, беззащитную и виноватую, прервал я твои рыдания.

Вова ходил вокруг дома и матерился.

Рассказывают, что злока Жасминовна в этот день закатилась в гастром возбуждённая и даже повеселевшая:

— Сгорел Душкин. Так и надо! Бог знает, кого и как наказать. Майка теперь осталась в одной майке.

Однако, подчёркивая своё благородство, собрала среди продавцов деньги и отнесла председателю райпотребсоюза:

— Вот наша помощь погорельцам.

Явь была — как дурной сон, даже страшнее самого жуткого сна. Дома нет. И я оказался без корней. Унёс огонь в воздух и превратил в пепел всё, что напоминало о прошлом: чарушу, ткацкий стан, кадки, скамейки.

В них, в этих ненужных вроде бы вещах было отражение давней жизни, чувств, поэтому я и не выбрасывал их. Не осталось ни одной маманиной фотографии. Мне особенно нравилась одна. На ней мама ещё молодая, весёлая, ядрёная, уверенная в себе. Это ещё до моего рождения. И меня ни маленького, двухлетнего, ни пионера, ни студента нет. И милая моя библиотека вылетела с дымом под облака. Придётся опять ходить к Серёгину с сундуком с книгами, которые собирал его дед.



*В мае 2012 года не стало поэта Любы Никоновой, которая своим творчеством, своим присутствием вносила радость Божью в наш кузбасский Союз писателей России.*

*Потрясённые, ездили мы на похороны в Новокузнецк. Привезли венок от губернатора. Прощание проходило в старом Доме культуры в районе, где жила Люба. Отпел её священник с хором в том же ДК. Кладбище на высокой горе, видна река Томь. Выехали с кладбища, и пошёл дождь. Поминки в школе, где Люба много лет вела детскую литературную студию “Фесковские литераторы”. Думаю, она хотела, чтобы было именно так.*

*Не стало Любови Алексеевны Никоновой, которая радость Божью вселяла в детей, много лет и строго, и ласково беседуя с ними в нескольких школьных литературных объединениях города. Привозила своих питомцев в Кемерово для встречи в Союзе писателей и приглашала писателей к ним. И всегда была уверена, что делает крайне необходимое для России дело, и делала его до конца своей жизни.*

*Когда-то Люба Никонова сама после окончания школы в Куйбышевской области приехала в этот город к сестре учиться в пединституте. Здесь ещё студенткой выпустила свою первую книжку стихов “Скрипичный ключ”.*

*Несколько лет после института работала учителем русского языка и литературы в селе Ваганово, откуда присылала свои стихи в “Огни Кузбасса” — так мы и познакомились.*

*Вернувшись затем в уже родной по студенчеству Новокузнецк, Любовь Алексеевна работала в музее Ф. М. Достоевского. Конечно же, появлялись её лирические стихи о любви великого писателя и глубоко продуманные статьи о пребывании его в старинном сибирском городе Кузнецке.*

*В поэзии Люба Никонова всегда свободно говорила на все темы, которые её волновали. В прозе она, сама глубоко верующий человек, размышляла о том, как должен ребёнок воспитываться в Православии. “Вот иду я с бабушкой в монастырь, — вспоминала она. — И всплывает из когда-то прочитанного, как в детстве Ваня Бунин старался понять слова священника”. Много лет, будучи членом редколлегии журнала “Огни Кузбасса, постоянным его автором, она поддерживала “Православные чтения” и раздел “Светлица”.*

*А когда много лет тому назад я написал в газете “Кузбасс” о том, что её приняли в Союз писателей СССР, то озаглавил свои размышления простыми словами “Мы любим её поэзию”.*

*Сергей Донбай*

ЛЮБОВЬ НИКОНОВА

## ЗВУЧИТ ПРОСТРАНСТВО МУЗЫКОЙ ПРОСТОЮ

ПАМЯТИ РУСЛАНОВОЙ

Со светлым сентябрём покинув нас,  
не пропоёт она уже ни слова.  
Какая ж нас соединяла связь?  
Я вспоминаю снова, снова, снова...

Да, это было ясным летним днём.  
Земля теряла утреннюю робость.  
Из Куйбышевской области пешком  
я шла тогда в Саратовскую область.

Курганы, грузно до земли осев,  
таили в себе силу — да такую,  
что, разрывая губы, шёл напев  
и воплощался в липу вековую.

Русланова. Здесь было всё её:  
любое поле и любая пташка,  
любое средневолжское село:  
Владимировка, Марьевка, Лебяжка.

И странница с дорожным узелком,  
и деревенский вид родного крова,  
и мир, расцветший тыквенным цветком...  
Я вспоминаю снова, снова, снова...

1974

\* \* \*

Была бы цыганкой, когда б не Россия, ей-Богу.  
Легко находить наугад в бесконечность дорогу,  
легко без пожитков, без шумток слоняться по шару,  
по шару земному, готовому вечно к пожару.  
Легко проходить под изменчивым сводом небесным,  
земель не считая, по странам просторным и тесным.

Не ждать ни приветов, ни писем, ни бедной открытки —  
и так умереть на ходу иль в убогой кибитке.  
Но где зимовать мне, кочевнице? Ясно, в России,  
в которой сугробы огромны, огромны и сини.  
Но где проводить мне, кочевнице, жаркое лето?  
В России оттаявшей, полной прозрачного света.  
Что класть в изголовье мне ночью прохладной и тусклой?  
Должно быть, поляны с цветами земли этой русской.  
Где сном засыпать мне последним, глухим, незнакомым?  
В земле этой русской, на кладбище русском зелёном.

1977

\* \* \*

Играет ветер летнею листвою.  
Звучит пространство музыкой простою.  
Цветет полынь. Её пылью пьянящей  
Окутан дух, огонь любви таящий.

Слова ромашек, знаки их и числа  
Горят в сиянье солнечного смысла.  
И крошечный вьюнок косноязычный  
Уже затронут речью поэтической...

И синевою сказочных историй,  
Как дымкой тайны, окружён цикорий.  
И ароматом цветоносных хроник  
Насыщен “утомлённый солнцем” донник.

Так множит кто-то письма растений,  
Чтоб был услышан высший добрый гений.  
Оправдывая чьи-то упования,  
Жизнь создаёт свои повествования.

2004

\* \* \*

Ты грубеешь и духом, и ликом.  
Всё мрачнее твоя красота.  
Тёмным пламенем чувственно-диким  
Напряжённо пылают уста.

Чем в опасных мирах промышляешь?  
Что сбываешь, почём и кому?  
И зачем от себя отдаляешь  
Свет, готовый пролиться сквозь тьму?

Разве этим ты грезила в детстве?  
И тобою владеют уже  
Только деньги, проклятые деньги,  
Что конец положили душе?

2006



## БЛАГОДАРНОСТЬ

Холодная весна уныло сухойейна.  
Но греешь ты озябшую меня  
Своим присутствием, как теплотой портвейна  
Иль силой прикровенного огня.

Боюсь сказать, что дружба нерушима.  
Зато “спасибо” смело говорю  
За шарфик голубой из крепдешина,  
За свет, за не вечернюю зарю.

Прощаемся.  
Опять одной сражаться  
С холодным миром, с вечной суетой...  
А хочется с тобою задержаться,  
Проникнуться твоею теплотой.

Ты тоже знаешь: всюду — поле битвы.  
Позволь же у вокзала, в поздний час,  
Тебя коснуться краешком молитвы:  
Пусть милость Божья не оставит нас.

*2001–2006*

\* \* \*

Не могу подтвердить я, что осень — в бреду,  
Не могу я сказать, что она — в лихорадке.  
Кто болезни в Божественном видит саду,  
Бьётся сам зачастую в припадке.

А здоровье души — изливается вширь  
Иль восходит в просторные выси,  
Где бессмертные силы читают Псалтырь  
И плывут абсолютные мысли.

И оттуда приходят дожди и снега  
И меняют земное убранство.  
Как лампы, в рябинах горят берега.  
Свет покровский вступает в пространство.

И проникнуты свежим сознанием миры.  
Принимает природа с любовью  
Этот пушкинский праздник осенней поры —  
Русский холод, полезный здоровью.

*2006*

\* \* \*

К тебе летят сияющие птицы.  
Их обгоняют сказочные ветры.  
Меж небом и землёю, на границе,  
Цветут, как свечи, золотые вербы.

Вокруг тебя, пронизанные светом,  
Сидят зверьки с янтарными глазами.

Они, подобно эльфам и поэтам,  
От счастья плачут нежными слезами.

Не помня дней недобрых или мрачных,  
Желая петь, ликуя, словно птица,  
Войду я в круг существ светопрозрачных  
И попрошу немного потесниться.

И, проникаясь светлым приобщеньем,  
Твой образ буду созерцать я долго  
И жить одним глубоким ощущеньем —  
Смиреньем, доведённым до восторга.

*2002*

\* \* \*

Все кукушкины слёзки,  
Все анютины глазки,  
Все прекрасные песни,  
Все волшебные сказки,  
Все легенды небес  
И фантазии света  
Уместились в одно  
Незакатное лето.  
Незакатное лето,  
Незабвенное лето —  
Благосклонность Творца,  
Вдохновенье поэта.  
И поют существа,  
И блистают созданья,  
Откликаясь на зов  
Мирового сознания...  
Но в цветочном раю  
Или в чаще зелёной  
Всё же что-то болит,  
Будто нерв ущемлённый.  
Эту тайную боль  
Излучают берёзки,  
И анютины глазки,  
И кукушкины слёзки.

*2002*

МАРИНА САВИНЫХ



## МЫ ВОСПАРИЛИ НАД БЕЗДНОЙ...

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

*Веронике Шелленберг*

У монастыря стояла лошадь,  
Свежий снег рассеянно жевала.  
Снег спадал на призрачную площадь,  
Как спускаемое покрывало.  
Раньше это было или после?  
В память загляну — из сердца выну:  
Будто рядом с нею бурый ослик  
Выступал из мглы наполовину...

Ослик с шоколадными глазами —  
Со старинной выцветшей картины,  
Где под золотыми небесами —  
Яшмовые ветки Палестины...  
Где в хлеву — случайный кров ночлега...  
Где младенца нюхает овечка...  
В вышине, не ведающей снега,  
Белая звезда стоит, как свечка...

Я к воротам шла приотворённым:  
Ко Христу — от пагубы и срама.

---

*САВИНЫХ Марина Олеговна родилась в 1956 году. Окончила Красноярский педагогический институт. Печатается с 1973 года. Является автором семи книг стихотворений и прозы. С 2007 года — главный редактор журнала “День и ночь”.*

Пёс лохматый иноком смиренным  
Молча проводил меня до храма.  
И легли мне под ноги ступени,  
Высоки, торжественны и твёрды,  
И глядели вслед из снежной пены  
Чудные светящиеся морды,  
Словно мне отныне предстояло  
И за них нести труды обета,  
Ежели всем тварям воссияла  
Вифлеемская планета...

### СУТЬ ВРЕМЕНИ

Мы воспарим над бездной. Мы прочтём  
Минувшего нечитаную книгу.  
Мы пыль веков от хартий отряхнём —  
И письма разломим, как ковригу, —  
Ведь это хлеб надежды... разверни  
Невеждами оплёванные свитки...  
Ты — голытьба — обобранный до нитки —  
Прочти, как свиток, собственные дни...  
И вспомнишь всё: парижских улиц ад  
И венецьянские прохлады,  
Лимонных рощ далёкий аромат  
И Кёльна дымные громады...

\* \* \*

Назло распространившимся заразам,  
Грозящим человечеству чумой,  
Меня не отпускает Высший Разум,  
И собственный, не выдуманный — мой.

Он вечно бдит. В любое время суток.  
Сон будоража. В грёзах мельтеша.  
То как неугомонный мой рассудок.  
То как моя бессмертная душа,

Которая, поддавшись перегреву,  
Нет-нет да зверем скинется во мгле:  
Поскачет красной белкою по дереву,  
Помчится серым волком по земле,

Или орлом — по выпретенному полю,  
Чтобы, познав свободы сладкий бред,  
Вернуть себе желанную неволю,  
Как выстраданный суверенитет.

### НЕСТОР

Не я, Господи, а Ты мне говоришь.  
Полям-пахотой лежат тебе листы.  
Я один. Дымя, лампада тлеет лишь,  
И усталость сводит слабые персты.

Поле-пахотой лежит Тебе вчера:  
Путь Апостола к холмам Твоим святым...  
Дым полынный половецкого костра.  
Птичьим пеплом по звенящей степи — дым...

Дым во рту моём, во лбу моём, в глазу...  
Дым в доме моём... о, русская земля!  
Князь над костью тихо выронит слезу.  
Из костей беззвучно выникнет змея.

\* \* \*

Как пережить мне то, что Вы — другой?  
Не рыцарь... не герой плаща и шпаги...  
Что подвиг Ваш — и сердцем, и рукой —  
Лишь отпечаток мысли на бумаге...

Как быть — что не со мною Вы “на ты”,  
Что Ваши письма коротки и строги,  
Что Ваше поле — вне моей дороги,  
А в Вашем небе нет моей звезды?

Как превозмочь, что тягою земной  
Не к Вам тянусь, когда по Вас тоскую,  
Что любите Вы женщину другую  
И перед Богом — с ней, а не со мной?!

\* \* \*

Раздала я свой хлеб, проворонила дом,  
Друга милого выгнала прочь,  
Вот и льётся сквозь душу мучительным льдом  
Голубая апрельская ночь!

На коленки бы мне — да под тот образок,  
Что у бабушки в красном углу,  
И во сне, что, как смертная мука, высок,  
Догореть на холодном полу...

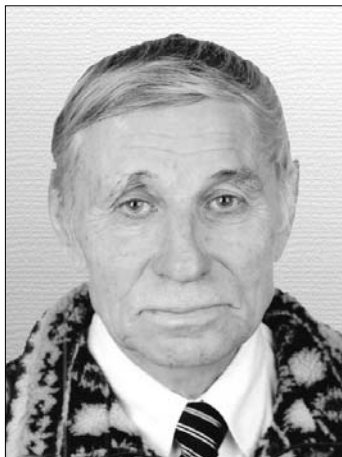
Научи меня, Дева, терпеть и молчать,  
Не искать за собою вины:  
Наложь на уста золотую печать  
Первозданной Твоей глубины.

\* \* \*

Прощаться так — унынием греша —  
На мир невиноватый кликать лихо...  
Меня утешит лишь твоя душа,  
К моей душе склонившаяся тихо...

О, что я знаю о твоей душе:  
Такую негу и такую муку,  
Что ни значку печатному, ни звуку  
Их тяжести не выдержать уже!

НИКОЛАЙ БЕСЕДИН



НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ

РАССКАЗ

Таисия сидела на нижней полке у окна общего вагона и смотрела на расцветные роздыми осенних полей, медленно проплывающие перед её полусонными глазами. Рядом спала десятилетняя дочь Алла, а на противоположной полке, прижавшись друг к другу, спали сыновья: старший — двенадцатилетний Никита — и младший — Юрик.

Таисия вглядывалась в едва проступающие очертания отчуждённо разбросанных на сельских просторах непривычных глазу хуторов и думала, что, наверное, зря она сорвалась с родовых сибирских мест и потащила с детьми в неведомые края, в чужелюдьё, надеясь, что дети окрепнут в тепле да на обильных садовых дарах, особенно часто болевший младший, которому врачи советовали сменить климат.

Видно, судьба наказывает её за то, что отрешилась она от малой родины, которая вскормила её с младенчества, оберегала в суровости своих зим и радовала щедростью недолгого лета, если всего-то за год с небольшим она сменила два местожительства на Украине и нигде не смогла прилепиться с чадами своими. А теперь вот снова поднялась в дорогу, продав корову и неподъёмное барахло, в новообретённые земли бывшей Восточной Пруссии, в город Советск, когда ещё не остыли, не отболели раны войны: истекал 1946 год.

---

*БЕСЕДИН Николай Васильевич родился в 1934 году в Кемеровской области. Четырнадцатилетним юношей ушёл юнгой на флот. В 1956 году окончил Ломоносовское мореходное училище ВМФ, в 1963 году — Литературный институт им. Горького в одном семинаре с Н. Рубцовым, О. Фокиной, Д. Ушаковым и др. Работал в Институте ядерной физики им. Курчатова, Госплане СССР. Автор 12 стихотворных сборников, лауреат премии им. Н. Заболоцкого (2002 г.). Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

Людские потоки, как в весеннее половодье вода, заполнили страну, пробиваясь через распухшие от мятущихся толп вокзалы к переполненным поездам, волоча за собой узлы, мешки, чемоданы и всякие другие багажные тяжести.

Одинокие и многодетные, демобилизованные военные при орденах и медалях, спекулянты и дети-беспризорники искали своё место в растревоженной, опалённой войной стране. Кто-то спешил к своим родовым местам, где их ждали, кто-то ехал, не зная, где найдет себе новое пристанище, ибо старое по каким-то причинам не приняло их, или они не захотели возвращаться в постылое место, и всякий искал неведомый благодатный край, который бы принял его как родного.

Вот и Таисия сорвалась со своей тройней из родовых мест осенью сорок пятого на Украину, куда позвала её в своё родное село подруга-учительница, такая же вдова-горемыка с двумя девочками-близняшками семи лет. Таисия думала: а чего ей ждать от судьбы в таёжном селе за сотню верст от ближайшей станции-полустанка хоть для себя тридцатидвухлетней, хоть для детей, которые рано или поздно выпорхнут на отеческое раздолье, и поди замани их потом назад — поддержать её в неизбежных немочах и тоске?

Слабая надежда, что муж её, Вася, не погиб в сорок первом под Ленинградом, как сообщила похоронка и друзья Васи, видевшие бой, в котором он подорвался на mine, почти истаяла и только изредка внезапным толчком в сердце напоминала о себе.

Ехали долго, почти месяц, оберегая пятерых своих малых сирот, багаж и пряча свертки с деньгами под грудями, бегали на станциях за кипятком и едой на пристанционные базарчики, ехали с пересадкой в Москве навстречу воинским эшелонам, спешившим на Дальний Восток, на издыхающую проклятую войну.

Поначалу на Украине всё вроде складывалось ладно. Большие Хутора были стародавним селом всего в семи километрах от Винницы с хорошей школой-семилеткой, куда взяли её учительницей русского языка, а жить стали в комнате у хозяйки большого дома, вдовой женщины с семнадцатилетней дочерью.

В позднюю осеннюю пору, зябную и дождливую, село не приглянулось Таисии. Хаты сидели на земле низко, с нахлобученными крышами, отчего казались они угрюмыми и близорукими из-за маленьких оконцев. Горизонт скрадывался колхозными постройками и сиротливым угором — одним на всю округу. Посреди села темнел затенённым мелководьем ставок. За ним чернел корявыми линиями ветвей наполовину вырубленный колхозный фруктовый сад.

Таисия приглядывалась к людям и к детям, которых учила, и всё острее чувствовала недобрые взгляды с немым вопросом:

— Зачем ты, кацапка, приехала на нашу батькивщину? Кому ты туточки треба?

Таисия думала: может, война засушила сострадательные чувства в людях, зачерствели их души в оккупации; пройдёт время, и жизнь упрячет в дальние уголки памяти кровь и смерть и высветит изначальную сущность человека: доброту да милосердие друг к другу.

Однако время шло, а отношения ни в школе, ни с молчаливой хозяйкой так и не становились теплее.

А тут ещё трагический, нелепый случай, который приключился прямо у неё на глазах, грубо подтолкнул её к давно вынашиваемому решению: уехать куда-нибудь, лишь бы не жить здесь, на чужой земле.

В доме у её хозяйки остановился демобилизованный майор, ехавший из Германии на свою малую отчину. Видимо, хозяйка нашла его в Виннице на вокзале и пригласила к себе погостить, думая устроить судьбу своей дочери-невесты. Привезла она его поздним вечером, затемно, на колхозной телеге, отвела чисто убранную комнату с отдельным выходом на террасу и спроводила ужин с доброй горилкой, посадив майора рядом с дочерью.

На второй или третий день к дочери хозяйки пришла подруга, и майор увяз в её густых, длинных по-кошачьи ресницах и певучем голосе с колдовским смехом.

Дочь хозяйки накрывала стол на террасе, а майор уединился с подругой в своей комнате. Таисия слышала, как дочь хозяйки всё звала и звала подругу с майором к столу, а они все не шли и не шли. И вдруг раздался выстрел, от которого у Таисии всё внутри оборвалось.

Весёлым голосом майор произнес:

— Вишь, как испугалась. Теперь не будет звать.

Дальнейшие события Таисия помнит смутно. Она боялась за детей, обнимая их и успокаивая, и слышала только надрывный, истошный плач хозяйки с прерывистыми причитаниями. Потом приехали какие-то люди, и многоголосый плач переместился во двор.

Неожиданно в комнату Таисии вошёл майор с чемоданами в руках. Он что-то говорил, пряча чемоданы под кровати детей, а Таисия замерла от страха, не в силах ни говорить, ни спрашивать.

Запомнилось, что, уходя, майор сказал:

— Пусть это все останется твоим сиротам. А моя жизнь кончена.

В дальнейшем выяснилось, что майор хотел погугать дочь хозяйки и выстрелил из пистолета наугад через стенку в сторону террасы. Пуля попала в голову несчастной девушки, и она скончалась на руках матери, когда везли её в больницу.

На следующий день после похорон Таисия позвала хозяйку и вытащила из-под кроватей чемоданы майора:

— Возьмите, это должно принадлежать вам.

Хозяйка молча вышла из комнаты и только через два или три дня заговорила с Таисией:

— Он это вит дал твоим дитам. Но если ты так хочешь, давай разделимо, будь оно проклято.

Таисия поняла, что дело не в трофейных вещах, а в чём-то более важном, что нельзя выразить словами, а только очистительным порывом сердца к состраданию и молчаливыми слезами, оплакивающими гореносную долю одинокой пожилой женщины.

И ещё она поняла, что чужое никогда не приносит радости, а только несчастье, как будто оно впитало в себя чьё-то горе и спешит поделиться им с новыми хозяевами.

Так потом и вышло, всё растряслось куда-то без пользы, и слава Богу.

И ещё сказала хозяйка:

— Вам треба пошукать другу хату. Вместе проживаты невозможно.

Другого жилья ни у кого не нашлось, наступила зима с сиротскими снегами и морозами, и директор школы отдал Таисии с детьми помещение истопника, где стояла печь, обогревающая несколько классов. Её надо было топить, добывая дрова, где придётся.

Старший сын ходил в колхозный сад и, плача от досады на своё слабосилие, отщипывал от пеньков щепки топором. Избитыми в кровь кулачками утирал слёзы, думая, что отец одним бы махом разрубил бы эти чёртовы пеньки. И память о нём оживала с новой силой, терзая душу мальчика.

Таисия застыла в своей растерянности от пустоты, которая окружала её всюду, кроме маленькой комнаты истопника, где она кормила и утешала своих сирот.

Она пыталась улыбаться при встречах с односельчанами, детям на уроках, но улыбка не возвращалась, а гасла на темных лицах людей.

И она поехала в районо просить, чтобы её перевели в другое место.

Так они попали на Казатин-2, небольшой разъезд с маневровыми путями и железнодорожной мастерской-депо, с разбитыми войной стенами пакгауза... В метельную, морозную ночь она вытащила младших из вагона на межпутье, а со старшим Никитой выбросила из тамбура вещи уже на ходу поезда. Ночь. Пустынно. Ни огонька. Она пошла наугад, пока не увидела будку стрелочника. В ней около жаркой буржуйки и дождались утра.

Как вновь назначенному директору школы-четырёхлетки, ей выделили комнату в доме барачного типа.

Но и Казатин-2 не стал для Таисии оседлым местом, хотя и обзавелась она необходимой утварью и даже коровой, и школу обиходила, и люди при-



няли новую горемыку-переселенца. Один слесарь из мастерских даже стал ухаживать за ней с серьёзными намерениями, да вскоре арестовали его как бывшего полиция.

Снова не потрафила судьба старшему: в шестой класс Никите пришлось ходить в Казатин-1, за шесть километров, и больно было смотреть, как тяжело он поднимался, уходя в дождливую или в снеговую темень в рамках, кое-как залатанных да зашитых Таисией.

Но и года не прошло, как позвала её сестра Катя в Советск, бывший немецкий город Тильзит: мол, тут полно пустых домов, брошенных прежними хозяевами, один, рядом с собой, присмотрели, мол, для тебя.

Справный дом, с сараем и садом, да и жить легче, когда рядом родной человек.

И она решила переехать, тем более что переселенцам давали подъёмные на обустройство в новообретённом краю.

...За окном вагона заметно рассвело, дети спокойно спали, да и вагонный народ только просыпался, и редко кто проходил мимо по разным надобностям.

Она снова погрузилась в раздумье. Какая метель-завируха унесла её из родимых мест, где она выросла в кержачьем селе посреди дремучей тайги в многодетной семье? Там же, недалеко, окончила педучилище, там же вышла замуж за высокого, весёлого младшего политрука Васю, которого знала с детства. Она родила ему троих — двух сыновей и дочь, и вынянчила их, сидя с книгой или ученической тетрадкой около зыбки, засыпая от усталости и просыпаясь от плача ребёнка.

Васю перевели на Дальний Восток, но она смогла уехать к нему только через полтора года. Там, в пограничном гарнизоне недалеко от Спасска, и вызрела в предвоенные годы её самая счастливая пора, бабья весна и лето — всё вместе.

Нет, не зря Вася называл её цыганочкой: и по наружности — черноволосая с коричневыми, как кедровый орех, глазами, припушенными соболиными ресницами, тонко очерченными по-восточному чертами красивого лица — и по характеру — весёлая непоседа, увлекавшаяся то драмкружком, то сочинительством пьес, то всякими задумками, — она в числе первых вступила в комсомол. Её неодолимо тянуло в незнакомые места и к новым впечатлениям.

Вася извёлся, ухаживая за ней. Приходил к её матери, спрашивал робко:

— Тася дома?

— Удержишь её за хвост. Как есть леший скипидаром мажет, изви её. Брал бы ты её поскорее, мне бы облегчил переживания.

Но и замужем Таисия не утомилась. Может, поэтому Василий и добился перевода на дальневосточную границу: там не попрыгает, там свой строгий режим.

А там была самая счастливая пора её жизни, пронизанная неугасимым светом взаимной любви с Васей и с детьми, в которых каждый день она открывала новые и новые истоки радости.

Там она была королевой гарнизона, и только ревность других женщин затеняла иногда свет её недолгого счастья.

Война в одночасье состарила её, на глаза упала тень вдовьего платка, а волосы посерели, потеряли свою сумеречную мягкость, когда через три месяца она получила похоронку на мужа.

В это время она уже уехала с Дальнего Востока и жила с детьми на своей изначальной родине с матерью, сестрами и братьями.

...Поезд сбавил ход, как будто осторожничал ехать по малоизученному пути.

Таисия смотрела на прибранные поля, на которых паслись коровы и редкие лошади, на ухоженные усадьбы и угрюмых людей, неторопливо работающих в поле, и думала, что Литва совсем не похожа на Украину, а тем более на Сибирь. Она стала замечать, что её стали пугать незнакомые места, ничего хорошего она не ждала от них, и особенно от бывшего немецкого го-

рода, но возвращение в Сибирь означало бы её полное поражение, а она этого не могла допустить хотя бы в глазах детей.

...На вокзале в Советске их встретили сестра Катя с мужем Николаем Михайловичем — осанистым мужчиной в строгом швейцарском костюме, надетом на свитер. Таисия видела его в первый раз. Сестра вышла за него замуж уже после войны, имея на руках дочь восьми лет от первого мужа, который неведомо как растворился перед самой войной. Второй Катин муж привёл с собой двух дочерей-погодков от своего первого брака, ровесниц Катининой Валюшки. Николай Михайлович усадил Таисию с детьми в кузов полутурки, туда же посадил и жену, а сам сел в кабину к шоферу, и они поехали в посёлок, находящийся в трех километрах от города.

Таисия смотрела на развалины зданий, на мрачные стены католического собора с чёрными провалами, на уцелевшие в войне дома под диковинными черепичными крышами, на брусчатую дорогу с мелкими выбоинами и аккуратные тротуары и видела во всём настороженность и отчуждённость. Ознобный холод исходил от каждого здания, и она невольно ёжилась и укрывала детей.

Но им не сиделось, они то и дело вскакивали и кричали друг другу, показывая:

— Смотри, как долбанули наши из пушек, ничего от дома не осталось!

— А вон следы танка, прямо по тротуару, по забору.

— Вон, вон, смотри, разбитый мотоцикл валяется, а вон рама от велосипеда.

Действительно, город как будто не торопился освобождаться от следов минувшей войны, то ли не желая предстать перед победителями в нарядном обличье, то ли просто от безразличия к своей дальнейшей судьбе.

Таисия вспоминала виденные по дороге развалины городов России и Белоруссии, сожжённые дотла деревни, разбитые вдребезги вокзалы, и мстительное чувство говорило в ней: это за наше горе, за наши слёзы. Ей и в голову не приходило, что это теперь её город, а значит — ей его восстанавливать и обживать.

Сестра рассказывала о жизни в Советске, что город ей нравится, дома в посёлке кирпичные, с подвалами и сараями, с огородами и садами, где много яблонь и вишен. Заборы из металлической сетки, но они почти не видны в густо посаженных кустах сирени и жасмина. Случается, что люди находят закопанные клады убежавших хозяев, но там, в основном, посуда, разные кухонные принадлежности, иногда вещи, но ничего дорогого не попадается.

Воду берут в колодце, однако обещают восстановить водопровод, на главной улице уже действуют колонки. Свет вот-вот должны дать, а пока, мол, освещаемся керосинками, ну, да нам не привыкать.

В городе богатый рынок, особенно по воскресеньям, когда литовцы привозят свои продукты: масло, молоко, сыр, колбасы, сало, пригоняют скот на продажу. Литва совсем рядом, только мост перейти через Неман. Там можно купить всё дешевле, но мало кто рискует ездить к ним из-за бандитствующих “лесных братьев”, живущих в лесах, как жили наши партизаны во время войны.

А в Советске спокойно, здесь стоят наши воинские части, сюда не сунутся. Таисия увидела женщину, торопливо идущую по тротуару с низко опущенной головой. Её шаги дробно разносились по пустынной улице, пугливо исчезая в просветах между домами, как будто прячась от чужих глаз.

— Что это у неё на ногах? — спросила она Катю.

— Деревянные колодки. Наверно, мода у немков такая. Это из последних, кто ещё не уехал. Наши их выселяют в Германию.

Вдруг машина затормозила, Николай Михайлович выскочил из кабины и подобрал в кювете сломанную лопату и кусок доски.

Сестра засмеялась:

— Всякую железку подбирает. Натащил целый сарай пустого барахла. Куда оно ему?

Посёлок оказался ещё меньше, чем предполагала Таисия: две улицы, перпендикулярные одна к другой, создавали впечатление прочности и про-

стоты. Никаких переулков, нарушений геометрически правильных линий домов, никаких архитектурных фантазий. Тем непонятнее было название улицы, где жила сестра, — Кривая.

Рядом стоял одноэтажный дом с двухскатной крышей, присмотренный для Таисии.

Он сразу понравился ей своей непритязательностью, отрешённостью от соседних двухэтажных громад своим заросшим травой и порослью печальным садом и прудиком, похожим на глаз мёртвого дракона. Песчаные дорожки были укрыты сухими листьями и травой, а сарай стоял с распахнутыми воротами, как будто ждал, что вот-вот войдёт в него живое существо и согреет озябшие стены своим дыханием.

Таисии стало жаль этот дом в его одиночестве, захотелось войти, пожалеть...

Но она тут же одёрнула себя: сперва получи разрешение, а потом и влезай в его кирпичную душу.

Им пришлось пожить у Кати почти две недели, пока Таисии не выдали документы на проживание в облюбованном доме.

Теперь, когда они с сестрой, Николаем Михайловичем и детьми привели дом в состояние, пригодное для жилья, не откачав только воду из подвала, она по-другому увидела его. Дом уже не казался ей скромным тихоней, покладистым, как прирученный зверёк. Он жил какой-то своей, неведомой ей жизнью. Многоголосое эхо вдруг возникало от одного только сказанного тихого слова, скрипела лестница на чердак, где была комнатка, когда она с детьми находилась внизу; двери открывались и закрывались сами по себе, и дом иногда вздыхал, как покинутый, одинокий старик.

Она хотела подружиться с домом, искала пути к нему, как к живому существу, чаще мыла полы, вытирала пыль, повесила на стены фотографии близких и найденные на чердаке картины на картонках, украсила бумажными кружевами, как это делала в Сибири, полочки в шкафах, смазала дверные петли, но все-таки дом оставался чужим и непонятным.

Но очень скоро она забыла про свои отношения с домом. Нужно было устраиваться на работу, определять детей в школу, приспособливаться к новым, непривычным условиям жизни.

Вода из колодца, освещение от керосиновой лампы, тепло от печи, продукты по карточкам, — всё это было хранимо памятью, заученными с малолетства движениями, впитано всем её существом матери и защитницы домашнего очага.

Но она не знала, как подступиться к саду, чтобы он рос и плодоносил, как уберечь детей от поисков кладов в пустующих домах и хуторах, от игр с найденными патронами, гранатами и даже минами или снарядами, что иногда кончалось трагически.

И она молилась перед единственной иконой Казанской Божьей Матери, которой её благословила мать, когда она впервые покидала родное село, о спасении своих детей и защите от огня пылучего, от воды топучей, от лиха и лихого человека.

И жизнь постепенно налаживалась, расставляла всё по своим местам и определяла порядок, что делать и о чем заботиться.

Ей предложили вести второй класс в городской школе-десятилетке, однако неблизкий пеший путь и страх перед не уехавшими ещё немцами заставили её отказаться от привычной работы.

А тут на счастье подвернулась работа бухгалтером в лесничестве, контора которого была на другом конце посёлка. И она не без робости, но согласилась: всё-таки близко от дома и дрова будут почти бесплатными. Рядом с конторой была школа-четырёхлетка, куда и приняли младших дочь и сына с условием, что они дома наверстают отставание в учёбе за пропущенный семестр.

Старшему, Никите, снова выпала дальняя дорога в городскую школу, но он, как и прежде, все терпеливо сносил, осознав с началом войны, что на него легли все обязанности погибшего отца, а детские шалости, слёзы и капризы остались в далёком и почти забытом детстве.

Никита заметно подтянулся в росте, отчего худоба его стала ещё заметней, оттопыренные уши, которые он старательно прятал под шапкой, нелепо торчали в стороны, едва оказывались на свободе, взгляд его почти всегда был озабоченным, и даже улыбку он старался скрывать, не размыкая скошенных от этого в сторону губ.

Таисия на подьёмные купила у литовцев на рынке корову, как и прежде назвав её Зорькой, и теперь Никите приходилось пасти её и возить излишки молока на рынок на кое-как слепленном из найденных деталей велосипеда. Не нашёл он только целых камер с крышками и поэтому приладил на обода колес резиновый шланг. Ножной тормоз тоже почему-то не работал, но Никита приспособился и к этому.

Когда выпадал снег и под колесами машин от легкого морозца превращался в накатанный снежный панцирь, Никита надевал на валенки конькиножи, найденные на чердаке, прикручивая их ремнями с палочкой, и катился на них в школу, значительно сокращая время в пути.

Он любил это шоссе, ведущее в город. На большей своей части его укрывали нависшие ветви деревьев, то образуя зелёный тоннель, источающий весенние запахи молодой листвы лип и клёнов или знойный аромат лета, настоенный на созревших семенах, то в зимние снегопады превращаясь в сказочные, украшенные драгоценными камнями замки.

И только одно место он старался проскочить как можно скорее, задерживая дыхание, — пекарню, откуда доносился запах свежеепеченного хлеба, и всё нутро его бунтовало, затемняя глаза тёмными кругами и обостряя чувство голода до предательской слабости во всём теле.

## 2

Школа № 1 была лучшей в городе. Кирпичные мощные стены трёхэтажного корпуса, широкие коридоры и лестничные марши, необъятный двор со спортивными площадками и просторный актовый зал вызывали у Никиты такую почтительность, что он долго боялся войти в класс, пока не пришла за ним, робко стоящим в коридоре, учительница и не посадила на предпоследнюю парту дальнего от входа ряда.

Никита поджал под сидение ноги, обутые в старые валенки, перевязанные проволокой, опустил руки на колени, чтобы не было видно заплаток на рукавах тесного пиджачка, и благодарно посмотрел на учительницу.

В первые дни школьных занятий Никита ни разу не вышел из класса во время перемен. Продолжая стесняться своего затрапезного вида, он склонился над учебником, а сам рассматривал своих одноклассников и вскоре убедился, что не он один обделён справной одеждой и не он один глотает слюни, когда говорят о еде. Никита быстро сдружился с такими же, как он, одноклассниками, не входившими в сплочённые группы старожиллов школы, а в посёлке верховодил своими малолетними родичами, защищая их от шпаны.

Дети военных и послевоенных лет были особым поколением. Рано повзрослевшие, испытавшие неизлечимую боль потерь отцов и близких, беды, голод и лишения, они быстро учились постоять за себя, легко объединялись в стайки и ватаги с самыми разными наклонностями: от совместной подготовки уроков и выполнения домашних поручений до воровства и попрошайничества, иногда попадая под влияние опытных воров и грабителей.

Остро стояла проблема беспризорников — детей, потерявших родителей или сбежавших от них в поисках своего места в жизни.

Для помощи, а по существу — для спасения детей, попавших в тяжёлые жизненные условия, создавались суворовские и нахимовские училища, школы юнг, детдома и приюты, ремесленные училища, детей брали в чужие семьи и даже в воинские части и на заводы.

Советска это коснулось в малой степени, потому что здесь жили в основном переселенцы, кроме того, город был приграничной зоной с несколькими воинскими частями, и всё-таки случались и воровство, и грабежи и редкие убийства, которые приписывали “лесным братьям”.

Никита редко вспоминал годы, проведённые в таёжном селе, горевой тяжестью осевшие в его памяти, но иногда его охватывала вдруг тоска по их бревенчатой избе, по весенним склонам гор, покрытых лютиками, по черемше и запаху кедровых шишек, по остекленевшей речушке Сибуле, подолом которой ходили хариусы.

Он ещё не знал, как называется эта тоска, которая останется в его сердце на всю жизнь.

Притяжение родины схоже с драгоценными зёрнами, которые долго зреют в душе и памяти ребёнка, собранные неосознанно, незаметно для него самого. Сладкие и горькие, колючие и нежные, они ложатся на его маленькое сердце, и какие-то гибнут, упав на иссушенную, чёрствую почву, другие же в животворном потоке природной щедрости вырастают в могучее дерево — дерево памяти рода своего, своей малой родины, дерево любви ко всему, что дало ему жизнь и вырастило на материнском молоке и охранительной силе отчего края.

Шестой класс Никита закончил в основном на четверки, кроме пятёрок по литературе и истории и троек по математике и немецкому. Наступили каникулы, а весна уже отцветала сиренью, осыпалась лепестками густо цветущих яблонь, гремела последними грозами, передавая власть над природой лету.

Никита удивлялся, как это непохоже на Сибирь, где учебный год заканчивался под неторопливо уходящую зиму и припозднившиеся мокроступные снегопады.

Теперь детвора убегала всё дальше от дома, в недоступные в зимнее бездорожье окрестности, и Никита, как дядька-надзиратель, сопровождал и пас, как говорила Таисия, свою младшую непоседливую родню. Однажды они углубились в ближний лес, строгорядный и как будто вычищенный кем-то от мелкокося и хворостья, наполненный незнакомыми терпкими запахами. Детвора вдруг помчалась к бело-розовой кипени кустов, облепивших небольшой холмик.

Никита в азарте обогнал их, но чем ближе подбегал к кустам, тем всё отвратительней становился кислый, тошнотворный запах, идущий оттуда. И только взбежав на холмик, он увидел котловину с гниющими человеческими телами, облепленными мухами. Он бросился назад, схватил детей и, не дыша, увлёк их из этого леса. И с тех пор не мог переносить запах жасмина, где бы его ни встретил.

Но особенно детей привлекали дома, в которых ещё никто не жил. Они обследовали каждый уголок этих домов, их дворы и сараи, копали землю в предполагаемых местах схоронения кладов и находили иногда, чаще всего посуду, инструмент и даже никому уже не нужные рейхсмарки.

Никиту заинтересовал металлический невысокий столб с поперечной широкой пластиной наверху, на которой сохранились следы каких-то букв и цифра 1812.

Позже учительница по истории сказала, что столб поставлен в память выступления на этом месте Наполеона перед своей армией в день начала похода на Россию.

В конце июня дети накупились на яблоки, ещё незрелые, кислые, вяжущие, быстро набивавшие оскомины, но такие вкусные, и не беда, что у многих болели потом животы: сибирский организм не был готов к такому нашествию витаминов.

У одних началась аллергия, у других отвращение к фруктам, которое, правда, держалось недолго.

Первого сентября Никита пошёл в седьмой класс, уже подумывая о своей дальнейшей судьбе, всё чаще поглядывая на красивую форму юнг с бескозырками, гюйсами и сияющими бляхами на пояском ремне. Его завораживали чёткий строй и лихие песни про “Варяга” и неведомую “Жанетту” с какао на борту.

Никита написал заявление о приёме в школу юнг на отделение трюмных машинистов, но по настоянию матери повременил нести его в приёмную комиссию.

Таисия к осени обвыкла в новой обстановке, уверенно чувствовала себя в бухгалтерской должности, подружилась с соседями, привычно управляясь с домашними делами и заботами о детях, кое-как утоляя их голод пайковым хлебом, картошкой со своего небольшого огорода и молоком Зорьки. Но к дому так и не могла привыкнуть, к его запахам и звукам, чувствуя себя скорее жиличкой, чем хозяйкой.

Приехала мать с последышем — самым меньшим братом Таисии, который был на три года младше Никиты, и поселилась у неё в дальней комнате, где была спальня мальчиков. Пришлось потесниться, и теперь все трое детей спали на старых диванах в горнице, а когда было тепло — в единственной комнате на втором этаже.

Мать, Ирина Васильевна, привнесла строгий порядок в жизненный уклад семьи Таисии. Волевая, решительная кержачка, острая на язычок и скорая на расправу за непослушание, она быстро стала главной в доме. Дети боялись её, однако любили за добрую отзывчивость, за суровую ласку и рассказы о прежней жизни.

В осеннее сумеречье соберёт мелюзгу вокруг себя, подберёт седые космы в пучок на затылке и неспешно, едва шевеля сухими, как засохшие лепестки, губами, вспоминает о былом:

— Пошли мы со старшей сестрой Матрёной из Агаскыра на золотые места, бывало и машиной, а нет — пешим ходом.

— Золотые места, это где золото?

— Ну да, золотишком там промышляли. Люди побогаче нашего жили. А где ночевали? Да где придётся. Если стог, на стог залезали, под деревом ночевали или в какой-нибудь деревне. Заходили, просились ночевать.

Бывало, и другие люди шли с нами. Дошли до займки, от Юзика всего вёрст с дюжину, бабушка там накормила нас простоквашей. Тут и лошадь с повозкой подвернулась, а на Июсе упала, и все эти толканы наши промочились, заплесневели, мы их выбросили. А займкинские бабушки говорят: “А как сурьёзные реки будете переходить?” Там ни парома, ни лодки — ничего нету. Будете сидеть на берегу, пока лодка какая приплывёт. До обеда, посмотрим, плывёт сверху. Мы крикнули, он подплыл: “На тот берег? Ну, давай по рублю”. Вот язви ты, говорю ему. По рублю. По рублю, ладно, хорошо...

Или песенки напевала тихим, тоненьким, как звук жалейки, голосом:

*Чеки-чеки, чекалдоочки,  
Ехал Ваня на палочке,  
А Сашенька на тележке,  
Щёлкает орешки,  
Орешки калёны  
С Москвы привезёны.*

Голос бабушки успокаивал, и малыши быстро засыпали. Растолкает их по местам и сядет вязать носки или чинить одежду: зима на носу.

А утром будит, будит — два раза скажет, а на третий ка-а-ак плеснёт водой под одеяло — вскакивали, как солдатики.

В ту же осень в доме стал появляться весёлый демобилизованный старшина Андрей Иванович с медалями и двумя орденами Славы на груди. Выпьёт две рюмки и поёт с Таисией под её гитарный перебор. А пел он залившимся тенором, звонким и ладным — не зря перед войной был в хоре ансамбля Красной Армии.

Войну прошёл всю от начала до конца, до самой японской то пулемётчиком, то разведчиком и даже снайпером, а как попал в Восточную Пруссию — не рассказывал. Разве только Таисии.

Баба Ира почему-то невзлюбила его:

— Кобель, как есть кобель, попрыгает, подрыгает и упрыгает. Шибко весёлый, шибутной какой-то.

— Что, мама, вам всё не так, что он плохого сделал? — говорила Таисия. — Самостоятельный мужчина, лесным объездчиком работает, говорит, что клятву дал над убитым другом, у которого осталось трое сирот, взять после войны в жёны обязательно вдову с детишками и вырастить их. Что мне теперь одной куковать? Васю не вернёшь. А без мужика — сама знаешь, и дров не наколоть. Хорошо вот Никита пока помогает. А улетит — ушлывёт в эти юнги, с кем я останусь?

— Ну, ты как знаешь, а меня в эту срамоту не втягивай, — сухо ответила мать и переехала жить к другой дочери, к Кате, но ссоры не допустила.

Перед Новым годом отменили продовольственные карточки, и новогодний праздник стал поистине всенародной гульбой. Люди выставляли на столы самые потаённые припасы, гуляли широко, улицами, с песнями да плясками, детей посылали колядовать, чего давно уже не было. И зазвенели детские голоса у окон и дверей, распевая полузабытое:

*Наша-то коляда  
Ни мала, ни велика.  
Она в двери не лезет  
И в окно нейдёт.  
Не ломай, не гибай,  
Весь пирог подавай.*

Казалось, что сам воздух стал слаще, а земля — принарядистей, и не так болели раны телесные и душевные.

В магазинах стали появляться продукты, о которых забыли на время войны: копчёная колбаса, сыр, мясо и рыба, икра красная и чёрная, паюсная и зернистая в бочонках, но пока мало что было доступно большинству людей из-за скудности денег, однако главное было в другом — в растущей день ото дня уверенности, что жизнь налаживается к лучшему, что нужно потерпеть ещё годик-два, и никто не будет голодным и бездомным, а терпеть люди научились за многие годы лихолетья, приноровили души свои к долгим ожиданиям счастливой доли, не ропща на судьбу, а веря каждый по-своему, что жизнь воздаст благом за мытарства и горе, за кровавую страду и неотешные слёзы.

В марте снизили цены, стали завозить больше одежды и обуви, и Таисия купила Никите первый в его жизни костюм из коричневой диагонали и ботинки по случаю окончания седьмого класса, — всё с небольшим запасом, на вырост.

На столе в доме, кроме главенствующей картошки, стали появляться маргарин, макароны, селедka, сахар... Андрей Иванович, приходя, приносил с собой колбасу и карамель для детей, но Никита избегал встреч с ним, уходя из дома по делам. И Таисия его не принуждала оставаться, понимая, что для старшего сына память об отце была живой, наполненной реальностью образа, в отличие от младших, которые совершенно не помнили его.

В конце июля Андрей Иванович, заядлый охотник, вместе с приятелем Петром, любителем поохотиться на водоплавающую птицу, собрались сходить на лодке в устье Немана, в его бесчисленные протоки, рукава и заводи при впадении в Балтийское море, и Таисия уговорила Никиту и младшего брата пойти вместе с ними.

— Посмотришь, сынок, на море. Ты же его ни разу не видел, а собираешься в юнги. А вдруг не понравится? Оно же такое, что и берега не видать. И Никита согласился.

До устья было километров шестьдесят, и, загрузив лодку съестными припасами, охотничьим снаряжением, одеждой и солью, они отчалили от дебаркадера за тихходным катером на буксире вниз по течению. Не доходя километров десять до места, катер отцепил их, и дальше они пошли на вёслах, неумелыми гребками толкая лодку по мутной желтоватой воде.

Эта поездка ещё больше укрепила Никиту в правильности выбора судьбы моряка. Когда перед его удивленным, растерянным взором открылось

морское побережье, Никита бросился с лодки в лёгкую волну и сразу же ощутил песчаное дно под ногами. Он шёл и шёл, уходя всё дальше от речных берегов, но море с какой-то странной закономерностью то поднималось ему под самое горло, то опускалось до пояса.

Его окликнул Андрей Иванович:

— Дальше не ходи. Там заканчиваются речные наносы и сразу начинается обрыв, течение заверты крутит, унесёт тебя в море.

И добавил решительно и властно:

— Немедленно возвращайся!

Нет, не появилось испуга у Никиты от этого предупреждения. Он медленно вернулся, забрался в лодку, и пока они гребли в речной плен, он всё смотрел и смотрел на игру света и цветовых оттенков морского простора, пока его совсем не заслонили речные плавни и камыши.

Охота вышла удачной. Птица здесь обитала непуганая, подойти к ней на 20–30 метров не составляло труда, и с дуплета Андрей Иванович брал иногда по 4–5 уток.

Забрели однажды в глухую заводь, над которой стоял затхлый запах непроточной воды, а прямо у поверхности открывали пасти, глотая воздух, вялые крупные щуки.

Из интереса оглушили веслом пару щук, но больше не стали: и соли уже не было, вся ушла на птицу, и уха на последней перед возвращением стоянке вышла так себе, незабористой.

— Вот бы где-нибудь соли раздобыть, — безнадёжным тоном произнёс Пётр, — можно было бы ещё пострелять, да и с пяток щук не помешали бы.

Недалеко на правом берегу был хутор, однако Пётр, зная эти места, считал, что туда лучше не соваться.

— И так мы с тобой немало тут пошумели. Уходить надо.

Андрея Ивановича это только раззадорило, и он всё-таки пошёл на хутор, чтобы купить, если удастся, соли и хлеба.

Вернулся злой, рассказывает:

— Вышел на стук лохматый, угрюмый литовец, долго смотрел молча, как будто спрашивал: “Ты что, ненормальный?”

А уходя, сказал на смеси русского с немецким:

— Убирайся, пока я собак не спустил.

Андрей Иванович ещё долго кипятился:

— Эх, автомат бы мне, не пожалел бы эту недобитую сволочь.

Обратный путь, против течения, был намного дольше. Первую треть шли на вёслах, держась левого берега, где течение было послабее, и только потом их подцепила на буксир попутная самоходная баржа.

По возвращении Никита сразу же подал документы в школу юнг, и хотя ему ещё не исполнилось необходимых для поступления пятнадцати лет, но с помощью знакомых удалось добиться исключения.

Впереди были вступительные экзамены, впереди были два года учёбы по специальности машиниста паросиловых установок, впереди была практика после первого курса с незабываемым выходом в море во время шторма на аварийно-спасательном буксире... Впереди было расставание с родным домом, с матерью и начало самостоятельной жизни в четырнадцать лет от роду.

#### 4

После поступления Никиты в школу юнг Таисия сразу как-то обмякла, походка её потеряла упругость, как будто к ногам груз привязали. Она часто сидела вечерами на крыльце, то ли думая о чём-то, то ли вспоминая, то ли отдыхая от назойливых мыслей: “Как жить дальше?”

Андрей Иванович всё настойчивей искал с ней встречи, даже на танцы приглашал в городской парк, уверял, что туда ходят и постарше неё, да она и сама хорошо знала про вдовьи надежды.

Иногда приезжал старший брат Иван, служивший офицером в Германии. Дети встречали его за километр от дома, радуясь его приезду, конфетам и печеньям, которыми он угощал их.



Таисия советовалась с ним насчёт нового замужества.

— А что в этом плохого? — удивился он, — Васю не воскресишь, а хозяин в доме нужен. Ну, а мама поворчит, поворчит и привыкнет. Не обращай внимания.

— Как не обращать? Ведь благословить должна. Как без этого?

Сестра Катя предложила:

— Давайте все вместе поговорим с ней. Должна же она понять. Сама с тридцать восьмого вдовствует, но мы-то, кроме младшего, все были уже взрослыми, двое уже замужем, и мама была не молоденькой — 56 лет.

Собрались у Ирины Васильевны в её каморке, как она сама называла небольшую комнатку, видимо, бывшую подсобным помещением, которую отвёл тёще Николай Михайлович.

Кое-как утолкались, и Катя начала издалека:

— Галя, наша младшая, обещалась приехать. Что ей там, в глуши, делать в девятнадцать лет?

Мать поджала губы-лепестки:

— Ну, собрали маланьину свадьбу! Сами онемечились, так и других тащите в басурманскую землю. В наших-то краях бабы прядут и прялки на небо кладут. А здесь одна хмарь вместо неба. Ну, а поселите куда? — примирительно спросила она.

— Может, у нас пока поживёт, а может, у Таисии. А вообще-то строительное начальство обещало комнату в общежитии. Почему ты думаешь, что мы тут онемечились? Немцев и следа нынче нет.

— Они-то укатили, да дух остался.

Это всё одно, как у шорцев: скоко ни окунай его в купель, а от него всё шаманом воняет. Вот принесли внучки ихний растопыренный крест. В земле нашли. Пока играют с ним, в куклу наряжают, а что опосля будет — кто скажет? Я говорю им: не все надо тащить из земли. Не зря туда упрятано.

Катя решила перейти к главному.

— Вот, — говорит, — нужно Таисии жизнь устраивать. Тяжело ей.

Ваня тоже поддержал:

— Сколько можно одной тащить все домашние тяготы?

— Ну, да. Хорошо. Теперича давай кобеля впрягать, чтобы полегчало, — ворчала мать, но уже как-то добродушно, — Нашлась тягловая сила, ни конь, ни кобыла.

Потом пожевала губы, помолчала и уже совсем примирительно:

— А что вы меня спрашиваете? Я вас вырастила, отпустила в мир, вы птицы вольные. А я отнянчилась.

Таисия встрепенулась, голову подняла:

— Значит, мама, вы не возражаете, если мы с Андрюшей поженимся?

— Я-то ладно. А дети — чистые души, примут чужого дядьку за отца?

— Младшие с ним ладят, а Никита — отрезанный ломоть, у него своя жизнь образовалась.

— А ты была у него? Форма не скособочилась?

— Была. Да не ко времени. Ни посмотреть, ни поговорить. Пойду ещё. Как же без этого?

— Ну, ладно. Идите. Сидючи киселя не сварить. Да и моим косточкам пора отдохнуть.

Таисия не стала торопиться с оформлением брака с Андреем Ивановичем.

Наступила весна, а в мае школа юнг всем своим личным составом отправлялась на плавательную практику на Балтику. Не хотелось Таисии, чтобы какая-никакая свадьба была на глазах старшего сына.

В начале июня на Таисию свалилась новая беда: пришло уведомление, чтобы в месячный срок она подготовилась к переезду на другую жилплощадь. Мол, темпы строительства отстают от темпа роста населения города, поэтому приходится уплотняться.

Ирина Васильевна посмотрела на расстроенную дочь и сказала уверенно:

— Брешут. Присмотрел, небось, твой домик какой-нибудь пузан, вот и настрочили писулю.

— Что же делать? — печалилась Таисия. — Столько труда вложено, сколько намаялись с хозяйством! А Зорьку куда?

— Чего причитаешь на пороге, не ведая, что будет в дороге. Иди. Ругайся. Защищай свои вдовьи права. Зазря что ли Вася голову сложил, чтобы его сиротами помыкали?

Таисия сходила и в горсовет, и в горком, жаловалась, плакала, но там ничего не обещали. Вас не одних переселяют.

И тогда в отчаянии, под горячую руку, она написала письмо в Москву товарищу Сталину. На следующий день спохватилась, да было поздно: ушло письмо. Сначала она испугалась, но потом решила, что письмо либо не дойдет, либо на него не обратят внимания: мало ли жалобных писем ему посылают. И успокоилась, думая, как же ей готовиться к переезду.

— А никак, — мать сказала, как отрезала. — Им нужно, вот пусть и собирают твои пожитки, язви их, и перетаскивают хоть на горбу.

Недели через три вдруг подкатила к дому Таисии важная машина. Вышли из неё двое штатских в чёрных костюмах и спрашивают так вежливо, вроде как издеваясь, остолбеневшую Таисию:

— Вы писали письмо товарищу Сталину?

У Таисии пот на лбу выступил, язык заплетается:

— Да. Я не хотела. Так получилось. Обидно мне стало. Вы уж извините. — Штатские улыбнулись, прошли молча в дом, оглядели его.

— А дети где?

— Играют. Я сейчас позову их.

И Таисия бросилась со всех ног к Кате, чувствуя, как страх покидает её, а в душе рождается предчувствие чего-то хорошего.

Крикнула детей, игравших с девочками сестры, и вся детская орава понеслась на её крик. Так и вернулась в окружении шестерых малюток.

— Это все ваши?

— Нет, моих двое, ещё один в школе...

И забыла добавить — юнг.

Её спрашивали, когда погиб муж, в каком звании, где она работает, откуда сюда приехала и когда, и ещё о чем-то, что уж и не запомнилось.

Наконец один из приехавших сказал:

— Живите здесь, в этом доме и ничего не бойтесь. Вас никто не выселит.

Доставили из машины три коробки с подарками для детей и уехали.

Этот случай взбудоражил весь поселок. Два дня об этом только и говорили, на третий день половина жителей стала сомневаться, что такое вообще могло быть, а через неделю уже никто не верил ни в письмо Сталину, ни в приезд важного начальства, отменившего решение о переселении семьи вдовы погибшего офицера. И только Таисия и её дети знали, что всё было именно так, как было в тот незабываемый июньский день 1949 года.

Вскоре после этого события Таисия и Андрей Иванович расписались в городском загсе, не меняя фамилий, и решили отпраздновать свадьбу в кругу родственников и ближних соседей.

Андрей Иванович накануне завалил дикого кабанчика в лесу, Таисия с Катей наготовили разных блюд из картошки и других овощей, купили масло, сыр, селёдку, конфет и пряников.

Накрытый стол излучал почти забытые запахи предвоенной жизни, и Катя даже посетовала, что для полноты счастья не наделили сибирских пельменей.

Ирина Васильевна пришла едва ли ни первой, когда стол уже накрыли, и дети потаскивали с него любимые лакомства. Она шутанула их, вышла из дома и села на крыльцо, ворча:

— У нас завалинки уже в мае теплые, а здесь посередине лета к приступкам примёрзнуть можно.

Она дождалась, когда Андрей Иванович вышел во двор, и позвала его в сад, где было что-то наподобие лавочки.

— Ну, что, зятёк, — начала она, — теперь, наверно, уже поздно спрашивать, каков ты гусь, но я и так вижу, что никаких каверз ты в голо-

ве не держишь, всё делаешь по совести, но поведай мне, старухе, как ты решился взять троих сирот на воспитание. Припозднилась я с этим разговором, но поздняя весть трёх ранних стоит.

Андрей Иванович ждал такого разговора и хотел его, чтобы не было кривотолков и сплетен вокруг его женитьбы.

Чуть склонив свои матово-тёмные, с проседью, кудри, он рассказывал не торопясь, благодарный за искренний интерес к нему.

— В шахтёры я пошёл в шестнадцать лет, а в девятнадцать призвали в армию. Нельзя сказать, что шёл с большой охотой, потому что настраивалась моя свадьба с одной хохлушкой. Настраивалась да не настроилась, как худая скрипка. Ушла она к другому, как только меня призвали. И дня не стала ждать. Меня это сильно, как шашкой, рубануло по самолюбию. Весёлый я был, на самодельной скрипке играл, на гармонии. Всё умел делать, что положено мужику. Обидела она меня до самых печёнок, до ненависти ко всему роду женскому. И я попросился служить в Забайкалье, подальше от родной Украины. Думал — там отмякнет душа, забуду про свою неудачную любовь. Про неё-то я мало-помалу забыл, а ненависть осталась. Там я через самодеятельность попал в хоровую группу ансамбля песни и пляски Александра, а тут и война началась. И пошёл я на неё с этой самой ненавистью, только обращённой к врагу, и с полным равнодушием к смерти. Лез в самое пекло, будь что будет. Пять раз лежал по ранению в госпиталях, четыре раза убежал отсюда на передовую. Был у меня друг, Степан, ближе брата родного. В каких только передрыгах с ним не побывали, берегли друг друга, а судьба солдатская берегла нас. Один раз только оплошала, под Будапештом. Снаряд разорвался аккурат между нами. У меня только руку зацепило, а его — насмерть. А как он любил свою семью — жену и трех детишек, как он любил их! Только этой любовью и жил. Может, и мою ненависть излечил этой своей неистойвой силой любви. Тогда я поклялся над его могилой, что если женюсь, то только на вдове погибшего солдата с его мальчиками, подниму и воспитаю их. После войны на западе поехал я на японскую, свыкся с товарищами, с солдатским хлебом, со своим автоматом. Ну а когда вконец отвоевались, приехал сюда, в Пруссию, чтобы только не в родные места. Матери с отцом уже не было, а о братьях ничего путного не знал, да и чужими мы стали за эти долгие годы, когда шли разными дорогами. Они меня не искали, а я их. Вот, мама, такая история. А дальше всё было на ваших глазах. Вот и судите.

Ирина Васильевна посмотрела на зятя пронизанными глубинным, влажным светом глазами и взяла его за руку.

— Кто я такая, чтобы судить тебя, солдат? Иди к Таисии, и да хранит вас Пресвятая Богородица. А я пойду, полежу, косточкам отдых дам, а потом, может, и надумаю прийти. Ступай, заждались там тебя. Не сердчай, что задержала разговорами.

Свадьба получилась весёлой, шумной, с баяном и скрипкой, с детскими играми и гостями-соседями.

— Ты ничего не понимаешь, — говорила Катя сестре. — Это для тебя она вторая, да еще с поминальными слезами о Васе, а для Андрея-то — первая, настоящая, как птица залётная с радостной весточкой, что одолел он смутное время, и вот оно — его счастье: семья, пусть и слепленная из осколков, да своя, первая и, дай Бог, единственная.

Таисия улыбнулась сестре, обняла её и сидящего рядом Андрея и запела свою любимую:

*Хаз-Булат удалой,  
Бедна сакля твоя...*

Андрей подхватил мелодию на скрипке, а брат Ваня — на баяне, и запели всей свадьбой старинную русскую песню, словно испрашивая благословение у своего рода жить по своим русским обычаям.

...В августе вернулся с практики Никита, загоревший на морском ветру, с почерневшими от угольной пыли ладонями. Андрей Иванович, жалеючи Таисию, отложил свой переезд к ней. Решили подождать, пока старший сын не окончит школу юнг.

Но под Новый год Никита сказал матери:

— Чего вы живёте отдельно? Всё равно я всё знаю. Пусть переезжает к нам. Я хочу, чтобы тебе было легче.

— Не будет уже мне легче, сынок, чем когда-то, до войны. Память ревнива и по-особенному жестока. Она не упустит случая напомнить о грехах наших, иногда с каким-то мстительным наслаждением, сравнивая потерянное с приобретённым. Но ты пока не поймёшь этого. Только прошу: не суди меня. Вася, твой папка, всегда со мной, как будто и не погиб в той далёкой Карелии. Мне вас поднять надо. Вот ты уже поднялся на одно крылышко, дай Бог, понадутся добрые люди — и окрепнешь, станешь, как папка. А младшие совсем ещё беззащитные. Ты сам видишь, Аллочка и телом, и умом слабенькая, а Юра часто болеет. Ему и здесь, наверно, не климат, нужно в сухие места переезжать.

Таисия обняла сына, прижала к себе, но он уже не помещался в её объятиях.

— Большой ты стал у меня, уже не спрячешь под мамкиным подолом.

Никита мягко отстранился от матери.

— Я не смогу называть Андрея Ивановича отцом. Младшие — как хотят, а я не смогу.

Таисия перевела разговор на школу юнг.

— Говорят, у вас драки бывают с городскими?

— А ты приходи — посмотришь, как мы живём.

Таисия давно собиралась снова сходить в школу юнг, взглянуть на неё изнутри, поговорить с начальством о сыне.

Встревожили её и разговоры людей о драках юнг с военными и гражданскими ребятами, были даже убитые.

Чтобы быть посмелее, взяла с собой приехавшую сестру Галю.

Школа юнг размещалась в четырёхэтажном массивном кирпичном здании, обнесённом высоким кирпичным же забором, по верху которого шли два ряда колочей проволоки. У немцев здесь находилась юнкерская школа, а во время войны — какая-то секретная часть.

Не перестраивая здание, приспособили его для молодых моряков, но оно по-прежнему хранило прусскую тяжеловесность и надменность, исходящую от каждого кирпича. Видимо, это как-то влияло на молодые души, и юнги считали себя хозяевами города и никому не прощали обид, свято чтя заповедь моряков: один за всех и все за одного.

Встретили их настороженно, но обходительно, передав под опеку командира роты Бурова Степана Петровича, невысокого, широкоплечего, с рубцами на левой щеке и неподвижной, согнутой в локте левой рукой моряка, в поношенном морском кителе без погон и звездой Героя Советского Союза.

Таисия обомлела. Она никогда ещё не видела человека с такой высокой наградой и растерялась, забыв, что хотела сказать и о чём спросить.

Буров представился и улыбнулся:

— Вы хотите повидаться с сыном?

Видя растерянность сестры, Галя начала разговор сама:

— Не только повидаться, но и посмотреть внутри школу, узнать, как живут юнги, чем занимаются, чему их учат.

— А вы кто? Откуда приехали?

Буров посерьёзней, улыбка спряталась в чуть прищуренных светлых глазах, но иногда с любопытством выглядывала из-под редких бровей и снова пряталась.

— Мы местные, — продолжала Галя, — родные сестры, а у Таисии, — она кивнула на сестру, — здесь учится сын — Никита Кравцов.

Улыбка Бурова озарила всё лицо, и он обозначил правой рукой направление пути:

— Ну, что ж, пойдёмте, покажу, а Никиту повидаете позже, сейчас у них самоподготовка.

Школа произвела на Таисию двойственное впечатление. Ей понравился порядок в каждой мелочи — от заправленных аккуратно двухъярусных кроватей и вымытых до блеска полов до расчищенного от снега широкого двора, фотографий кораблей на стенах, спортивного зала и клуба. Но ознобно давили высокие потолки, холодом веяло от кирпичных оштукатуренных стен, покрашенных бледно-коричневой краской, и бетонных полов в самом большом кубрике на сто двадцать коек. Она вспомнила казармы бойцов в дальневосточном гарнизоне, где всё было почти по-домашнему: бревенчатые стены, половики и занавески создавали уют и теплоту, напоминая бойцам родной дом.

— Может быть, хотите посмотреть столовую? — спросил Буров.

— А долго ещё ждать, когда закончится самоподготовка? — Таисия окончательно пришла в себя, и ей не терпелось увидеть сына.

— Расскажите, как он учится, как ведёт себя, ладит ли с товарищами? Извините, что спрашиваю, может, у вас нет времени. Матери всё хочется знать, ведь ему и шестнадцать ещё нет.

— Да, он самый младший у меня в роте. А есть такие, которым уже за двадцать, которые пороха понюхали на войне и медали имеют.

Буров провёл сестёр в библиотеку и предложил подождать здесь Никиту. Добавил к сказанному немного, скупно, как привык на флоте, где отродясь не любили многословия.

— Учится нормально, с товарищами тоже всё хорошо. У нас меньших не обижают. Закон такой. Думаю, что моряк из него получится хороший.

После ухода Бурова вскоре пришёл Никита — и сразу же с обидой:

— Зачем вы пришли? Чтобы потом смеялись надо мной? Я сам приду к вам, когда дадут увольнительную.

— Ты же говорил: приходи.

— Я пошутил. Идите домой, а то набегут сейчас.

И почти вытолкнул Таисию и не стал даже провожать до проходной.

— Вырос Никита, взрослым себя чувствует, потому и стесняется, что мать к нему пришла, — успокаивала Галя Таисию, видя, как она вытирает слёзы.

Пошёл снег, мокрый, липкий. Он неприятно сползал по лицу, стекал за воротник, вызывая мелкую дрожь кожи.

— У нас в марте в тайге ещё, наверно, снега выше колен, и мороз под тридцать. Хорошо! Сейчас бы туда.

Таисия взяла Галю под руку и прижала к себе.

— Ничего, сестрёнка, когда-нибудь мы туда вернёмся — в лапушистые снега и ярое лето. Не получится из нас прусских русаков. Не зря говорят: где родился, там и пригодился. Пошли. К Новому году будем готовиться, может, и Никиту отпустят на праздник.

## 6

Новый год встречали всей семьёй, теперь уже полноценной. Младшие звали Андрея Ивановича папой, а Никита всякий раз морщился при этом, с жалостью поглядывая на сестру с братом. Но его радовало, что фотография родного отца висела в рамке на видном месте и что мать не избегала разговоров с Никитой о нём.

Зима выдалась сырая, с сиротскими снегами и дождевыми моросями, морозы изредка едва переваливали за  $-5^{\circ}\text{C}$ , и тогда деревья укрывали свои ветви в тончайшую бахрому, которая потом, при оттепели, сползала, стекала вниз на землю тощими змейками и мутными каплями. Промозглый ветер с Балтики пронизывал насквозь ветхие одежды людей, завывая ночью в горловинах улиц, в щелях черепичных кровель и в переплетении проводов.

У Таисии обострилось лёгочное недомогание, у детей не проходил на-

сморг, особенно у младшего. Неделями, а то и месяцами люди не видели солнца, укрытого серой тяжеловесной хмарью, медленно ползущей с запада на восток.

В очередной приезд Ваня сказал, что его переводят из Германии в город Орел, и Ирина Васильевна сразу заявила сыну:

— Как хошь, но мы с Витюшей, младшим братцем твоим, поедем жить к тебе. Не дай Бог, скопычусь здесь, похоронят в чужую землю, а в России хоть зимы как зимы, и леший не гундосит по ночам.

— А что, мама, — Таисия осторожно спросила её, — в Сибирь, на родину и ехать не к кому?

— А то ж. Есть там у меня братец — беспутный Кузьма, к бабам липнет да пьёт, как лошадь. Не к нему же.

— У тебя есть адресок его? Дай на всякий случай. Мало ли как жизнь повернётся, а осесть здесь навечно и мне неохота.

— Тебе-то что заботиться о кудели, ежели овцы ещё не поспели. Живи себе да живи. Плохо ли в своём дому?

И действительно, жизнь понемногу налаживалась. В марте снова снизили цены в магазинах, на полках бок о бок стояли коробки со всякими изделиями, консервы разные, висели колбасные гроздьи, стояли соленья в бочках, лежали на витринах рыбные тушки. Хоть смотри, хоть покупай того-сего, на сколь наскребёшь в карманах.

В мае Никита закончил школу юнг по специальности трюмного машиниста. Пришёл домой в новенькой форме и с направлением в город Балтийск на судно с мудрёным названием “Лот”.

Младшие смотрели на брата с восхищением, а Таисия не смогла удержать слёз, поднялась в верхнюю комнату и дала себе волю выплакаться за всё сразу: за всю свою нескладную цыганскую жизнь, за тяжкое военное лихолетье, за раннее вдовство и безотцовщину детей, за старшего сына, семи лет ставшего за мужика в доме и так и не узнавшего настоящего детства. Она вспомнила, как он, восьмилетний, доил корову, сидя под ней на корточках, и у него не хватало сил надавить на соски коровы пальцами, и он сжимал и оттягивал их двумя ладошками.

Она плакала о непомерных дорожных тяготах при переезде из Сибири, когда не знала, то ли смотреть за узлами, чтобы не украли, то ли за детьми, то ли бежать на остановках к базарчику, чтобы не видеть голодные сиротские глаза и не слышать то и дело их жалобные, тихие голоса: “Мам, исть хочу”. Но больше всего она плакала о себе, мыкающей по белому свету в поисках неизвестно какого счастья.

Наплакавшись, она услышала, как муж зовёт детей к столу и просит Никиту поискать мать.

Подумала: грех жаловаться на судьбу. И дом есть, и муж, и дети, слава Богу, подрастают здоровыми и не тронутыми всякими порчами. Сколько она повидала людей, убитых неподъёмным горем и бедами, потерявших свои семьи, своих близких, искалеченных и бездомных! Но они жили и несли свой крест достойно человеческому званию. И ещё подумала: не зря мама говорила мне: “Не жалуйся на судьбу — не буди лиха, пока оно тихо”.

Таисия вытерла слёзы и спустилась вниз улыбочивая, приветливая, обняла Никиту:

— Тебе, сынок, завтра уезжать. Давайте отметим начало твоей новой жизни. Я и бутылочку вина приберегла. Сегодня тебе можно немного выпить и нам тоже, правда, Андрей?

Андрей Иванович засмеялся:

— Какое там вино? Это же что слону дробина. Я вот бутылку водки припас. Во цеж воно будэ дило! — вдруг по-украински сказал он, что делал крайне редко и только в хорошем настроении.

И всё-таки после отъезда Никиты Таисия почувствовала непривычную опустошённость в себе, которая ещё больше усилилась, когда приехал Ваня и забрал мать и младшего брата в Орёл, по новому месту службы.

И посёлок утишился на пару детских голосов и строгую доброту скупых слов бабы Иры.

Затосковала Таисия, хотя это никак не отражалось в её отношениях на работе и дома, а угнездились где-то в самых дальних уголках души, вызывая иногда то образ сына, то матери, то родных сибирских мест.

В одну из таких минут она написала письмо дяде Кузьме и только потом сказала об этом Андрею.

К её удивлению, он отнёсся к возможности переезда спокойно, увидев в этом свои преимущества:

— Там, наверно, и леса дикие, и охота настоящая, и нет заросших окопов и траншей, пропади они пропадом.

А вскоре пришло письмо от дяди Кузьмы.

Он писал:

“...Места у нас лесные. Однако сеем немного для себя. Остальное прикупаем. Ну, и мясокомбинат рядом, там всегда можно чё раздобыть, хоть костей, хоть брюшины, голодными не будете.

И притужать нынче не притужают, как в войну. Строят, город уширяется. Вот больницу поставили, школу. Опять-таки работа для тебя, племянница. Домик для вас я тоже присмотрел. Неказистый, да ведь леса много. Построим — не хуже других будет. Я ещё не разучился топор в руках держать. А что касается разных наговоров, то я же нормальный образ жизни веду, не такой, как в былые времена.

И жена при мне есть, и сын ейный!”

И стала Таисия думать о переезде.

Сказала мужу:

— Ребёнок у нас будет. Твой. Напишут в метрике место рождения: город Советск. Ни Россия, ни Германия. Так и будет жить без благословения родной землёй.

И после зимы они решились. Послали мебель и тяжёлый багаж железнодорожной малой скоростью на новое местожительство, и стали собираться.

Трудно было расставаться с обжитым местом, с сестрой и соседями, даже с привычным уже посёлком, но особенно потрясло Таисию, когда она стала привязывать на длинный поводок Зорьку, чтобы отвести её на базар, как заупрямилась она, как жалобно замычала, с такой горькой тоской и укоризной глядя влажными глазами на Таисию, что та бросила поводок и убежала в дом.

— Я не поведу Зорьку на продажу, — плача сказала она Андрею, — что хочешь делай, а у меня нет сил смотреть, как она мучается, будто знает, куда её хотят увести. Какая корова, какая умница, сама домой приходила, двадцать литров молока давала, — и снова слёзы опрокинули слова внутрь, и она не могла с ними справиться.

К счастью, покупатель нашёлся в посёлке, и Таисия с мужем и детьми, собрав оставшиеся малые пожитки, утолкались в плацкартный вагон, заняв почти всё купе, и застучали привычно вагонные колеса, и замелькали станции и полустанки, леса да поля в своей весенней страде, города, обновлённые новостройками, а дальше, за Москвой, — потемневшие от стародавности, но, как и всюду, светливые, ненасытные мирной жизнью.

Таисия смотрела в вагонное окно и думала, что, может быть, и хорошо, что судьба помотала её по всей стране от восходного края до закатного, показала, как живут люди в разных местах, и втемяшила в её взбалмошную голову народную мудрость: “Хорошо там, где нас нет”.

Она загаённо вглядывалась в наплывающие пространства и, наконец, почувствовала, как радостно отозвалось сердце на первые признаки приближающихся родных мест с берёзовыми колками и запахами только-только проснувшейся тайги.

НИКОЛАЙ АЛЕШКОВ



## ПОЭМА О МАТЕРИ

Сестра позвонила: ты помнишь, поэт,  
что маме исполнится скоро сто лет?

Ну, что ж, соберёмся, поздравим её,  
есть каждому вспомнить про маму своё.  
Троих поднимала — ах, Боже ты мой!  
Отец в сорок третьем вернулся домой.  
Израненный, видел, что голодно тут.  
Но Любка, и Борька, и Санька растут!  
И вот в сорок пятом победном году  
и я появился четвёртым в роду.  
Ещё через семь мирных, радостных лет  
Верунька, последыш, явилась на свет...

Вернуться бы в детство, во времечко то,  
носить перешитое брата пальто.  
Пастьба лошадей, сенокос, сеновал —  
счастливее времени я не знавал.  
На речку с утра я спешил поскорей,  
на сетку успеть наловить пескарей,

---

*АЛЕШКОВ Николай Петрович родился в селе Орловка Челнинского района ТАССР. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Работал монёром связи, электриком, кровельщиком, диспетчером домостроительного комбината. Был редактором набережночелнинской городской газеты "Время" и межрегиональной литературной газеты "Звезда полей". В настоящее время — редактор литературного альманаха "Аргмак". Член Союза писателей. Автор десяти книг стихов. Живёт в Набережных Челнах.*



а крупную рыбу в лугах бредешком  
тащили по озеру братья тишком.

Зимой после школы, в вечерней тиши:  
“Колянъка, Борису письмо напиши,  
а я продиктую про то да про сё,  
да только смотри — не рассказывай всё.  
Пусть служит спокойно, тут справимся мы:  
отец невиновен, не будет тюрьмы...”  
И мама не знает — мой старший братан,  
танкист, в Будапеште ходил на таран.  
Она не умела читать и писать —  
моя деревенская мудрая мать.

Вновь лето настало. И вместе с отцом  
мы дом поднимали венец за венцом,  
я скобелем шурил бревно за бревном,  
и пахло смолистой сосною кругом.  
Мне было в ту пору всего десять лет.  
И мама на всехставляла обед,  
чтоб среднему брату кусок пожирней,  
он — главный на стройке. Ему всех трудней.  
А батя — тот в кузнице горн раздувал,  
наследным умением деньгу добывал,  
да к вдовам нередко заглядывал он:  
“У Ольги Хрульковой хорош самогон!”

Но были и праздники. В новой избе  
весёлую свадьбу сыграли тебе,  
мой брат Александр. Вернулся Борис.  
А жизни качели — то кверху, то вниз.  
Сестре помогали — училась Любовь.  
А младшая, Верка, с мальчишками в кровь  
любила подраться — защита была:  
три брата навалятся — куча мала...

Вся жизнь в деревенских заботах текла.  
Маманя в печи караваи пекла.  
И ныне по свету поди-поищи  
вкуснее, чем в печке томлёные щи.  
И разве забудешь: зимой на печи  
всю хворь выгоняли из нас кирпичи.

А боров, заколотый под Рождество?  
Разделять братья умели его.  
Свиные палёные уши всегда —  
для нас это лакомство, а не еда.  
Сычуг и колбаски попробуй, мужик!  
Готовила мама — проглотишь язык.  
Пельмени — особый в семье ритуал.  
Сам батя над мясом всегда колдовал,  
в корыте рубил, посыпая снежком,  
а мама семейку сажала рядком,  
чтоб каждый учился пельмени лепить  
с красивым узором. Таких не купить  
сегодня нигде, уверяю, друзья!  
Вот если закажете — сделаю я.

Картошку копать собирайся, народ!  
На все тридцать соток у нас огород.

А это не меньше, чем двести мешков —  
и в яму, и в подпол. Трех мужиков  
хватало в семье. И не даст сачковать  
“прораб”, то есть наша родимая мать,  
хоть было обидно за весь урожай —  
немалую часть “усударству” отдай.

— А чьи ребятишки в селе драчуны?  
— Маришины, знамо. Задрать бы штаны,  
по заднице каждого и отхлестать.  
— Не надо. Со всеми справляется мать.  
А если по правде признаться, я рад —  
не била Мариша строптивых “ягнят”...

Сестра позвонила: ты помнишь, поэт,  
что маме — ни много ни мало — сто лет?

Придём, повернёмся к могилам лицом.  
Лежит, как положено, рядом с отцом,  
поднявшая нас, воспитавшая нас,  
и чистые слёзы польются из глаз.  
И внуков, и правнуков мы привели  
к кресту православному в чреве земли.  
Мы знаем — душа нашей мамы сейчас  
и видит, и слушает выросших нас.

## “НАШ СОВРЕМЕННОК” О И. В. СТАЛИНЕ

*Яростные споры о роли Сталина в мировой и в отечественной истории начались в середине 30-х годов прошлого столетия и докатились до нынешних дней.*

*Первое поколение десталинизаторов и апологетов Сталина состояло из его современников, чьи имена навсегда вошли в мировую историю: Троцкий, Черчилль, Гитлер, Шарль де Голль, Хрущёв, Мао Цзедун, Милован Джилас...*

*Каждый из них пытался по-своему истолковать и понять явление, именуемое “Иосиф Сталин”.*

*Его фигура властно притягивала к себе многих всемирно знаменитых деятелей культуры Европы и Советского Союза: Лиона Фейхтвангера, Чарльза Сноу, Андре Жюда, Роже Гароди, Михаила Шолохова, Ильи Эренбурга, Константина Симонова, Луки Войно-Ясенецкого.*

*Но все они были людьми, жившими в одно время со Сталиным, также как его безглые слуги, вроде чекиста Вальтера Кривицкого и дипломата Фёдора Раскольникова, как преданные ему великие маршалы Победы. Естественно, что ни те, ни другие не могли оценить его как человека и как исторический феномен с объективной бесстрастностью.*

*Поэтому мы решили познакомиться читателей журнала с оценками Сталина историков и публицистов, обогащённых свободой мысли и знаниями, пришедшими к нам после тектонических сдвигов мировой цивилизации, связанных с исчезновением сталинской империи, с установлением нового мирового порядка, с появлением громадного количества фактов и документов, ранее хранившихся за семью печатями. Как эти трагические катаклизмы повлияли на оценку его фигуры и его эпохи, как понимают свободным умом его роль и значение исследователи, ныне живущие рядом с нами или совсем недавно от нас ушедшие, получившие необъятные возможности для понимания личности, масштабы которой после бесчисленных приливов и отливов хулы и хвалы постепенно обретают истинные очертания...*

*Как сказал Сергей Есенин, “...Большое видится на расстоянии”...*

Станислав КУНЯЕВ

## “БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНЬЕ...”

**Валентин БЕРЕЖКОВ, личный переводчик И. В. Сталина.  
Из книги “Рядом со Сталиным” (1998)**

В последнее время у нас много писали о советских поставках Германии, справедливо упрекая Сталина в том, что он снабжал Гитлера зерном, нефтью, редкими металлами, помогал нацистам накапливать стратегические запасы, использованные впоследствии в войне против Советского Союза. Но надо сказать, что и мы получили не только необходимое нам оборудование, но и современные военные системы. Лишь при таких условиях советское правительство соглашалось поставлять Германии нужное ей сырьё. Мы получили от немцев самый современный для того времени крейсер “Лютцов”, однотипный с крейсером “Принц Евгений”, — оба эти корабля германский флот строил для себя. Кроме того, нам передали рабочие чертежи новейшего линкора “Бисмарк”, 30 боевых самолётов, среди них истребители “Мессершмитт-109” и “Мессершмитт-110”, пикирующие бомбардировщики “Юнкерс-88”, образцы полевой артиллерии, новейшие приборы управления огнём, танки и формулы их брони, взрывные устройства. Наряду с этим Германия обязалась постав-

лять нам оборудование для нефтяной и электропромышленности, локомотивы, турбины, дизель-моторы, торговые суда, металлорежущие станки, прессы, кузнечное оборудование и другие изделия для тяжёлой промышленности.

\* \* \*

Некоторые авторы сейчас утверждают, что всех посетителей, даже Молотова, перед кабинетом вождя обыскивали, что под креслами находились электронные приборы для проверки, не спрятал ли кто-то оружие. Ничего подобного не было. Во-первых, тогда ещё не существовало электронных систем, а во-вторых, за все почти четыре года, что я приходил к Сталину, меня ни разу не обыскивали и вообще не подвергали каким-либо специальным проверкам. Между тем, в наиболее тревожные последние месяцы 1941 года, когда опасались заброшенных в столицу немецких агентов, каждому из нас выдали пистолет. У меня, например, был маленький “вальтер”, который легко можно было спрятать в кармане. Когда около шести утра заканчивалась работа, я, взяв его из сейфа, отправлялся в здание Наркоминдела на Кузнецком, где в подвале можно было немного отдохнуть, не реагируя на частые воздушные тревоги. В осенние и зимние месяцы светало поздно, и улицы были погружены во мрак. Правда, часто попадался комендантский патруль, проверял документы. Но ведь мог встретиться и немецкий диверсант. Вот на сей случай и полагалось оружие. По приходе в Кремль на работу следовало спрятать пистолет в сейф. Но никто не проверял, сделал ли я это и не взял ли оружие, отправляясь к Сталину.

\* \* \*

Сталин обладал способностью очаровывать собеседников. Он, несомненно, был большим актёром и мог создать образ обаятельного, скромного, даже простецкого человека. В первые недели войны, когда казалось, что Советский Союз вот-вот рухнет, все высокопоставленные иностранные посетители, начиная с Гарри Гопкинса, были настроены весьма пессимистически. А уезжали они из Москвы в полной уверенности, что советский народ будет сражаться и, в конечном счёте, победит. Но ведь положение у нас было действительно катастрофическое. Враг неотвратимо двигался на восток. Чуть ли не каждую ночь приходилось прятаться в бомбоубежищах. Так что же побуждало Гопкинса, Гарримана, Бивербрука и других опытных и скептических настроенных политиков менять свою точку зрения? Только беседы со Сталиным. Несмотря на казавшуюся безнадёжной ситуацию, он умел создать атмосферу непринуждённости, спокойствия.

В кабинет, где всегда царил тишина, едва доносился перезвон кремлёвских курантов. Сам хозяин излучал благожелательность, неторопливость. Казалось, ничего драматического не происходит за стенами этой комнаты, ничего его не тревожит. У него масса времени, он готов вести беседу хоть всю ночь. И это подкупало. Его собеседники не подозревали, что уже принимаются меры к эвакуации Москвы, минируются мосты и правительственные здания, что создан подпольный обком столицы, а его будущим работникам выданы паспорта на вымышленные имена, что казавшийся им таким беззаботным хозяин кремлёвского кабинета прикидывает различные варианты на случай спешного выезда правительства в надёжное место. После войны он в минуту откровения сам признался, что положение было отчаянным. Но сейчас он умело это скрывает за любезной улыбкой и показной невозмутимостью. Говоря о нуждах Красной Армии и промышленности, Сталин называет не только зенитные, противотанковые орудия и алюминий для производства самолётов, но и оборудование для предприятий, целые заводы. Поначалу собеседники недоумевают: доставка и установка оборудования, налаживание производства потребуют многих месяцев, если не лет.

А ведь западные военные эксперты утверждают, что советское сопротивление рухнет в ближайшие четыре-пять недель. О каком же строительстве новых заводов может идти речь? Даже оружие посылать русским рискованно —

как бы оно не попало в руки немцев. Но если Сталин просит заводы, значит, он что-то знает, о чём не ведают ни эксперты, ни политики в западных демократиях. И как понимать олимпийское спокойствие Сталина и его заявление Гопкинсу, что если американцы пришлют алюминий, СССР будет воевать хоть четыре года? Несомненно, Сталину виднее, как обстоят тут дела! И вот Гопкинс, Бивербрук, Гарриман заверяют Рузвельта и Черчилля, что Советский Союз выстоит и что есть смысл приступить к организации военных поставок стойкому советскому союзнику. Сталин блефовал, но, по счастью, оказался прав. Так же, как и тогда, когда после посещения британским министром иностранных дел Антони Иденом подмосковного фронта во второй половине декабря 1941 года он заявил:

– Русские были два раза в Берлине, будут и в третий раз...

**Михаил ЛОБАНОВ**  
Из книги “Сталин”, М., 1995

Среди документов по истории Отечественной войны особое место занимает знаменитый приказ № 227 И. В. Сталина, подписанный им в тревожное время, когда враг грозил прорывом к Сталинграду и захватом его. Даже и теперь, по прошествии более полувека после тех грозных дней, ледяным ветром эпохи веет от суровых слов приказа, беспощадных в требовании стоять насмерть. Много говорилось и писалось о жестокости этого приказа, грозившего расстрелом за самовольное, без приказа, отступление, по словам же маршала А. Василевского, “...приказ № 227 – один из самых сильных документов военных лет по глубине патриотического содержания, по степени эмоциональной напряжённости”.

**о. Дмитрий ДУДКО**  
Из книги “Сталин”

Теперь вот настало время реабилитировать Сталина. Впрочем, не его только, но само понятие государственности. Сегодня мы сами воочию можем увидеть, какое преступление есть безгосударственность и какое благо – государственность! Как ни кричат, что в советское время много людей погибло в лагерях, но сколько гибнет сейчас без суда и следствия, безнаказанно, безвестно – ни в какое сравнение не идёт та гибель! Весь ограбленный и обманутый народ теперь вздыхает: был бы Сталин, не было бы такой разрухи...

Но эта реабилитация, так сказать, с человеческой точки зрения, а мне предстоит реабилитировать его с духовной, поскольку я священник.

Начну с вопроса. Что лучше: “деспотизм” сталинских времён или демократия нашего времени? Сталинцы, скажите: тот же деспотизм – подавление свободы, принижение личности, а либерализм, демократия – значит, полные права, полная свобода всего и вся?..

Нет, господа, перед жестокостью демократии бледнеет всякий деспотизм. Скажите, пожалуйста, когда было больше обездоленных, заключённых, пусть и не в тюрьмы, когда преступность и безнравственность имели такую свободу на улицах и на телевидении, в печати и без печати? Когда ещё, в какие времена весь народ, за исключением немногих, сидел на голодном пайке? Когда и какие правители с таким цинизмом, как теперь, разрушали собственную экономику в угоду более сильному соседу?

Но как всё то, что я говорю, сообразовать с христианскими понятиями, спросят у меня? Христианство, что ли, атеизмом поддерживается? Ведь при сталинском деспотизме всё было опутано атеизмом. Атеизм был везде и всюду.

Но, видимо, не случайно философ Н. Бердяев говорил: атеизм – это дверь к Богу с чёрного хода. И мы сейчас видим, как многие атеисты стали по-настоящему верующими. Я никогда не забуду, как один высокопоставленный атеист-коммунист мне сказал, что, хотя он и коммунист-атеист, но воспитан в православной традиции. Да, как это ни покажется странным, но в русском атеизме-социализме есть и православная традиция, поэтому

коммунистическое движение в России вписывается в русскую историю. Это часть нашей истории, которой не вычеркнуть. А вот будет ли сегодняшняя демократия частью нашей истории, хотя бы потому, что она, не посоветовавшись с Западом, ничего не предпринимает? Это чуждое явление для России!

Сталин был деспот, да, но он был ближе к Богу. Хотя бы потому, что атеизм — дверь к Богу с чёрного хода. Демократы, как ни объявляют себя верующими... Они верующие, только в Золотого тельца: в бизнес, в Мамону... А в Евангелии прямо сказано: не можете служить одновременно Богу и Мамоне!

Теперь я хочу припомнить, как наши Патриархи, особенно Сергей и Алексий, называли Сталина богоданным вождём. К ним присоединялись и другие, допустим, такие, как крупный учёный и богослов Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Кстати, сидевший при Сталине, но это не помешало ему называть Сталина богоданным.

Да, Сталин нам дан Богом, он создал такую державу, которую сколько ни разваливают, а не могут до конца развалить. И поверженной её боятся хвалёные капиталистические страны. И то, над чем смеялись постоянно: вставил, мол, решётку: мол, Царь Пётр прорубил окно в Европу, а Сталин закрыл его решёткой. Значит, правильно сделал. Мы далеки от мысли о том, чтобы не сообщаться с Западом, но при нём мы не видели такого морального разложения, такой преступности, которую видим сейчас, когда выбросили эту решётку.

Как ни горько сказать, но решётка на Запад нам необходима — это благо для России. Она помогает нам видеть неповторимость, самобытность России, как Святой Руси, богоносной страны и, если хотите, Третьего Рима в лучшем смысле этого слова. А Четвёртому не бывать — это тоже верно.

## **Рой МЕДВЕДЕВ** **Из книги “Неизвестный Сталин”**

После смерти Сталина в 1953 году были написаны более ста его биографий. После частичного рассекречивания советских партийных и государственных архивов в 1991–1992 годах были подготовлены ещё сотни книг и обзоров, посвящённых изучению различных “сталинских” кампаний: индустриализации, насильственной коллективизации сельского хозяйства, деятельности Сталина в период Второй мировой войны и различным приливам сталинского террора... Были опубликованы и несколько целиком сфальсифицированных псевдобиографий Сталина, иногда в форме романа. Сталин неизбежно оказывался центральной фигурой в опубликованных, часто посмертно, воспоминаниях его близких и не очень близких соратников и сотрудников, бывших членов Политбюро, министров, маршалов и генералов, сотрудников разведки, дипломатических переводчиков и даже работников его личной охраны. <...> Почти десять лет изучения новых данных о Сталине, появившихся в России и за рубежом, убедили нас, что действительно глубокое понимание эпохи Сталина и его роли в мировой истории ещё только начинается. Советский Союз как политически и социально новое государственное образование был создан в результате революционного процесса, возглавлявшегося Лениным. Однако СССР как жёстко централизованное, тоталитарное государство и как индустриально-развитая и мощная в военном отношении держава был создан, прежде всего, Сталиным. Это относится и к той коммунистической “внешней” империи, протянувшейся от Берлина до Пекина, которая была образована после 1945 года. Кажется парадоксальным, но именно исчезновение этой “империи”, а затем дезинтеграция самого СССР в 1991 году представили историкам возможность наиболее объективно анализировать проблему, что же представлял собой в мировой истории Советский Союз, и, соответственно, оценить историческую роль его создателей — Ленина и Сталина.

<...> После Сталина к власти приходили всё менее и менее способные, иногда и просто случайные политические фигуры. Экономическая и военная мощь СССР продолжала расти, но его политическое единство всё больше и больше удерживалось лишь по инерции, благодаря прочности заложенного ранее фундамента, в который никто из коммунистических лидеров послесталинского периода не вложил ни одного нового кирпича.

Сталин был не только вождём, диктатором и тираном. За внешней оболочкой культа личности жестокого деспота существовал и обычный человек — думающий, размышляющий, имеющий огромную волю, большое трудолюбие и немалый интеллект. Он был также несомненным патриотом исторической российской государственности.

<...> Для таких людей, как Ленин и Сталин, невозможно определить, сыграли ли они в судьбе человечества отрицательную или положительную роль. Они сыграли историческую роль. Советский Союз не был аномалией исторического развития. Это был шаг вперёд из того тупика, в который завела мир Первая мировая война.

## **Александр ЗИНОВЬЕВ** **О Сталине и сталинизме**

... Оценка личности Сталина немыслима без оценки эпохи, неразрывно связанной с его именем, — эпохи сталинизма. Что такое Сталин без сталинизма? Человек невысокого роста. Недоучившийся малограмотный семинарист. Рябой. Говорящий по-русски с грузинским акцентом. Он был коварен, мстителен и жесток. Своими пальцами оставлял жирные пятна на страницах книг... А не слишком ли это жидко для характеристики человека, владевшего и до сих пор ещё владеющего умами и сердцами миллионов людей?! После урагана разоблачений ужасов сталинского периода, который (ураган) начался со знаменитого доклада Хрущёва и достиг апогея с появлением не менее знаменитого «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына, прочно утвердилось представление о сталинском периоде исключительно как о периоде злодейства, как о чёрном провале в ходе истории, а о самом Сталине — как о самом злодейском злодее из всех злодеев в человеческой истории. В результате теперь в качестве истины принимается лишь разоблачение язв сталинизма и дефектов его вдохновителя. Попытки же более или менее объективно высказаться об этом периоде и о личности Сталина расцениваются как апологетика сталинизма. И всё же я рискну отступить от разоблачительно-критической линии и высказаться в защиту... нет, не Сталина и сталинизма, а лишь возможности объективного понимания их.

Кроме того, мне кажется, что я имею и моральное право на такой риск. Я с юности не питал никаких симпатий к Сталину и сталинизму. Ещё в 1939 году я открыто выступил против культа Сталина, за что был исключён из комсомола и из института, направлен в психиатрический диспансер для обследования, а затем доставлен на Лубянку. В диспансере меня признали психически здоровым, чего не сделали бы в либеральные послесталинские времена. А из лап органов государственной безопасности мне удалось ускользнуть. И вплоть до хрущёвского доклада моим тайным призыванием была антисталинистская пропаганда. Должен признать, что я не был единственным в своём роде. В хрущёвские годы дело критики сталинизма взяли в свои руки сами бывшие заядлые сталинисты, и мой антисталинизм утратил смысл.

А моя мать до самой смерти (она умерла в 1968 году) хранила в Евангелии портрет Сталина. Она пережила все ужасы коллективизации, войны и послевоенных лет. Если бы в деталях описать, что ей пришлось вынести, читатель не поверил бы. И всё-таки она хранила портрет Сталина. Почему? В ответе на этот вопрос лежит ключ к пониманию сущности сталинизма. Дело в том, что несмотря на все ужасы сталинизма, это было подлинное народовластие, это было народовластие в самом глубоком (не скажу, что в хорошем) смысле этого слова, а сам Сталин был подлинно народным вождём. Народовластие — это не обязательно хорошо. Зверства сталинизма были характерным выражением народовластия в тот период. И этому ничуть не противоречит то, что одновременно это было и насилием над самим народом. Народный вождь — это не обязательно мудрый и добрый человек. Иногда народные вожди бывают отпетыми мерзавцами. А иногда они сами глубоко презирают свой народ, ибо знают, что такое народные массы в реальности, а не в книжках и в доктринах. Именно Сталин, а не Ленин был народным вождём, ибо у Ленина тех именно качеств, какие приписываются Сталину, было недостаточно, чтобы стать народным вождём.

Чтобы ответить на вопрос о сущности сталинизма, надо установить, чьи интересы выражал Сталин, кто за ним шёл. Почему моя мать хранила портрет Сталина? Она была крестьянка. До коллективизации наша семья жила неплохо. Но какой ценой это доставалось? Тяжкий труд с рассвета до заката. А какие перспективы были у её детей (она родила одиннадцать детей!)? Стать крестьянами, в лучшем случае – мастеровыми. Началась коллективизация. Разорение деревни. Бегство людей в города. А результат? В нашей семье один человек стал профессором, другой – директором завода, третий – полковником, трое стали инженерами. И нечто подобное происходило в миллионах других семей. Я не хочу здесь употреблять оценочные выражения “плохо” и “хорошо”. Я хочу лишь сказать, что в эту эпоху в стране происходил беспрецедентный в истории человечества подъём многих миллионов людей из самых низов общества в мастера, инженеры, учителя, врачи, артисты, офицеры, учёные, писатели, директора и т. д. и т. п. Не играет никакой роли, могло бы или не могло бы нечто подобное произойти в России без сталинизма. Для участников процесса это фактически происходило во время сталинизма и, казалось, благодаря ему. И в самом деле – во многом благодаря ему. Вот эти миллионы людей, вовлекавшие в сферу своих переживаний миллионы других, и явились опорой и ударной силой сталинизма. Конечно, не только реальные успехи людей, но и их иллюзии играли тут важную роль. Но иллюзии не насчитывают марксистских сказок (в них верили мало), а насчитывают самых простых вещей: улучшения бытовых условий и душевных отношений между людьми. Эти надежды пересиливали наше негативное отношение к нарождающемуся обществу. Хотели мы этого или нет, они связывались с именем Сталина. При оценке личности надо учитывать не только её субъективные качества, но и то, как она отображается в сознании окружающих. А Сталин в сознании окружающих отображался не только и не столько как мерзавец, сколько как символ этого великого процесса. Это была серьёзная история, а не просто насилие кучки жестоких злоумышленников над добрым и обманутым народом. Народ обманут не был.

В Советском Союзе официально считалось, что в сталинские времена нарушались нормы партийно-государственной жизни, но что с этим после смерти Сталина было покончено. По этому поводу раздаются критические голоса. “Ничего подобного! – вещают эти голоса. – Упомянутые нормы всегда нарушались!” Эти голоса считают, что если в стране плохо, так, значит, и нормы нарушаются. Но как официальная точка зрения, так и её критика в данном случае лишены смысла. Дело не в том, соблюдаются или нет нормы, а в том, что собой представляют сами эти нормы. А эпоха сталинизма была эпохой изобретения и утверждения этих норм. Дело обстояло не так, будто уже были некие нормы, когда пришёл Сталин со своей бандой и начал нарушать их. Когда пришёл Сталин, никаких норм ещё не было. Они рождались и утверждались в том страшном процессе, который лишь впоследствии был истолкован как их нарушение. Нельзя было нарушить то, чего ещё не было. Просто процесс становления общества имеет свои нормы, в соответствии с которыми вырабатываются нормы возникшего общества. Весь сталинский период проходил в точном соответствии с первыми.

Сталин был адекватен породившему его историческому процессу. Не он породил этот процесс, но он наложил на него свою печать, дав ему своё имя и свою психологию. В этом была его сила и его величие. Не исключено, что молодёжь ещё будет когда-нибудь тосковать по сталинским временам. Народ (тот самый, якобы обманутый и изнасилованный) уже тоскует и встречает упоминание его имени аплодисментами.

**Александр АЙВАЗОВ**  
“Завтра” № 35, 2012

Поражение Германии в Первой мировой войне, кабальный и унижительный для неё Версальский мирный договор сделали Вторую мировую войну практически неизбежной. Ясно понимая, что война обязательно начнётся, Сталин старался максимально мобилизовать страну: “Мы отстаем от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в де-



сять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут”. И тут ему сильно повезло: понижающаяся волна четвёртого большого Кондратьевского цикла породила Великую депрессию. Проведя под лозунгом коллективизации экспроприацию крестьянства и “задушив” нарождавшуюся в условиях нэпа мелкую буржуазию, Сталин собрал значительные финансовые ресурсы для начала индустриализации страны. Без этой экспроприации модернизацию отсталой России осуществить в сжатые сроки было бы абсолютно невозможно.

И Сталин осуществил этот прорыв, бросив на приобретение бесценного опыта, самых современных технологий и оборудования всё: до последнего грамма золотого запаса, экспортного килограмма зерна, штуки вывозимого яйца.

У наиболее развитых стран Европы и в США были закуплены тысячи полнокомплектных заводов и фабрик с самыми передовыми в то время технологиями и оборудованием. Тысячи специалистов, инженеров и техников из развитых стран мира были приглашены в СССР для создания здесь нового ТУ, основанного на двигателе внутреннего сгорания и конвейерном производстве Форда. И Россия за десятилетие одним прыжком перескочила сразу на четвёртый ТУ, став вровень с наиболее развитыми странами мира. И этот прорыв обеспечил именно Сталин, приняв единственно верное политическое решение: использовать Великую депрессию в интересах скорейшей индустриализации СССР.

Несмотря на крайнее напряжение всех сил страны, партии и народа, Сталин не успел к июню 1941 года создать мощную индустриальную державу, способную выдержать нападение лучшей армии мира, за спиной которой стояла современная индустрия всей Европы. Но приобретённое в условиях Великой депрессии самое передовое оборудование и технологии разместили в основной своей массе в индустриально развитых западных районах СССР, где с дореволюционных времён оставалась производственная инфраструктура. Поэтому в первые дни войны перед Сталиным стала дилемма: пожертвовать армией или оборонной индустрией?

Сохранить 4,5-миллионную кадровую армию, осуществив организованный отвод войск вглубь территории СССР и организовав линию обороны в соответствии с военной наукой, как предлагал ему Жуков и другие военачальники, но потерять при этом большую часть оборонного потенциала СССР, с таким трудом и огромными жертвами созданного за годы первых пятилеток? Или успеть вывести все основные предприятия оборонки за Волгу, создав там, на подготовленных в последние предвоенные годы промышленных площадках новые заводы и фабрики, которые обеспечат армию всем необходимым в ходе всех лет войны, но при этом пожертвовать кадровой армией, прошедшей хорошую подготовку и достаточно хорошо оснащённой за годы первых пятилеток? Сталин выбрал второй вариант.

### **Александр ПРОХАНОВ** **“Завтра” № 4, 2013**

Сталин сегодня – это Сталин-миф. Сталин вернулся к нам, в наше мировоззрение, в нашу политическую культуру не человеком, выступавшим на съездах, создававшим новое оружие, человеком, который вёл сложнейшую мировую игру. Он явился к нам как миф. Миф, в котором спасается сегодняшнее русское племя, русский человек, русский народ: растоптанные, обобранные, лишённые своего государства люди. Народ, у которого отняли его величие, его историческую судьбу. Народ, которому говорят, что он все и не народ. И этот раненый, истерзанный народ скрывается в Сталине.

### **Роже ГАРОДИ**

... Я думаю, что на фигуру Сталина нужно смотреть в историческом плане. В сущности, тогда была осада: вспомним, что железный занавес выдумали не русские, а Клемансо и Черчилль, которые говорили о необходимости

натянуть занавес из железной проволоки и задушить Советский Союз голодом. А когда страна находится в осаде, то это совершенно не ведёт ни к какой терпимости. Действительно, в тот исторический период были ужасные отклонения, и я думаю, что с этой точки зрения Сталин был плохим учеником Ленина. В одном из своих последних текстов, опубликованных в “Правде”, который можно действительно рассматривать как политическое завещание Ленина, тот писал, что пройдёт 50–60 лет, прежде чем крестьяне на своём собственном опыте придут к коммунизму. Сталин же захотел сделать это за два года. В результате он уничтожил советское сельское хозяйство, которое и сейчас ещё не поднялось. С другой стороны, когда Сталин говорил в 1931 году: “Если мы не будем производить 10 миллионов тонн стали в год, то меньше чем за 10 лет нас раздавят”, – он был прав. Через десять лет, то есть в 1941 году. Если бы он тогда не совершил то невероятное усилие, которое, действительно, с человеческой точки зрения стоило очень дорого, мы бы сейчас жили ещё в эпоху Освенцима.

...Очень легко говорить задним числом: нужно было сделать то-то, не хватало того-то. К сожалению, дорога истории, как говорил Ленин, это не Невский проспект. И в определённых исторических условиях сначала нужно делать то, что необходимо, даже если это будет стоить больших человеческих усилий. Я считаю, что с человеческой точки зрения сталинизм стоил нам очень дорого, но надо также сказать и о том, что если Европа свободна сегодня, так это благодаря Сталинграду.

СЕРГЕЙ СЕМАНОВ

## СТАЛИН. УРОКИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С молодых лет Сталин внимательно следил за русской литературой. Как образованный человек и как политик, он понимал громадное воздействие на людей печатного слова, но особенно – слова высокоталантливой художественной литературы. За ней он всегда внимательно следил, очень много читал, в том числе и литературной периодики, и делал свои выводы.

В преддверии военной грозы приобретала особое значение важнейшая задача советской литературы – воспитание в народе чувства советского патриотизма. Одно из его проявлений, как известно, – чувство любви и уважения к великому русскому народу, ставшему во главе других народов Советского Союза. Руководители государства и партии всегда решительно пресекали попытки принизить роль русского народа. Такие попытки, чего греха таить, были в литературе и в 20-х, и в начале 30-х годов. Иногда они проявлялись в произведениях известных литераторов, к примеру – Демьяна Бедного.

Довольно слабый поэт Демьян Бедный (Ефим Алексеев-Придворов) был ещё до Октября признанным партийным литератором. В его стихотворных фельетонах “Слезай с печки”, “Без пощады”, “Перерва” необходимая и полезная критика недостатков жизни и быта советских людей переросла в клевету. ЦК партии в специальном решении указал на это, но Д. Бедный вместо признания совершенно очевидных ошибок обиделся и написал письмо Сталину. Ответ Сталина от 12 декабря 1930 года настолько характерен и ярок, что заслуживает подробного разбора.

“Вы расцениваете решение ЦК как “петлю”, как признак того, что “пришел час моей (то есть Вашей) катастрофы”. Почему, на каком основании? Как назвать коммуниста, который, вместо того чтобы вдуматься в существо решения ЦК и исправить свои ошибки, третирует это решение как “петлю”?..

Десятки раз хвалил Вас ЦК, когда надо было хвалить. Десятки раз ограждал вас ЦК (не без некоторой натяжки!) от нападков отдельных групп и товарищей из нашей партии. Десятки поэтов и писателей одёргивал ЦК, когда они допускали отдельные ошибки. Вы всё это считали нормальным и понятным. А вот когда ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике Ваши ошибки, Вы вдруг зафыркали и стали кричать о “петле”. На каком основании? Может быть, ЦК не имеет права критиковать Ваши ошибки? Может быть, решение ЦК не обязательно для Вас? Может быть, Ваши стихотворения выше всякой крити-

ки? Не находите ли, что Вы заразились некоторой неприятной болезнью, называемой “зазнайством”? Побольше скромности, т. Демьян...”

Перечислив стихотворения Д. Бедного, в которых имелись ошибки, и указав на их суть, Сталин продолжал: “Весь мир признаёт теперь, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революционеры всех стран с надеждой смотрят на СССР как на очаг освободительной борьбы трудящихся всего мира, признавая в нём единственное своё отечество. Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу, и прежде всего, русскому рабочему классу, авангарду советских рабочих, как признанному своему вождю...”

Сталин противопоставляет этой позиции точку зрения псевдообличителей: “А вы? Вместо того, чтобы осмыслить этот величайший в истории революции процесс и подняться на высоту задач певца передового пролетариата, ушли куда-то в лошину и, запутавшись между скучнейшими цитатами из сочинений Карамзина и не менее скучными изречениями из “Домостроя”, стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошную “Перерву”, что “лень” и стремление “сидеть на печке” является чуть ли не национальной чертой русских вообще, а значит, и русских рабочих, которые, проделав Октябрьскую революцию, конечно, не перестали быть русскими. И это называется у вас большевистской критикой! Нет, высокочтимый т. Демьян, это не большевистская критика, а клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата...”

**Постановление Секретариата ЦК ВКП(б) “О фельетонах т. Демьяна Бедного “Слезай с печки”, “Без пощады” 6 декабря 1930 года**

**“О фельетонах т. Демьяна Бедного “Слезай с печки”, “Без пощады”**

а) ЦК обращает внимание редакций “Правды” и “Известий”, что за последнее время в фельетонах т. Демьяна Бедного стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании “России” и “русского” (статьи “Слезай с печки”, “Без пощады”); в объявлении “лени” и “сидения на печке” чуть ли не национальной чертой русских (“Слезай с печки”); в непонимании того, что в прошлом существовало две России: Россия революционная и Россия антиреволюционная, причем то, что правильно для последней, не может быть правильным для первой; в непонимании того, что нынешнюю Россию представляет его господствующий класс, рабочий класс, и прежде всего, русский рабочий класс, самый активный и самый революционный отряд мирового рабочего класса, причем попытка огульно применить к нему эпитеты “лентяй”, “любитель сидения на печке” не может не отдавать грубой фальшью.

ЦК надеется, что редакция “Правды” и “Известий” учтут в будущем эти дефекты в писаниях т. Демьяна Бедного.

б) ЦК считает, что “Правда” поступила опрометчиво, напечатав в фельетоне т. Д. Бедного “Без пощады” известное место, касающееся ложных слухов о восстаниях в СССР, об убийстве т. Сталина и т. д., ибо она не могла не знать о запрете печатать сообщения о подобных слухах”.

Демьян Бедный был сыном церковного сторожа, коренным русским по происхождению, никогда не являлся с троцкистами, напротив, помогал Сталину бороться с ними. Однако он, как и немало иных русских, был заражён национальным нигилизмом, распространённым в советской культуре той поры, — ясно кем. Сталин уже тогда замышлял возродить русские национальные традиции, а тем паче — пресечь троцкистско-бухаринское поношение России. В идеологии он всегда был требователен и строг, отсюда и столь жёсткие меры к авторитетному тогда партийному литератору.

Еще одна фигура в литературе — М. Хвиевой. О нём и его статьях Сталин писал в 1926 году: “Требования Хвиевого о “немедленной дерусификации пролетариата” на Украине, его мнение о том, что “от русской литературы, от её стиля украинская поэзия должна убежать как можно скорее”, его заявление о том, что “идеи пролетариата нам известны и без московского искусства”, его увлечение какой-то мессианской ролью украинской “молодой” интеллигенции, его смешная и немарксистская попытка оторвать культуру от политики — все это и многое подобное в устах украинского коммуниста звучит теперь (не может не звучать!) более чем странно”.

Период с 1929-го и до начала 1932 года характерен обострением групповой борьбы; РАППовцы не только отталкивали, дискредитировали и поносили

своих беспартийных собратьев по перу, но и вызывали раскол в рядах писателей. Так, вне “генеральной линии пролетарской литературы”, по определению РАППовцев, оказался М. Шолохов, не говоря уже о писателях, происходящих из мелкобуржуазной интеллигенции.

“Правда” не раз выступала против групповщины, насаждавшейся РАППовцами, отмечала, что внутри этой писательской организации слабо развита самокритика, процветают подозрительность и недоверие, что руководство РАППа “замазывает” ошибки “своих” людей.

Но руководство РАППа вело себя до предела нагло. К примеру, Л. Авербах после одной критической статьи в “Правде” в 1930 году поставил перед секретариатом ЦК ВКП(б) ультиматум: “Или уймите “Правду” и дайте нам работать, или меняйте руководство РАПП”. Группировка Л. Авербаха, стремясь достичь командного положения в литературе, стала объявлять классовым врагом всякого, кто подвергал сомнению её непогрешимость.

23 апреля 1932 года ЦК ВКП(б) принял постановление “О перестройке литературно-художественных организаций”. ЦК партии принял решение ликвидировать РАПП и создать единый Союз советских писателей.

Для РАППовских деятелей это означало катастрофу; они пытались игнорировать постановление, первоначально не опубликовали его в соответствующем номере своего журнала “На литературном посту”, стали посылать в ЦК заявления. Для разбора заявлений Политбюро создало комиссию из пяти человек (И. В. Сталин, П. П. Постышев и другие). На заседание комиссии были приглашены авторы заявлений: А. Афиногенов, Б. Иллеш, Б. Ясенский, В. Киршон и другие. Бывшие РАППовцы, стремясь обеспечить себе во вновь создаваемом Союзе писателей доминирующее положение, предлагали создать в нём автономную секцию пролетарской литературы и навязать писателям измышленный РАППовцами “диалектико-материалистический творческий метод”.

Заседание длилось шесть или семь часов, прения были бурными: В. Киршон выступал двенадцать — пятнадцать раз, Афиногенов — четырежды... Убеждая упорствующих, раз пятнадцать пришлось выступить и Сталину. Первое своё предложение РАППовцы сняли быстро — настолько отрицательной была реакция авторитетных членов комиссии Политбюро, но “диалектико-материалистический метод” отстаивали упорно. К сожалению, на заседании не велось ни стенограммы, ни протокола, и мы не можем судить, кто из членов комиссии впервые дал определение метода социалистического реализма. Фактом остаётся то, что оно было сформулировано на заседании именно этой комиссии, и РАППовцы были вынуждены согласиться с ним.

Определение, предложенное комиссией, постепенно стало завоёвывать признание у писателей и критиков. Споров было немало, и М. Горький отстаивал определение социалистического реализма с твёрдостью.

В его доме на Малой Никитской, 6 и всегда-то собирались писатели, но в эти месяцы 1932 года встречи стали гораздо более частыми. Особенно представительным было собрание 26 октября: столовую, библиотеку, кабинет дома заполнили писатели — всего около пятидесяти человек: А. Фадеев, М. Шолохов, Л. Леонов, Ф. Панфёров, Ф. Гладков, Вс. Иванов, А. Малышкин, А. Афиногенов, П. Павленко и другие. В девять часов приехали Сталин и другие члены Политбюро. Все перешли в столовую.

Председателем единодушно избрали хозяина дома. Сидя в центре стола вместе со Сталиным, он начал беседу:

— Сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопросы литературы, — сказал он. — Скоро исполнится пятнадцать лет Советской власти... Трудом рабочих и крестьян создано в нашей стране огромное количество дел... Литература не справляется с тем, чтобы отобразить содеянное...

К сожалению, и это совещание не стенографировалось, и никто из присутствующих не вёл записи выступлений. Так распорядился Горький: это было правило, неуклонно соблюдавшееся в его доме, чтобы каждый мог говорить свободно, не стесняясь.

Очевидцы утверждают, что скованность, натянутость вскоре исчезли, возникла непринуждённая обстановка, и писатели заговорили...

Поначалу речь шла об организационных делах, потом перешли к задачам и целям литературы. Разговор шёл начистоту. Все признавали важность, необходимость решения ЦК от 23 апреля.

По временам Сталин вставал из-за стола. По негласному уговору в комнате мог курить только Горький, и вместе с другими курильщиками Сталин стоял в дверях. Характер беседы был таким же, как и всегда в его присутствии: внимательно выслушивая выступающих, он вопросом или короткой репликой направлял беседу в необходимое русло.

Страстный спор вызвала сущность метода социалистического реализма. Мнения были самые различные и не всегда согласные. Высказал свою точку зрения и Сталин. Он упрекал критиков в том, что они не понимают природы писательского труда.

– Писатель черпает материал, краски для своих произведений из конкретной действительности, – говорил Сталин, – а вы подсовываете ему схему. Пусть учится у жизни!

Тут кто-то бросил реплику:

– Но это же эмпиризм!

– Чепуха! – Сталин усмехнулся. – Это слово можно применять к политике, учёному, но не к писателю. Поймите, если писатель честно отразит правду жизни, он непременно придёт к марксизму. . .

Запомнилось присутствующим и определение, данное Сталиным писателям: он назвал их “инженерами человеческих душ”.

Беседа затянулась, и разошлись писатели на рассвете.

Сталин внимательно следил за кинематографией, понимая огромное массовое воздействие кинофильмов (телевидения тогда ещё не было).

Сергей Эйзенштейн и Георгий Александров познакомились с Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) 7 ноября 1927 года. Им было известно, что Сталин дал высокую оценку их совместной работе – “Броненосец “Потёмкин””. А с утра этого праздничного дня режиссёры лихорадочно, не думая ни о чём ином, не замечая окружающих, подчищали смонтированный материал нового фильма – “Октябрь”: вечером в Большом театре после торжественного заседания предполагался показ этого фильма, посвящённого 10-летию Октябрьской революции.

В четыре часа дня в монтажную вошёл Сталин. Поздоровавшись с режиссёрами так, будто давно их знал, он спросил:

– У вас в картине есть Троцкий?

Первоосновой сценария послужила книга Джона Рида “Десять дней, которые потрясли мир”. В ней преувеличивалась роль Троцкого в Октябрьской революции. Эйзенштейн ответил, что Троцкий действительно присутствует в кинофильме.

– Покажите эти части. . . – Сталин был очень серьёзен.

Механика не было, ролики крутил Александров, Эйзенштейн сидел в зале со Сталиным. После просмотра нескольких частей Сталин сообщил режиссёру, что троцкистско-зиновьевская оппозиция перешла к открытой борьбе с Советской властью и только что пыталась организовать в Москве и Ленинграде контрдемонстрацию.

– Картину с Троцким сегодня показывать нельзя, – таков был вывод Сталина.

В Большом театре в тот вечер показали только фрагменты фильма, вышел же он на экран в марте 1928 года.

Без преувеличения можно сказать, что вся наша страна, от мала до велика, уже более шестидесяти лет с удовольствием смотрит первую советскую звуковую комедию “Весёлые ребята”. Трудно это сейчас представить, но перед создателями её громоздились одно за другим препятствия: картина была ещё в работе, а на неё уже ополчились горе-кинокритики, затем в дело ввязались бывшие деятели РАППа. В “Литературной газете” эту кинокомедию самым серьёзным образом противопоставляли “Чапаеву” – уже получившей одобрение зрителей героической эпопее. Тут же была помещена карикатура: Чапаев собственноручно выметает метлой с экрана персонажей “Весёлых ребят”. Дело дошло до того, что нарком просвещения А. С. Бубнов (кинопромышленность тогда находилась в его ведении) запретил показ готового фильма.

Председателю Главного управления кинофикации Шумяцкому и режиссёру Александрову посчастливилось показать фильм Горькому. Фильм понравился. Георгий Александров вспоминал впоследствии: “Горький же вскоре после этого организовал показ “Весёлых ребят” для членов Политбюро ЦК нашей партии. Тут оторопь нашла на Шумяцкого. Ему показалось, что фильм

ещё не готов, и он приказал везти только две первые части. На всякий случай, без согласования, я прихватил и остальные части. В напряжённом ожидании сидел я в соседней с просмотровым залом комнате.

Через какое-то время слышу:

– Вызывайте Александрова с продолжением.

Я поднялся наверх и осторожности ради говорю:

– У меня тут не всё готово.

– Ничего, ничего. Показывайте, что есть. Смотрели “Весёлых ребят” с явным удовольствием.

Смеялись, обменивались репликами. По окончании сеанса все, кто был в просмотровом зале, смолкли, ждали, что скажет Сталин.

– Хорошо! Я будто месяц пробыл в отпуске, – сказал он, и все стали возбуждённо вспоминать понравившиеся детали кинокомедии.

Само собой разумеется, что запрет на картину был снят...

Другой комедийный фильм этого режиссёра – “Волга-Волга” – был встречен бурными приветствиями публики и... злой критикой. Сталину же фильм очень нравился, он смотрел его много раз, а в 1942 году послал его в качестве подарка президенту США Рузвельту. После одного приёма в честь участников декады украинского искусства Сталин пригласил группу видных деятелей в свой просмотрный зал, сел между В. И. Немировичем-Данченко и Г. В. Александровым.

“По ходу фильма Сталин, – вспоминал Александров, – делясь с нами своим знанием комедии, своими чувствами, обращаясь то ко мне, то к Немировичу-Данченко, полусёпотом сообщал: “Сейчас Бывалов скажет: “Примите от этих граждан брак и выдайте им другой”. Произнося это, он смеялся, увлечённый игрой Ильинского, хлопал меня по колену. Не ошибусь, если скажу, что он знал наизусть все смешные реплики этой кинокомедии.

Когда на приёме Сталину представили Игоря Владимировича Ильинского, он пошутил:

– Здравствуйте, гражданин Бывалов. Вы бюрократ, и я бюрократ, мы поймём друг друга. Пойдёмте, побеседуем, – и повёл его к столу”.

Суждения Сталина о другой картине Александрова (первоначально она именовалась “Золушкой”) были гораздо сдержаннее: картина не имела того сатирического запала, который был свойствен “Волге-Волге”. Явно не соответствовало содержанию и название. На следующий день после встречи со Сталиным режиссёру прислали домой листок, на котором рукой Сталина было набросано, на выбор, двенадцать названий. Александров предпочёл “Светлый путь”. Этой картине также суждена была долгая жизнь на киноэкране.

Так было не только с картинами Эйзенштейна и Александрова. Не раз получал поддержку у Сталина такой высокоодарённый и сложный художник, как Александр Довженко. В ноябре 1928 года на Пленуме ЦК был продемонстрирован фильм “Арсенал”. Общее мнение было положительным. Сталин же сказал:

– Настоящая революционная романтика!

Во время работы над “Аэроградом” Довженко столкнулся с непреодолимыми, казалось, осложнениями, грозившими не только картине, но и судьбе режиссёра. Это побудило его, как и за несколько лет до того, обратиться к Сталину. Через двадцать два часа после того, как Довженко опустил письмо в ящик, он уже находился в кабинете Сталина.

Представив кинорежиссёра Ворошилову, Кирову и Молотову, Сталин очень доброжелательно выслушал Довженко и попросил его прочесть сценарий “Аэрограда”. По окончании руководители партии и правительства сделали замечания, причём Довженко убедился, что интересуется их не только содержание сценария, но и чисто профессиональная сторона дела. Сталин расспросил режиссёра о Дальнем Востоке, где тот побывал, а затем сказал:

– Могли бы вы показать на карте место, где бы начали строительство города, если бы были не режиссёром, а строителем?

Довженко настолько “вошёл в тему”, что, не колеблясь, ответил утвердительно. Тогда Сталин повёл его в маленький кабинет, увешанный картами. Режиссёр показал полюбившееся ему место и объяснил, почему выбрал именно его...

Работа над “Аэроградом” продолжалась. В феврале 1935 года, во время церемонии вручения Довженко ордена Ленина, Сталин подал реплику:

– За ним долг – украинский Чапаев!

Речь шла о Николае Щорсе. Довженко выразил согласие поставить о нём фильм, но сначала надо было закончить “Аэроград”. В газетах же одна за другой стали появляться статьи о предстоящей постановке “Щорса”. Это сказывалось на работе художника, он не мог приступить к новому фильму, не завершив “Аэроград”, а потому нервничал. Видимо, это стало известно в Политбюро, и Довженко вызвали к Сталину.

Генеральный секретарь начал беседу с подробных расспросов о работе над “Аэроградом”, о творческом самочувствии, о том, достаточно ли помогает Управление воздушными силами при съемках аэропланов. Довженко почувствовал, что помощь ему обеспечена, и успокоился, а Сталин продолжал:

– А теперь я вам скажу, для чего вас вызвал. Когда я говорил вам в прошлый раз о Щорсе, я это сказал в плане совета. Я просто думал о том, что вы примерно будете делать на Украине. Но ни мои слова, ни газетные статьи ни к чему вас не обязывают. Вы – человек свободный. Хотите делать “Щорса” – делайте, но если у вас имеются иные планы – делайте другое. Не стесняйтесь. Я вызвал вас для того, чтобы вы это знали.

Довженко заверил, что с охотой будет работать над “Щорсом”.

Дошли до нас воспоминания выдающегося грузинского режиссёра М. Чиаурели. Он вспоминал, в частности, что при просмотре “Последнего маскарада” реакция Сталина была бурной. Да это и неудивительно: на экране показывали конец грузинских меньшевиков, столь хорошо знакомых Сталину. Когда один из героев перед смертью запел песню пахаря – “Оравела”, – Сталин погружился в детские воспоминания:

– Крестьяне давали мне кувшинчик простокваши и заставляли петь во всё горло с утра до вечера. . .

После просмотра зашла речь о грузинском классике Илье Чавчавадзе, произведения которого некоторое время были не слишком популярны стараниями грузинских “сверхреволюционеров” от литературы.

– Это – ошибка, – заметил Сталин, – история, аналогичная с отношением к Льву Толстому. Не потому ли мы проходим мимо Чавчавадзе, что он из князей? . .

Летом 1940 года замечательный русский режиссёр В. Пудовкин снимал на “Мосфильме” картину “Суворов”. Время было предгрозовое, страна готовилась к неизбежной войне. Занятый многими неотложными делами, И. Сталин ознакомился со сценарием и написал любопытную записку, где высказал своё мнение о полководце. Лишь недавно этот документ был извлечён из секретнейшего архива Политбюро ЦК КПСС.

“Сценарий “Суворова” страдает недостатками. Он тощ и не богат содержанием. Пора перестать изображать Суворова как добренького папашу, то и дело выкрикивающего “ку-ка-ре-ку” и приговаривающего “русский”, “русский”. Не в этом секрет побед Суворова.

В сценарии не раскрыты особенности военной политики и тактики Суворова: 1) Правильный учёт недостатков противника и умение использовать их до дна. 2) Хорошо продуманное и смелое наступление, соединённое с обходным маневром для удара по тылу противника. 3) Умение подобрать опытных и смелых командиров и нацелить их на объект удара. 4) Умение смело выдвигать отличившихся на большие посты вразрез с требованиями “правил о рангах”, мало считаясь с официальным стажем и происхождением выдвигаемых. 5) Умение поддержать в армии суровую, поистине железную дисциплину.

Читая сценарий, можно подумать, что Суворов сквозь пальцы смотрел на дисциплину в армии (невысоко ценил дисциплину) и что он брал верх не благодаря этим особенностям его военной политики и тактики, а главным образом – добротой в отношении солдат и смелой хитростью в отношении противника, переходящей в какой-то авантюризм. Это, конечно, недоразумение, если не сказать больше. Эти замечания относятся также к известной пьесе “Суворов”, поставленной в ЦТКА.

И. Сталин”.

Фильм вышел на экраны страны в конце 1940 года и имел огромный успех, он сыграл большую роль в подготовке морального духа населения страны накануне Великой Отечественной войны.

Сталину приходилось заниматься самыми разнообразными, порой неожиданными делами.



В программах и методах работы в школе господствовали утвердившиеся с 20-х годов взгляды, имеющие мало общего с нынешними нашими представлениями. Достаточно нескольких примеров. В так называемой “комплексной программе” на 1924 год говорилось: “Нет надобности гнаться за сообщением какой-либо определённой суммы знаний”. Столь же настоятельно подчеркивалось, что “не должно быть в школе арифметики и русского языка как особых предметов”, что “никакого особого, изолированного курса природоведения не должно быть” и т. д. Нетерпимое положение сложилось в преподавании истории: ни о какой “сумме знаний” тут и речи не было. В другой “комплексной программе”, от 1929 года, утверждалось, что “особой беды не будет, если дети не усвоят исторические факты и события, которые имели место до Октябрьской революции, в их исторической последовательности”. Поэтому, – продолжали авторы этой, с позволения сказать, “программы”, – “не вводится ряд крупнейших исторических событий, как, например, японская война, революция 1905 года, чтобы не осложнять (!) понимание основной сущности дооктябрьского прошлого и послеоктябрьского настоящего”.

Тлетворное влияние на положение дел в школе оказывали педологи. Выхватывая клочки превратно понятых, нередко искажённых положений из разных наук (анатомии, физиологии, психологии, психопатологии и др.), сдобривая их ненаучными методами, заимствованными у различных буржуазных психологов, сторонников педологии (Блонский, Залкинд, Моложавый и др.), они претендовали на всеобъемлющую роль их “науки” в школе и нанесли ей немалый вред.

Не лишне упомянуть, что чаще всего “сверхреволюционеры” от педагогики в своё время отдали дань троцкизму.

Особое значение для надлежащей постановки преподавания общественных наук в школах и вузах СССР имело постановление СНК и ЦК от 16 мая 1934 года. В нём констатировалось, что главным недостатком существовавших тогда учебников истории и самого преподавания в школе был их отвлечённый, схематический характер: “Вместо преподавания гражданской истории в живой занимательной форме, с изложением событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей, учащимся преподносят абстрактные определения общественно-экономических формаций, подменяя, таким образом, связное изложение гражданской истории отвлечёнными социологическими схемами”. Постановление имело решающее значение для создания стабильных учебников истории.

Были созданы группы учёных для составления новых учебников, вскоре они представили и конспекты по истории СССР и новой истории. Однако конспекты эти оказались неудовлетворительными. 8–9 августа 1934 года Сталин, Жданов и Киров написали замечания, в которых оба конспекта были подвергнуты обстоятельному разбору и суровой критике. Особенно неудовлетворительно был составлен конспект по истории СССР, который изобилывал ненаучными, неграмотными определениями, страдал крайней неряшливостью, недопустимой, как подчёркивалось в замечаниях Сталина, Жданова и Кирова, при создании “учебника, где должно быть взвешено каждое слово и каждое определение. . . Нам нужен такой учебник истории СССР, где бы история великороссии не отрывалась от истории других народов СССР – это во-первых, – и где бы история народов СССР не отрывалась от истории общеевропейской и вообще мировой истории, – это во-вторых”. Создание такого учебника было нелёгким делом, и удалось оно далеко не сразу. На это потребовались годы и годы.

В 1937 году в СССР побывал известный австрийский писатель Лион Фейхтвангер. Он многое видел, присутствовал на процессе “антисоветского троцкистского центра”. Западноевропейский писатель, отнюдь не коммунист, высказал в книге “Москва 1937” весьма здравые и благоприятные суждения как об общем положении в стране, так и о ходе процесса, о справедливости вынесенного им приговора.

Удостоился Фейхтвангер и встречи со Сталиным. Разговор был откровенным.

“На моё замечание о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его личностью он пожал плечами, – писал Фейхтвангер. – Он извинял своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами и не

могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами, – портретов, которые мелькают у него перед глазами во время демонстраций. Я указываю ему на то, что даже люди, несомненно, обладающие вкусом, выставляют его бюсты и портреты – да ещё какие! – в местах, к которым они не имеют никакого отношения, как, например, на выставке Рембрандта. Тут он становится серьёзен. Он высказывает предположение, что это люди, которые довольно поздно признали существующий режим и теперь стараются доказать свою преданность с удвоенным усердием. Да, он считает возможным, что тут действует умысел вредителей, пытающихся таким образом дискредитировать его. “Подхалимствующий дурак, – сердито сказал Сталин, – приносит больше вреда, чем сотня врагов”. Всю эту шумиху он терпит, заявил он, только потому, что он знает, какую наивную радость доставляет праздничная сума-тоха её устроителям, и знает, что всё это относится к нему не как к отдельно-му лицу, а как к представителю течения, утверждающего, что построение социалистического хозяйства в Советском Союзе важнее, чем “перманентная революция”.

Органы государственной безопасности (ОГПУ, ГПУ, позднее – НКВД) разоблачили немало шпионов и диверсантов, сорвали попытки фашистских и иных империалистических разведок ослабить оборонную мощь СССР. Это имело важные последствия: когда началась война, “пятой колонны”, как известно, фашисты, к своей досаде, в СССР не обнаружили. Но в своей деятельности органы госбезопасности (и вина Сталина здесь несомненна) допустили грубые ошибки и произвол, в результате чего пострадали очень многие ни в чём не повинные люди.

Было бы несправедливым утверждать, что Сталин не реагировал на доходившие к нему сигналы о недостатках, ошибках или извращениях политики партии. Известно немало случаев, когда его реакция на такие сигналы была и решительной, и быстрой. Один из наиболее убедительных примеров связан с именем М. А. Шолохова.

В Вёшенском районе, где всю жизнь работал великий писатель, весной 1933 года сложилась чрезвычайно серьёзная обстановка: под видом изъятия излишков хлеба по распоряжению руководства Азово-Черноморского края была проведена конфискация всего зерна, в том числе и выданного авансом на трудодни. Местные коммунисты, указавшие руководителям края на неправильность и недопустимость таких действий, были обвинены в пособничестве кулачеству, исключены из партии и арестованы. Тогда М. А. Шолохов, всегда живший с родным краем одной жизнью, написал в Центральный Комитет беспощадно правдивое, суровое письмо, в котором просил расследовать неправильные действия краевых работников и помочь продовольствием ряду районов, так как там начался голод. Через несколько дней пришла телеграмма от Сталина: “Письмо получил. Спасибо за сообщение. Сделаем всё, что требуется. Назовите цифру”. После подсчётов необходимого количества продовольствия Шолохов написал Сталину ещё раз. В ответной телеграмме Сталин информировал, какому району и сколько отправлено хлеба, и добавлял: “Надо было сообщить не письмом, а телеграммой. Получилась потеря времени”.

Затем Сталин отправил Шолохову письмо. Содержание его показывает, что Сталин, принявший решительные меры к исправлению положения, всё же в какой-то мере склонен был оправдывать происшедшее. Он писал: “Я благодарю Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всём согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма – не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы Вашего района (и не только Вашего района) проводили “итальянку” (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию – без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), – этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы, по сути дела, вели “тихую” войну с Советской властью. Войну на измор, дорогой товарищ Шолохов...”

Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками.

И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но всё же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло бы показаться издали”.

На Дон была послана специальная комиссия ЦК, арестованные и осуждённые (в том числе к расстрелу) были освобождены, коммунисты восстановлены в партии.

То уже было продолжение давних отношений Сталина с Шолоховым. А началось всё в июле 1931 года. Третья книга “Тихого Дона”, где изображалось казачье восстание против троцкистского террора, была задержана. Шолохова обвиняли в “кулацком уклоне” (шла коллективизация!), печатание романа запретили, писателю грозил арест. Тогда Сталин встретился в доме Горького с Шолоховым, чтобы самому принять решение.

“... И когда я присел к столу, — рассказывал позже Шолохов, — Сталин со мною заговорил... Говорил он один, а Горький сидел молча, курил папиросу и жёл над пепельницей спички... Сталин начал разговор со второго тома “Тихого Дона” вопросом: “Почему в романе так мягко изображён генерал Корнилов? Надо бы его образ ужесточить...” Я ответил, что в разговорах Корнилова с генералом Лукомским, в его приказах Духонину и другим он изображён как враг весьма ожесточённый, готовый пролить народную кровь. Но субъективно он был генералом храбрым, отличившимся на австрийском фронте. В бою он был ранен, захвачен в плен, затем бежал из плена в Россию. Субъективно, как человек своей касты, он был честен... Тогда Сталин спросил: “Кто это — честен?! Раз человек шёл против народа, значит, он не мог быть честен!” Я ответил: “Субъективно честен, с позиций своего класса. Ведь он бежал из плена, значит, любил родину, руководствовался кодексом офицерской чести... Самым убедительным доказательством того, что он враг — душитель революции, являются приводимые в романе его приказы и распоряжения генералу Крымову залить кровью Петроград и повесить всех депутатов Петроградского Совета!”...

Прервёмся и вчитаемся в приведённый текст. Как видно, Сталин был подготовлен к беседе. Вопрос про Л. Г. Корнилова вызван тем, что в последних опубликованных частях романа ему уделялось много внимания. Но вряд ли этот сюжет мог иметь большое значение, ибо в шестой части, о которой велась речь, генерал упоминается лишь один раз, и то мельком. Главное же — “белое дело” давно потерпело поражение, а к 1931 году стало ясно — поражение окончательное, то есть сама история поставила тут точку.

Продолжим цитирование: “Сталин... задал вопрос: откуда я взял материалы о перегибах Донбюро РКП(б) и Реввоенсовета Южного фронта по отношению к казаку-середняку? Я ответил, что в романе всё строго документально. А в архивах документов достаточно, но историки их обходят и зачастую гражданскую войну на Дону показывают не с классовых позиций, а как борьбу сословную — всех казаков против всех иногородних... Троцкисты, вопреки всем указаниям Ленина о союзе с середняком, обрушили массовые репрессии против казаков, открывших фронт. Казаки, люди военные, поднялись против вероломства Троцкого, а затем скатились в лагерь контрреволюции... В этом суть трагедии народа!”

Сталин подымил трубкой, потом сказал: “А вот некоторым кажется, что третий том “Тихого Дона” доставит много удовольствия белогвардейской эмиграции”... Я ответил Сталину: “Хорошее для белых удовольствие! Я показываю в романе полный разгром белогвардейщины на Дону и Кубани!” Сталин снова помолчал. Потом сказал: “Да, согласен! — И, обращаясь к Горькому, добавил: — Изображение событий в третьей книге “Тихого Дона” работает на нас, на революцию!” Горький согласно кивнул: “Да, да...” За всю беседу Сталин ничем не выразил своих эмоций, был ровен, мягок и спокоен. А в заключение твёрдо сказал: “Третью книгу “Тихого Дона” печатать будем!”

Так была решена судьба величайшего произведения мировой литературы — шолоховского романа.

Чтобы закончить сюжет “Сталин и литература”, расскажем о встречах Сталина с писателями в самые тяжёлые и напряжённые для него и всего народа времена — в годы Великой Отечественной.

Совсем недавно кропотливые историки-архивисты сделали всем нашим, да и не только нашим гуманитариям ценнейший подарок. Вышел специальный выпуск журнала “Исторический архив”, обширная публикация которого оза-

главлена несколько длинно, зато исчерпывающе точно: “Посетители кремлёвского кабинета И. В. Сталина. Журнал записи лиц, принятых первым Генсеком. Алфавитный указатель”.

На нынешнем американизированном жаргоне это следовало бы назвать сенсацией. Еще бы! Публикации в буквальном смысле слова нет цены, ибо её появление разрушает множество привычных и даже окостеневших сплетен, особенно в беллетристике и журналистике. Про так называемое исчезновение Сталина в первые дни войны уж не хочется и вспоминать. Загляните в “Журнал”: с того 22 июня до глубокой ночи сидел он в своём кабинете. А совсем недавно возникла и широко разнеслась “новость” о тайной встрече Сталина и Гитлера во Львове 17 октября 1939 года. Читаем в журнале: в тот день Сталин принимал посетителей с 19 часов 35 минут до 23 часов 20 минут, а накануне тоже вёл вечерний приём. И реактивных самолётов ещё не изобрели...

А сколько таких ошибок ещё предстоит выгрести! Коснёмся только одного лишь сюжета из материалов данного бесценного источника — о встречах И. Сталина с писателями, а ещё уже, ибо таковы рамки наших заметок, — об этих встречах в драматические годы Великой Отечественной войны. Тут чрезвычайно много неожиданного.

Обратим внимание на то, что среди писателей, побывавших тогда в Кремле, не оказалось самых вроде бы знаменитых в ту пору: ни разу не появились там В. Вишневский, Л. Леонов, К. Симонов, А. Твардовский, А. Толстой, А. Фадеев, И. Эренбург. Особо, как обыкновенно, придётся сказать о М. Шолохове. Имеется множество опубликованных баек на этот счёт, однако беспристрастный и точный источник свидетельствует: в годы войны Шолохов не появился в Кремле ни разу.

А кто же был?

Ну, кое-что уже было известно о посещении Кремля С. Михалковым в 1943 году по поводу текста гимна. 25 ноября 1944 года посетил Кремль Н. Тихонов; хотя подробности известны до сих пор скупо. 30 января 1944 года И. Сталин принял группу украинских писателей — понятно, Красная Армия приближалась к западноукраинским землям, где немцы вооружили бандеровцев и создали дивизию СС “Галичина”, надо было позаботиться об идейном противовесе. Наконец, в 1942–1943 годах И. Сталин несколько раз принимал драматурга А. Корнейчука, автора популярнейшей тогда пьесы “Фронт” — эталон советской самокритики на первые неудачи войны.

Вот, собственно, и всё. Ведь не относить же к писателям будущих членов ЦСП М. Храпченко и Д. Ортенберга: первый был во главе Комитета по делам искусств, второй — в “Красной звезде”. Ясно, что не о прозе и о поэзии с ними велась речь. Но есть в данном сюжете совершенно потрясающая неожиданность. Это имя советской писательницы, чистокровной польки по происхождению Ванды Василевской. Её Сталин принял в Кремле... пятнадцать раз! То есть примерно столько, сколько всех других писателей, вместе взятых. Это достойно внимания уже само по себе, тем более — факт совершенно неожиданной. Ныне эта талантливая писательница несправедливо забыта: два слова о ней. В полуфашистской довоенной Польше Василевская приняла участие в революционном движении, боролась за права угнетённых украинцев и белорусов. В сентябре 1939 года, спасаясь от неминуемого ареста, бежала во Львов, приняла советское гражданство. Её повесть “Радуга”, изданная в 1942 году и экранизированная, пользовалась огромной популярностью, это и в самом деле добротная и честная проза. Хороши были и другие её произведения, военная и послевоенная публицистика. Скончалась она, не дожив до шестидесяти лет, произведения её давным-давно не издавались.

Дважды И. Сталин принимал Ванду Василевскую ещё в 1940-м, когда она была малоизвестна советскому читателю. Трижды принял её и в 1943-м, а в 1944-м — одиннадцать раз, с 17 мая по 1 октября. О чём же вели они эти долгие разговоры? Точно ничего не известно, писательница не рассказывала. И близкие её тоже не рассказали, а оставшиеся после её кончины материалы никто, кажется, толком не разобрал.

Знаменитых Шолохова и Алексея Толстого, самых-самых популярных публицистов Симонова и Эренбурга среди посетителей Кремля не оказалось, как и главы Союза советских писателей Фадеева. Зато часто бывала относительно скромная писательница Ванда Василевская. Почему же? А потому, несомненно, что Сталина как государственного деятеля интересовали люди не

по славе или чинам, а по тому, что именно нового и необычного они могли ему сообщить. Очевидцы свидетельствуют, что польско-советская писательница отличалась остротой ума и сильным характером, а своё умение держать секреты она доказала. Сталин именно таких людей ценил.

И последнее: в конце двадцатых – первой половине тридцатых годов Сталину приходилось встречаться совсем с иными людьми, частенько заходя в Кремль Л. Авербах, В. Киршон, М. Кольцов. И он их тоже выслушивал. И, наверное, сделал свои выводы.

Теперь опять-таки сравним сравнимое. Можно ли представить себе, что бы союзники Сталина по антигитлеровской коалиции во время войны вот так же общались с крупнейшими литераторами своих стран? Допустим, Рузвельт принимал в Белом доме знаменитейших американских писателей Стейнбека или Хемингуэя, а Черчилль – Пристли? Не случилось с ними такого... И не следили они так внимательно за литературой, хотя были образованными и разносторонними людьми.

О травле русских писателей интернационалистами-руссофобами ныне уже достаточно хорошо известно. Как понятно и то, что Сталин, именно он, а не кто иной, спас от физического уничтожения Михаила Булгакова и Михаила Шолохова, Алексея Толстого и Андрея Платонова. Чем была бы русская – да и мировая в целом! – литература без этих имён? А вот за темноватых Бабеля и Пильняка не заступился...

Однако необходимо сказать, что в двадцатых – начале тридцатых годов наибольшему поношению и глумлению подверглась всё же не русская литература, а история нашего Отечества. Тут грязных слов не жалели! И все это растекалось по учебникам и прочим массовым изданиям. Внушалось, что советскому гражданину должно стыдиться прошлого своей страны, и особенно – русского народа.

Вот как освещалась в Советской энциклопедии 1931 года издания Отечественная война 1812 года: “Отечественная” война (обратим внимание на презрительные кавычки!), русское националистическое название войны, происшедшей в 1812 между Россией и Францией... В 1810-м русское пр-во в ответ на невыгодный для него тариф, принятый Францией, издало невыгодный для Франции тариф. Это было основным поводом к “О.” в. Так называемая народная война 1812-го, из-за которой вся война получила пышное название “Отечественной”, дело тут было не в подъёме патриотического “духа”, но в защите крестьянами своего имущества”.

Главноначалающим советских историков был в те поры М. Н. Покровский. Русский по происхождению, ученик знаменитого В. О. Ключевского, он ещё до революции был охвачен осатанелой руссофобией, после же Октября, получив немалую административную власть из рук самого Ленина, он сделал поношение России основным направлением историографии. Не отставали и его питомцы. Например, глумливая статья об Отечественной войне была написана его ученицей М. Нечкиной (правда, муж у неё был Эпштейн, родной брат Яковлева-Эпштейна, усмирителя колхозного крестьянства). Впрочем, Нечкина вскоре покаялась и грубо поносила в печати своего бывшего учителя. Как и все другие ученики Покровского.

Сталин в деле очищения русской истории от троцкистско-бухаринско-покровских поношений действовал прямо и с необычной даже для него решимостью. В 1934 году летом, находясь на отдыхе в Сочи, он вместе со Ждановым сделал строгие замечания на конспекты учебников по истории. Письмо это подписал и находившийся тогда в Сочи Киров, хотя никакого отношения к делу не имел.

Результаты последовали сразу, и самые благие. Уже 26 января 1936 года вышло постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома, где пресловутая “школа Покровского” обвинялась – в соответствии с тогдашним партлексиконом – в “ликвидаторстве”, то есть завуалированно – в исторической руссофобии. Всё в этой области начало сразу и быстро меняться коренным образом, а это немедленно сказалось на всех иных гуманитарных областях, культуре и искусстве.

Самое же поразительное, что стало происходить в тридцатых годах, это осторожное, на поверхности явлений почти не заметное, но очень серьёзное изменение политики в отношении религии, прежде всего – Русской Православной Церкви. Надо напомнить, что основатели “научного коммунизма”

Маркс и Ленин были яркими атеистами и богоборцами. Эта традиция прочно въелась в коммунистов всего мира, а в русских большевиков особенно. В тридцатые годы Сталин, будь он даже всевластен, не смог бы произвести в этой области резких перемен: его бы не поняли не только сторонники в ЦК, но и великое множество рядовых членов партии.

Мы впервые публикуем два поразительных документа, которые недавно извлечены из фондов Архива Президента Российской Федерации (АПРФ). В виду их необычайной важности оба дадим в факсимильном виде. Эти краткие тексты нуждаются в пояснениях.

Первый документ, подписанный Сталиным в сентябре 1933 года. Адресат документа не указан, но можно с полным основанием предположить, что он направлен столичным властям. Партруководитель тогда – М. Каганович, председатель Мосгорисполкома – Н. Булганин, они были лишь послушными исполнителями, а к Сталину обратилась группа русских гуманитариев во главе с замечательным архитектором и общественным деятелем П. Д. Барановским. Пока данный сюжет не изучен, но нет сомнений, что множество московских памятников истории и культуры общероссийского значения были спасены.

“С 1920 до 1930 годов в Москве и на территории прилегающих районов полностью уничтожено 150 храмов. 300 из оставшихся переоборудованы в заводские цеха, клубы, общежития, тюрьмы, изоляторы и колонии для подростков и беспризорников.

Планы архитектурных застроек предусматривают снос более чем 500 оставшихся строений храмов и церквей.

На основании изложенного ЦК считает невозможным проектирование застроек за счёт разрушения храмов и церквей, что следует считать памятниками архитектуры древнего русского зодчества.

Органы советской власти и рабоче-крестьянской милиции, ОГПУ обязаны принимать меры (вплоть до дисциплинарной и партийной ответственности) по охране памятников архитектуры древнерусского зодчества”.

“11 ноября 1939 года

#### **Вопросы религии**

По отношению к религии, служителям русской православной церкви и православноверующим ЦК постановляет:

1). Признать нецелесообразным впредь практику органов НКВД СССР в части арестов служителей русской православной церкви, преследования верующих.

2). Указание товарища Ульянова (Ленина) от 1 мая 1919 года за № 13666-2 “О борьбе с попами и религией”, адресованное пред. ВЧК товарищу Дзержинскому и все соответствующие инструкции ВЧК-ОГПУ-НКВД, касающиеся преследования служителей русской православной церкви и православноверующих, – **отменить**.

3). НКВД СССР произвести ревизию осуждённых и арестованных граждан по делам, связанным с богослужительной деятельностью. **Освободить из-под стражи** и заменить наказание на не связанное с лишением свободы осуждённым по указанным мотивам, если деятельность этих граждан не нанесла вреда советской власти.

4). Вопрос о судьбе верующих, находящихся под стражей и в тюрьмах, принадлежащих иным конфессиям, ЦК вынесет решение дополнительно”.

Второй документ – ещё более поразительный. Он датирован ноябрём 1939 года, когда вопрос о полноте личной власти Сталиным был уже решён. Однако даже с учётом этого решительность поворота не может не поражать. Сталин отменяет распоряжение самого Ленина, чего он до сих пор не делал, кажется, никогда. Действительно, перед самой войной многие церковнослужители были отпущены из лагерей и мест ссылки. Однако и данный документ нуждается в основательном историческом изучении.

“Счастливые” для поколения “пламенных революционеров” двадцатые годы закончились, наступили тридцатые, для большинства из них ставшие весьма печальными. Многие, очень многие стали жертвами “необоснованных репрессий”, как плакали позже духовные наследники этих самых “пламенных”.

Особенно впечатляет тут словечко “необоснованные”. Тут есть очевидное противопоставление репрессиям, так сказать, “обоснованным”, то есть против попов, дворян, кулаков, казаков и “буржуазной интеллигенции”. Их-то не жалко было, ни тогда, ни в пору позднейшей “реабилитации”.

Политическая история тридцатых годов и приход к единоличной власти Сталина в настоящее время хорошо изучены и описаны с самых различных точек зрения, любой заинтересованный гражданин может выбрать себе любую. Нет сомнений, что в середине тридцатых страна пережила нечто вроде английской “славной революции” или наполеоновской контрреволюции. Но имелось в тогдашней истории России одно существенное обстоятельство, принципиально отличающее её от революционных событий в иных странах. В революционной и послереволюционной Англии и Франции у власти находились французы и англичане, горячие патриоты своей родины, они и сделали их великими мировыми державами. В революционной же России, наоборот, власть захватили нерусские космополитические силы, которые были не только равнодушны к сути русской истории, но даже прямо и открыто презирали страну и народ, которым безраздельно и жестоко правили.

Сталина ненавидели и ненавидят все наследники “пламенных революционеров” и их духовные родственники во всём мире. Ведь именно он провёл очищение верхов Советской империи, правопреемницы императорской России, от яростных русоненавистников, значительную долю которых составляли, как известно, евреи. Как бы мы ни относились к Сталину, но всё же спросим: *лепо ли*, чтобы Англией или Францией правили франконенавистники и англофобы? Случившееся с революционной Россией есть, несомненно, исторический нонсенс, как на это дело ни посмотри. Так не могло долго продолжаться в великой державе. Да.

Бросается в глаза главное: верхушка партийно-государственного руководства перестала быть еврейской или проеврейской. Прежнюю, послереволюционную, в своём большинстве еврейскую, отправили известно куда, оставшиеся – притихли. Подчеркнём, что это вовсе не было проявлением сталинского “антисемитизма”, а было это прямой государственной необходимостью, ибо нельзя вести большое строительство руками профессиональных разрушителей.

Да, оставшийся на вершине власти Каганович уже не призывал “задрать подол матушке-России”, не рушил православных храмов, а деятельно занимался хозяйственными делами гигантского масштаба. На этом поприще еврейская энергетика вообще нашла себе достойное применение, вспомним хотя бы Ванникова, Зальцмана, Иоффе и многих, многих иных: они вместе с русским народом строили великую советскую индустрию. Сталин как бы переключил разрушительный дух революционного еврейства России на созидательные дела в хозяйственной сфере.

В кровавых чистках тридцатых годов содержался, помимо очевидного политического, ещё и значительный национально-культурный смысл, до сих пор, кажется, недооценённый. В официальной партийной идеологии не исчезла, разумеется, совсем, но в значительной мере была приглушена традиционная марксистско-ленинская и троцкистская русофобия. Это заметно отразилось в искусстве предвоенных лет, эстетический и эмоциональный уровень которого был исключительно высок. Ещё недавно Эйзенштейн по сценарию Бабеля снимал “Бежин луг” про доносительный подвиг Павлика Морозова, где ключевой сценой стало своего рода ритуальное разорение православного храма. Но уже в тридцать восьмом году тот же Эйзенштейн снял потрясающий патристический фильм “Александр Невский”, где звучала гениальная музыка Прокофьева и блистал талант русского актёра Черкасова. И Мейерхольду уже не пришлось корёжить русскую театральную классику, зато засияло блистательное созвездие МХАТа. Ясно, что при всевластии Троцкого и Луначарского эти благие перемены были бы немислимы.

Русское искусство со второй половины тридцатых годов словно пробудилось от русофобского дурмана. В России народный дух яснее всего проявлялся в песенном творчестве. Двадцатые годы в этом отношении равны нулю (музыка белого лагеря, часто весьма выразительная, до народа не доходила).

Десяток лет спустя над страной стали звучать песни русского поэта Василия Лебедева, по молодости приклеившего к своему имени “пролетарскую” кличку “Кумач”. Слова его песен “Нам песня строить и жить помогает”, “Кто ищет – тот всегда найдет!” и множество иных органично вошли в русский язык,

стали словами-символами. Именно на этих образах воспитывалось поколение, отстоявшее родину в дни страшных испытаний. Кстати, даже Светлов (Шенкман) после косноязычной “Гренады” написал добротную песню “Каховка”. Как видно, сталинский поворот к национальной русской культуре оказался полезен и для многих русскоязычных евреев. Однако – и это надо подчеркнуть! – еврейская идеологическая поросль, возвращённая в коминтерновские времена, встретила этот сталинский поворот крайне враждебно. Разумеется, в те времена публично так было высказываться невозможно, но о том стало известно из позднейших мемуаров (Л. Разгон и др.) и публикаций.

Вот чем закончилась и к каким серьёзным последствиям привела “великая культурная контрреволюция”, проведённая во второй половине тридцатых годов Иосифом Виссарионовичем Сталиным.



АНДРЕЙ ФУРСОВ

## СТАЛИН И ВЕТЕР ИСТОРИИ

*Вот беда! Когда, бывало,  
Он с неистовым серпом  
Проходил по полю шквалом —  
Сноп валился за снопом.*

Сталин

*Правда — горькое лекарство,  
неприятное на вкус, но зато  
восстанавливающее здоровье.*

Бальзак

60 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина — умер или, что вероятнее, был убит. За эти 60 лет произошло многое: СССР испытал величайшие успехи и величайшую катастрофу 1991 года. На смену Сталину приходили пигмеи, с каждым новым номенклатурным поколением — всё пигмеистее. Последнее поколение, горбачёвское, сочетало ничтожность с предательством. Именно оно и его постсоветские сменщики обильно поливали грязью Сталина, а вместе с ним — всё советское, то самое советское, чем они питаются до сих пор, не создав ничего нового. И, похоже, чем больше прожирается советское наследие, тем больше ненависть к Сталину в определённых кругах, тем сильнее страх перед ним.

Цель данной статьи — разобраться в причинах этих групповых чувств к вождю, поскольку я глубоко убеждён: человека в не меньшей степени, чем друзья, определяют враги: “Скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе, кто ты”.

### 1

Однажды Сталин сказал, что после его смерти на его могилу нанесут много мусора, однако ветер его развеет. Всё так и вышло, как предвидел вождь. Не прошло и несколько лет, как один из главных “стахановцев террора” 1930-х годов Н. Хрущёв (именно на его запросе увеличить квоты на расстрел Сталин написал: “Уймись, дурак”) начал поливать вождя грязью. Хрущёв не был в этом первым: систематический полив Сталина (правда, вперемежку

---

*ФУРСОВ Андрей Ильич — директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета; директор Института системно-стратегического анализа. Автор 400 работ, включая 9 монографий.*

с реальной критикой) начал Троцкий, ну, а не вышедший умом бывший троцкист Хрущёв оставил только полив. Затем к Хрущёву в качестве “мусорщиков” присоединились наиболее рьяные из “шестидесятников”, а о диссидентах, “певших” под чужие “голоса” и “плывших” на чужих “волнах”, и говорить нечего — они были частью западной антисоветской пропаганды.

Перестройка ознаменовала новый этап в шельмовании Сталина. Здесь, однако, не Сталин был главной мишенью, а советский социализм, советский строй, советская история, а за ними — русская история в целом. Ведь заявил же один из бесов перестройки, что перестройкой они ломали не только Советский Союз, но всю парадигму тысячелетней русской истории. И то, что главной фигурой слома был выбран именно Сталин, лишний раз свидетельствует о роли этого человека — феномена не только советской, но и русской истории. Сталинизм, помимо прочего, стал активной и великодержавной формой выживания русских в XX веке в условиях исключительно враждебного окружения, нацелившегося на окончательное решение русского вопроса: Гитлер был вовсе не единственным, просто он — по плебейской своей манере — громче всех кричал, повторяя то, чего набрался у англосаксов.

Рухнул СССР, разрушен советский строй. Казалось бы, советофобы могут успокоиться по поводу Сталина и СССР. Ан нет, неймётся им. Правда, нынешние десталинизаторы — фигуры в основном фарсово-одиозные, глядящие мелко даже по сравнению с перестроечной шпаной. На экранах телевизоров кривляются убогие социальные типы вроде полуобразованного пафасно-фальшивого публициста, академика-недоучки с ухватками стукача, алкоголика с претензией на роль международного дельца и прочая бездарь. Тут поневоле вспомнишь Карела Гашека: “Они приходят, как тысяча масок без лиц”, — как сказал он о саламандрах, и Николая Заболоцкого: “Всё смешалось в общем танце, / И летят во все концы / Гамадрилы и британцы, / Ведьмы, блохи, мертвецы [...] / Кандидат былых столетий, / Полководец новых лет, / Разум мой! Уродцы эти — / Только вымысел и бред”.

Действительно, иначе как бредом не назвать то, что “ковёрные антисталинисты” подают в качестве “аргументации”. Это либо сплошные, на грани истерики, эмоции в духе клубной самодетельности с выкриками “кошмар”, “ужас”, “позор”, что очень напоминает шакала Табаки из кипплинговского “Маугли” с его “Позор джунглям!” — эмоции без каких-либо фактов и цифр. Либо оперирование фантастическими цифрами жертв “сталинских репрессий” — “десятки и десятки миллионов” (почему не сотни?). Если на что и ссылаются, то на “Архипелаг ГУЛАГ” Солженицына. Но Солженицын-то был мастер легендарования и заготовки “подкладок”. Например, он не претендовал в “Архипелаге...” на цифирную точность; более того, выражался в том смысле, что указанное произведение носит, так сказать, импрессионистский характер. Подстраховался “Ветров” — вот что значит школа.

А ведь за последнюю четверть века на основе архивных данных (архивы открыты) и наши, и западные (прежде всего американские) исследователи, большинство из которых вовсе не замечены в симпатиях ни к Сталину, ни к СССР, ни даже к России, подсчитали реальное число репрессированных с 1922 по 1953 год, и никакими “десятками миллионов” или даже одним десятком там и не пахнет. Напомню, кстати, что хотя “сталинская” эпоха формально началась в 1929 году, по сути, только с 1939 года можно формально говорить о полном контроле Сталина над “партией и правительством”, хотя и здесь были свои нюансы.

За последние годы появились хорошо документированные работы, показывающие реальный механизм “репрессий 1930-х”, которые как **массовые** были развязаны именно “старой гвардией” и “региональными баронами” вроде Хрущёва и Эйхе в качестве реакции на предложение Сталина об альтернативных выборах. Сломить сопротивление “старогвардейцев” вождь не смог, но **точечный** (не массовый!) удар по их штабам нанёс. Я оставляю в стороне борьбу с реальными заговорами, к примеру, противостояние Сталина левым глобалистам-коминтерновцам, как и Троцкий, считавшим, что Сталин предал мировую революцию. Таким образом, реальная картина “репрессий 1930-х” намного сложнее, чем это пытаются представить хулители Сталина; это многослойный и разновекторный процесс завершения гражданской войны, в котором собственно “сталинский сегмент” занимает далеко не бóльшую часть.

Аналогичным образом проваливается второй главный блок обвинений Сталина — обвинений в том, как складывалась в первые месяцы Великая Отечественная война: “проморгал”, “проспал”, “не верил Зорге”, “верил Гитлеру”, “сбежал из Кремля и три дня находился в прострации” и т. п. Вся эта ложь давно опровергнута документально, исследователи об этом прекрасно знают: и о том, что Сталин ничего не проспал, и о том, что на самом деле он никогда не верил Гитлеру, и о том, что правильно не верил Зорге, и о реальной вине генералов в канун 22 июня. Здесь не место разбирать все эти вопросы, но от одного замечания не удержусь. Уж как зубоскалили антисталинисты над заявлением ТАСС от 14 июня 1941 года; в заявлении говорилось, что в отношениях СССР и Германии всё нормально, что СССР продолжает проводить миролюбивый курс и т. п. “Мусорщики” трактуют это как “глупость и слабость Сталина”, как “заискивание перед Гитлером”. Им не приходит в голову, что адресатом заявления были не Гитлер и Третий рейх, а Рузвельт и США. В апреле 1941 года Конгресс США принял решение, что в случае нападения Германии на СССР США будут помогать СССР, а в случае нападения СССР на Германию — Германии.

Заявление ТАСС фиксировало полное отсутствие агрессивных намерений у СССР по отношению к Германии и демонстрировало это отсутствие именно США, а не Германии. Сталин прекрасно понимал, что в неизбежной схватке с рейхом его единственным реальным союзником могут быть только США, они же удержат Великобританию от сползания в германо-британский антисоветский союз. И уж, конечно, нельзя было допустить неосторожным движением, к которому подталкивал русских Гитлер, спровоцировать возникновение североатлантического (а точнее — мирового, с участием Японии и Турции) антисоветского блока. В этом случае Советскому Союзу (относительный военный потенциал на 1937 год — 14%) пришлось бы противостоять США (41,7%), Германии (14,4%), Великобритании (10,2% без учёта имперских владений), Франции (4,2%), Японии (3,5%), Италии (2,5%) плюс шакалам помельче. Кстати, с учётом этих цифр и факта решения Конгресса США очевидна вся лживость схемы Резуна и иже с ним о якобы подготовке Сталиным нападения на Германию, в частности, и на Европу в целом.

Есть один чисто психологический нюанс в обвинениях научной и околонучной братии в адрес Сталина. Во всём, точнее, во всём, что считается отрицательным в правлении Сталина (положительное проводится по линии “вопреки Сталину”), вина одного человека как якобы наделённого абсолютной властью, а потому всемогущего. Но, во-первых, Сталину удалось упрочить свою власть лишь к концу 1930-х годов; до этого — борьба не на жизнь, а на смерть, хождение по лезвию ножа, постоянная готовность отреагировать на радостный крик стаи: “Акела промахнулся”. Война — не лучшее время для единоличных решений. Ну, а период 1945–1953 годы — это время постоянной подковёрной борьбы различных номенклатурных группировок друг с другом — и против Сталина. Послевоенное восьмилетие — это история постепенного обкладывания, окружения стареющего вождя номенклатурой (при участии определённых сил и структур из-за рубежа). Попытка Сталина нанести ответный удар на XIX съезде ВКП(б)/КПСС (1952) окончилась смертью вождя. Таким образом, в реальной, а не “профессорской” истории, по поводу которой Гёте заметил, что она не имеет отношения к реальному духу прошлого, — это “... дух профессоров и их понятий, / Который эти господа некстати / За истинную древность выдают”, Сталин никогда не был абсолютным властелином — Кольца Всевластия у него не было. Это не значит, что он не несёт личной ответственности за ошибки, жестокость и пр., несёт — вместе с жестокой эпохой, по законам которой его и нужно оценивать.

Но дело не только в этом. Простая истина заключается в следующем: тот, кто руководил коллективом хотя бы из 10 человек, знает, что абсолютная власть невозможна, — и она тем менее возможна, чем больше подчинённых. Бóльшая часть тех, кто писал и пишет о Сталине, никогда ничем и никем не руководили, не несли ответственности, то есть в этом смысле суть люди безответственные. К тому же на власть они нередко проецируют свои амбиции, страхи, претензии, желания, “сонной мысли колыханья” (Н. Заболоцкий) и, не в последнюю очередь, тягу к доноситечеству: не секрет, что больше всего советскую эпоху Сталина и КГБ ненавидят бывшие стукачи, доносчики, ведь легче ненавидеть систему и её вождя, чем презирать собственную подлость, —

вытеснение, понимаешь ли. Абсолютная власть — это мечта совинтеллигенции, нашедшая одно из своих отражений в “Мастере и Маргарите”; помимо прочего, именно поэтому роман стал культовым для этого круга (а “Записки покойника”, где этому слою было явлено зеркало, — не стали). Сводить суть системы к личности одного человека — в этом есть нечто и от социальной шизофрении, и от инфантилизма, не говоря уже о профессиональной несостоятельности.

Можно было бы отметить и массу иных несуразностей, ошибок и фальсификаций “наносчиков мусора” на могилу Сталина, но какой смысл копаться в отравленных ложью и ненавистью, замешанной на комплексах и фобиях, мозгах? Интереснее разобрать другое: причины ненависти к Сталину, страха перед ним целых слоёв и групп у нас в стране и за рубежом, страха и ненависти, которые никак не уйдут в прошлое, а, напротив, порой, кажется, растут по мере удаления от сталинской эпохи. Как знать, может, это и есть главная Военная Тайна советской эпохи, которую не дано разгадать буржуинам и которая висит над ними подобно “дамоклову мечу”? Поразмышляем о Сталине сквозь призму ненависти к нему и страха перед ним его врагов и их холуёв.

## 2

Отношение к лидерам — царям, генсекам, президентам — интересная штука в силу своей, по крайней мере, внешней парадоксальности. В русской истории было три крутых властителя: Иван Грозный, Пётр I и Иосиф Сталин. Наиболее жестокой и разрушительной была деятельность второго: в его правление убыль населения составила около 25% (народ мёр и разбегался). К моменту смерти Петра казна была практически пуста, хозяйство разорено, а от петровского флота через несколько лет осталось три корабля. И это великий модернизатор? В народной памяти Пётр остался Антихристом — единственный русский царь-антихрист, и это весьма показательно. А вот Иван IV вошёл в историю как Грозный, и его время в XVII веке вспоминали как последние десятилетия крестьянской свободы. И опричнину в народе практически недобрым словом не поминали — это уже “заслуга” либеральных романовских историков. Сталин, в отличие от Петра, оставил после себя великую державу, на материальном фундаменте которой, включая ядерный, мы живём до сих пор, а РФ до сих пор числится серьёзной державой (пусть региональной, но без сталинского фундамента нас ожидала и ожидает участь сербов, афганцев и ливийцев, никаких иллюзий здесь питать не надо).

Парадокс, но из трёх властителей Пётр, несмотря на крайнюю личную жестокость и провальное царствование, любим властью и значительной частью интеллигенции. Ему не досталось и десятой доли той критики, которую либеральная историография и публицистика обрушила на головы Ивана Грозного и Иосифа Сталина. Грозному царю не нашлось места на памятнике “Тысячелетие России”, а Пётр — на первом плане. Что же такого сделал Пётр, чего не делали Иван и Иосиф? Очень простую вещь: позволял верхушке воровать в особо крупных размерах, был либерален к “проказам” именно этого слоя. За это и любезен власти и отражающему её интересы, вкусы и предпочтения определённого сегменту историков и публицистов. Иван Грозный и Сталин были жестки и даже жестоки по отношению, прежде всего, к верхушке. “Проклятая каста!” — эти слова сказаны Сталиным, когда он узнал о том, что эвакуированная в г. Куйбышев номенклатура пытается организовать там для своих детей отдельные школы.

Всю свою жизнь у власти Сталин противостоял “проклятой касте”, не позволяя ей превратиться в класс. Он прекрасно понимал, как по мере этого превращения “каста” будет сопротивляться строительству социализма — именно это Сталин и имел в виду, когда говорил о нарастании классовой борьбы по мере продвижения в ходе строительства социализма. Как продемонстрировала перестройка, вождь оказался абсолютно прав: уже в 1960-е годы сформировался квазиклассовый теневой СССР-2, который в союзе с Западом и уничтожил СССР-1 со всеми его достижениями. При этом реальное недовольство населения было вызвано СССР-2, то есть отклонением от модели, но заинтересованные слои провернули ловкий пропагандистский трюк: выставили перед населением СССР-2 с его изъянами, растущим неравенством, искусственно

создаваемым дефицитом и т. п. в качестве исходной проектной модели СССР-1, которую нужно срочно “реформировать”.

В советское время, как при жизни Сталина, так и после его смерти, вождя ненавидели, главным образом, две властные группы (и, соответственно, связанные с ними отряды совинтеллигенции). Во-первых, это та часть советского истеблишмента, которая была заряжена на мировую революцию и представители которой считали Сталина предателем дела мировой революции или, как минимум, уклонистом от неё. Речь идёт о левых глобалистах-коминтерновцах, для которых Россия, СССР были лишь плацдармом для мировой революции. Им, естественно, не могли понравиться ни “социализм в одной, отдельно взятой стране” (то есть возрождение “империи” в “красном варианте”), ни обращение к русским национальным традициям, на которые они привыкли смотреть свысока, ни отмена в 1936 году празднования 7 ноября как Первого дня мировой революции, ни появление в том же 1936 году термина “советский патриотизм”, ни многое другое. Показательно, что уже в середине 1920-х годов Г. Зиновьев, “третий Гришка” российской истории (знали бы те, кто нумеровал, каким ничтожеством по сравнению даже с третьим окажется четвёртый!) аргументировал необходимость снятия Сталина с должности генсека тем, что того “не любят в Коминтерне”, а одним из главных критиков Сталина в 1930-е годы был высокопоставленный коминтерновский функционер О. Пятницкий.

Вторую группу сталиноненавистников можно условно назвать “советскими либералами”. Что такое “либерал по-советски”? Разумеется, это не либерал в классическом смысле, да и вообще не либерал — даже *низэ-э-энько-низэ-э-энько* не либерал. Советский номенклатурный либерал — это чиновник, который стремился потреблять больше, чем ему положено по жёстким правилам советско-номенклатурной ранжированно-иерархической системы потребления, а потому готовый менять власть на материальные блага, стремящийся чаще выезжать на Запад и сквозь пальцы глядящий на теневую экономику, с которой он всё больше сливался в социальном экстазе.

В наши дни это называется коррупция, но к совсистеме этот термин едва ли применим: коррупция есть использование публичной сферы в частных целях и интересах. В том-то и дело, однако, что в совреальности не было юридически зафиксированного различия между этими сферами, поскольку не было частной сферы — “всё вокруг колхозное, всё вокруг моё”. Речь вместо коррупции должна идти о подрыве системы, который до поры до времени (до середины 1970-х годов, когда в страну хлынули неучтённые нефтяные доллары) носил количественный характер. Таким образом, правильнее говорить о деформации системы. Вот эти деформаторы и ненавидели Сталина больше всего, поскольку номенклатурное и околономенклатурное ворьё понимало, что при его или сходных порядках возмездия не избежать. Поэтому они так опасались прихода к власти неосталиниста А. Шелепина, поставив на Л. Брежнева, — и не проиграли. Именно при “герое Малой земли” возрос теневая СССР-2 (не теневая экономика, а именно теневая СССР, связанный как со своей теневой экономикой, так и с западным капиталом, его наднациональными структурами, западными спецслужбами), но тень при Брежневе знала своё место, выжидая до поры, а вот при Горбачёве она заняла место хозяина, уничтожив фасадный СССР-1. Реальный СССР в начале 1980-х годов напоминал галактическую империю из азимовской “Академии” — Foundation: благополучный фасад при изъеденных внутренностях. Только у СССР, в отличие от империи, не оказалось математика Селдена с его планом — у нас был “математик”-гешефтматик Б. Березовский, и этим всё сказано. Но вернёмся к сталинофобии. Она довольно чётко коррелирует с потребленческими установками, с установкой на потребление в качестве смысла жизни. Символично, что один из “ковёрных антисталинистов” заявил в телеэфире: национальную идею можете оставить себе, а мне дайте возможность потреблять. Может ли такой тип не ненавидеть Сталина и сталинизм? Не может. Сталинизм — это историческое творчество, установка на творчество как цель и смысл жизни. СССР был творческим, высокодуховным проектом, что признают даже те, кто Советскому Союзу явно не симпатизирует. Показательно в этом плане фраза, сказанная бывшим министром образования А. Фурсенко о том, что проект (sic!) советской школы заключался в том, что она стремилась воспитать человека-творца, тогда как задача эрэфовской школы — воспитать квалифи-

цированного потребителя. Это, выходит, и есть национальная, а точнее, групповая идея, поскольку у потребителя и “потреблятства” нет национальности, главное – корыто, а кто его обеспечит, свои или чужие, дело десятое, главное, чтоб было куда хрюкальник воткнуть.

Символично также следующее. Тот самый персонаж, который требовал для себя “праздника потребления”, высказывался и в том смысле, что если земли к востоку от Урала сможет освоить мировое правительство, то пусть оно и возьмёт их. Так потребленческая установка антисталинизма совпадает с глобалистской – это две стороны одной медали. Так прочерчивается линия от антисталинизма к смердяковщине, то есть к русофобии. Социальный мир антисталинистов – это глобальный “скотный двор”, главная цель которого – обеспечивать потребление под руководством и надзором мирового правительства. Сталин трижды срывает строительство такого мира на русской земле, именно за это его и ненавидят антисталинисты. Всё прозаично, разговоры же о свободе, демократии, “советском тоталитаризме” бывших советских карьеристов и стукачей никого не могут обмануть.

Парадоксальным образом ими оказалась часть левых (условно – “троцкисты”, левые глобалисты) и часть правых (условно – “бухаринцы”). В этом плане становится ясно, что “троцкистско-бухаринский блок” – это не нарушение здравого смысла, а диалектическая логика, которую Сталин, отвечая на вопрос, как возможен лево-правый блок, сформулировал так: “Пойдёшь налево – придёшь направо. Пойдёшь направо – придёшь налево. Диалектика”.

Страх позднесоветской номенклатуры перед Сталиным – это страх “теневого СССР” перед исходным проектом, страх паразита перед здоровым организмом, перед возмездием с его стороны, страх перед народом. После 1991 года этот страх обрёл новое, откровенное, а не скрытое классовое измерение, которое, как демонстрируют время от времени кампании десталинизации, делает этот страх паническим, смертельным.

### 3

Важен вопрос о причинах ненависти к Сталину на Западе. Здесь два аспекта: практико-политический и метафизико-исторический. Практико-политический аспект прост: замарывая Сталина, враги России и русских ставят под сомнение нашу победу в Великой Отечественной/Второй мировой войне, а следовательно, право РФ находиться среди великих держав, принадлежность к клубу которых до сих пор в огромной степени определяется участием в антигитлеровской коалиции и ролью в ней.

Приравнение Сталина к Гитлеру, а СССР – к Третьему рейху вкуче с разговорами о том, что на Сталине лежит такая же вина за развязывание войны, как на Гитлере, а возможно, ещё и большая, работает в том же направлении: повесить на СССР (и, следовательно, на РФ) вину за развязывание войны, навязать комплекс исторической вины и неполноценности. То есть с практико-политическим аспектом всё ясно и просто.

Более интересен, на мой взгляд, метафизико-исторический аспект причины ненависти западной верхушки к Сталину. Дело в том, что Сталин трижды сорвал планы этой верхушки – правых глобалистов – по созданию глобального мира под эгидой чего-то похожего на мировое правительство, о необходимости которого много говорили Варбурги, Рокфеллеры и их подголоски из интеллектуальной обслуги. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что первыми о необходимости чего-то похожего на мировое правительство заговорили в XIX веке Ротшильды, однако русские цари Александр I и Николай I своей политикой такую возможность подорвали. Отсюда – ненависть Ротшильдов к Романовым: как говорят, в конце XIX века один из Ротшильдов заявил, что для их семейства мир с Романовыми и их Россией невозможен.

Сталин сделал для слома “затейки” глобальных “верховников” под названием “мировое правительство” больше, чем все русские цари вместе взятые, используя при этом противоречия между самими правыми глобалистами. Серпом Красной империи он трижды валил снопы глобализации на поле истории XX века.

Первый раз Сталин сделал это во второй половине 1920-х годов, точнее, в 1927–1929 годах, когда его команда, опираясь на сохранявшуюся мощь Большой Системы “Россия”, на содействие представителей разведструктур

Российской империи и на противоречия в среде буржуинов, заменил проект “мировая революция” проектом “красной (социалистической) империи”. Фининтерну в его планах создания Венеции размером с Европу или мир в целом пришлось развёртывать проект “мировая война” и вести к власти Гитлера, всемерно укрепляя конкретное государство – Третий рейх. В результате англо-американской накачки, резко усилившейся именно в 1929 году – в год высылки Троцкого из России (“прощальный поклон” Сталина схеме “мировая революция”), – “Гитлер инкорпорейтед” смог воевать, сыграв роль агрессора в написанном для него спектакле. По “пьесе” он должен был разнести СССР, а затем пасть под ударом англосаксов.

Однако История – коварная дама, всё вышло по-другому, и Сталин во второй раз сорвал планы глобалистов, разгромив Гитлера. Помогла ему и борьба Великобритании и США, крушивших в ходе войны не только Третий рейх, но и Третью Британскую империю (Вторая закончилась отложением Североамериканских штатов).

В третий раз Сталин сорвал планы глобалистов тем, что при нём СССР, не позволив накинуть себе на шею удавку плана Маршалла, создал ядерный щит и ядерный меч и восстановился не за 20, как прогнозировали западные спецы, а за 10 лет, превратившись на рубеже 1940–1950-х годов в сверхдержаву.

Сталин – проектировщик и генеральный конструктор единственного геосторического проекта, который можно противопоставить глобализму, – неоимперского. В начале XX века глобалистский (на капиталистической основе) проект англосаксов – Британской империи и США – столкнулся с фактом существования империй, мешавших уже в силу самого своего существования реализации их проекта. Главными из этих четырёх империй были две – Германская и Российская. Их-то и стравили между собой, а затем сломали, используя и усилив внутренние противоречия. Примерно десяток лет всё шло так, как было задумано, однако в конце 1920-х годов процесс вышел из-под контроля: команда Сталина взяла верх и над левыми, и над правыми (и для тех, и для других Россия была придатком Запада – вязанкой хвороста в буржуазном очаге) и ещё за 10 лет выстроила красную империю с мощнейшим ВПК – выстроила, используя глобальные тренды и глобальные же противоречия, которые поставила себе на службу. Сталин нашёл золотой ключик к потайной дверце буржуинов-глобалистов – прибыль, которую одна их часть могла получить за счёт вложений в СССР, конкурируя с другой частью.

Сталин – автор и создатель единственного успешного антиглобалистского проекта XX века. Он наглядно показал, что можно противопоставить глобалистам и как с ними бороться. Если считать годом свёртывания в СССР глобалистского проекта в его “мир-революционной форме” 1929 год (показательно свёртывание в том же году нэпа, теснейшим образом привязывавшего СССР к глобализации, – лево-правая диалектика), то можно сказать, что Сталин отодвинул приход глобализации ровно на 60 лет – до окончательной сдачи Горбачёвым на Мальте 2–3 декабря 1989 года всего и вся. Ясно, что такое простить “Хозяева мировой игры” никогда не смогут. Тем более что Сталин продемонстрировал технологию борьбы с ними, сделав заявку на развёртывание своей игры и своего хозяйства, включая альтернативный мировой рынок и подрыв позиций доллара. Здесь глобалисты должны были воскликнуть, как один из русских поэтов XVIII века: “Лъзя ли старика любить?” Конечно, нельзя. Им такого “старика”, как *Uncle Joe* или *Old Joe*, как называли Сталина англосаксы, любить нельзя – только ненавидеть. С учётом сказанного анализ сталинизма и советского опыта, обязательная историческая критика первого и второго, работа над ошибками – насущнейшая задача для нас.

#### 4

Есть ещё один интересный выверт антисталинских кампаний на Западе (и у нас в этом направлении активно работает “пятая колонна”): уравнивание сталинизма и гитлеризма, о практико-политическом аспекте которого речь шла выше. Но есть ещё более интересный аспект. Я согласен с теми аналитиками, которые указывают на сходство целеполагания нынешней глобальной верхушки и нацистской верхушки: обе исходят из необходимости радикального сокращения населения планеты, обе – фанаты орденских и неоорденских структур глобального управления; обе – антихристианские. Третий рейх не

был альтернативой глобализму; он был средством глобальных элит (весьма выигравших от реализации проекта “Третий рейх” – прежде всего, материально) и одновременно брутальным экспериментом по установлению нового мирового порядка (вслед за которым можно было реализовывать мягкий).

Сталинский неоимперский антикапитализм был альтернативой как гитлеровскому, так и англосаксонскому “новому порядку”. Именно поэтому сталинизм пытаются не только уравнивать с гитлеризмом, но представить его ещё более жёстким тоталитаризмом, чем этот последний. Таким образом, во-первых, камуфлируется сходство гитлеровского нового порядка и нового мирового порядка послевоенных англосаксонских глобалистов; во-вторых, компрометируется, снимается с повестки дня единственная реальная альтернатива (капиталистическому) глобализму и остановке Истории в духе программы “3 Д”: деиндустриализация, депопуляция, дерационализация сознания и поведения, – которую по заказу хозяев разрабатывают сотни “фабрик мысли”. Эта альтернатива – неоимперскость на антикапиталистической основе.

Чем сильнее будет сопротивление глобализму, тем активнее будет вспоминаться фигура Сталина и исторический опыт СССР, который, конечно же, нельзя и не нужно ни реставрировать, ни повторять. Сталин совершал ошибки, порой весьма досадные. Да, на нём лежит вина за целый ряд процессов и явлений – вина, которую он разделяет со своим временем. Но это участие всех государственных деятелей. А разве нет вины у британских и американских политиков? Ещё как есть, она и в сравнение не идёт с негативным аспектом деятельности Сталина. Кто приказывал подвергнуть ядерной бомбардировке Хиросиму и Нагасаки, хотя в этом не было никакой военной надобности? Кто приказал бомбить Кампучию, в результате чего погибли около миллиона человек? Чтобы затенить этот факт, Пол Поту “пририсовали” лишние миллион-полтора жертв и начали кричать на весь мир о зверствах кампучийских коммунистов. А вот по поводу почти 1 млн хути и тутси и около 2 млн жителей соседних стран, вырезанных в 1990-е годы при попустительстве (как минимум) мировой верхушки, почему-то помалкивают. И только когда возникла необходимость использовать геноцид в центре Африки, эти “танцы во славу монстров” (так называется одна из лучших книг об этих событиях) в качестве средства для удара по 2–3 десяткам представителей мировой элиты, то есть для внутренних разборок, о резне вспомнили, и спустя 18 лет, и 17 августа 2012 года соответствующий иск был подан главному прокурору Международного суда. Примеры можно множить, но ситуация и без этого ясна.

... Когда-то Сталин заметил: есть логика намерений и есть логика обстоятельств, и логика обстоятельств сильнее логики намерений. Есть **намерение** у неких сил, слоёв очернить Сталина и советское прошлое, скрыв в этой черноте многие негативные, а порой катастрофические результаты постсоветики, бездарность управления, неспособность к историческому творчеству. Какое там творчество? Это *порок*, задача, напомним, – воспитывать квалифицированных потребителей, чтобы те тупо купались в убогом потреблятельстве и ни о чём не думали.

Но есть и **обстоятельства**. Эти обстоятельства – реальная жизнь РФ в канун нового витка приватизационных реформ; это бюджет на 2013 год, который сеет сомнения по поводу того, что РФ – “социальное государство”; это сокращение численности населения РФ и сползание её в сырьевые придатки Запада по сравнению не только с СССР, но даже с Российской империей; это и многое другое. Вот эти-то обстоятельства и выступают фоном и объектом сравнения со сталинской эпохой. Те реформы, которые проводились в РФ с 1992 года, – лучшая реклама Сталину и его эпохе, аргумент в их пользу. И не случаен успех Сталина – вопреки очернению “мусорщиками” – в конкурсе “Имя России”. Этот успех, основанный на достижениях сталинской эпохи, как материальных, так и социальных, на Большой Стеле и Большой Стратегии эпохи, напугал многих наверху. Конкурс показал, что вождь не ошибся: Ветер Истории не только разметал мусор с его могилы, но и сдул гадивших на неё пигмеев. Вопреки очернительству, имя Сталина стало “именем России”, формально – не первым, но долго лидировало (и мы ведь всё понимаем).

Со времени проведения конкурса прошло время, но страхи не проходят, к ним добавляются новые – перед революцией. Не так давно один высокопоставленный чиновник, по-видимому, уговаривая самого себя, заявил, что



Россия не может ещё раз пережить разворот в левую сторону (массовая национализация и т. п.). А затем предупредил тех, кто своей неразумной политикой провоцирует такие события: если настроение в обществе изменится, то любая попытка влиять на него (по-видимому, подразумевается влиять силовым способом) приведёт к очень плохим последствиям, потому что если влиять, то это сразу революция, вот и всё (это “вот и всё” дорогого стоит!). Правда, через несколько дней другой высокопоставленный чиновник bravо успокоил коллегу: сценария “цветных революций”, например, “оранжевой”, никто не допустит.

Не могу не отвлечься на “лирическое отступление”: уверенность чиновников в том, что они – властелины исторической стихии, умиляет. Не забуду, как в 1995 году В. Черномырдин заявил, что Россия исчерпала лимит революций, полагая, что может говорить от имени русской истории. Не всякий государственный деятель может себе позволить такое, ну, а уж герой эпохи временщичества – тем более. Как же нужно оторваться от реальности, чтобы ляпнуть такой неадекват?! Хорошо о правящем слое 1990-х годов сказал О. Маркеев, сравнив его со стаей пингвинов, которые разместились на верхушке айсберга и думают, что управляют его движением, хотя на самом деле не знают не только направления океанических течений, но и о самом их существовании. Впрочем, разве это характерно только для 1990-х годов?

В реальной истории, как справедливо заметил Н. Мандельштам, “победителем является тот, кто уловил общие тенденции истории и сумел их использовать”, то есть тот, кто понимает направление течений в океане. Сталин говорил по этому поводу по-другому: “оседлать законы истории”, но суть та же. Иными словами, революции случаются или не случаются не по хотению клерков и мелких хозяйчиков, которых вынесло во власть. Революциями движут другие силы.

Далее. Если в России и возможна революция, то никак не оранжевая, – красная. Причём эта последняя будет реакцией на нечто более страшное, чем революция. Революция есть нечто отструктурное и развивающееся в определённых рамках, это Порядок, возникающий из Хаоса. Сам этот Хаос есть реакция огромной и внешне аморфной, вязкой массы на чужеродную агрессивность по отношению к ней. Когда-то К. Победоносцев заметил, что Россия – вязкая страна: ни революция, ни реакция здесь до конца не проходят. Но аморфность и вязкость эти кажутся таковыми с западоцентричной точки зрения. На самом деле у массы – жёсткий, скрытый от западоцентричного взгляда каркас. Это и есть Большая Система “Россия”. Представители власти в России, как правило, либо понимали это плохо, либо вообще не понимали. Исключение – Сталин. Да, сама масса на Руси /в России не порождала властные пирамиды, они привносились извне – из Орды, с XVIII века – с Запада. “Правители всегда привносили идею пирамиды извне, – писал О. Маркеев, – очарованные порядком и благолепием заморских столиц. Не они, а сама масса решала, обволочь ли её животворной слизью, напиток до вершины живительными соками или отторгнуть, позволив жить самой по себе, чтобы нежданно-негаданно развалить одним мощным толчком клокочущей энергией утробы [...] Вопрос лишь времени и долготерпения массы”.

Во многом обманчивой является и хаотичность смутных времён, в том числе того, которое мы переживаем с 1990-х годов. Вот взгляд практика из среды, весьма далёкой от научной. Легендарный киллер Лёша-солдат (Алексей Шерстобитов) в серьёзной книге “Ликвидатор” пишет о 1990-х: “Потихоньку я начал разбираться в окружающем меня хаосе и обратил внимание на стройность его порядка – ведь именно хаосом создаются великие не только произведения, но и масштабные вещи от инфраструктур до Вселенной. Такковыми (хаотическими. – А. Ф.) они кажутся из-за непонимания (наблюдателем. – А. Ф.) рациональности порядка вещей и формул, по которым они создаются. Причём [...] даже обладание знанием не гарантирует удачи в упорядочивании хаотического движения, и даже рассмотревший его во всех подробностях и, казалось бы, всё понявший не в состоянии его описать”. Что уж говорить о не обладающих знанием и рассматривающих любую реальность, в том числе российскую, сквозь призму западного порядка. Ясно, что сквозь такую призму любая реальность будет хаосом – именно поэтому практически все реформы в России оказывались контрпродуктивными, а результат принёс сталинский рывок.

А пропос: западофилия в наши дни есть род социальной некрофилии. Стремление как к образцу для подражания к порядкам такого социума, который захлёбывается в гное порока, обездвижен социальной импотенцией и не способен сохранить ни расовую, ни историческую, ни религиозную идентичность, то есть охваченного волей к смерти, есть не что иное, как культурно-историческая некрофилия. Оставим мёртвым хоронить их мёртвых. Те, кто зовёт нас в “цивилизованный мир”, хотя бы привести нас на кладбище, в лучшем случае — на помойку “поля чудес” в “стране дураков”. Попадание именно на такую помойку, причём в периферийно-третьемировском варианте, заблокировали Сталин и его команда в 1930-е годы, а инерции хватило до 1980-х годов. Европы, о которой можно было бы сказать словами Артюра Рембо как о месте: “. . . где малыш / В пахучих сумерках перед канавкой сточной, / Невольно загрустил и вслушиваясь в тишь, / За лодочкой спешит, как мотылёк непрочной”, — давно нет. Европа (да и Запад в целом) сегодня — это скорее заповедник гоблинов, только гоблины в основном сами люди неместные (хотя и местных гоблинов хватает!). Конрадовское “сердце тьмы” теперь забилося в Европе — пришло возмездие за века колониального грабежа. Но это их проблемы — проблемы “ничейного дома” — *nobody's house*, как назвал Великобританию времён Тэтчер один английский журналист, но то же можно сказать и обо всей Европе. “Ничейный дом” — это и есть идеал глобалистов, которых несколько раз в XX веке подсекал Сталин: СССР был общим домом.

Возвращаясь к схеме пирамиды и массы, отмечу: только такая пирамида, которая отвечает устоявшимся формам *коллективного бессознательного*, способна нормально функционировать в России, опираясь на невидимый каркас. Это очень хорошо понимал, более того — чувствовал Сталин. “Реформы неизбежны, — писал он, — но в своё время. И это должны быть реформы органические, [. . .] опирающиеся на традиции при постепенном восстановлении православного самосознания (интересно, знают ли эти строки неистовые хулители Сталина из РПЦ? — А. Ф.). Очень скоро войны за территории сменят войны “холодные” — за ресурсы и энергию. Нужно быть готовыми к этому”.

Данный пассаж дорогого стоит. Мало того, что вождь предсказал войны за ресурсы, развернувшиеся на рубеже XX–XXI веков, — он зафиксировал необходимость реформ в области психосферы, понимая, что военные действия со временем переместятся и туда и что реформы должны опираться на традицию (на сознание и бессознательное), а не отвергать и не ломать её. Именно этим с 1991 года активно занимаются многие наши СМИ, особенно ТВ, впрочем, без того успеха, на который рассчитывали, и нередко контрпродуктивно, озлобляя население и, по сути, подталкивая его к “мощному толчку kloкочущей энергией утробы”. Разумеется, значительная часть морально-нравственных ориентиров и императивов разрушена за эти 20 лет — как и за 20 лет, предшествовавшие 1917 году. Мы видим немало проявлений морального кризиса, и, тем не менее, задача разрушения русской психосферы, психологии нашим противником не решена (даже компьютерные стрелялки не действуют на наших детей так, как на западных, — из-за различий в смеховой культуре). И недаром чиновники опасаются антилиберальной революции “и всё”: либеральная “пирамида” (в обоих смыслах этого слова) осталась чуждой, чуждой и враждебной массе населения, чувствующего себя ущемлённым. Как пела группа “Любз”: “А за то, что Россию обидели, / Емельян Пугачёв не простит”. “Нижний мир” всегда играл в русской истории значительно большую роль, чем усматривали и готовы были признать “баре” — страшно далёкие от народа, ориентированные на Запад власти и профессорская наука. Что можно посоветовать этим ребятам? Читать внимательно русскую историю и труды нобелевского лауреата Ильи Пригожина о хаосе, диссипативных структурах, самоорганизации и сложности. Впрочем, не поздно ли?

Не революции надо опасаться и не нового Сталина, а кое-чего покруче и пострашнее, известного в русской истории под названием “пугачёвщина”, то есть реакции массы на чуждую пирамиду. Не надо думать, что времена пугачёвщины прошли — в Большой Системе “Россия” они не пройдут никогда, меняться может только форма. Пугачёв и “село Плодомасово” (Н. Лесков) — это постоянно присутствующее измерение русской жизни, так сказать, её параллельный Нижний мир (Навь, Хель). Он легко прорывается в Средний мир, поскольку оборонительные линии последнего в русской жизни — веществен-

ная субстанция, накопленный труд, собственность, право — исторически слабы. А сегодня их многократно ослабляет несправедливый (мягко говоря, а если не мягко — то воровской, грабительский) характер формирования собственности в 1990-е годы. И, как знать, не окажется ли единственным, кто способен укротить новый прорыв, Хаос революции, — новый Сталин. Сталин и был, вместе с Лениным, укротителем Хаоса посредством революции, а затем, уже самостоятельно, укротителем революции (с недопущением глобализации) посредством красной империи “антикапитализма в одной, отдельно взятой стране” (кстати, это тонко подметила Н. Мандельштам во “Второй книге”). И, как знать, не придётся ли нового Сталина выдвигать-собирать-конструировать самой же власти, разумеется, если инстинкт самосохранения не атрофировался полностью, поражённый чужими и чуждыми информпотоками, миссформами, мемами и концептуальными вирусами. В работе “Порядок из хаоса” И. Пригожин и И. Стенгерс приводят следующий пример. Микроскопический плоский червь трематод, паразитирующий в печени овцы и самовоспроизводящийся там, попадает туда не самостоятельно, а с проглоченным овцой муравьём, в которого трематод предварительно должен попасть. Однако и после этого вероятность того, что овца проглотит инфицированного муравья, очень мала. Паразит, однако, “решает” проблему простым, но необъяснимым для учёных способом, превращая малую вероятность в максимальную. “Можно с полным основанием сказать, — пишут авторы “Порядка из хаоса”, — что трематод “завладевает” телом своего хозяина. Он проникает в мозг муравья и вынуждает свою жертву вести себя самоубийственным образом: поработивший муравей вместо того, чтобы оставаться на земле, взбирается по стеблю растения и, замерев на самом кончике листа, поджидает овцу”. Возможно, муравью “кажется”, что он свободен в своём поведении или даже он “руководит” покачиванием стебелька (ср. пингвинов на вершущке айсберга). На самом деле он раб трематода, “вложившего” в его мозг ложную и убийственную для него “концепцию” поведения, начисто устраняющую чувство самосохранения. Поставим на место “концепции” “управляемый хаос” “рыночных реформ” и “прав человека” — читайте С. Манна — и “картина маслом” будет ясна. Не случайно в информационных войнах первый удар наносится по психосфере правящего слоя, особенно его защитно-иммунным структурам (идеология и спецслужбы) — в этом плане история “Энциклопедии” во Франции XVIII века весьма поучительна. В сухом остатке: со стебелька надо сигать, пока не поздно.

Но вернёмся к укрощению Хаоса, если он возникнет. Для решения этой задачи новому Сталину придётся бросить толпе или, как говаривали на Руси, “выдать головой” какую-то, возможно, значительную часть несправедливо разжиревших, достав наиболее одиозных из них откуда угодно — из-за границы, из задницы дьявола, из Куяльника — и позволив остальным “присоединиться к нашему движению”. Как знать, не придётся ли десталинизаторам молить о пришествии нового Сталина, услышав тяжёлую поступь чёрного человека, причём не есенинского — из зеркала, в цилиндре и с тросточкой, — а лермонтовского — реального, с булатным ножом в руке. Такой “чёрный человек” — это вам не “бред разведок, ужас чрезвычайек” (М. Волошин), он посерьёзнее будет. Он может принести с собой момент истины для выяснения отношений между намерениями и обстоятельствами, окончательного решения вопроса об их “негативной диалектике”. И придётся, перефразируя А. Блока, просить: “Сталин, дай нам руку, / Помоги в немой борьбе”.

*В год двадцатилетия кровавых событий 1993 года в России редакция “Нашего современника” публикует воспоминания Тимура Исхаковича Пулатова о поощряемом ельцинским режимом противостоянии в писательской среде, что и по сей день отравляет литературную и духовную атмосферу общества. Тимур Пулатов в 1991 году был избран Первым секретарём Правления Союза писателей СССР. После реорганизации СП СССР в Международное сообщество писательских союзов (МСПС) в 1992 году, автор воспоминаний возглавил это крупнейшее писательское объединение на территории России и стран СНГ и работал в этой должности вплоть до 2000 года.*

ТИМУР ПУЛАТОВ

## МЛАДОБУХАРЕЦ ПРОТИВ МЛАДОТРОЦКИСТОВ

*“Запомните эти дни!..”*

Из заявления не сдавшихся защитников Дома Советов России. Октябрь 1993 года.

### 1. 91-й. От “Апреля” до августа

Перед самым распадом страны, по воле переменчивой фортуны, работая в Союзе писателей, мне довелось видеть и слышать своих коллег в период острой вовлечённости в борьбу с собратьями и с властью.

В моих дневниковых записях начала 90-х годов много беглых заметок о том, как вчерашние друзья, в том числе фронтовики, предают друг друга, затем сходятся по национальным и корпоративным интересам, затем снова разбегаются по разные стороны баррикад...

Просматриваю список доверенных “главного претендента” на президентскую должность на выборах 4 марта 2012 года. Среди них – и те, кто, если не списочно, то душевно были доверенными лицами Горбачёва и Ельцина: Олег Табаков, Михаил Боярский, Леонид Якубович, Геннадий Хазанов, потешавший ещё Леонида Ильича Брежнева байкой о кулинарном училище... Павел

---

*ПУЛАТОВ Тимур Исхакович родился в 1939 году в Бухаре. Народный писатель Узбекистана. Народный писатель Таджикистана. Лауреат Государственной премии. Автор романов, повестей, рассказов, переведённых на европейские и восточные языки. Пишет на русском языке. Живёт в Москве.*

Гусев – редактор “МК” с перестроечных времён, модельер Валентин Юдашкин, литераторы Юрий Поляков, Марина Юденич, Эдуард Багиров, дрессировщики хищных зверей братья Запашные. . .

Некоторым из них уже далеко за семьдесят или около того. Многие – вспомним Анатолия Приставкина, Григория Бакланова, Евгения Евтушенко, Юрия Черниченко, Валентина Оскоцкого, Булата Окуджаву, Михаила Шатрова, Андрея Дементьева, Юрия Карякина – дружно приветствовали приход Ельцина к власти в 1991 году, а затем призывали “дорогого Бориса Николаевича” в 1993 году расстреливать Верховный Совет и бурно аплодировали кровавой бойне, разыгравшейся в центре Москвы.

Те, кто помоложе, воспитывались на книгах перечисленных выше ельцинистов, пропитались их корпоративным духом и, в случае чего, как мне кажется, готовы повторить их деяния. . . Ведь не только Ельцину и его наследнику, но и их доверенным, пусть и морально, придётся нести ответ за умирание русской деревни и вымирание населения, за беспардонное обогащение клана олигархов и обнищание нашего честного трудового люда, за разлагающую молодёжь аморальность театра, кино и телевидения, за многое другое губительное, что мы видим в стране сегодня, если, конечно, за шесть лет президентского правления не произойдёт перелом, которого все ждут уже два десятилетия. Дай Бог, чтобы случился перелом! Но если всё пойдёт по худшему сценарию, то все дадут ответ, как бы они ни оправдывались.

Один будет оправдываться тем, что хотел получить от власти денег на ремонт театра, другой – средств на расширение вольера для дрессированных зверушек; модельер – выгодного заказа на пошив новых бушлатов для ВМФ, а писатель хотел сохранить место в президентском совете или издать прижизненное (мечта!) собрание своих сочинений на правительственный грант, а кто-то возьмёт высокую ноту и заявит, что, агитируя за Путина, думал, прежде всего, об успехах российской демократии.

В доме повешенного не говорят о верёвке. . . Эта аксиома настраивает меня думать мрачно и о новой волне наших либералов, так как те, кто призывал “раздавить гадину” (*иных уж нет, а те – далече*. . .), и по сей день вызывают во мне устойчивую неприязнь. Я знал их лично, работал с ними, иногда ужинал в их компании в ресторане Центрального дома литераторов (ЦДЛ) и даже бывал у некоторых дома за нещедрыми их столами.

Московские друзья давно просили меня рассказать, что я, человек иной культуры и менталитета, пережил в те “окаянные годы” в столице. Ведь мало осталось очевидцев – говорили они.

Признаюсь, сколько бы я ни садился перед чистым листом бумаги – не мог сосредоточиться. Сдерживала простая мысль: кому из “поколения интернета”, воспитанного в поклонении золотому тельцу, интересно узнать о поколении старших, трагически переживших разлом страны, и что разлом этот прочертился поначалу в сознании писателей. И как их, по природе амбициозных, самовлюблённых политических профанов, новая власть завлекла на свою сторону всякими посулами, а то и просто выгодой и материальными благами, чем они якобы были обделены в советские времена.

И вдруг, как удар гонга, волны воспоминаний двадцатилетней давности, как ни странно, пришли ко мне с Болотной площади в начале декабря 2011 года, когда послышался зов вожаков, будивших “хомячков” от долгой спячки.

С первых же строк на стержень сюжета стали нанизываться мои взаимоотношения с писателем Андреем Битовым. Наверное, потому, что среди потерь прошлых лет острее всего жалею я о разрыве с ним. И если с прозаиком Владимиром Маканиным, поэтессой Беллой Ахмадулиной, критиком Львом Аннинским, которые так же, как и Битов, гостили у меня дома в Бухаре и Ташкенте, мы ограничились приятным знакомством, то моя дружба с Битовым, начавшись в дни учёбы на Высших курсах сценаристов в Москве, длилась почти три десятилетия. И на примере этой искренней мужской дружбы хочу показать, как революционная волна, загнав нас в разные стаи, сделала в итоге если не кровными врагами, то страстными оппонентами.

В дневниковых записях 1990 года обнаружил я редкую для того времени благостную картину того, как мы в доме творчества “Дурмен” под Ташкентом работали с Битовым над сценарием о допризывнике, отвергнутом “Ленфильмом”, но из-за драматургического голода принятым в работу на “Узбекфильме”.

Чувствовалось, что московский друг ищет отдохновения в тени столетних платанов на берегу горной речки, вдали от столичных митингов, эхо которых, впрочем, докатывалось и до Узбекистана.

Зачастили в наш некогда дремотный Союз писателей “комиссары нового мышления” из Москвы (так их у нас называли в газетах), и чаще других — один из отцов-основателей общества в защиту перестройки “Апрель” Валентин Оскоцкий в компании секретаря Союза писателей Юрия Суровцева.

В. Оскоцкий, серые глаза которого всегда были неподвижны на его одутловатом лице, пафосно рассказывал нашим писателям о “необратимых тектонических сдвигах”, о “передовой части писателей”, объединившихся в “Апреле”, и призывал ташкентских коллег очнуться от азиатской дрёмы и выйти со своими произведениями на мировую арену. Особо подчёркивая статус языка коренной нации как государственного.

Пожилые писатели речи комиссаров о том, что необходимо отодвинуть русский язык в школах и вузах, слушали с вниманием. Тем более что Суровцев многих из них переводил на русский, а о некоторых даже писал монографии. Писатели моего возраста и помоложе внимали с недоумением, на их лицах было написано: да кто вы такие? И ждали, что ответу заезжим комиссарам я — “младобухарец” (так называли в начале XX века молодых бухарцев из богатых семей, учившихся в Петербурге и Стамбуле и ратовавших в Бухарском эмирате за европейское образование, казавшееся передовым. — Т. П.). Называли меня так не без доли иронии за мою страсть ездить по книжным магазинам в кишлаках, покупать книги Кафки, Ремарка, Гамсуна, Хемингуэя и заставлять читать их молодых писателей на семинарах, которые я тогда вёл. Казалось мне, что именно на стыке европейской и восточной литературы могут родиться шедевры. По моему мнению, в одночасье отказаться от русского языка значило не дать возможности идущим следом поколениям народов Средней Азии пользоваться наследием российских учёных и писателей. Кстати, в Средней Азии так сложилась вековая художественная традиция, что при ярких образцах многовековой национальной поэзии искусство прозы вплоть до начала XX века выражало себя лишь в образцах фольклора, народных легендах о подвигах реальных и мифических героев. На произведениях русских классиков местные прозаики учились жанровым законам прозы и драматургии и успешно выходили потом к читателям других народов со своими современными романами, драмами, рассказами.

Для меня не было альтернативы двуязычию, и я предлагал объявить государственными языками в Узбекистане на равных узбекский и русский.

— Все цивилизованные народы переходят на английский, — не унимался Оскоцкий. — Передовые знания изложены и пишутся на языке Дарвина, основателя учения о перерождении обезьяны в человека, а современная экономика держится на калькуляторе Рокфеллера. . .

Писатели моего возраста поддерживали мои доводы, зато нашей молодёжи английский представлялся намного привлекательнее русского.

Уже потом, во время работы в Союзе писателей СССР, роюсь в бухгалтерских документах, я обнаружил, что комиссары “Апреля” ездили с пропагандистскими заданиями к нам в Узбекистан и другие республики региона на командировочные средства, выделяемые писательской организацией.

Зачастил к нам и журналист А. Минкин, проливший немало горьких слёз по поводу Аральского моря, прямо-таки иссушенного большевиками. Слезами его можно было бы, наверно, вновь наполнить это несчастное море, но я привёл ему научные доводы: русские гидрологи, обследовавшие край ещё в 1856 году, отметили падение уровня моря в среднем на десять сантиметров в год. Этот природный процесс и привёл к тем грустным результатам, что мы имеем сейчас.

... Когда я уезжал из Дома творчества, режиссёр был недоволен. Вместе с Битовым он поторапливал меня, выступавшего в роли редактора и соавтора, ибо Андрей Георгиевич должен был уезжать то ли в Ереван, к нашему общему другу — Гранту Матевосяну, то ли к другому однокашнику — Резо Габриадзе, прославившемуся фильмом “Мимино”.

Битов, помнитесь, сделал такое признание:

— Я как писатель просто не имею права упустить редчайшую возможность, данную мне рождением: исследовать такую уникальную, невероятную страну, как Советский Союз, состоящую из такого множества республик и народов.

Наверное, Битова, как и меня, не покидало ощущение, что со страной происходит что-то неладное. По прибалтийским её краям уже прочерчивались разломы, и Битов торопился запечатлеть закат СССР.

Но когда я, вернувшись в Дом творчества, рассказывал Битову о лингвистической эквилибристике Оскоцкого, Суровцева, он лишь загадочно и нервно покусывал кончики усов. Профессионально владея словом, мы ещё не до конца понимали взрывное значение языка. Живя в стране с языковым разнообразием, мы придавали языку лишь стилистическое значение в своих романах и рассказах: яркость стиля зависела от мастерства автора, не навязывающего свой стиль и язык никому другому.

В устах заезжих комиссаров речь шла о диктате языка коренного населения в неподготовленной для этого многонациональной среде. И вскоре, когда началось переселение народов из распавшейся страны, стало ясно, что язык не только связывает, успокаивает, но и пугает, рождает химеры в умах тех, кто не знает другого языка, кроме родного, сеет вражду и раскол в обществе. “Апрелевцы” всё просчитали и знали, с чего начинать разложение страны. . .

Фильм наш с Битовым получился посредственным. Зато гонорар позволил мне целый год писать прозу, не думая о хлебе насущном. Отгородившись от “города и мира”, я перестал посещать собрания в Союзе писателей, поняв, что я как современный младобухарец безнадежно устарел и кажусь реакционным молодым писателям, обучавшимся у меня в семинаре.

Само время было ненадежно не только для обыденной жизни, но и для письма. Осмысливая в своём новом романе личность Чингисхана, оказавшего влияние на смешение родов и племён, смену династий в Средней Азии, я делал многомесячные перерывы, отвлекаясь на искушения внешнего тревожного мира: в Баку войска разгоняли митинг и прекращали силой погромы армян, в Тбилиси умирляли разгорячённую толпу; армяне бежали из Азербайджана, а их соплеменники устанавливали свою власть в Нагорном Карабахе, изгоняя оттуда азербайджанцев; в Фергане подожгли дома турок-месхетинцев, в Душанбе – бунт таджиков. . . И всё это если не оправдывается, то, во всяком случае, становится фокусом бездействия, ибо поднявшийся кровавый вихрь либералы объясняли неизбежными издержками “революционных перемен” в стране.

В один из апрельских дней 1990 года пришла телеграмма от Оскоцкого и Николая Панченко. Приглашали меня и ещё четырёх членов Среднеазиатского Пен-центра делегатами съезда всесоюзного “Апреля”, которому уже было тесно в московских одежках. Проезд в столицу и проживание обеспечивался за счёт какого-то зарубежного гранта. Заманчиво. . . Но я всё же колебался. Москва, над которой висело нервное облако смуты, не манила к себе, как прежде. . . Кроме того, не хотелось встречаться со своим антагонистом Оскоцким, к которому из-за его безапелляционности я не испытывал добрых чувств. Как и он, впрочем, ко мне. . . И всё же практицизм перевесил. Не был я в златоглавой лет пять, а в “Дружбе народов” уже два года лежал в редакционном портфеле мой роман “Плавающая Евразия”...

В Москве нас поселили в худшую даже по тем временам гостиницу “Киевская”, где в коридорах кучковались тёмные типы с видом фарцовщиков, сутенёров или наркокурьеров. Вертлявый молодой человек, своими повадками и взъерошенным видом напоминавший сегодняшнего телеведущего А. Архангельского, передал нам уставные документы “Всесоюзного Апреля” и почему-то заранее оповестил, что “министр-демократ” Николай Фёдоров без проволочек узаконит новую организацию. “Перестроечную”, – несколько раз подчеркнул он с ударением на вторую половину слова из-за шепелявого говора. Странно было слышать из уст письмоносца это уже прижившееся слово “перестройка”, которое обросло к тому времени столькими зловещами и кровавыми пометами, что самое время было спросить у самого министра Фёдорова: какой первоначальный смысл несло это слово? . . .

Я сам, будучи долгое время “невъездным”, с воодушевлением воспринял новации Горбачёва. В течение 1988–1989 годов побывал в Италии, дважды – во Франции, потом в Швеции. . . Я понял, что зарубежные спонсоры требуют одного: выступлений перед разными аудиториями – неважно, учителей, педкарей, философов-интеллектуалов, – чтобы без усталости твердить об ужасах жизни в Советском Союзе, национальном унижении других народов русски-

ми, хотя русские, если оценивать трезво, больше других были унижены. Мой французский спонсор, некто Шарль Уревич, сочетающий в себе повадки молчаливого разведчика и говорливого иллюмината, едва я во время выступления уклонялся от заданной темы, тут же репликой из зала поправлял и направлял меня к теме “зверств”, совершавшихся в совдепии.

... Но вернусь к собранию, на которое нас пригласили “апрелевцы”. Пока мы добирались по малознакомой Москве к Центральному Дому литераторов, в большом зале его уже за столом президиума восседали Валентин Оскоцкий, Юрий Черниченко, Анатолий Приставкин, Григорий Бакланов – вся верхушка “Апреля”! На трибуне, возбуждаясь от собственных фраз, Панченко повторял набор “перестроечных” трафаретов, которые, похоже, лишь “апрелевцам” казались приятными на слух.

Полупустой зал привлёк лишь газетчиков с микрофонами. Мои друзья стали полущёпотом расспрашивать о сидящих в президиуме. Я называл их имена и рассказывал о заслугах перед советской литературой, невольно преувеличивая значение каждого, чтобы убедить своих “пеновцев”, что мы попали в приличную компанию.

Тут Николай Панченко заговорил о страшном “русском погромщике” Осташвили, да ещё вошёл в такой раж, что пена выступила у него в уголках губ.

– Я, прошедший Великую Отечественную войну, уничтожая фашистскую заразу, разве мог подумать, что в наши дни вновь окажусь под прицелом, но уже русского фашизма! – патетически восклицал оратор в застёгнутом на все пуговицы, несмотря на духоту в зале, чёрном плаще. Как он не был похож на того тихого интеллигента, каким я его знал раньше... – Откуда, из каких советских нор выползли такие выродки, как этот Осташвили?... Из идеологии партии, культивировавшей ненависть между народами под лозунгом дружбы народов...

Против оратору эту странную тавтологию, мы заслушались другими выступающими, которые так красочно и в деталях описывали деяния Осташвили, что мои делегаты, ничего не знающие о “русском фашисте” с грузинской фамилией, могли бы воспринять его за мифологическую фигуру.

Лишь Григорий Бакланов несколько отошёл от жанра лепки коллективного портрета фашиста и рассказал о победе журнала “Знамя” в суде с Союзом писателей, чьим органом этот журнал и был до сих пор, а теперь пустился в свободное плавание.

– Нашему примеру следуют и другие журналы, освобождаясь от диктатуры соцреализма, – возгласил Григорий Яковлевич и, обращаясь к нам, сидящим скромно в левом ряду, спросил: – Разве кто-нибудь из вас, литераторов Средней Азии, печатался до сего дня в “Знамени”? Никогда! Было ложное мнение, что вы не дотягиваете до всесоюзного уровня. Теперь “Знамя” – свободный журнал для свободных писателей!.. Присылайте свои рукописи...

В словах его был какой-то подвох, не разгаданный тогда ни мной, ни моими коллегами-среднеазиатами. Для разгадки не было времени, ибо после Бакланова к трибуне пригласили меня, записавшегося для выступления на большую аральскую тему. Пока проходил мимо президиума, глаза Оскоцкого, обращённые ко мне, напоминали иней на невымытых стёклах. Мой вечный оппонент, должен быть, ждал от меня подвоха.

С ходу оседлав своего конька, я не слезал с него, пока не сказал всё о трагедии приаральского народа, несмотря на то, что Юрий Дмитриевич Черниченко шумно дёргался, водил плечами и грыз карандаш, выплёвывая кусочки графита.

Отлично понимая, что мой рассказ выбивается из заговора расписанного сюжета, я стал расшифровывать заготовленную делегатом Кенжой рукописную таблицу смертности взрослого и детского населения Каракалпакии, начиная с 1983 года.

– Регламент! – прервал меня Черниченко.

Я скомкал тему, пробормотал что-то и, сойдя с трибуны, направился к своим азиатам. Терзающая душу трагедия Арала совсем не беспокоила коммиссаров “Апреля”. Они заранее определили роль и место писательской организации в разрушении основ государства. Что им Арал?..

До утра обсуждали мои “пенклубовцы”, как их оскорбили на конференции “Апреля”. Естественно, я ничем не мог их утешить.



С утра мои ребята отправились кто по аптекам, кто по фруктовым лавкам за апельсинами для домочадцев. Я же поехал на ул. Воровского, в Союз писателей, на заседание оргкомитета, готовившего IX съезд писателей СССР.

В большом “горьковском” кабинете, откуда потом, обвинённый во всех грехах “апрелевцами”, сбежал фронтовик, Герой Советского Союза В. В. Карпов, оставив хозяйство без руководителя, вёл оргкомитет Сергей Владимирович Михалков. Хотя фактически тон задавал оргсекретарь “марковского призыва” Сергей Колов, ежеминутно шептавший что-то Михалкову. Обсуждался проект обновлённого Устава, подготовленный юристом-консультантом Аркадием Иосифовичем Ваксбергом из “Литгазеты” и директором Института мировой литературы Феликсом Феодосьевичем Кузнецовым. Подумалось, что активисты “Апреля” и оргкомитет консервативного Союза писателей органично дополняют друг друга, как и само время, как бы соблюдающее баланс между либералами и старосоветскими писателями. Чем больше я прислушивался к мнению “апрелевцев”, тем сильнее сознавал их способность, благодаря политическому чутью, безошибочно выбирать выгодную для себя сторону в споре. Было у меня тягостное ощущение. И хотя уже намечена дата съезда – сентябрь следующего, 1991 года, – не оставляла мысль, что съезд этот не состоится...

Восстанавливаю уже по записям: “События, кажущиеся поначалу нервными и стервозными, как конфуз на конференции “Апреля” или ощущение бессмысленно проведённого времени на оргкомитете съезда, уравновесились положительным зарядом эмоций. По завершении оргкомитета идём с С. В. Михалковым через двор, мимо памятника Толстому к воротам. Сергей Владимирович прихрамывает, опирается рукой на моё плечо, расспрашивая по ходу: такой ли в Ташкенте общественный бардак, как в Москве?.. У ворот охранник пропускает вперёд чёрную “Волгу”, за рулём которой сидит Рустем – многолетний водитель Сергея Алексеевича Баруздина. Классики детской литературы обнялись, после чего Баруздин повёл меня в угловую пристройку “Дома Ростовых”, в редакцию “Дружбы народов”. Боком прошли по узкому коридору, и вот уже мы в кабинете главного редактора, где за отдельным столом трудился, как медоносная пчела, заместитель Баруздина Леонид Арамович Тер-Акопян.

Сергей Алексеевич выглядел неважно, хрипло кашлял, но при этом не отказывался от давней фронтовой привычки курить “Беломор” через мундштук. Не решаясь расспрашивать о судьбе своего романа, я прислушивался к редакционным разговорам и, кстати, узнал, что в следующем, 1991 году, тираж “Дружбы народов” предполагалось довести до трёх миллионов экземпляров. Таков был читательский интеллектуальный потенциал в СССР. Из-за колоссальных тиражей возникали проблемы с бумагой. Издательство “Известия”, где печатался журнал, срезало лимит бумаги до полутора миллионов, несмотря на успех малохудожественного, на мой взгляд, конъюнктурного романа А. Рыбакова “Дети Арбата”.

– “Евразию” твою будем печатать, – вдруг откликнулся на мой немой вопрос Баруздин и повернулся к Тер-Акопяну, который, как видно, был настроен не так оптимистично. – Пулатов так видит белый свет...

Моё авторское самолюбие вспыхнуло яркими красками: роман выйдет полуторамиллионным тиражом, чего в моей практике ещё никогда не случалось.

(В скобках скажу, что тираж “Дружбы народов” в 2011–2012 годах, наряду с журналами “Знамя”, “Новый мир”, “Октябрь”, так стремившимися к независимости от Союза писателей, составляет... 1000–1500 экземпляров, то есть упал в тысячу (!) и более раз. И это не случайно, ведь публикация эрзац-подделок под литературу отвратила самую читающую публику в мире от чтения толстых журналов).

А тогда я не особенно удивился, что после одобрения “Плавающей Евразии” Баруздин вдруг сказал:

– Звонили из “Московских новостей”, просили порекомендовать писателя из Средней Азии – обозревателем по региону. – Потом вдруг сменил тон на полухитливый: – Знаю, что после каждой повести три-четыре года слоняешься без дела, перебиваясь с хлеба на воду... Назвал тебя, но с оговоркой: Пулатов делять, строптивый, ни на какой службе не задерживается больше полугода... Так что, если надумаешь, иди в газету с готовым, острым материалом...

Помнится, что в раннее советское время “Московские новости” были обыкновенной агиткой, издающейся на разных языках, преимущественно для

библиотек зарубежных компартий. Теперь же, в позднесоветскую эпоху, с приходом в газету “прораба перестройки” Егора Владимировича Яковлева, газета превратилась в агитку-наоборот, живописующую воздушные замки перестройки для нашего замороженного обывателя. Газетные “утки”, поданные смелым и бойким пером, казались читателю выше самой правды. Отсюда и толпы, которые с раннего утра выстраивались в очереди у киосков за “Московскими новостями”. А те, кому не досталась газета, толпились у стендов на Пушкинской площади, у здания редакции, до хрипоты споря и обсуждая прочитанное.

И я, направляясь в редакцию с уже готовой статьёй, испытывал двойное чувство. С одной стороны, в случае успешного прохождения, как сейчас выражаются, кастинга у работодателя, я думал утолить своё провинциальное самолюбие, а с другой — мне хотелось узнать, как готовятся блюда на редакционной кухне самой либеральной газеты страны.

Только я вошёл в редакцию — сам Евгений Евтушенко спешит мне навстречу! С ним я познакомился в один из его приездов в Ташкент на творческий вечер. Как всегда возбуждённый, он, не останавливаясь, похлопал меня по плечу и тут же исчез за дверью приёмной главреда Егора Яковлева. Я словно попал в паноптикум фигур писателей — творцов новой реальности. Вот Алесь Адамович остановился, удивлённо всматриваясь в меня в сумраке меж коричневых стен коридора, и сел на приставной стул, шумно обсуждая что-то с публицистом Александром Ципко. В распахнутой двери одного из кабинетов я разглядел фигуру драматурга Александра Гельмана. Все были сосредоточенно заняты, буквально на коленях писали статьи, прокламации, призывы... Лишь позднее я узнал, что здесь находится интеллектуальный штаб, откуда через правительственный канал связи Е. Яковлев выходит напрямую к секретарю ЦК Александру Яковлеву и М. Горбачёву, обмениваясь мнениями о том, как ускорить “либерализацию” советского общества.

Зав. отделом Флеровскому Александру Ивановичу моя статья “Бегущие впереди арбы” пришлось по душе критикой в адрес узбекистанских партийных чиновников. Ненавязчиво поинтересовался он, имею ли я какие-нибудь правительственные регалии... Когда узнал, что я являюсь народным писателем Узбекистана, то в его глазах прочитал откровенное удовлетворение тем, что человек, обласканный властями, всё же мечтает о скорейшем крахе “прогнившей системы”.

— Очерк даём в ближайшем номере... Я тем временем напишу представление Егору Владимировичу о вашем зачислении в штат... Подберём здание для корпункта в Ташкенте, установим факс, телетайп, компьютер... — перечислял Флеровский набор оргтехники, которая в те годы была, наверное, лишь в приёмной Первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Каримова И. А.

Выйдя из редакции в слегка взвинченном состоянии, я бросил взгляд на переполненную Пушкинскую площадь. Публика по-прежнему толпилась у бесконечных стендов “Московских новостей”, которые шли от поворота к Елисеевскому гастроному и до улицы Чехова, огибая редакцию журнала “Новый мир”. Многие собравшиеся здесь скорописью переносили в свои блокноты понравившиеся статьи, не имея, видимо, средств для приобретения втридорога газеты у предприимчивых кооператоров-перекупщиков, всегда успевающих туда, где пахнет выгодой. У одного из них я купил размноженный на роттапринте труд “демона революции” Льва Давидовича Троцкого “Терроризм и коммунизм”, изданный в 1920 году и разрешённый в эти дни Гохраном СССР для массового распространения, видимо, как пособие для новых “борцов за свободу”.

Кто-то из этих “борцов”, слюнявя пальцы, подсчитывал кассу КПСС, требуя раздачи партийных денег всем беспартийным, которые входили в “нерушимый блок коммунистов и беспартийных”. А один малый, помаргивая сквозь разбитое стекло очков, требовал от радикальных депутатов межрегиональной группы Сахарова принятия закона о люстрации членов КПСС и сотрудников КГБ.

— А как же Ельцин? — настороженно спросил рыжий парень в ермолке. — Он ведь лишь недавно покинул партию... Распространяется ли на него срок давности?..

Видя, что я записываю его слова в свой блокнот, заботливый ангел-хранитель Ельцина насупился, наступая на меня:

— А ты случайно не кэзэбэшник, дядя?.. — И вдруг полуистерично замал кулаками: — Не боимся! Не боимся! Не боимся!..

Я поспешно отпрянул от этого свихнувшегося “борца” и, протискиваясь в толпе, отметил, что здесь, в основном, толпился бедный московский и подмосковный люд в прозрачных китайских дождевиках, в выцветших ветровках. И бабушки с бледными от малокровия лицами, втянутые в эту революционную ауру, бегали от одного пропагандиста из подворотни к другому, собирая всё, что им суют в руки: листовки, брошюры, прокламации, запихивая их в тряпичные хозяйственные сумки, которые подчас превращались в орудия революционной борьбы, когда их опускали на головы непонятливым оппонентам.

Сменяя, точнее, сгоняя друг друга, на постамент у ног Пушкина взбирались беззубые пожилые мужчины и женщины с загадочными лицами, с которых не сходила незлобивая улыбка — все очень похожие на пациентов психдиспансеров, и рифмовали: люстрация-кастрация, сдаём не металлолом, а золотой заём.

Как они были непохожи на до неприличия откормленных менеджеров в дублёнках и норковых шубах, кучковавшихся в наши дни на Болотной и проспекте Сахарова, отстукивая “азбуку Морзе” через *twitter* и *facebook*! Эти, на тогдашней Пушкинской, не вошедшие ещё в эпоху интернета, созывались газетой — “коллективным организатором и пропагандистом масс”, как говаривал В. И. Ленин, — “Московскими новостями”, вполне заменявшими тогда социальные сети.

Сворачивая с площади направо, я отметил, что у стенда газеты “Известия”, редакция которой располагалась в высоком тёмном здании, почти никто не останавливается. Разглядев между этажами большое электронное табло, застывшее на цифре “314”, отбивающее дни, оставшиеся до Спартакиады народов СССР, которая должна была состояться в августе 1991 года, почувствовал тревогу: в суматошное время каждый день может выкинуть что-то судьбоносное, а табло, будто не повинясь ходу времени, упорно отбивает дни ...314 ...313... Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, стал про себя перечислять тех, кто будет наверняка представлять Узбекистан на Спартакиаде: борец Саттаров, гимнастка Серёгина, бегунья Мамаева, боксёр Ли... Пару золотых и дюжину серебряных и бронзовых медалей возьмут...

С этими оптимистическим прогнозом я и отправился ночевать к Битову на квартиру, недалеко от Казанского вокзала.

Улетал я домой, полный противоречивых чувств. Всю сознательную жизнь избегал я всякой службы, даже в газете, как бы трудно материально не было. Но одновременно успокаивала мысль, что и в “Московских новостях” буду писать так же свободно, без внутреннего цензора, как писал прозу.

Но вскоре пришлось себя крепко ругнуть: мол, прожил на свете полвека, а остался профаном в газетном деле, хотя поработал в двух изданиях — областном и республиканском. В “Московских новостях” после очерков “Крымские татары жаждут исхода” и “Аму-Дарья — река ислама” — об афганской войне — иллюзии развеялись.

В Андижане на базаре произошёл инцидент, который бывший глава республики, председатель Совета национальностей Верховного совета СССР Р. Н. Нишанов назвал “недоразумением из-за клубники”.

Первыми, что удивительно, об этом сообщили зарубежные радиостанции, трактуя происшедшее чуть ли не как бунт местного населения против армии.

Выехал в Андижан. После знакомства со всеми обстоятельствами дела выяснилось: двое солдат из местной воинской части во время увольнительной заглянули на базар за клубникой и, не рассчитавшись с торговцем, ушли восвояси. Торговцы догнали солдат и сдали в милицию. Приехавший за ними офицер извинился за подчинённых, заплатил за клубнику и повёз провинившихся в часть. Так я и изложил инцидент в заметке “Недоразумение из-за клубники”. Позвонил Флеровский: мол, я неглубоко изучил ситуацию. “Московские новости” якобы завалены телеграммами и письмами из Андижана, где жители излагают иную версию конфликта. Цитата из письма жителя Андижана Якова Энгера, которую переслали мне по факсу из редакции: “Местное население после бандитского поведения на рынке любителей дармовой клубники вынуждено вступить в схватку со взводом, приехавшим освободить из милиции своих солдат. Затем народ собрался возле здания горкома партии, требуя вывода из города воинской части, ссылаясь на то, что солдаты ходят

пьяные по улицам мусульманского города, пристают к местным девушкам, мародёрничают...”

Милейший Флеровский ненавязчиво втолковывал мне, что нужно изложить всё происшедшее в том духе, что “армия полностью деградировала” и вместо защиты населения грабит его и насильничает...

Понимая, что “самая либеральная”, пусть пока номинально, и советская газета не может свободно осветить случившееся иначе, чем свободные зарубежные СМИ, с тяжёлым сердцем я снова отправился в Андижан. И каково же было моё удивление, когда по указанному адресу я не нашёл гражданина Якова Энгера, потому что он там не проживает, а из глинобитного одноэтажного дома навстречу мне шагнул гостеприимный хозяин – вышедший на пенсию инженер хлопкозавода Анвар Зияевич Туяков, который категорически отказался отвечать на мои вопросы, пока я не сяду с ним за дастархан и не выпью зелёного чая, спасающего от жары.

С некоторыми оговорками хозяин дома изложил “клубничный инцидент” так, как я описал его в отвергнутой газетой статье, ибо сам был свидетелем случившегося на базаре. По поводу Якова Энгера он сказал, что знал одного ювелира с такой фамилией – жителя соседней слободки, – но тот давно уехал в США. Ознакомившись с подметным письмом, огорчился и спросил:

– Как настроения в Москве? У нас всякое говорят. Если Союз разрушится, придёт такая разруха... Хлопкозавод, где работают мой сын и сноха, остановится... Россия отвернётся от нас, и некому будет продавать хлопок...

Я записал на магнитофон свидетельство очевидца базарного инцидента и его здравые рассуждения о развале страны. Хотел дать послушать Егору Яковлеву или Флеровскому, но руки так и не дошли до разоблачения фальсификаторов. Подогретый эмоциями, вернувшись в Ташкент, послал факс на имя главреда с просьбой об увольнении... Чтобы не показалось моё мнение о нравах в “Московских новостях” тех лет субъективным, приведу высказывание на телевидении писателя Александра Арцыбашева о Е. Яковлеве и его окружении:

“...Вчера вы слышали заявления по поводу освещения нашего съезда в прессе (речь идёт о клеветнической кампании в “Литературной газете”, “Московском комсомольце”, “Известиях”, на радио и телевидении, которые ещё задолго до открытия IX съезда писателей СССР 2 июня 1992 года объявили его “собранием красно-коричневых, коммуно-фашистов” и нелегитимным. – Т. П.) и о том, что в этих материалах много злобы. Я должен был от телевидения “Останкино” освещать съезд, но мне запретили это делать Егор Яковлев и его команда, сославшись на то, что я буду необъективно это делать, а их люди якобы могут “объективно”. Эту “объективность” позавчера вы лицезрели.

Как публицист я волею судьбы в течение последних полутора лет был политическим обозревателем Гостелерадио. Не в пример моим коллегам – Боровику, Познеру, Зорину, Любовцеву, Фесуненко и другим, – я не лез с микрофоном к Горбачёву, Яковлеву, Шеварднадзе и другим *застрельщикам перестройки*, чтобы лишний раз урвать на командировочные десяток долларов, сопровождая “кумиров” по заграничным поездкам. За полтора года я съездил более чем в десять командировок по России с тем, чтобы рассказать правду о том, чем живёт народ. И чтобы как-то противостоять потоку лжи, дезинформации, которая уже захлестнула экраны...

Моя позиция не осталась без внимания. С приходом на телевидение демократического руководства – друга Горбачёва Е. Яковлева и его команды: Сагалаева и других, которые жаловались, что их раньше якобы притесняли, – я был, по сути дела, выброшен на улицу, как и многие другие. Создали новую команду и всех неугодных вывели за штат. Взяли только *угодных*.

Никому не объяснили, по каким причинам кого-то не взяли. Но в коридорах мне намекнули, дескать, ты – русский. И этим всё объясняется...

Или говорили: “У вас прорусские позиции”. Какие же у меня должны быть позиции, если я русский человек?!..

В то время страна и народ оказались прошлой осенью на грани голода, и это не преувеличение – ни хлеба, ни молока до сих пор нет...

Так меня лично вызвал Егор Яковлев и с пеной у рта отчитал за мои острые сельскохозяйственные репортажи. Был запрещён уже подготовленный мною “Сельский час” из Вологды. Впрочем, сегодня вообще ушла крестьян-

ская тема с экрана телевидения, но нередко из уст ретивых комментаторов льются в адрес колхозов и совхозов проклятия. И восхваление фермерства, хотя, если вникнуть серьёзно в суть этого вопроса, за всю историю советской власти, мне кажется, и в дальнейшем никогда не допустят возрождения настоящего крестьянства, потому как возрождение крестьянства – это возрождение нашей России”. (Из стенограммы IX съезда писателей СССР-МСПС. “Современный писатель”, 1992. Далее: Стенограмма.)

Электронное табло на здании “Известий”, отсчитывающее по убыванию дни до открытия праздника дружбы и спорта – Спартакиады, – остановилось 19 августа 1991 года на цифре “7”...

Наверное, для москвичей, вовлечённых в сумасшедший вихрь событий, эта роковая цифра осталась незамеченной. Мне же, приехавшему в тот день с южной окраины империи и пришедшему на Пушкинскую площадь для прогулки с внуком, “7” предвещало множество перемен и бед, хотя я был далёк от нумерологических гаданий.

Много написано об акции ГКЧП, но больше сторонними москвичами или пострадавшими, в том числе и победителями, и побеждёнными. Не встречал я только воспоминаний жителей других регионов страны, оказавшихся в эти августовские дни в столице. Впрочем, спросят, в чём разница взгляда ангажированного москвича и украинного жителя, как я, случайно втянутого в события жаркого августа 1991 года?

Почему я специально оговариваю, что не читал впечатлений немосквича от драмы августа 91-го года, желая сравнить их со своим или дополнить свой взгляд человека с окраины, хотя он и кажется поверхностным, но многое видит глубже – и в деталях...

Месяц июль выдался в Ташкенте непривычно жарким. Моего четырёхлетнего внука из-за этого замучила аллергия. Врачи посоветовали на время уехать в прохладное место. А куда поедет член Союза писателей, как не в Дом творчества в Переделкино, где для нас с внуком “готов и стол, и дом”...

С утра водили с женой внука на уколы в санаторий на улице Погодина. Затем жена просидела с ним за книжками в библиотеке Чуковского, я же ходил взад-вперёд с коллегами-писателями по дорожкам Дома творчества, разговаривая на разные темы. О взаимных переводах на национальные языки, об издательских делах и зловредных московских редакторах, хотя каждый чувствовал, что бегство от тревожащих нас проблем не слишком удаётся.

В пять утра 19 августа дежурная по этажу стуком в дверь разбудила меня. В телефоне я спросонья с трудом разобрал растерянный голос дочери. Из-за разницы во времени в Ташкенте и в Москве – она услышала по телевизору о ГКЧП в восемь утра. Поняв, что началась заваруха, дочь беспокоилась о том, как мы вернёмся домой? Я пытался успокоить её, ещё не до конца понимая, что же произошло, но надеясь, что хаоса на железной дороге и в аэропортах не случится...

Кажется, все забыли о завтраке, собравшись перед телевизором в холле. Ещё вчера внешне дружелюбная в отношении друг к другу пишущая братия разделилась на группы. Одни, слушая диктора, впадали в мрачное ощущение, другие каждое слово встречали криками: “Правильно! Давно пора закончить беспредел!” И торжествуя поглядывали на тех, чья мрачность могла вылиться в истерику. Особенно радостно-эмоционален был высокий, со смуглым лицом татарского типа человек, накануне представивший мне “писателем из казацкой Кубани”, Анатолием Знаменским.

Хотя картинка на экране телевизора теперь показывала балетные па из “Лебединого озера”, никто не отправился в столовую.

На площадке перед зданием с облезшими колоннами публика разделилась на две группы по политическим предпочтениям, вполголоса обсуждая услышанное по телевизору. Возбуждён до предела, кажется, был только Знаменский. Шагая взад-вперёд, он, похоже, провоцировал мрачных и растерянных мастеров пера, выкриками: “Господа! Наша взяла! Нет, нет, мы не будем вас сажать в тюрьмы, как поступили вы с Костей Осташвили, – это не в правилах православных людей. А вот вы могли бы из нас выпустить дух – всё к этому шло... Мы попросим вас вежливо: верните нам наши издательства, газеты и журналы и кончайте с вашей демократической цензурой”.

Тирада Знаменского была обращена к такому же высокому, как и он сам, круглолицему человеку, стоящему в длинной очереди у телефонной кабины.

Как потом мне рассказали, это был критик Станислав Рассадин; он после каждого выкрика Знаменского изображал презрение и поворачивался к нему спиной.

– Псих, – шептала какая-то дама в свисавших, как стреляные гильзы, к её ушам бигуди, которые она, видимо, забыла снять, увлечённая политическим противостоянием.

Чувствуя, что назревает скандал, я попытался отвести краснодарского писателя в сторону:

– Толя, не стоит дразнить гусей... Они способны на всё... Ты ведь сам вспомнил Осташвили...

– Наша взяла! – не унимался Знаменский, – я сам лично поеду в лагерь освобождать мученика, на руках доставлю его в Москву...

Выяснилось любопытное: Знаменский просидел в зале Мосгорсуда от начала процесса и до вынесения приговора цэдэловскому скандалисту. Я знал о деле, пролистав газетные подшивки в Ленинке, где всё подавалось как фашистская вылазка, а здесь я услышал рассказ очевидца, отвергающий всю брань и ложь тогдашних СМИ.

По словам Знаменского, в зале суда негде было яблоку упасть – всё заполнили журналисты с микрофонами и телекамерами, дабы оповестить мир об опасности “русского фашизма”. Официальным обвинителем выступил адвокат Андрей Макаров, а общественным – “апрелевец” Черниченко. Он поминутно вскакивал с места, кричал с пеной у рта, так что судье Муратову пришлось сделать общественнику замечание. Ни подсудимому, ни защите не разрешили до суда ознакомиться с материалами дела, а также делать заявления и подавать ходатайства. Словом, благодаря шумихе в прессе, обвинительный уклон был избран судьёй задолго до начала процесса.

...Сколько невинных душ погублено с началом нового курса Горбачёва! Прощупано самое слабое звено – межнациональные отношения. В Узбекистане на моих глазах общество раскалывали неправомерными действиями присланные из Москвы следователи Т. Гдлян и А. Иванов по так называемому “хлопковому делу”. Только семья моих соседей в Бухаре Мирзабаевых, у которых в доме, в мансарде, проживала семья евреев, бежавших в годы войны из Польши, – сапожника Шломы (смотрите мои воспоминания “Отец предлагал раввину отстреливаться” – “Наш современник”, № 2, 2012. – Т. П.), – потеряла во время гдляновских репрессий трёх человек. Старший, Гани, осуждённый якобы за махинации с хлопком на двадцать лет, так и не вернулся из лагеря. Младший, Махмуд, не выдержав издевательств во время допроса, выбросился из окна и разбился насмерть. Мать от горя скончалась через несколько дней.

Другую, не менее жестокую провокацию я наблюдал в Алма-Ате, когда без объяснения причин сняли с должности “отца казахов” Д. Кунаева, назначив вместо него варяга Колбина, совсем незнакомого с казахстанскими реалиями. Во время разгона массового митинга сторонников Кунаева были убитые и раненые, в основном, молодые люди...

Знаменский остался, пообещав мне, что не будет подтрунивать над Рассадиным, я же с трудом протиснулся в “Газель”, по графику два раза в день отправлявшуюся в Москву.

Едва машина свернула с поста ГАИ на Минское шоссе, как тут же была вытеснена на обочину колонной танков, направлявшихся в Москву.

Из открытых люков, сменяя друг друга, высывались молодые танкисты в шлемах, с любопытством разглядывая пригороды столицы и приветливо махая рукой. В облике их не было ничего воинственного, будто везли их на экскурсию по городу.

Их настрой несколько успокоил меня. На площади у Моссовета я вышел из “Газели”, оказавшись сразу в митинговой атмосфере, в которой всегда чувствовал себя неуютно. БТРы и танки стояли с повёрнутыми в сторону здания Моссовета дулами. Одни москвичи бросали на броню машин цветы, другие сотрясали воздух криками “Долой хунту!”

Сидящие на броне танкисты с интересом разглядывали москвичей и, как бы оправдываясь перед самыми разгорячёнными, объясняли: “Мы здесь по приказу”.

Среди танкистов я заметил своего растерянного земляка, протиснулся к нему и заговорил. Услышав родную речь, он обрадовался и, позабыв о воинских строгостях, бросился пожимать мне руку.

– Вы откуда? – поинтересовался я.  
– Из Тулы...  
– Приказ: стрелять?  
– Нет... Сказали: выступайте в сторону Москвы. Приказы будут, исходя из ситуации, – объяснял земляк, подчёркивая каждое слово и прислушиваясь к сладости родной речи. Вдруг помрачнел:

– Если со мной что случится, передайте родным, что видели меня, Уткура... Бекабадский район, колхоз Энгельса, Камилловым...

На всякий случай я записал адрес земляка, пытаюсь успокоить его:

– Ничего не случится... Видишь – никакой стрельбы... А то, что кричат на вас старушки, – это так, от нечего делать. Раньше изливали душу на лавочках, теперь вот – на площадях...

В таких экстремальных ситуациях разум искажает картину происходящего. Интуиция киносценариста подсказала мне, что всё происходящее: возбуждение на улицах, дворовые мальчишки, фотографирующиеся на броне танков с солдатами, солдаты, беседующие с горожанами, – всё это скорее похоже не на войну, а на постановку батальных сцен, причём по неумело скроенному сценарию какого-то дилетанта. Вспомнилась учебная аксиома Василия Ивановича Соловьёва – руководителя мастерской Высших сценарных курсов, экранизировавшего вместе с Сергеем Бондарчуком “Войну и мир” и повторявшего при чтении ученической работы: “У тебя один эпизод, выдохнувшись на разбеге, проваливается, не догнав другой и не продолжив картину на воображаемом экране”.

Вечером того же дня мы с женой твёрдо решили возвращаться в Ташкент, откуда дочь в беспокойстве звонила несколько раз. Развязки чрезвычайного положения в Москве можно было ждать в поезде, в самолёте, дома, включив телевизор, тем более что бессюжетная драма, протекающая по законам “потока сознания”, перестала занимать меня. Важно было знать, что произойдёт после. Последствия мог оценить лишь холодный ум, создавший более профессиональный сценарий...

Но улететь сразу не удалось. В следующие два из трёх дней власти, а точнее – безвластия ГКЧП, я пробегал в поисках билетов. Все мои усилия оказались безрезультатными. Я решил добраться до редакции “Дружбы народов”, где до последнего времени состоял в редколлегии и по приезде в Москву получал ордера на гостиницу или в билетную кассу. Однако после кончины С. А. Баруздина его место занял никому не известный Руденко-Десняк, и отношение ко мне стало меняться.

Я изменил свой маршрут и добрался, наконец, до Цветного бульвара и редакции “Литературной газеты”, где я состоял в общественном совете.

Ещё издали заметил столпотворение возле приёмной редактора Ф. Бурлацкого. Среди выходящих из его кабинета озабоченных людей с газетными полосами заметил своего бывшего работодателя Егора Яковлева, а также Г. Бакланова, Ю. Черниченко, В. Коротича и других, не знакомых мне граждан. Сообразил, что редакторы и сотрудники временно закрытых газет и журналов готовят какую-то ответную акцию.

Секретарша Бурлацкого, которой я изложил свою просьбу насчёт билетов, отмахнулась:

– И не просите, Тимур Исхакович, не до билетов. Все в запарке... В 12 часов намечено производственное совещание демократических изданий, приостановленных ГКЧП. – Потом послала меня погулять по Цветному бульвару, пообещав доложить обо мне Бурлацкому.

Несколько часов прогуливался я взад и вперёд по бульвару, прислушиваясь к разговорам, шуткам и смеху военных, призванных гэкачепистами, вступая с ними в короткий диалог. Между прочим, поинтересовался, будут ли они занимать здание “Литературной газеты”, где в это время прочерчивались макеты объединённого номера либеральных газет.

Сквер жил своей повседневной жизнью. Прислонившись к ограде, бабули торговали домашними соленьями. Валютные менялы, после короткого перепуга выйдя из тени, предлагали рубли на доллары, правда, уже не по советскому курсу (доллар – шестьдесят копеек), а увеличив соотношение в сотни раз для тех, кто собирался бежать за границу.

Солдаты, пересев из танков на скамейки сквера, играли в карты, отпуская шутки в сторону фланирующих мимо девушек.

Ни разу не видел я, чтобы у кого-то проверяли документы, даже у валютных менял и граждан с вороватыми лицами, которые, распахнув полы курток, показывали дамочкам золотое кольцо или иконку, унесённую под шумок из соседней церквушки. Жизнь текла своим чередом...

Успокоенный мирным настроением людей с оружием, я направился к зданию "Литературной газеты". И почти столкнулся лицом к лицу с Егором Яковлевым и компанией, спокойно покидавшими редакцию и отъезжающими на служебных машинах. Мастера конспирологии и мифотворцы уже на следующий день говорили и писали о том, что совместный номер приостановленных ГКЧП газет они верстали и печатали в глубоком подполье, как когда-то Ильич газету "Искру".

Дверь кабинета Бурлацкого оказалась на замке. Раздосадованный, чувствуя, что стал пленником обстоятельств, спустился я к вахтёрше, которая ошарашила меня словами:

– Фёдора Михайловича уже второй день нет на работе. Исчез в неизвестном направлении и не звонит...

– А как же совещание в его кабинете?

– Вроде чужие там собрались... Сейчас все норовят проникнуть не в свои кабинеты, не в свои квартиры, – метафорично ответила вахтёрша и ударила мухобойкой по столу.

Забегая вперёд, скажу, что в том же году осенью директор издательского объединения на Цветном бульваре Головчанский признался мне, что сборное издание приостановленных ГКЧП газет под названием "Общая газета" печаталось уже 19 августа открыто и бесцензурно в типографии "Литературной газеты", так что ни о каком "подполье" не было и речи.

Один из приближённых Ельцина, небезызвестный Сергей Станкевич, писал в газете "Взгляд" от 15 августа 2011 года, что Ельцин в дни путча почти не пил и имел свободную связь с Егором Яковлевым, который просил у него интервью для "Общей газеты". Ельцин согласился. Так что и связь работала, и был свободный доступ к российскому руководству. ГКЧП не приняло никаких мер для изоляции Ельцина.

Но вернусь к своему рассказу...

Я не знал, куда направить свои стопы. Стояние у подъезда, впрочем, оказалось небесполезным. Вышел мой давний знакомый, сотрудник "Литгазеты" критик Павел Ульяшов, который и сообщил мне прелюбопытную новость о снятии совещанием выпускающих "антипутчевскую" "Общую газету" Бурлацкого с должности главного редактора. За что? Как?.. Ульяшов, который не был приглашён на совет 14-ти, не смог точно сформулировать причину такой жестокости братьев-либералов в отношении своего подельника, при котором "Литгазета" по антисоветской и антинациональной разнузданности почти ничем не отличалась от тех же "Известий", "Огонька", "Комсомольской правды", "Московских новостей"... Так в чём же причина?.. "В необъяснимом отсутствии в редакции в дни путча, когда по существу оккупированная газета осталась без главного редактора" (Чупринин С. "Новый путеводитель", "Время", М., 2009).

Дрогнул Бурлацкий, струсил, как и "отважный борец с фашизмом" Виталий Коротич, не пожелавший возвращаться из США, едва услышал о ГКЧП. Коротичу, видимо, статуя Свободы в Нью-Йорке вдруг померещилась фонарём на Гоголевском бульваре в Москве, на котором уже заготовлена для него петля... Что ж, поэту простительна вольность воображения! Но как Бурлацкий, зная своих сослуживцев по аппарату ЦК, этих бюрократов, которые мухи не обидят и способны лишь на постановочный, неумело скроенный сценарий мнимого переворота, как он мог всерьёз поверить, что солдаты, прибывшие в Москву налегке, без боекомплекта, могли бы развязать террор?

Даже Станкевич в своих воспоминаниях, сравнивая государственные перевороты со времён Цезаря и до франкистского и пиночетовского, не перестаёт удивляться бездействию ГКЧП. Грозилась изолировать ельцинистов, но те свободно перемещались с дач в городские квартиры и обратно; приостановили выпуск части газет, но не поставили у дверей типографии Головчанского часовых; а вместо соответствующего бравурного патриотического музыкального оформления момента, типа "Врагу не сдаётся наш гордый Варяг...", пустили по телевизору сентиментальные танцы маленьких лебедей...



Потерявшие классовый дух кремлёвские бюрократы вспомнили бы хоть незабвенного Льва Давидовича Троцкого, чьи труды они разрешили публиковать. Ознакомились бы с такими его мыслями:

“Ни одно правительство, ведущее серьёзную войну, не позволит, чтобы на его территории существовали издания, открыто или замаскированно поддерживающее врага. Тем более в гражданской войне. Природа последней такова, что каждый из борющихся лагерей имеет в тылу своих армий значительные круги населения, стоящие на стороне врага. На войне, где успех или неудача оплачивается смертью, проникшие в тыл врага агенты подвергаются расстрелу” (Троцкий Л. “Терроризм и коммунизм”, “Азбука-классика”, М., 2010).

Недавно прочитал я письмо прокурору писателя Владимира Осипова “Как фабрикуют дела по экстремизму”, автора книги “Корень нации. Записки руссофила” (“Наш современник”, № 3, 2012), и подумал: зачем борцам с экстремизмом ради плановых показателей подводить под статью “облако в штанах”, когда свободно издаются и распространяются такие авторы, как Троцкий? Почему не запрещают процитированный выше труд Троцкого, который тянет не только на экстремизм, но и на терроризм?.. Это злонамеренные парадоксы нашего времени, корень которых – в августе 91-го.

...Мы шли с Павлом Ульяшовым к метро, и я узнал, что и он вынужден был уволиться. Почему?.. Ведь они с Лианой Полухиной, много писавшей о Белове, Распутине, Вампилове, фактически тащили на себе отдел, который, рядом с отделом национальных литератур, возглавляемым Ахияром Хакимовым, почему-то назывался не отделом русской литературы, а отделом очерка и публицистики.

– Стало невозможно работать, – проговорил с обидой Ульяшов. – Предлагаю на редколлегии творческий портрет Крупина, к примеру. Тут же вскакивает Ирина Ришина, которую у нас прозвали пресс-секретарём Евтушенко: “Да ты что, Паша, Крупин ведь православный мракобес! Ты читал его последние перлы: “До чего, хриstopродавцы, вы Россию довели?” – Это о нас-то, о демократах!..” Белов у них стал антисемитом, Бондарев – антиперестройщик, Распутин – антилиберал, русопят... Это о тех, за которыми при редакторе Чаковском мы гонялись, чтобы взять интервью, и каждую новую их вещь обсуждали с разных точек зрения. А вот о Юрии Полякове – пожалуйста, о Викторе Ерофееве – можно и на разворот... А я ведь, знаешь, из русской глубинки... не чувствую я в них близкого мне духа. Бакланову, Черниченко, Карякину можно и подвал в газете, хоть каждую неделю!.. Но какие, прости меня, они писатели?.. Пусть о них Зоя Кедрина или Юрий Суровцев пишут... Поэтому я всё больше пишу сейчас о националах: Нодаре Думбадзе, Расуле Гамзатове, Кайсыне Кулиеве или Алиме Кешокове, – у них хоть какой-то национальный дух есть. Вот и о тебе две статьи написал – твой русский ещё сильнее подчёркивает восточный колорит... А так – тяжело. Посадят теперь вместо Бурлацкого радикала – пиши пропало... Кстати, такое же настроение и у Лианы Полухиной...

Лиана Полухина спустя год после этого разговора работала в МСПС консультантом по русской литературе.

Между тем мы дошли до метро “Цветной бульвар”. Проход туда был перегорожен толпой, скандировавшей: “Долой хунту!”, “Ельцин – наш президент!” К концу дня первый испуг прошёл, и агитаторы-горлопаны, как видно, здорово здесь поработали, щедро суя митингующим свёрнутые в трубочку червонцы.

Мы попрощались с Ульяшовым и пошли в разные стороны, не пытаясь протиснуться в метро.

В Доме творчества я увидел по телевизору, как танки разворачиваются и уходят с улиц и площадей Москвы, осыпаемые букетами цветов. С любопытством всматривался в танкистов, но лица земляка не нашёл. А среди сидящих перед экраном не было Знаменского. Уже наслышанный о мстительности “апрелевцев”, я был в тревоге за судьбу своего знакомого краснодарца. И был рад увидеть бравого казака спустя несколько месяцев на заседании оргкомитета IX съезда писателей СССР, куда он был избран делегатом от Кубани...

*(Продолжение следует)*

ВЛАДИМИР ЧИВИЛИХИН

## ГОРНЫЙ АЛТАЙ

*В этом году исполнилось бы 85 лет русскому советскому писателю Владимиру Чивилихину, лауреату Государственных премий СССР и РСФСР.*

*Предлагаем читателю записи его путешествия по территории бывшего Кедрогграда в Горном Алтае.*

*В 1959 году Совет Министров РСФСР выделил группе выпускников Ленинградской лесной академии полтора миллиона гектаров горно-алтайской кедровой тайги для проведения производственного и научного эксперимента по комплексному пользованию богатствами леса.*

*Эксперимент прошёл успешно. За три года инженеры доказали рентабельность подобного вида хозяйствования в лесах. Кедрогградцы заготавливали древесину, орех, пушнину, дичь, мед, лекарственные травы, ягоды, панты марала, кедровую смолу (живицу), хвойную муку и многое другое. Были разработаны перспективные технологии, сохраняющие подрост при заготовке древесины, способы взаимодействия охотничьего и лесного хозяйства, нашли лучший способ подсочки, не губящий дерево, дешёвый и безопасный способ съёма урожая орехов.*

*Однако местные власти, заинтересованные только в заготовке древесины, делали всё, чтобы загубить эксперимент и превратить комплекс в обычный леспромхоз.*

*В 60-е годы Владимир Чивилихин выступал в защиту Кедрогграда в прессе (“По городам и весям”), с высоких трибун, в кабинетах больших начальников, семь раз посещал Кедрогград, помогая хозяйству выжить.*

*Эти дневниковые записи — не о трудностях и проблемах Кедрогграда. Они о красоте Горного Алтая, о радости общения с живой природой, о замечательных и интересных людях.*

**Елена Чивилихина**

### **12 августа 1963 г<ода>, понедельник**

И вот мы в Кедрогграде. Выдержали с Леной большую дорогу. Самолётом до Новосибирска, ИЛ-14 довёз нас до Барнаула, и так как ночь мы не спали, то в Барнауле свалились в гостинице замертво.

В ночь на 11-е снова поехали — на станцию Алтайскую, а там поездом до Бийска. Дорога в Кедрогград остаётся трудной, хотя от Бийска есть уже к нему непрерывная дорога.

Проезжали алтайской целиной — и сердце сжималось от горечи, потому что хлеб посох. Жалкие стебельки торчат реденько, обречённо, одиноко. Тре-

тий год тут ничего не родит. Плакали денежки, вложенные сюда с таким шумом и такой ломкой, и с такими большими надеждами.

Отошли вокзалы и аэропорты с голыми измученными ребятишками, с сонными, на последнем пределе терпения взрослыми, с красноглазыми работниками вокзалов.

В Бийске нас ждал Виталий Парфёнов (главный инженер Кедрогграда). Даже в “газике” – машине, приспособленной к нашим дорогам, – путь в Кедрогград показался Лене тяжёлым. Нас кидало и на Шуйском тракте, и по пути к Каракокше от Барнаула и от Каракокши в Уймень. Я говорил несколько раз: “А тут твой муж-инвалид всё своими ногами исходил”, – и мы смеялись.

В Кедрогграде за два года заметны изменения: ребята построили новый гараж, контору, много домов, лесопильный цех, хотя проект ещё и не осуществлялся.

Перед окнами Виталькиного дома вздымаются три горы. За них рано уходит солнце, но, видно, они же останавливают ветра. Лиственный лес на хребте шумит ровно и мощно, потаённо рассказывает слушающему свои тайны. Он шумит, даже когда нет ветра. Но, видно, движение воздуха к вершинам непрерывно. Внизу он теплее с вечера, чем вверху, и тянет тепло к холодным вершинам, а лист колеблется под этим едва заметным током и шумит, шумит.

Осина трепещет, даже если совсем нет ветра, – может быть, тоже от воздушного тока с земли?

В светло-зелёных ярусах на горе – кипарисами стоят пихты. У них густозелёная правильная крона, жирная хвоя, иголки подлиннее, чем у елей, а прирост – тёмно-зелёный, никнувший, мягкий.

Тут совсем нет ели, а пихта куда полезней своей колючей сестры. Под её синей корою, в её шелковистых тяжёлых лапках течёт чудная смола, из которой готовят так называемое пихтовое масло. А из масла этого – единственного пока сырья в природе – делают незаменимую камфору.

Люди всё больше и больше страдают сердцем – наш век утомляет этот чудесный человеческий мускул, перегружая его. Пихтарников у кедрогградцев уйма, и почему бы тут не наладить дело?

– Уже, – ответил Виталий.

– Что – уже?

– Строим пихтозавод, айда смотреть площадку.

Недалеко от лесопилки ворчал и взрывывал бульдозер. Они думают уже в этом году получить первую продукцию. Производство несложное, а у них против сметно-теоретической себестоимости выйдет меньше, потому что паромобиль стоит рядом, и пар будет даровой. Ребята на этом возьмут новые прибыли.

Прибыли... Уже сейчас, когда хозяйство ещё не набрало темп, они единственные в Горном Алтае идут с прибылями. Это здорово! За полугодие – даже сверхплановые накопления. А все остальные леспромхозы оказались убыточными. Приезжал тут недавно зав. пром. отделом обкома Конопкин, бывший секретарь Турочакского райкома, несколько дней крутил носом, “сумлялся”, а уехал вроде бы сторонником этого дела, в которое все мы, лесные братья, вложили столько сил.

Виталий целый день пропадает в “городе”, а дом его как бы дача, хуторок. Он стоит в стороне, у махонькой речонки. Она журчит с другой стороны дома, и это очень удобно – водопровод настоящий, только вода течёт не по трубам, а по камням...

Были в музее. Там кой-какие новые экспонаты появились. Главный – пушной стенд. Продукция, которую готовят ребята, – соболь, белка, выдра, рыжая лиса, хомяк, крот, горностаи, бурундук, колонок. Кой-чего нет ещё – барсука, медведя, козы.

Добыли они для музея беркута – огромную страшную птицу – и залётную поганку с ногами-ластами. На днях Виталий сделал чучела трех дубоносов. Бочкарёв (начальник Главлесхоза РСФСР) был в музее, покачал головой и спросил: “Во сколько вам всё это обошлось?”

– Это мы вечерами, бесплатно – ответил Виталий.

В музее чудесная энтомологическая коллекция. И вечерами Виталий пополняет её. В комнате, где на медвежьей шкуре спим мы, горит 500-свечевая лампочка, и к окну летят ночные бабочки. Есть удивительные по колеру экземпляры – такого не встречается у дневных: с радужными переходами

удивительной гармонии, с бронзовым налётом, с серебряными пятнышками странных форм, чёрные и светло-жёлтые, розовые и тусклые, пепельные, светлые, с таким абстрактным запятнением, что куда там тебе твой Сальвадор Дали.

Ходили на Уймень, набрали грибов, поели ягод. Река взрывает, обкапывает голыши, в заломных местах, в изгибах проток и по берегам лежит отшлифованный водой мелкий лес. Он высушен до звона и бел, будто это кости кажих-то больших животных, что водятся в верховьях Уймени...

Виталий посадил во дворе четыре кедра, и я с трудом отрываю от них глаза – такие они крепенькие, зелёные, так полны жизнью. Весь посёлок засадить бы кедром, а то в жару тут пыльно и душно, и некуда спрятаться от ярого алтайского солнца.

### **13 августа, вторник**

День воспоминаний о вчерашнем дне. Залитая солнцем, порывающая река, тёплые голыши по берегам, ослепительно белые, отполированные водой заломы. Вспоминалось о них с приятным чувством, с почти физическим ощущением острой радости – так естественен, хорош вид реки, говор её, её движение и светлые воды. А нынче Лысую затянуло; закосятились вершины ближних гор. Синяя пелена внизу гуще, принимает белесоватый вид – там уже пошёл дождь. Приближаясь, синева растворяется, будто её собирают на себя несчётные капельки. Потом, будто из дробовика, шарахнет по крыше, осыплет лебеду, крапиву и чертополох во дворе, и трава отзовется гулко, будто чертёжная бумага или заколяневшее на морозе бельё; потом всё покроет шум ровный и монотонный, под который хочется спать. С гор стекает в долину другой звук – перекаточный и мощный, однако приглушённый, будто гром сквозь воду.

Когда солнце выглянет – славно! Трава подсыхает, хотя в капельках ещё чисто, алмазно живёт этот дождь благословенный; утренне-свежая, она берётся за работу, умеряя жар, которым пышет небо. Так – перемененно – было до обеда. Мы пошли собирать грибов, и дождь по-осеннему наладил. Сыпал и сыпал, лил и лил, и некуда было от него схорониться. Тайга в такой дождь – неприятна, холодна и пуста. Пели мелкие пичуги, далеко кричал канюк, просил пить, ему вторила подголосок-желна, а тут всё смолкло. Канюк накликал дождь, и сейчас, видно, пил, сколько его душеньке угодно.

В тайге сыро, она вся пропитывается водой. Под сапогом течёт, выжимается вода – из мха, гнилой колоды, пня, земли, подстилки. Промокший насквозь лес не держит дождя – вода стекает крупными каплями, сочится из-под земли, обдаёт, чуть только тронь кусты или деревца. Стволы берёз и черемухи мокры и скользкие. Низкие тучи будто спрессовывают воздух – становится труднее дышать. А мне из такого леса надо уносить своё сердце – ревмокардит, может сформироваться порок; сердце что-то побаливает каждый день... В густом кедровом либо еловом лесу посуше, у костра ещё можно посиживать, а в палатке и того лучше, хотя всё равно пропитаешься весь влагой, если такой дождь не остановится и тайгу не начнёт сушить солнце. Горы, что возлегли напротив, покрыты ближе к вершинам не то облаками, не то туманом, на глазах превращающимся в облака и тут же опускающим седые космы на тайгу – снова лить воду. Виталий меня утешает: погода у них, мол, переменчива, как сердце красавицы, и воздух вот уже не давит, и печной дым пошёл в небо свечой.

### **14 августа, среда**

Он угадал. С утра развиднелось. Были у Сабанского Генриха, охотоведа, посмотрели на маральи панты. Они весенние, покрыты нежным мышинным пухом. Всё доброе из здешней тайги собирается в пантах благородного оленя. Недаром цена на них держится столетиями и не опускается.

Были с Виталием на лесосеке в Богатырёвом логу. Подъём идёт по рубкам старой технологии – жуткое зрелище. Подрост загублен, сломан или выворочен, а тот, что оставлен, – усыхает. Пихта редко стоит, уже и полог над ней снят. Другая температура, другая порция света, влаги и ветра – и пихта погибла. По волокам после вчерашних дождей бежит вода, и серая земля, из которой вымыт уже гумус, сочится слезой. Земля на лесосеке вспорота во многих местах тракторами...

Повыше пошла опытная рубка. Это – новинка, очень важная не только в Кедрограде, но и вообще в кедровых лесах Сибири. Посеки чистые, лишь стоят меж молодого прироста свежие пни. Трактор ходит только по волоку – широкому, на который валятся с двух посек деревья. Кроны ложатся на волок, обрубаются и тут остаются, а хлысты трелюются вершинами вперёд на верхний склад. Сохраняется подрост. Он гуще, чем раньше, не повреждён, потому живёт. Мелкий подрост тоже живёт, потому что полог пихтовый создаёт приближённые условия материнского полога, а под ним возникнет искусственный или естественный молодой кедроч.

Земля тоже цела – трактора на посеку не заходят. И оврагов не образуется – сучья, вдавленные в землю и устилающие волок сплошь, гасят ручьи. Втапывать, правда, в грязь сучья не совсем по-хозяйски, но чем лучше их жечь? Кроме того, пихтовая лапка будет вывозиться на масло. Ребятам надо 700 тонн лапки в год – это немало. Кедровая хвоя тоже найдёт себе применение: она со временем пойдёт на каратиновую муку, в ней витаминов в три раза больше, чем в других хвойных.

Новая технология рубок экономически выгодна. И для рабочих хороша: сучья бросать на волок недалеко, и люди уже идут на эту работу, потому что можно заработать вдвое против прежнего. Лес будет жить! К сожалению, новая технология годится только для южных склонов. На северных – нельзя. Дерево не падает вниз. Оно стоит под острым углом к склону и гнётся ещё к югу, к солнцу. Там надо ещё подумать.

Побывали мы и на опытной подсочке. Ребята заложили несколько тысяч карр шестью разными способами, чтобы узнать, какой годится для кедра. Ну, жён максимальный выход живицы и минимальный вред дереву.

Пока мне больше всего симпатичен ребристый восходящий надрез ствола. Ребята сделали удивительное открытие. При таком способе нижний надрез, сделанный в конце мая, в начале июня уже зарастает! Я не поверил. Мы с Виталием брали ножичком пробы – да, зарастает! Ну и молодцы же хлопцы!

В стаканчиках у стволов кедров – прозрачный кедровый сок. Он тянется длинными струями и от хвоинок на его поверхности – ещё чище.

### **15 августа, четверг**

Снова славно на дворе. Мы собрались в отъезд. Шофёр Лёша Гувернант подъехал к парфёновской заимке часа в два – в час, пригласил в кабину.

– Сколько ехать? – спросила Лена.

– 65 километров.

– Часа два?

– Шесть. Если, конечно, с машиной будет всё в порядке. Дорога-то...

Дорога была аховая. Если б не мощный наш ЗИЛ-157 – кранты. Колдобины, грязевые набукованные ямы, объезды. Доски, что вёз в Иогач Лёша, сползали назад, и он несколько раз останавливался, пытался на какую-нибудь лесину и подвигал их вперёд. Потом пассажиры снова лезли на них, и всё начиналось сначала.

Среди пассажиров была Валя, что ехала с нами от Бийска. Уже год весь Кедроград потешается над Володей Ульяновым. Он ходит за ней, готов таскать её на горбу через пыль и грязь, делает чуть не каждый день ей предложения, а она только смеётся.

Валя ехала до Карозера. По долине Уймени несколько таких вот кержачких поселений. Темно и глухо в них, только, наверное, окружающая природа заменяет им многое из того, чего им тут недостаёт...

Через широкую луговину тяжело пролетела большая коричневая птица. В когтях она несла змею. Птица вертела головой – куда бы присесть, чтобы пообедать? У неё были жёлтые подпалыны. Змея извивалась в воздухе. Птицу зовут скопой.

Пошли больше ели, пихта исчезла, и сосна зазолотила лесные окоёмы... Лёша всю дорогу хорошо рассказывает о лесосплаве. В устье Уймени собирается много народу. "И всё молодёжь! – с восторгом восклицает Лёша. – Гармошка – это уж обязательно, на сплаве без гармошки никак нельзя. Песни, а без них какой сплав? Река ревьёт, брёвна летят, будто их выстреливают. Опасно, конечно, зато хорошо – интересно! Заломы разбирать – это, конечно, искусство и работа тяжёлая, однако хорошо – интересно. А летишь в лодчонке посреди реки, того и гляди о камень или в водоворот под камнем. Зато рискованно, весело..."

Переправились на пароме через Бию. Паромщик сообщил, что полчаса назад какой-то мужик решил на лошади переправляться. Сбило его и лошадь, видно ударило камнем. Он пожалел коня, отпустил. Конь выплыл – вон стоит вороной привязанный, а самого нет.

– Как нет!

– Так и нет. Как не было будто.

– А спасти?

– Как спасёшь?

Бия гудела в порогах выше переправы, вся шла сразу, одной зелёной массой, и вся в завитках – над невидимыми камнями крутило и завивало воду, плело хвосты и зелёные косы. Куда там спасти!

Дорога к Иогачу полегче, но тоже трясёт. Внизу справа – Бия, а дорога над ней, на полках. Слева курумник подступает к самым колёсам. Бия раздваивает землю, ворочает камни, трудится на совесть, ярится, чтоб постепенно и незаметно сдать, успокоиться и раствориться, затеряться в океане.

### **16 августа, пятница**

Иогач. Озеро совсем не такое, каким я видел его в первый свой приезд. Оно ясное, как Божий зрак, покойное, сине-зелёное. И жара стоит возле него удивительная. От такой духоты охота скорей ехать куда-нибудь под кедровые или на берег горной речки.

Николая Телегина нет – в Барнауле. Виталий Скрипнюк – на Пландуколе, Лосином озере.

Остановились в комнате, которую арендует для своих лесоустроителей Телегин. Там Галя Рябцева, до недавнего времени кедроградка, – высоченная и рябая девушка.

– Кто бы мне сказал, отчего я такая?

– А что? Какая?

– Мне нравится ездить, видеть, разных людей встречать. В моей трудовой книжке уже некуда ничего писать. Я и сверловщицей работала, и на стройке, и на складе. На складе, правда, я так только, бумажки перебирала, а все думали, что я работаю.

– А почему после десятилетки в институт не пошла?

– Понимаете, спать очень хотелось.

– Как это – спать?

– Получила аттестат, и сразу меня – как ударило. Ночь сплю и день сплю. Встану, поем и снова спать. Совсем заспалась, глаза не видят. Потом я подумала, что у меня туберкулёз. Прочитала в одной книжке, какой туберкулёз бывает, и прихожу к врачу, говорю: сонливость одолевает, плечи давит и слабость какая-то, вялость. Обследовали меня – всё в порядке, говорят. Тогда я вообразила, что у меня белокровие – или как его там? – малокровие. Обследовали – ничего нет. Тогда уж я спокойно спала...

– А родители у вас есть?

– Как же! Есть. Папа ругается – в кого, говорит, ты такая. А мама говорит – пусть девочка отдохнёт после десятилетки.

– А кто у вас папа?

– Плотник. Мы в Баку живём.

– Ну, а дальше что?

– Поступила на склад. Потом в другие места поступала. Сейчас возьмут меня в партию или нет? Я же в Кедрограде паспорт оставила.

– Без паспорта, пожалуй, не возьмут...

– Вот и я думаю, что не возьмут.

Она говорит спокойно, обстоятельно, не рисуясь и не играя. Когда мы нахотались вволю, она без тени улыбки воскликнула:

– Кто бы мне сказал, чего я хочу!

Приехал Скрипнюк. Он, оказывается, был не на Пландуколе, а смотрел с главным лесничим Женей Титовым орех. Орех зреет, по посёлку ходят мальчишки и грызут его. Он уже почти совсем спелый.

В этом году, после двух неурожайных лет, орех выдался балла на три, часть пустой, шишка неполная и на кедре её не густо. 350 тонн – смешно даже говорить.

Вечером купил водки, и мы до двух часов ночи пели песни...

### **17 августа, суббота**

Утром были у Ого в гостях. Ели хариуса и окуня пландукольского. Ого сказал, что не любит степь и перелески, а любит вот такие места: горы и горную тайгу. Взойдешь на сопку – тяжело дышишь, всюю, чтоб сердцу кровь дать, и устал вроде бы, а глянешь – за этой сопкой новая, ещё красивее: вся синяя и зелёная, и голубой дым над ней. И снова охота идти. Дальше.

У Ого два пса: Тайга и Шайтан, брат и сестра титовской Би, и младшие кровные родственники парфёновского Кедр. Виталий тогда, три года назад, хорошее дело сделал: завёз тофаларскую лайку сюда. Собаки получились, что надо, коренные таёжники. Они привязаны к хозяину, не обижают никого понапрасну, смелы, умны, выносливы, и в крови у них живет инстинкт прирождённого охотника. Они идут на любого зверя...

В Иогаче пыльно, душно, и я с радостью уехал. Миша Твеленев дал палатку и спальные мешки, мы купили масла, хлеба, сахару, консервированной капусты и двинулись.

Горы величаво и просто лежали по берегам, озеро было покойно, тихо, на воде серебрились, будто рыба чешуя, блики...

В сумерках добрались до реки Чили. Зашли в незаметную бухточку, развели костер...

### **18 августа, воскресенье**

Бухта Чивили врезана в берег довольно глубоко, но её никто не знает. Дело в том, что она – лишь часть большой бухты, где очень удобный причал, две песчаных отмели, курилка новенькая, поставленная кедроградцами. Это всё привлекает, и сделало это место традиционной стоянкой туристов, “плановых” и “дикарей”. В нашей бухте – беспорядочно наворочены камни, и кажется, что нет подступа. Однако Виталий и его друзья разобрали на берегу место, освободили его от камней, и славно вышло.

Мы причалили поздно, уже темнело, зажгли на прибрежных камнях бересту, и стало ярко, светло, серые камни будто задвигались, потому что ветер сбивал пламя. Вода была чёрной и холодной. Я помогал втаскивать лодку и, конечно, промочил сапоги. Добро, что в бухте Чивили много дров. Это одно из её достоинств. Туристы в трехстах метрах отсюда рыскают по лесу в поисках палки, а у нас озеро набило весь берег лесом, отполированным, отмытым. Он жёлто-бел и кажется костями каких-то погибших чудищ таёжных. Возьмешь в руки, и ощущение того, что это кости, – усиливается. Они легки, хрупки и остры на слом.

Развели костер, стало жарко. Попили чаю и, обессиленные, повалились у костра. Мы с Леной влезли в мешки, а Виталий лёг почти нагишом.

Ну, правда, когда мы подъехали, бухта произвела на всех очень радостное впечатление: мы мёрзли на воде, продувало, брызгало холодной водой, а тут, оказывается, тёплые камни! Весь берег источал тепло, струил его с больших камней, будто от больших, старых, медленно остывающих русских печей...

Денёк вышел работным, бестолковым, нервным. Рано утром завели мотор и подскочили к устью Чили. Совершенно не клевало. Поднялась “верховка”, однако мы решили ехать в Челюш. По дну шлёпало, нос заносило (что за странное сочетание), но доплыли. И тут не клюёт. Однако клюнуло у старика Давида Одуева – он ставил десяток сетей и накидал нам в рюкзак с десяток хариусов. Мы накопали полный рюкзак картошки и примчали назад. Победив, поехали на пожар. Алтын-ту горела. Дым застилал весь верх озера.

Мы ехали, смотря вперед жадно и тревожно, – не знали, как и сколько горит, что за опасность нависла над лесами. Гора Алтын-Ту (Золотая гора), о которой я уже однажды писал, горела. Это не был верховой пал, не сплошное пламя билось, а горел и дымился подстил и подрост: мох, коряги, поваленные деревья, кусты, трава. Пламя жило в десятках разных мест, меж каменных глыб осыпей и скал, двигалось в разные стороны. Валил дым, а солнце, что медленно шло над горой, было красным. На фоне его светового пятна дым был жёлтым и только там, где пламя хватало живой лес, кроны, – валил чёрный дым. Нехорошее это зрелище – лесной пожар. Дула “верховка” – ветер с Чулышмана и пламя по всей высоте горы ползло змеями, перекидывалось ветром всё дальше по горе – к границе кедроградских лесов...

С горы то и дело раздавался грохот. Вокруг камней обгорало, и они рушились с громом великим, захватывая новые камни. Крутой, местами отвесный склон горы, стены каменные исключали всякую возможность тушения пожара. Нет, это не равнинные пожары в Иркутске. Тут сам не полезешь и людей не пошлешь...

– Что делать?

– Два возможных варианта, – сказал Виталий Скрипнюк. – Либо тушить, либо не тушить. Не тушить нельзя, преступление, народный лес горит. Дождя не предвидится. Значит, надо тушить...

Я предложил третий выход: не тушить, не выжидать, а собирать людей, лезть в какой-нибудь лог поодаль от пожара, его двигающейся кромки и вырывать траву, мох, засыпать песком и землёй широкую полосу, чтоб ограничить зону пожара определённым участком. На том и порешили. Только где брать людей? Отдыхающих, туристов? Едва ли они полезут. Рабочих срывать за 100 км отсюда с лесозаготовок? Лесников? Тех, что не ушли на медведя, не в отпуске, не на рыбалке. И вообще, мне казалось нереальной организация тушения этого пожара...

Мы стали заводить мотор, и он почему-то начал вибрировать и стучать. Оглядели его внимательно: потерялся стопорный винт магнето... Что делать? Главное, Лена сидела одна в Чивилиях и, возможно, ей пришлось бы одной заочевать. Подошёл “Алмаз” – теплоходик. Виталий быстро вскочил на него. Капитан наперерез – нельзя в машинное. “Мне надо болт отпилить и прорезь нарезать”. – “У меня пароход, а тут болт”. – “А у меня пожар”, – сказал Виталий. Капитан сам всё сделал и дал гудок. Я тоже был на борту – хотел попроситься, чтоб высадили в Чивилиях: Лена первую ночь в тайге одна. Но Виталий сказал, что с болтом всё в порядке, и я решил ехать с ним.

Приехали измученные. Виталий всё же нашёл в себе силы поехать в устье Чили рыбачить. Принёс десяток рыбок...

### **19 августа, понедельник**

Утро было лучезарным, озеро стояло, млея в горах, зелёных, больших, покатых. Ребята уехали. И мы остались с деревьями, птицами и рыбами, со звёздами и водой, с камнями и упоительным здешним воздухом. Доброе утро, друзья. Все вы теперь – мои, а я ваш. Будит обычно кедровка. Лучший друг величавого и неподвижного кедра, она и его противоположность. Непоседа, хлопотунья и крикунья, она поднимает гвалт с утра. Голоса у неё разные. Чаще всего она кричит исполошённо, будто ворона, которая торопится пропеть свой немудрёный вороний репертуар. Есть ещё у неё звуки, похожие на перекличку осипших кукушек, а то вдруг так заорёт, будто она подышает, а её давят.

Высоко над бухтой вздымается гора, по ней иногда ползут облака. Там, под облаками, вечно шумит лес, и слышатся далёкие, будто с небес, клики желны, канюка, скопы.

Гора стоит так, что из палатки видна Большая Медведица, лежащая ковшем на ней.

Сделал самодур, но что-то не клюет хариус. И мушка, которую подарил мне В. Парфёнов, что-то не по вкусу здешнему хариусу.

Вокруг палатки – берёза, сосна, лиственница, ольха, маральник. Кедр нет. Маральника много. Если растереть его листья в ладони, они так по-таёжному пахнут, что кружится голова. Надо будет увезти с собой в Москву его веточек, подержать до зимы, а потом поставить в бутылку – они так красиво зацветут.

Вечером бухта Чивили так необыкновенно мерцает, дрожит, рябит и блестит, создавая из чёрной и серой красок феномен – неповторимое, небывалое. Мы избалованы природой и не замечаем, как она хороша, как хочет, чтоб мы стали вровень с нею. Это касается и всей нашей жизни. Народ наш, бесспорно, отмечен природой, ему она предназначила нести крест огромного эксперимента. Ведь перестройка человеческого общества – тоже явление природного порядка.

### **20 августа, вторник**

Виталий Парфёнов дал мне с собой “Белку”, патроны в верхний ствол и пачку патронов в нарезной. Добыл бурундука сегодня, пристреливая вин-



товку, ободрал его, и Лена задумала сделать из шкурки чучело для Иринки. А ружьё тут же отказало!

Вспомнил, что, возвращаясь с пожара, увидел в воде странное, невиданное и неслыханное явление. Солнце в высоких перистых облаках стояло, медленно вместе с ними продвигаясь над горой. На небе оно было белым, даже серо-белым, обыкновенным до тошноты, зато в воде его отражение расцвело всеми цветами радуги. Подумалось, что это радуга в брызгах от лодки, однако нет: с кормы и с носа виделось облако одинаково.

Несколько радуг одновременно в разных местах и друг над другом — ещё одна особенность здешних мест. В 61-м я видел на Яйлю две радуги, в этом году ещё не пришлось. Виталий Скрипнюк с особым сиянием в глазах рассказывал мне, как он сидел посреди Пландуколя на плоту, ловил окуня. Прошёл сильный дождь, в озеро опустилось несколько радуг, и вдруг он оказался в центре радужного столба. Смотрел в разные стороны и видел — фиолетовый, красный, оранжевый, зелёный и остальные цвета.

Алтын-Ту называют так оттого, что первые лучи солнца обливают её вершину золотом.

К ночи или под грозовой тучей вода в озере становится аспидной, лоснящейся, будто это не вода, а нефть.

### **22 августа, четверг**

Главное впечатление от тайги — непорочная чистота. Умытая дождями, тайга будто сама заботится о своей чистоте. Гнильё она быстро покроеет зелёным и белым мхом, а он чист, светел и почти стерилен — на него почему-то не лезут мошки-блшки и червячки. Только очень много в это время пауков. Они перегораживают все проходы и путают своей паутиной руки, противно липнут к лицу их сети. Правда, противно только сначала, а потом привыкаешь и, признав, что это неизбежная принадлежность тайги, смиряешься с нею.

Шли низинкой в надежде найти ягод, но эту низинку поразила боярышница в этом году. Черемуховые листья стоят, опутанные паутиной и прозрачными стали, только сеточка из жилок. Нет также смородины — ни красной, ни чёрной, — ни малины.

Под ногами — хвощи, папоротники, бадан — обычное таежное разнотравье, много валежин, в том числе и молодых — видно, недавно прошла буря. Под ногами мягко и чисто, и зелено, и хорошо.

Звуки вечерней тайги стоило бы записать на ленту и дома иногда прокручивать. Лес над нами шумит ровно и мощно, будто море, только иногда зашумит полосой, точно поезд промчится далёкий. Озеро плещется в прибрежных камнях, а по другую сторону бухты оно бьёт в щели и гроты. Эти звуки полны и гулки, будто оттыкают бочки. А где-то в озёрной дали живёт особый рёв, приглушённый и мерный; его легко спутать с рёвом моторной лодки. И не смолкают, пока не заснёшь, стригали-кузнечики...

### **23 августа, пятница**

Река Чили, что впадает в озеро в трехстах метрах от нашего лагеря, — хорошая. По-русски это название означает “хрустальная река”. Она круто падает меж двух гор, в бурливых местах — белая, а за камнями и на сливах — прозрачно-зелёная. Мечется, взрывает, и от соседней горы её шум отбивает к нам, уже приглушённый, смягчённый лесом. Над ней зависли старые деревья, а на ложе её — светло-жёлтые и белые камни. Огромные окатанные глыбы лежат по её берегам. Они шероховаты, и по ним можно смело прыгать в моих кирзовых сапогах. Возле речки прохладно, свежо, чисто, и она бодрит своим движением и энергией.

В этой благородной речке должны жить благородные обитатели. Так оно и есть — хариус, чудесная сибирская рыба, любит такие чистые, быстрые и радостные воды.

У меня он плохо ловился в первые два дня. Совсем не брал парфёновскую мушку, разрекламированную им до неприличия. В этот свой приезд Виталий Скрипнюк показал, как он делает мушки, и пошло. Сегодня принёс десяток хариусов, из них три довольно крупных. Мелочь хватает в перекатах и в устье, а те, что постарше, поопытней и пожирней, стоят за камнями, караулят мушку. Живет хариус, видать, впроголодь — желудки у них пусты. Если бы пройти повыше километра на три-четыре — можно бы натаскать хороших. Но подъём туда тяжёл и труден.

## 24 августа, суббота

Засентябрило, что ли? Идут дожди. Сегодня мы видели стену дождя совсем рядом, над озером. Серая кисея – можно было хорошо наблюдать отдельные нити – колыхалась, реялась кисея эта, бахрома из серых нитей, подвешенная к туче, никуда не шла, а только величаво колыхалась, будто какие-то неземные растения реяли в воде. Камни на берегу стали скользкими. Ночью сегодня проснулся от мелкой дрожи, сотрясающей всё тело. Сыро. Раздул костёр, вскипятил и заварил чай. Согрелся. Хлеб кончился. Сегодня должен был приехать Виталий Скрипнюк, привезти хлеба, водки и табаку. Однако нет его. У нас был килограмм вермишели, начали её толочь, разводить в воде и печь оладьи. Ходил по пляжу, собирал окурки – то-то позорное занятие! И бесполезное – какой некурящий турист пошёл! Плавится у озера много хариуса, но бегать с самодуром нельзя – скользко. Наловил немного удочкой.

Спинка у хариуса зелёно-серая, со светлым орнаментом такой сложной разрисовки, будто это окантовка крупной купюры. Под цвет здешней воды. А брюшко у него светло-жёлтое – под цвет дна. Приспособился, бродяга! Но вкусен же он! Нет костей острых и главная кость – хребтиночка, тоненькая, которую тоже можно жевать и сосать. Голова жирна и студениста. Эта сибирская форель змеится, когда её возьмёшь в руку, сильными движениями старается вырваться. Из жабр течёт довольно много крови. Стоит он под камнями, в омучках, хватает хорошо, накрепко. До чего приятно его тяжесть на конце удилица!

Напротив Челюша бежит и бежит посреди горы облако, заворачивает потом в широкий распадок и по его склону – на небо. Почему оно не сдувается очень сильной “низовкой”? Глянул получше и увидел, что тут, как раз напротив нас, нарождается это облако. Из малоприметной дымки собирается густое серо-белое облако и движется, движется, движется. Никогда не видал, чтобы облака нарождались прямо из воды. “Низовка” испаряла очень сильно, подымала воду из озера, и она вступала в извечный круговорот.

## 25 августа, воскресенье

Он пришёл утром. Бешеный и жалкий блеск от дьявольского нагорного зелья исчез в его глазах, и мы посидели ладом у костра, поели уши, попили чаю.

– И в кино я не хожу по году и больше. Не хочу мякину клевать. И в газетах тоже всё не то. Слова такие, будто бочка пустая с горы катится, а человеку нужны тёплые слова и густые. . .

Он много говорит о природе. “Она же наша мать родная”, – повторяет он, и вот тут-то мы с ним сошлись. Он также против этого непомерного гидростроительства, что раздули мы в последние годы.

Говорит он об этом с волнением, крупно выговаривая дуракам-учёным и тем, кто их слушает.

– Вот Сибирь нашу красивую подведут под монастырь – дождёмся! На случай войны сколько люду погибнет зря! А потом – земля не стерпит такого положения.

– Как не стерпит?

– Вода – она свои законы соблюдать будет.

– Рыба?

– Да уж рыбы-то теперь по Сибири поубавилось, а что дальше будет.

– Что?

– Земля вращенье имеет по своим законам? Имеет. Это всё сравнено её вращенье, а ты нарушь в шаре форму или вес равномерный. Что будет?

– Ну – что?

– Водохранилища-то сколько воды соберут там, где её не было. Вес Сибири увеличится, а что от этого может быть – никто не знает.

Борису 32 года, из них 20 он просидел в лагерях. Говорит, что его положение узаконено, – власти знают. Говорит, что живёт на “пензеюшку”, ему, как инвалиду первой группы, платят, а здоровье своё он потерял – тебе-то, говорит, можно сказать – на испытаниях сам знаешь каких бомб, и сейчас гниёт заживо.

На озере он третий раз – ему по душе пришёлся этот уголок Сибири. Палатки и мешка у него нет.

– Всё на мне. Ложусь у костра и сплю. Комбинезон меховой вырывает.

Всё мечтает достать книгу про травы сибирские и пробовать их на себе. Он приземист, нетороплив в движениях, глаза у него карие и лоб большой. Может, он и привирает про лучевую болезнь, а может, и правду говорит. Два месяца весной он пробыл тут, на озере, смотрел весну, толкует, была высшая категория радости – как всё пробуждается, видеть.

– Кости харюзячи в костёр не надо, – сказал он, проследив, как я бросил нежный скелетик рыбы в огонь.

– Почему?

– На них приползает змея.

Хариуса он зовет “хайрузом”, тайменя – “талменем”.

– Печень талмена не ешьте – кожа облезет. Потом обновится, но поначалу облезет. Как у младенца потом станет.

Мы с ним пошли рыбачить в устье Чили. Дорогой я поймал на самодур крупного хариуса и на реке нескольких. Клёв начался редкий, и вдруг затахтел над ухом мотор. “Бригантина” пришла – катер научного стационара.

### **27 августа, вторник**

Полная улыбчивая девушка перекричала Чили:

– Мы за вами!

– А куда вы нас?

– В Чирю Скрипнюк просил перевезти!

Мы быстро собрались, свернули палатку. Борису оставили картошки и освоенное место, пожелали друг другу поймать тайменя и ещё раз встретиться тут.

На полпути увидели двойную радугу – такую же, какую я видел здесь два года назад. Первая, нижняя – ярче, контрастнее, потом идёт полоса широкая неопределённого, какого-то размытого фиолетового цвета, и потом радуга посветлей; в ней цвета располагаются в обратном порядке – фиолетовый, синий, голубой, зелёный, желтый, оранжевый, красный...

### **28 августа, среда**

Стали лагерем в самом дальнем уголке Кыгинского залива, под скалами, но место это цивилизованное – рядом кордон, в котором живут два лесника – Хлобыстов Дмитрий Климентьевич и Николай Парашин. Там же, в серединке дома, – комната “научников”.

Мы истопили баню по-чёрному, поставили рядом с баней свою палатку, чтоб она просохла, а спать после бани устроились у “Зотевны”, как отрекомендовалась при знакомстве жена Хлобыстова. Она прожила тут с мужиком 17 лет, знает тайгу и все таежные промыслы, толста, но поворотлива, и радуется мой слух “кондовыми” сибирскими словечками: “лонись”, “рясный” и т. п.

С мрачным её супругом, похмельного вида человеком, я познакомился на пожаре. Сейчас он на Беле, не то печи кладёт, не то крышу кроет... Хлобыстов был на фронте и вернулся оттуда побитый, штопаный и не в себе. Тайгой начал лечиться, работой лесной. Однако в тайгу ходит только с женой. Он иногда падал на тропе без сознания и в самых неподходящих местах. Последствия этой контузии долго не проходили, и Зотевна жила в избушке таёжной каждую зиму, а как долго нет самого – шла по следу искать, где он лежит.

Место наше бойкое – напротив палатки пристаёт “Алмаз”, привозит и увозит пассажиров, которых все меньше и меньше, торгует в нём крохотный буфетик, который, однако, с голоду помереть не даст: есть хлеб, конфеты, папиросы.

### **30 августа, пятница**

Вчера вечером Таня Новикова, она работает в научном стационаре по насекомым-вредителям кедра, вернулась уже в темноте. У нас был готов ужин, и была водка. Хорошо посидели у палатки. Таня – москвичка. Перебинтовывала у костра ногу. У неё сбоку колени – большая рваная рана. Ей зашили её в Иогаче, однако тут швы разошлись и рана мокнет, гниёт. Эта беспечность меня тут поражает у всех людей. Хотя я ведь в 20 лет был ещё беспечнее, не раз бесцельно рисковал не только здоровьем, но и самой жизнью: переплывал один Енисей у Красноярска, бросался с пихтушки на нижний сук кедра метрах в 12 от земли, прыгал ночью в кромешную тьму с товарняка, лез в драки на сверкающие ножи. Наверно, кому-то надо было, чтоб я уцелел.

Таня — крупная, круглолицая и улыбчивая девушка — рассказала, что 4 августа ушла в горы одна девчонка из Москвы. Звать её Юлия, она из Менделеевского. Решила почему-то повторить маршрут Юры Симукова: пройти в одиночку к вершине Абакана, выйти в Хакасию. Юрий тогда прошёл, написав после ребятам на озеро, что кровнику, самому злему врагу не желал бы такого маршрута. Вылез из тайги едва живым. А Юля, видно, погибла. Она должна была 24 августа дать радиограмму, что вышла. Не дала.

У неё не было ружья, хорошей карты. Она не может совсем ориентироваться в тайге. Первый раз вышла и через день спустилась. Попросила ребят, чтоб помогли ей найти рюкзак — она его, видите ли, потеряла, когда сбилась с тропы. Рюкзак ей нашли, вязали — не пускали, но она ушла.

Сегодня решили с Леной пройти за Каменный Стан. Это километров пять по реке вверх. Там, говорят, обвал был и если прорваться за него — есть рыба. Вышли утром пораньше. Тропа вдоль реки хорошая, торная. Мы двинулись шибко, идти хотелось по этой мшистой мягкой тропе, чтоб по сапогам ластилась таёжная трава и чуть дуло вдоль неё, и чтоб сердце не болело. На небольшом каменном прижиге увидели соболя. Он не слишком испугался, смотрел любопытно и независимо, будто знал, что его тут никто не тронет. Посидел на рябинке несколько секунд и неторопливо, но скоро пошёл зигзагами на ель, оттуда на сосну. Я залюбовался им, а собака, что была с нами, вся заиграла, затряслась, молча и нервно стала на задние лапы у сосны, смотрит то на нас, то на него, и каждое его движение провожает внезапно засиявшими глазами, и мелко дрожит, готовая взлететь туда, к вершинным мутовкам. Мы ушли по тропе, а Жучка, видно, долго гоняла соболишку и не понимала, почему мы его оставили. Мне рассказывали, что добрая собака очень обижается, если хозяин не может взять зверя. Иногда она от обиды даже убегает домой.

Позже собака догнала нас, и это было очень кстати. Она не обиделась, потому что была очень молодой сучкой, ещё не выработавшей в себе собачьего достоинства. Километрах в четырёх от начала тропы Жучка вдруг поджала хвост и уткнулась носом в наши ноги — на тропе желтел старый медвежий кал. Ну, не старый, а несколько дней назад, видно, прошёл тут Миша. Через сотню метров увидели совсем свежий след и почти парной кал — чистый орех. Пошли дальше, хотя этого делать не следовало, потому что через двести метров — новый след. И все по направлению от горы к реке. Он, видно, орешничал, а орех позывает на воду. Я встал след в след — здоровенный был медвежина! Решили вернуться. Сделали правильно, потому что возвращались бы мы в темноте уже, и мишка мог, конечно, напугать. Оружия у меня никакого, кроме перочинного ножа, и Лена посоветовала мне переложить его в ближний карман.

Чуть ниже медвежьей тропы поудил с полчаса, достал неплохого хариуса.

Вернулись.

### **31 августа, воскресенье**

В тайге уже много падунца — шишки, правда, падают пока слабые, порченные или самые спелые, но собирать уже можно. Жаль, что главная шишка сидит крепко, можно было бы кедроградцам готовить начинать. Ведь у них 300 тонн плана в этом году...

Зашли в Кедрач. Вот они, знаменитые кыгинские кедрсы! Давно уже я не испытывал такой радости при виде этого могучего дерева. Кедрсы тут, в самом деле, исполины. Диаметр у земли, считая наружные корневища, метров до пяти. И это не единичные деревья. Слышал я, что кыгинским кедром 500 лет, — не верил, но сейчас поверил. Это самый старый кедрач Сибири, и моя экскурсия — не пустое дело от одного того, что я увидел кыгинские уникальные древостои.

Влез в коряги, в траву и папоротники. Шишка была. Правда, часть — совсем пустые, часть — плесневелые, часть — с шишковой огнёвкой внутри, но орех брать можно было. Быстро, за час примерно, собрали полтора мешка. Половину этого я взял под самым большим кедром. Вершину его нельзя увидеть вблизи, и надо этого гиганта рассматривать со стороны, как гору. Шишка лежит беспорядочно: закатывается меж корневищ, на валежинах лежит и под ними, в папоротниках и в венце стрельчатом, в центре этих земных фонтанов. Шишка лёгкая и сухая.

На ветровальной лесине я сделал топором вырубку и рубель примитивный вырубил. Плащ-палатка пригодилась. Начал я шишку тереть, рушить, а Лена собирала ещё орех. Нахлынули воспоминания детства, когда я каждую осень орешничал, принимая как должное этот опасный и тяжкий труд. Ноги и руки дрожат, бывало, когда спускаешься с последней на дно кедрины...

На вершине струит меж хвои слабый ветер, коего внизу совсем не узреть, не учуять. Вершина, толщиной в руку твою, ходит, но кажется, что под тобой ходит лес и далекие синие холмы. Бывает, что вершины мягко обёрнуты в зелёный мох, тут пахнет смолой и пронзительной наштапырной свежестью, потому что мимо тебя струят к небу те добрые струи, что оживил кедр. Радостно добраться до кроны – это 6–8, до десятка шишек на самой вершине – и обрушить её, чтоб потом послушать, как шуршат по кроне шишки, и этот звук внизу затихает.

На высокий кедр лазил я – в ветер. Это ничего, только держись покрепче, и уже не перекликнешься со сборщиком – ветер срывает звук и уносит. На кедре становишься зверем, потому что ты один на один с лесным великаном и должен, чтобы не погибнуть, меньше думать, а больше доверять инстинкту. Иной сук, на который ты встал дрожащей ногой, вроде бы и толст, и с виду крепок, но обламывается у заболони, а иной и тонок, будто спица, а держит. Южные сучья крепче северных, и в дождь надо быть особо осторожным: кедр становится ломким в сырую погоду, хотя он и так ломок. На длинных боковых сучьях висят, бывает, добрые гроздьи и надо идти к ним, пробираться, как будто ты циркач, держась рукой за верхний сук, а то и просто за хиденькую хвоинку, если чуешь, что устоишь.

Когти я обычно не брал с собой – лазил с помощью ремня, а то и просто безо всего. Да ещё босым. Спускаться-то хуже – обдерёшь и руки все, и колени до крови, и живот. Только зарастает всё быстро, потому что покрывается кедровой смолой, живицей, заживляющей всё быстро и бесследно.

Про орех говорится: стоит высоко, висит далеко, кругом гладко, в середине сладко. Или: стоит дерево мохнато, в мохнатом-то гладко, в гладком-то сладко...

Мы заготовили килограммов 15 ореха, правда, наполовину почти пустого, но эта работа освежила мне запахи и краски желанные.

### **1 сентября, понедельник**

Мы выбрались из тайги к сумеркам. Перед отходом от овина услышали с озера частые выстрелы.

Вышли на берег – сплошная белесая пелена двигалась к Кыге, мелкий дождик сёк воду, а озеро покорно лежало под ним. Потом налетел ветер, и стало мутно кругом от воды, поднятой ветром навстречу дождю.

Застрекотал мотор у того берега, отделилась оттуда лодка – за нами. Это приехали Коля Телегин и Миша Твеленев, привезли рыбы свежей и хариуса в бумажке. Потом приехал Федя Ахмадиев, и к нашему костру подсел ещё Владик Воробьёв, и. о. зав. научного стационара.

Дождь кончился, и мы пировали до 2-х часов ночи, переговорили кучу разговоров, условились по многим делам. Это был один из самых интересных вечеров в этом году.

Владик Воробьёв – серьёзный, белобрысый паренек; хромой он отчего-то и настроен как-то отчаянно-терпеливо. Дела у него в стационаре неважные...

Стационар – последний заповедника. Чтобы как-то спасти дело, учредили этот стационар, который взялся за комплексную кедровую тему: почвы и кедр, кедровка и кедр, насекомые и кедр, флора и фауна в кедрачах. Но нет в сибирском отделении ни одного влиятельного учёного, который бы шефствовал над этой уникальной в своём роде работой. Каждому учёному киту нужен фактический материал из тайги, сбор информации. А ребята сами хотят этот материал использовать, сами хотят над ним думать. Кроме того, часть людей в стационаре работают с неохотой, с ленцой, и надо расставаться с ними.

Владик долго бился, чтоб Кыгу сделали заказником. Тут уникальный кедрач, тут зверьё непуганое, тут около десятка реликтовых эндемичных доледниковых растений. Заключил договор с Управлением лесным о заказнике в 4000 га, но это кошачьи слёзы. Хотя бы 15–20 тысяч...

Коля Телегин приглашает нас с Леной подняться лошадьми по профилю Владика, я согласился без особого восторга – боясь подъёма с моим серд-

цем, кроме того, на гольцах уже лёг снег: М. и Б. Камошта, Алтын-Ту покрылись снежными шапками. Можно за несколько дней сформировать порок сердца, а оно мне ещё нужно. Сидел я с ребятами и вспоминал ЦДЛовских чижигов-пыжиков. Какая разница в темах бесед, в характерах, в целях! Содружество “лесных братьев” крепнет.

#### **4 сентября, четверг**

Ловили рыбу. Погребу немного, и заболит сердце, поэтому на вёслах все время Лена. Когда вода лоснится, и на ней живут странные чёрно-голубые блики, хариус не берёт мушку, видит. Иногда он только играет с ней, но не берёт. А начнётся клёв – только успевай-вытаскивай, и досадно, что самодур – такая несовершенная снасть.

Попадают очень крупные хариусы, однако у меня нет сачка, и они обрывают крючки. Стало холодать. Когда солнце проглянет, внизу тепло, но стоит ему зайти – и с гор тянет прохладой. Интересно, что при взгляде на снег, что сияет на вершинах гор, холодит лоб. Это удивительное явление особенно замечаешь, когда наводишь на вершину Калюшты бинокль.

Надо трогаться домой, а то совсем припозднился.

Уехали с “Алмазом” и по пути встретили “Лесоруба” – на нём едет Николай Телегин. Что делать, если так получилось.

Остановились в Яйлю, переночевали в комнате Феди Ахмадиева. Не знаю, отчего спалось плохо, хотя под боками были не камни, а матрацы и хорошие панцирные сетки. Думаю, что это оттого, что месяц мы спали на чистейшем горном воздухе, а тут всё же комната – клетка. Нет, человек, если уже не может жить под звёздами постоянно, должен хоть раз в году бросать свои каменные города и поселяться под небесным сводом!

Яйлю – по-алтайски “летник”, тёплое место. Среднегодовая температура здесь +4,4 градуса, то есть как в Подмоскowie. Правда, расположена Яйлю южнее, и солнце здесь выше ходит. Десятилетиями тут был неторопливый уклад жизни. Наблюдатели и лесники заповедника ловили рыбу – это была работа, прогуливались по тайге – грубоватый, самовластный человек разворошил тут всё. Он хочет оживить эти места, развил бешеную деятельность, однако много противоречивого тут можно услышать о его делах. Неплохая идея: посадить 500 га садов на правой стороне озера, однако много, очень много скептиков. Николай Павлович Смирнов, на что уж энтузиаст садового дела, однако и он сомневается в правильности методов освоения Бели. Костя (Константин Рослик, директор заказника. – **Е. Ч.**) хочет посадить там 150 га садов, 35 уже посадил, но главное – не посадить, а вырастить. Затеял там строительство, хочет поселить 30 семей, но им же каждой нужен покос и огород, иначе жить никто не будет. Н. П. предлагает ориентироваться на привозную сезонную рабочую силу. За счёт чего Рослик хочет выйти в коренники? Конечно, за счёт уничтожения природы! В этом году он рубил и в прошлом кондовый кедрач в Кыге на бочковую клёпку. Ложит там много могучих деревьев не вывезенными, а часть – с выпиленными лучшими местами ствола – в 3–4 ряда. Остальное брошено гнить. И это в заказнике! Сейчас Костя хлопочет, чтобы оттягать у Кедрограда Телецкое лесничество – ему нигде так удобно не подходят кедрачи, как по Колдору – напротив Яйлю. Но это уж дудки! Ещё одно хорошее дело он затеял: запустить в озеро байкальско-го омуля, но, кажется, у него нет ихтиологических материалов. Будет ли тут жить омуль? Есть ли ему еда? Телецкое озеро, – киндер-Байкал, но тут совсем нет соров, знаменитых байкальских рыбных пастбищ.

Каждый из моих знакомых яйлинских живёт своими заботами. Толя Малаховский, бывший директор Кедрограда, чьим гостеприимством мы тут пользуемся, собирается уезжать в Красноярск: его не удовлетворяет работа в Яйлю – мало её.

Федя Ахмадиев хочет учиться. Собирается поступать на философский факультет МГУ. Парень в юности болел туберкулёзом, два года на поддувке был, уехал на свежий воздух и сильно работал. Так работал и так зарабатывался, что к вечеру он был весь мокрый и руки-ноги гудели. Это состояние было приятным для организма – он хорошо, без просыпу спал. Стал каждый день ложиться в таком состоянии. Вначале ел через силу, потом появился аппетит. Фаталист. Убил двух медведей. Когда первый медведь после выстрела пошёл на него – он обрадовался, что сам его убьёт, потому что идёт на сближение

зверь, а не убегает. У него был карабин пятизарядный, который он брал напрокат (по 10 коп. в сутки) и четыре патрона ещё. Медведь встал и медленно и гордо пошёл на него. И молча. Федя палил в него, хорошо целясь, а медведь шёл. Потом начали стрелять сбоку. Федя близко видел его глаза: он смотрел не злобно, а как человек – мужественно, спокойно, и была в этих глазах решимость встретить смерть достойно. Потом медведь свалился.

– Ты вправду не испугался, когда он на тебя пошёл?

– Нет, обрадовался. И ты знаешь – я ещё ни разу в жизни не испытал страха. И очень хочу узнать, что это за чувство. Я думаю зарезать медведя ножом.

– Брось ты!

– Вправду. Не успокоюсь, пока не зарезу.

Он любит народные песни – русские, татарские, украинские, любит краски в горах, читать любит. И любит – глубоко и потаённо – одну женщину в Уймени. Я её встречал. Это вдова уйменского киномеханика, который два года назад погиб глупо: его выбросило из кузова машины на крутом повороте и – об камни. Остались жена и ребёнок. Федя никак не может вырваться в Уймень для решительного разговора.

Рослик уехал в Сталинградскую область за садоводческим опытом, Малаховский часть дороги был с ним, потом с ангиной вернулся, и Федя тут отдувался за них обоих.

Зашли с Федей в столярку, по пути расколотив у магазина пустой ящик из-под водки. Федя ловко обстрогал доски, принёс гвоздей и молоток, сбил узкий ящичек – и всё это ловко, споро. Пошли мы с ним в питомник и накопили кедров-трёхлеток. Заложили переселенцев мхом, намочили. Я за ними и заехал в Яйлю.

Виталий Скрипнюк приехал на моторке – весь мокрый и встрепанный. Он извиняется, что не приехал, когда мы его ждали, – зашился. Причина уважительная вполне. Дело в том, что краевое управление лесного хозяйства (Вашкевич) решило “оказать всемерную помощь” Кедрограду в сборе урожая – ведь ореха не было два года, и тут, конечно, надо ухватить. Не обеспечило ни мешками, ни сеткой, ни продуктами, а начали гнать людей в Кедроград, в том числе и к Виталию Скрипнюку. Приезжают бабёнки-неумеги, девочки в босоножках, да и мужики им под стать – сроду кедра не видывали. Наивно представляют себе жизнь в тайге.

– Откуда у вас можно позвонить?

– Ниоткуда.

– То есть?

– Куда вам надо звонить?

– В Барнаул.

– Невозможно.

– Ну, не разыгрывайте!

– Зачем вас разыгрывать?

– Как же вы связь держите?

– По радио.

Или:

– Скоро машина за нами придёт?

– А куда вам?

– Да на орех этот проклятый.

– В тайгу стал-быть?

– Ну, да.

– А какую вы машину ждёте?

– Ну, ехать-то на чём?

– На своих двоих. Дороги туда нет.

– Но женщин-то можно на лошадях подбросить?

– А они верхом могут?

– А что, у вас телег нету, что ли?

Общий хохот. Телеги! Тут есть урочище по названию “Медведь-не-пройдёт”, а они – телеги!

Костёр у них не горит, на кедры лазить не могут. Один ухарь залез, а слезть не может. Сидел полдня, полезли за ним. Другой пропал в 200 метрах от тропы. Напарники его ушли, а он хотел ещё шишку подобрать и догнать. Отошли метров 200, подождали с полчаса – нету. Пришли на место,

одежда его тяжелая лежит, мешок, а его нет. Давай кричать, потом стрелять, потом искать — как в воду канул. Четыре дня уж нет, и надо организовывать поиски. Короче, народишко этот бежит, не заготовив ни одного орешка. Вот что значит приспособляемость!

### **5 сентября, пятница**

Перед отъездом из Яйлю Федя Ахмадиев предложил нам лодку. Мне очень хотелось посмотреть Камгинский залив и полуостров Чичелган.

Полуостров покорила меня своей красотой, своеобразными скалами в озере, прекрасной бухтой — тихой, устланной синей галькой, — близостью к Яйлю и Камге. Я размечтался о том, чтобы поселиться здесь хотя бы на несколько лет, с лодкой, сетями, ружьями, приёмником. И писать. В течение пяти лет я должен эту мечту осуществить. Лена хмурится. К сумеркам двинулись в Иогач. Дул встречный ветер, “низовка”, было люто холодно.

— Я не плаваю хмельной, нельзя. А так — в любую осеннюю погоду, до самых зимних штормов. Мы с Виталием тут все предсказания опровергли. Сколько раз мне говорили: не плавай, подожди утра, пропадёшь, глянь, какая волна пошла. А плыть надо. Плывёшь. И старожилы потом потянулись за нами. Но, правда, опрокинуться тут страшно — не выплывешь. Сто метров самое большее проплывёшь — и ко дну. А со дна тут почему-то никто ещё не подымался. Так озеро забирает, и с концом. Такая вода, что ли?

Приехали уже в темноте. Ребята нас ждали с “Алмазом” и разбрелись, кто куда. Однако собрались к ночи. Я был всё ещё под впечатлением последнего подарка золотого озера. Когда мы проплывали мимо Змеиной горы, что вздымается на полпути меж Яйлю и Иогачем, — она вдруг осветилась закатными лучами, облилась кровью и засияла. Мы ахали, охали, пока гора не погасла и не стала чёрной. . .

Перед тем как отправиться спать, встретились с Европой. Мы сидели на брёвнах в полутьме, палили сигаретки, когда подошли двое: Миша Твеленев и с ним кто-то в бороде, похожий на Бережного. Нас было пятеро: Ого Юст, эстонец, Виталий Скрипнюк, украинец, Федя Ахмадиев, татарин, нас двое русских. Этот тип в бороде представился:

— Юнг. Чистый немец.

— Это хорошо, что сам немец считает, что он чистый, — сказал я; мне не понравился какой-то особенный нажим на слове “чистый”.

— Не понял вас, — сказал Юнг с акцентом.

Я повторил, но понял, что это не немец с Поволжья или Одессчины, а немец оттуда.

— Как вы сюда попали? — спросил я, ещё не зная, прав ли я в своей догадке.

— О! Это пыль отшень трутно! Снакомый тшеловек помог.

Мы пошли на ночлег в арендованную комнату Телегина. Он, этот Юнг, ни с того ни с сего произнёс:

— Россия меня плёхо кормит.

— Россия многих кормит. И досыта, — сказал я, и даже мне самому слышался в моём голосе металл. — Может быть, зря.

Юнг не успокоился и стал мне по ходу разговора кидать одну кость за другой, и я их грыз, зло и победно. Он выступил подряд с такими тезисами:

— Советские студенты живут хуже студентов ГДР.

— Наши пленные помогли вам восстановить хозяйство.

— Объединённая Германия обгонит все страны. И т. д. и т. п.

Ну, я ему дал по мозгам. Ребята помалкивали, но я понял, что они слишком вежливы. Он, оказывается, в ПИБ приехал добровольно, на положении нашего инженера живёт. Это мечта для многих зарубежных специалистов — получить такой простор. Сейчас он руководит группой студентов — работает что-то по пожарам. Но я бы его не пускал сюда.

Ребята рассказывают, что был тут в Яйлю министр иностранных дел ГДР, жил целый месяц, отдыхал, ловил рыбу и вёл себя как человек.

### **6 сентября, суббота**

Были сборы полдня, разговоры. Потом невероятной силы уха у Юста с огромной головой тайменя и прощальный телецкий вальс.

Лена стояла на мосту и только приседала от страха. Я сел в лодку к Фе-



де, а на другой были Скрипнюк, Твеленев и Ого. Мы выехали на полном газу в исток Бии, там уже шумела и бурунилась, вся в зелёных до самого, верно, дна, завитках густая тельцакая вода. Под нами она превращалась в бийскую, бурную, пенную, и мы поддавали шороху: резали её кругами и на отдельные ковриги, гладили, били днищами, взбалтывали моторами. Моторы – бедные – выли, когда выскакивали на валах из воды, захлёбывались и будто жаловались на своих неразумных хозяев. Мы шли на таран несколько раз, пробовали пробить бока друг другу и снова шли след в след мирными кругами. Ветер свистел и брызгами обдавало. Лена глядела расширенными глазами, что-то кричала, но не было слышно. Хорошо!

Добрались до Турочака к ночи на машине, которую арендовал Миша Твеленев до Бийска. Заночевали все, а утром Миша укатил.

### **7 сентября, воскресенье**

В 3 часа алтайского времени сели на “Антон” в Турочаке, сделали пересадки в Барнауле и Новосибирске и – чудо нашего времени! – в 10 вечера московского были в Москве.

Вспоминаю свою поездку, оздоровлённо и свежо думаю о моих друзьях-товарищах, жалею, что писал этот дневник торопливо, небрежно – эка леньматушка! – и в памяти всплывают отдельные люди, встречи, фразы, что не успел записать...

Н. П. Смирнову перед отъездом я отдал свой боезапас для “Белки”. Он принял патроны в широкие ладони и сказал:

– Приезжайте. Через пять лет приедете – целы будут... Ваша жена собралась Людочке какой-то подарок купить! Не надо, прошу. Мы и не в такой бедности жили, а обидно. Вы меня поймёте...

Или собачья драка...

Или...

Самая красивая охота, наверное, на марала. Я на неё не попал – не начали ещё кричать быки. Рогач в эту пору – числа с 5 сентября – идёт на рог. Он трубит сам и бежит на звук. Трубка делается из болванки берёзовой, которая стачивается на конус, вытачивается в ней середина и, разрезанная, соединяется (палочками?). Трубка длинная, более полуметра и идет острым конусом на расширение, которое см 7–8 в диаметре. Звук – не то плач, не то пение, не то предсмертный крик – протяжен, необычно тонок, переливчат и ничего не напоминает. Марал идёт на него, и очень важно так встать, чтоб ветер дул с его стороны. Он безошибочно придёт на звук. И надо не только не замереть, а, наоборот, ходить, ломать валежины, через кусты продираться, будто это рогач, готовый, с нетерпением ждет брачного боя. Виталий Скрипнюк был на такой охоте, когда Шерстобитов (охотник. – **Е. Ч.**) прямо в лоб завалил семигодовалого самца. Виталий, замерев, сидел в кустах, а Шерстобитов, воткнув в бороду трубку, с усилием, надувая жилы на лбу, вытягивал из трубки через тонкое отверстие звучащий воздух. (Я пробовал дудку – нужно здорово раздуть легкие – работает всё: ноздри, губы, язык, щёки, лёгкие, рёбра расходятся аж – это нужно искусство).

Рогач появился тот раз неожиданно, будто тайга родила его тут же, на звук: беззвучно и тихо выросли за кустами рога, они невесомо качались на фоне неба, и никто бы не дал им весу два пуда. Рогач с недоумением всматривался в полянку, где ожидал увидеть противника. Кровь в нём уже кипела и сердце набирало разгон – копыта остры, рога тяжелы, шея бугрилась тяжёлыми долевыми мускулами, мгновенно взбухавшими и медленно, будто остывая, опадавшими.

Он смотрел всего несколько секунд, И уже был подан сигнал ногам – взметнуться и назад. Через долю секунды – не догнать бы его. Но грянул выстрел. Его ровная и слабая лобная кость была проломана, вспыхнуло солнце последний раз, и бык опустился на колени, и всё вытягивал и вытягивал морду к человеку, стелил её, прижимал к земле.

И так тихо и кротко опустился сам, не дрогнул, а просто замер, как скульптура.

*Путевые заметки подготовила к публикации Е. Чивилихина.*

ИРИНА МЕДВЕДЕВА,  
ТАТЬЯНА ШИШОВА

## ЧИТАЙТЕ ХАКСЛИ!

Есть произведения, которые мало кто читал, но о которых все знают. Например, “Илиада” и “Одиссея” Гомера, “Дон Кихот” Сервантеса, “Божественная комедия” Данте. Когда-то эти книги зачитывали до дыр, а куски из них заучивали наизусть в гимназиях и лицеях. Как знать, быть может, их время ещё вернётся? Но на сегодняшний день для широкой публики это, скорее, история литературы.

Книга Олдоса Хаксли “Прекрасный новый мир” (не сопоставимая, конечно, по литературным достоинствам с перечисленными шедеврами) – это сходный случай. Её тоже далеко не все читали, но заголовок книги стал популярным выражением, когда хотят дать ироническую или даже саркастическую оценку каким-то странным современным новшествам. Что, впрочем, немудрено, ведь “Прекрасный новый мир” относится к жанру романов-антиутопий – таких романов, где образ возможного будущего рисуется весьма непривлекательно, если не жутко. Антиутопия выделяет наиболее опасные, с точки зрения автора, общественные тенденции и теоретически направлена на то, чтобы предотвратить их укоренение и развитие.

Именно так мы и относились к роману “Прекрасный новый мир” (или “О, дивный новый мир” – в другом переводе) и даже дали аналогичное название одной из глав своей книги “Потомки царя Ирода”, разоблачающей политику “планирования семьи”. Поэтому для нас было неожиданностью, что известный американский оппозиционер Линдон Ларуш и его соратники считают Хаксли вовсе не обличителем идеи “прекрасного нового мира”, а одним из его главных проектантов, разработчиков, пропагандистов. То есть не борцом со злом, а, напротив, его творцом.

Мы перечитали роман, а поскольку к этому времени нам уже было известно довольно много и о контроле над рождаемостью в разных странах, и о школьном секс-просвете, и о новых технологиях обработки массового сознания, и о других глобализационных процессах, мы испытали состояние, близкое к шоку, увидев, сколь многое из того, что автор насочинял в далёкие 30-е годы XX века, уже сбылось. При первом прочтении, когда мы ещё всего вышеперечисленного не знали, а о многом даже не догадывались, книга Хаксли была нами воспринята как некая развёрнутая метафора или, скорее, фантазмагорическая гипербола. В общем, как то́, чего в принципе не может быть, но что позволяет лучше донести до читателя авторскую мысль. Скажем, когда в сви́фтовском “Гулливере” встречаешь великанов, лилипутов, ясно же, что

это сатирические образы, символы. А теперь представьте: вдруг бы оказалось, что это не выдумка, а реальность? Что действительно существовали специальные лаборатории, в которых выводили и тех, и других...

### **Краткое содержание и некоторые аналогии**

Но вернёмся к роману Хаксли и проведём небольшой сравнительный анализ. Действие разворачивается в Лондоне в некоем далёком будущем. Люди, живущие там, не рождаются естественным путём. Их штампуют на так называемых человекофабриках и с младенчества определённым образом воспитывают. В этом обществе все люди счастливы, поскольку там устранены факторы, порождающие печали и скорби: голод, нищета, болезни, старение, человеческие страсти. Ну, а если какие-то психологические проблемы всё же возникают, они легко устраняются с помощью безвредного наркотика – сомы. Однако есть ещё места, где люди живут по старинке. Один такой человек попадает в “прекрасный новый мир” и становится там настоящей сенсацией. Дикарь, как его прозвали представители новой цивилизации, не может и не желает её принять, несмотря на все удобства и преимущества, которые она сулит. Он глубоко страдает в мире всеобщего благоденствия и, в конце концов, накладывает на себя руки.

Ну, а теперь, кратко изложив содержание, приступим непосредственно к анализу и посмотрим, что из описанного уже осуществилось, что на подходе, а что так и осталось авторской фантазией. Пойдём прямо по тексту романа. Вот как он начинается: “Серое приземистое здание – всего лишь в тридцать четыре этажа. Над главным входом надпись: “Центрально-лондонский инкубатор и воспитательный центр”, на геральдическом щите – девиз Мирового Государства: “Общность, одинаковость, стабильность”.

Директор водит по зданию студентов и показывает им, как зарождается жизнь в “прекрасном новом мире”. Им предстоит тут работать, и надо дать им общую идею, чтобы они делали дело с пониманием. Но надо дать “лишь в минимальной дозе, иначе из них не выйдет хороших и счастливых членов общества. Ведь, как всем известно, если хочешь быть счастлив и добродетелен, не обобщай, а держись узких частных; общие идеи являются неизбежным интеллектуальным злом. Не философы, а собиратели марок и выпиливатели рамок составляют становой хребет общества”.

Вам последняя сентенция не напоминает установку на узкий профессионализм, которая на Западе давно стала привычным нормативом, а у нас пока ещё не прижилась, но усиленно пропагандируется?

### **Плановое человекопроизводство**

О других вышеупомянутых реалиях (воспитательный центр, мировое государство) поговорим позже, а сейчас пройдем вместе со студентами в инкубатор. Конечно, пока ещё детей не выводят так, как описано у Хаксли. На технологии процесса мы вообще бы не стали фиксироваться. На наш взгляд, это не принципиально. Принципиален отказ от нормального, естественного зачатия и рождения, переход в этом вопросе на плановую экономику и поточное производство.

Что касается зачатия, то ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) уже стало не уникальной, а вполне рядовой, даже привычной медицинской процедурой. И вот парадокс: поскольку ЭКО преподносится как возможность для бесплодных женщин обрести материнство, по логике вещей следовало бы, не отказываясь от этой технологии, бросить все силы на борьбу с бесплодием и устранить те факторы, которые его вызывают. А вызывают его – это вам скажет любой акушер-гинеколог – раннее начало половой жизни, смена партнёров и сопутствующие “дурные болезни”. Самой надёжной профилактикой бесплодия является целомудренная жизнь. Но вместо целомудрия везде пропагандируется разврат. Есть также данные о том, что бесплодие может вызываться генетически изменёнными продуктами и даже прививками. Но вместо того, чтобы провести широкомасштабные независимые исследования, эту тему всячески замалчивают. А учёных, которые её пытаются поднять, притесняют.

ют и запугивают. Парадокс? Это как посмотреть! Если строить будущее по лекалам Хаксли, то всё логично. В “прекрасном новом мире” искусственное оплодотворение должно вытеснить естественное. Пока этого ещё не произошло, но тенденции именно таковы. ЭКО признано самым эффективным методом решения проблемы бесплодия, а поскольку число бесплодных пар увеличивается, то, соответственно, возрастает и число *детей из пробирки*. На данный момент таких детей в мире уже 1 миллион, в год появляется около 30.000. В основном, конечно, в развитых странах. У нас лоббисты новых репродуктивных технологий тоже стремятся урвать из бюджета как можно больше средств. Но поскольку бюджет ограничен, как-то так получается, что суммы, выделяемые на лечение бесплодия, приходится урезать. Традиционно настроенные специалисты возмущены: почему? А потому, что они не читали Хаксли и не чувствуют веяний времени.

С противоестественным рождением детей дела пока обстоят не так успешно, но работы ведутся. “Клонировать людей всё равно будут, – уверяют учёные. – Запрещай–не запрещай!” Вот что пишет публицист Иван Леонов: “Летом 2009 года BBC News сообщило о сенсационном достижении британских биологов из университета Ньюкасла: под руководством профессора Karim Nayernia создана искусственная сперма человека из стволовых клеток. Стволовые клетки были выделены из эмбрионов человека возрастом несколько дней, оставшихся после экстракорпорального оплодотворения. “Нам впервые удалось создать жизнь при помощи искусственной спермы”, – заявил в интервью BBC профессор Nayernia. Подобные опыты проводятся в США, Японии. СМИ тут же подхватили сообщение, причём на самом бульварном уровне. Теоретически подобная возможность оплодотворения таит в себе огромные возможности, захлёбываются от эйфории СМИ. Это означает, что ребёнок может родиться без участия мужчины или донорской спермы. Будет решена проблема мужского бесплодия. В будущем планируется подобным образом вывести здоровую, способную к оплодотворению женскую яйцеклетку, чтобы решить проблему бесплодия многих женщин” (Иван Леонов. “О Международных конгрессах по репродуктивному здоровью” [www.rusline.ru/analitika/2012/02/11/put vo tmu/](http://www.rusline.ru/analitika/2012/02/11/put vo tmu/) )

Наряду с подобными изысканиями число естественных рождений уже заметно сократилось, ведь появление на свет путём кесарева сечения – это тоже, согласитесь, не вполне естественные роды. Во многих странах так теперь рожают до 50–60% женщин! При этом убивают сразу двух зайцев: женщин, по сути, отучают от естественных родов, внушая, что рожать естественным образом опасно. Хотя на самом деле кесарево сечение, представляющее собой полостную операцию, гораздо опаснее для матери (поскольку рубец на матке может в дальнейшем создавать серьезные проблемы женского здоровья) и даже для ребёнка, у которого при резкой перемене давления нередко возникают различные мозговые нарушения вплоть до микрокровоизлияний в мозг. Кроме того, кесарево сечение позволяет достаточно эффективно сокращать рождаемость, так как следующая беременность после него рекомендуется не раньше, чем через 2–3 года. А порою и вовсе не рекомендуется. Собственно, поэтому творцы “прекрасного нового мира” и взяли эту операцию на вооружение.

К слову, плановая экономика в области демографии, казавшаяся такой фантастичной в романе Хаксли, теперь никого не удивляет. Китай несколько десятилетий жил под лозунгом, приравненным к приказу: “Один ребёнок на семью”. Сейчас из-за возникших демографических перекосов план по деторождению несколько изменился, но планирование всё равно не отменено. О необходимости ускоренными темпами сокращать рождаемость в тех или иных странах открыто говорится с трибуны ООН. В Индии недавно запущена новая программа, направленная на мужчин: “Автомобиль в обмен на стерилизацию”. Новизна, впрочем, относительная. Подобные мотивационные акции начали проводить ещё при жизни Хаксли. Правда, тогда награда выглядела скромнее. Могли предложить коробку мыла или элементарную медицинскую помощь для уже рождённых детишек. Кстати, количество обитателей “прекрасного нового мира”, озвученное в романе, составляет 2 миллиарда человек. Интересно, что именно эта цифра на протяжении многих десятилетий приводится в качестве оптимальной сторонниками идей Римского клуба, выпустившего в 60-е годы доклад “Пределы роста”, с которого, собственно,

и начались программы планового сокращения рождаемости на Земле. Но Хаксли-то назвал эту цифру на 30 лет раньше!

Пожалуй, нам стоит двинуться за студентами в следующий зал: зал Предрепроделения, где зародыши помещаются в заведомо неравноценные условия, поскольку они, когда созреют, должны принадлежать к разным кастам и обладать запрограммированными свойствами, чтобы эффективно выполнять предназначенную для них работу.

О том, что глобалистское общество будущего, представляющее собой Мировое Государство, которое упоминалось в самом начале романа, должно быть кастовым, пока официально не говорится. Об этом можно прочитать в антиглобалистской литературе, но чтобы избежать обвинений в конспирологии, мы эту тему педалировать не будем. Скажем только, что гениальная инженерия успешно развивается, и возможность заказать определённые внешние данные и даже дарования своего будущего ребенка становится всё более представимой.

### Формирование “правильных” установок

Теперь пройдем за студентами в “Младопитомник”. Залы неопавловского формирования рефлексов. Автор описывает жуткую процедуру выработки у младенцев касты “дельта”, одной из низших каст *brave new world*, отвращения к книгам и цветам. То есть к знаниям и к природе. Восьмимесячных младенцев привозят в зал, где стоят прекрасные розы и лежат книжки с яркими иллюстрациями. И когда малютки доползают до них, их пугают звуками воющей сирены, а потом, чтобы закрепить отрицательный рефлекс, включают подведённый к полу ток. И вскоре, когда малышам уже без сирен и тока показывают вазы с цветами и картинки, они съёживаются от ужаса и начинают реветь.

Тут, наверное, кто-нибудь возразит: дескать, в реальности до сих пор младенцев сиренами не пугают и током не бьют. Что правда, то правда. Но сам принцип образной и понятийной склейки чего-то прекрасного, возвышенного с тем, что вызывает презрительный смех или даже отвращение, стал одним из главных принципов обработки массового сознания с самого раннего возраста. И наоборот: современная масс-культура целенаправленно приучает детей любить безобразное. Все эти монстры, киборги, человеки-пауки, черепашки-ниндзя, куклы Братц, трансформеры и т. п. благодаря широкой рекламе становятся для детей чем-то крайне заманчивым, притягательным, вождельным. В результате у них не только портится вкус, но и искажаются ценностные ориентиры, деформируются психика и личность. Причём происходит это именно в том направлении, в котором сызмальства формировали психику граждан “прекрасного нового мира”. Что характерно для их психологии?

Прежде всего, это идеальные потребители. Хочется особо отметить, что в конце 20-х годов, когда писался роман, никакого *общества потребления* в мире не было и в помине. Америка приближалась к Великой депрессии, Европа никак не могла оправиться после Первой мировой войны и двигалась в сторону фашизма, в России только начались индустриализация и коллективизация, так что потреблять было особенно нечего и не на что. Подавляющее большинство прочих стран и вовсе были колониями, где царили страшная эксплуатация и нищета. Хаксли же удивительно точно описал то, что стали создавать через три-четыре десятилетия. Он даже четко продемонстрировал, как в этом обществе потребности не только удовлетворяются, а – что принципиально важно! – **формируются** при помощи манипуляций сознанием. Любопытно, правда?

Путём гипнопедии – внушения во сне (сейчас с этим успешно справляется телевизор, вгоняющий человека в транс, в котором внушение особенно сильно действует) – героев Хаксли приучали постоянно потреблять, любить все новое. “Овчинки не стоят починки. Чем старое чинить, лучше новое купить. Прорехи зашивать – беднеть и горевать”, – эти и другие установки ежедневно получали дети в рамках нового нравственного воспитания. И усваивали их на всю свою счастливую жизнь.

Что-то, а уж это осуществилось на Западе, и особенно в США, по полной программе. Да и у нас потребительская психология стремительно оккупирует человеческие души. Разве что бедность пока мешает этой психологии

стать массовой. Ну, а кто побогаче, те выбрасывают на помойку не только сломанные вещи и приборы (которые можно было бы починить), но и вполне исправные, потому что они, как теперь принято выражаться, “морально устарели”. И делают это с каким-то особым чувством: дескать, именно так должны теперь жить *белые люди*.

Кстати, какое вроде бы идиотское словосочетание: “морально устареть”! При чём тут мораль? Но, исходя из логики “прекрасного нового мира”, это не такой уж абсурд. Во всяком случае, какая-то, пусть и косвенная, связь с моралью здесь существует, поскольку отлынивать от постоянного обновления вещевого арсенала аморально для потребителей. Праведный потребитель должен потреблять постоянно, иначе по какому праву он небо коптит? В связи с этим и отучение от книг приобретает дополнительный смысл. О том, что невежественной чернью, у которой не развито мышление, легче управлять, знали ещё в древности. Но для общества потребления культура неприемлема ещё и тем, что (цитируем Хаксли) “сидя за книгой, много не потребишь”. Особенно за серьёзной книгой, которую нельзя просмотреть по диагонали.

Хаксли рисует общество, в котором не знают и знать не желают о Шекспире, историю презирают и тоже выбрасывают на помойку как морально устаревшую. “История, – заявляет Постоянный Главноуправитель Западной Европы, один из десяти Главноуправителей мира, – сплошная чушь... Он сделал сметающий жест, словно невидимой метёлкой смахнул горсть пыли, и пыль та была Ур Халдейский и Хараппа, смёл древние паутинки, и то были Фивы, Вавилон, Кносс, Микены. Ширк, ширк метёлочкой – и где ты, Одиссей, где Иов, где Юпитер, Гаутама, Иисус? Ширк! – и прочь полетели крупинки античного праха, именуемые Афинами и Римом, Иерусалимом и Средним царством. Ширк! – и пусто место, где была Италия. Ширк! – сметены соборы; ширк, ширк! – прощай, “Король Лир” и Паскалевы “Мысли”. Прощайте, “Страсти”, ау, “Реквием”; прощай, симфония; ширк! ширк!..”

В наши дни это уже вовсе не фантастика. “Человек толпы”, ещё двадцать лет назад стеснявшийся своих ограниченных знаний в области науки, культуры и искусства, теперь немало этим не смущён. А тех, кто такими знаниями обладают, презрительно называет “ботаник”. (Нет ли и тут отдалённой переклички с Хаксли? Ведь малышам касты дельта прививали нелюбовь именно к растительному миру, к ботанике, поскольку плановому потребительскому обществу нужно, чтобы его члены, выезжая за город и, соответственно, загружая транспорт, не любовались цветочками и листочками, а занимались такими видами спорта, которые требуют дорогого оборудования и инвентаря).

### **Взрослые и детские забавы**

Но люди, насыщенные хлебом (а голод, как мы уже упоминали, в “прекрасном новом мире” побеждён), требуют зрелищ. Правители и об этом позаботились. “Летишь вечером в ощущалку, Генри? – спрашивает один герой другого. – Я слышал, сегодня в “Альгамбре” первоклассная новая лента. Там любовная сцена есть на медвежьей шкуре; говорят, изумительная. Воспроизведён каждый медвежий волосок. Потрясающие осязательные эффекты”.

Ну и что? Разве, глядя из сегодняшнего дня, мы усматриваем в этом нечто небывалое? В последние годы только и слышишь про спецэффекты в кино, причём нередко в таком контексте: фильм, дескать, не ахти, зато спецэффекты потрясающие! Осязательных, правда, пока не добились, но это, как уверяют учёные, дело недалекого будущего. А вот запахи и трёхмерное изображение, создающее так называемый “эффект присутствия”, – это сколько угодно. В Японии даже появилась первая виртуальная певица. Её не только слышат, но и видят. И не на экране, установленном на сцене, а как живую. Голосок ещё немного ненатуральный, электронный, но наука развивается и в этом направлении.

Фиксация именно на эротической сцене в ощущалке тоже не случайна. В конце 20-х годов прошлого века это свидетельствовало об очень смелой фантазии автора и в реальном кино было совершенно непредвиденным. Сейчас же, напротив, почти не встретишь фильма без подобных сцен. Даже если они совсем ни к селу, ни к городу и производят впечатление чего-то вымученного. Как будто этого требует цензура (которой якобы нет): не вымарать, а на-

оборот – вставить “сексуальный стимул”. Впору вспомнить советское время, когда в любую диссертацию, даже на тему совершенствования доменных печей, полагалось вставлять цитаты из классиков марксизма-ленинизма. Без этого диссертационную работу не принимали в ВАК (Высшую аттестационную комиссию). И делалось это не из-за прихоти какого-нибудь марзматического чиновника, а потому, что вся жизнь в государстве должна была быть пронизана марксистско-ленинской идеологией.

А в “прекрасном новом мире” в качестве важнейшей идеологической составляющей выступает тотальная сексуализация. Детей с самого нежного возраста обучают основам секса. В странах Запада это уже давно не подлежит обсуждению. “Секс-просвет” входит в программы дошкольного воспитания где-то – с пяти, а где-то – и с трёх лет. Во второй половине 90-х годов пришлось приложить огромные усилия к тому, чтобы наша страна не последовала этому примеру. Всё было готово: от программ, наскоро переведённых с английского и голландского языков, до обучающих мультфильмов и мультяжей. Но, слава Богу, планы эти реализовать не удалось, хотя периодические вылазки “просвещенцев” в школы происходят. А в журналах для родителей можно прочитать о том, что ни в коем случае не надо препятствовать эротическим детским играм, поскольку они якобы способствуют нормальному взрослению ребенка.

Что ж, Хаксли выразительно описал в своём романе и такие развивающие игры: “В траве на лужайке среди древовидного вереска двое детей – мальчик лет семи и девочка примерно годом старше – очень сосредоточенно, со всей серьёзностью учёных, углубившихся в научный поиск, играли в примитивную сексуальную игру.

– Очаровательно, очаровательно! – повторил сентиментально Директор.

– Очаровательно, – вежливо поддакнули юнцы. Но в улыбке их сквозило снисходительное презрение. Сами лишь недавно оставив позади подобные детские забавы, они не могли теперь смотреть на это иначе, как свысока. Очаровательно? Да просто малыши балуются, и больше ничего. Возня младенческая.

– Я всегда вспоминаю, – продолжал Директор тем же слащавым тоном, но тут послышался громкий плач.

Из соседних кустов вышла няня, ведя за руку плачущего мальчугана. Следом семенила встревоженная девочка.

– Что случилось? – спросил Директор.

Няня пожалала плечами.

– Ничего особенного, – ответила она. – Просто этот мальчик не слишком охотно участвует в обычной эротической игре. Я уже и раньше замечала. А сегодня опять. Расплакался вот...

– Ей-форду, – встрепенулась девочка, – я ничего такого нехорошего ему не делала. Ей-форду. (Форд – это предтеча и божество обитателей “прекрасного нового мира”. – И. М., Т. Ш.)

– Ну, конечно же, милая, – успокоила её няня. – И теперь, – продолжала она, обращаясь к Директору, – веду его к помощнику старшего психолога, чтобы проверить, нет ли каких ненормальностей.

– Правильно, ведите, – одобрил Директор, и няня направилась дальше со своим по-прежнему ревушим питомцем. – А ты останься в саду, деточка. Как тебя зовут?

– Полли Троцкая.

– Превосходнейшее имя, – похвалил Директор. – Беги-ка поищи себе другого напарничка.

Девочка вприпрыжку побежала прочь и скрылась в кустарнике.

– Прелестная малютка, – молвил Директор, глядя ей вслед, затем, повернувшись к студентам, сказал: – То, что я вам сообщу сейчас, возможно, прозвучит как небылица. Но для непривычного уха факты исторического прошлого в большинстве звучат как небылица.

И он сообщил им поразительную вещь. В течение долгих столетий до эры Форда и даже потом ещё на протяжении нескольких поколений эротические игры детей считались чем-то ненормальным (взрыв смеха) и, мало того, аморальным (“Да что вы!”), и были поэтому под строгим запретом.

Студенты слушали изумлённо и недоверчиво. Неужели бедным малышам не позволяли забавляться? Да как же так?

- Даже подросткам не позволяли, – продолжал Директор, – даже юношам, как вы...
- Быть того не может!
- И они, за исключением гомосексуализма и самоуслаждения, практикуемых украдкой и урывками, не имели ровно ничего.
- Ни-че-го?
- Да, в большинстве случаев ничего – до двадцатилетнего возраста.
- Двадцатилетнего? – хором ахнули студенты, не веря своим ушам.
- Двадцатилетнего, а то и дольше. Я ведь говорил вам, что историческая правда прозвучит, как небылица.
- И к чему же это вело? – спросили студенты. – Что же получалось в результате?
- Результаты были ужасающие, – неожиданно вступил в разговор звучный бас”.

### **Меры безопасности**

Поощряя детскую сексуальность, наставники в романе Хаксли точно так же, как теперь в “цивилизованном” мире, тщательно дрессируют подопечных на предмет использования противозачаточных средств. Героиня – её зовут Линайна – носит похожий на патронташ мальтузианский пояс, кармашки которого набиты контрацептивами. В годы написания романа гормональной контрацепции ещё не существовало, да и так называемая “барьерная” была во многих странах запрещена, но с тех пор сторонникам “планирования семьи” удалось произвести, как они сами её назвали, контрацептивную революцию. Мальтузианский пояс, правда, в современный обиход не вошёл, но “ответственные родители” на Западе собственноручно кладут в карман сыну и дочери презерватив. В последнее время, кстати, в Европе налажен выпуск этих изделий для двенадцатилетних отроков – детского размера.

Для борьбы с “незапланированной беременностью” в романе Хаксли широко применяется стерилизация, что тоже с успехом воплощено в жизнь на Западе, где к “чудесному способу хирургической контрацепции” (цитата из рекламного буклета) обращается до 30% и больше от общего числа семейных пар. А в контрацептивно-прогрессивной Канаде одних только женщин репродуктивного возраста (15–49 лет), “имеющих партнёра”, стерилизовано около трети – 31%! Плюс ещё мужчины – там это весьма популярно.

Нормального деторождения, как мы уже знаем, в “прекрасном новом мире” не существует. Оно считается преступным. Но тем, кто не стерилизован, доктора периодически рекомендуют пройти курс “псевдобеременности”. Врачи, ведающие “основным инстинктом”, играют в жизни обитателей антиутопии роль жрецов: их советам следуют безоговорочно, им доверяют абсолютно.

И тут аналогия с современностью практически полная. В западных странах, где давно налажено “планирование семьи”, девочки со школьной скамьи привыкают слушаться “своего гинеколога” больше, чем маму с папой, годами пьют гормональные контрацептивы, которые якобы совершенно безвредны, потом лечатся от ожирения, бесплодия, рака молочной железы, но при этом не связывают одно с другим и по-прежнему доверяют “компетентным специалистам в области женского здоровья”.

“Доктор Уэллс сказал, что трёхмесячный курс псевдобеременности поднимет тонус, оздоровит меня на три-четыре года”, – сообщает приятельница Линайны.

Казалось бы, уж такая очевидная глупость воплотиться не может! Ан нет! В 90-е годы, когда “планировщики” действовали в России нахраписто, – как в странах третьего мира, – сокращая рождаемость любыми способами, некоторые женщины изумлённо рассказывали, что гинеколог уверяет, будто бы беременность, заканчивающаяся абортom, полезна для организма. А одна женщина – врач-гинеколог – даже для убедительности сослалась на личный опыт: дескать, она и сама периодически прибегает к такому методу омоложения организма...



## Взаимопользование

Приняв все необходимые меры предосторожности, обитатели мира Хаксли наслаждаются “безопасным сексом” до самой смерти. Под лозунгом “каждый принадлежит каждому” поощряется промискуитет, который называется “взаимопользованием полов”. Долго иметь дело с одним и тем же партнёром считается неприличным. Понятия любви или влюблённости отсутствуют. Когда Дикарь, известный персонаж книги Хаксли, читает одному из самых рафинированных интеллектуалов Гельмгольцу “Ромео и Джульетту”, он наталкивается на полное непонимание.

“Сцену их первой встречи, – пишет автор, – Гельмгольц прослушал с недоумённым интересом. Сцена в саду восхитила его своей поэзией, однако чувства влюблённых вызвали улыбку. Так взвинтить себя из-за взаимопользования – смешновато как-то”. Дочитать трагедию до конца Дикарю не удалось, так как, услышав о страданиях Джульетты, которую хотели выдать замуж за Париса, Гельмгольц зашёлся от хохота.

“Отец и мать (непотребщина в квадрате!) тащат, толкают дочку к взаимопользованию с неприятным ей мужчиной! А дочь, идиотка этакая, утаивает, что взаимопользуется с другим, кого (в данный момент, во всяком случае) предпочитает! Дурацки непристойная ситуация, в высшей степени комичная. До сих пор Гельмгольцу ещё удавалось героическим усилием подавлять разбивавший его смех; но “родная мать” (страдальчески, трепетно произнёс это Дикарь) и упоминание о мёртвом Тибальде, лежащем во мраке склепа, – очевидно, без кремации, так что весь фосфор пропадает зря, – мать с Тибальдом доконали Гельмгольца. Он хохотал и хохотал, уже и слёзы текли по лицу, и всё не мог остановиться...”

## Упразднение родительства

Вас, наверное, удивила такая негативная реакция (“непотребщина в квадрате”) на упоминание о матери с отцом. Но ничего удивительного тут нет. В мире Хаксли семьи не существует. Слова “отец” и “мать” считаются неприличными и фактически находятся под запретом. До недавнего времени уж это-то казалось не только неосуществимой, а даже невообразимой фантастикой. Но – нет! В 2010 году мир облетела новость, что госдепартамент США запретил использовать в официальных бумагах слова “отец” и “мать”, заменив их на “родитель № 1” и “родитель № 2”. Впрочем, в духе “прекрасного нового мира” и термин “родитель” рано или поздно будет упразднён. В романе Хаксли все дети росли в воспитательных центрах. На Западе, где прочно воцарилась ювенальная юстиция, всё больше детей под разными предлогами изымается из семьи. У нас в последние годы эту систему тоже пытаются внедрить. Отсюда – попытки расширить права органов опеки, изменить законодательство в ювенальную сторону, дискриминационная финансовая политика в сфере поддержки кровных семей и т. п.

В конце 2010 года все, даже отъявленные либералы, были шокированы известием о том, что Общественная палата собирается представлять на Госсовете президенту некий форсайт-проект (то есть проект будущего) “Детство-2030”. Текст был таким нагло, таким **неправдоподобно** антисемейным, что многие сочли его творчеством умалишённых. Вот что значит – столько лет прозябать за железным занавесом! Какая же это маргинальщина? Самый что ни на есть мейнстрим. Читайте Хаксли, господа. Он ещё в другом “Форсайте 30” – сто лет назад! – всё наметил. Наши отечественные форсайтчики куда мягче, куда осторожней в выражениях: дескать, кровная семья безнадежно устарела... Хаксли выражается с солдатской прямоотой. И куда только подевалась его интеллектуальная утончённость? “Родной, родимый дом... В комнатёнках его, как сельди в бочке, обитатели: мужчина, периодически рожаящая женщина и разновозрастный сброд мальчишек и девчонок. Духота, теснота; настоящая тюрьма, притом антисанитария, темень, болезни, вонь. (Главноуправитель рисовал эту тюрьму так живо, что один студент, повпечатлительнее прочих, побледнел и его чуть не стошнило)”.

“Родительская любовь – тоже устаревший миф”, – ласково нашёптывают авторы нашего, отечественного форсайта.

Хаксли же и тут рубит сплеча: “А в духовном смысле родной дом был так же мерзок и грязен, как в физическом. Психологически это была мусорная яма, кроличья нора, жарко нагретая взаимным трением стиснутых в ней жизней, смердящая душевными переживаниями. Какая душная психологическая близость, какие опасные, дикие, смрадные взаимоотношения между членами семейной группы! Как помешанная, тряслась мать над своими детьми (своими! родными!) – ни дать ни взять как кошка над котятками, но кошка, умеющая говорить, умеющая повторять без устали: “Моя детка, моя крохотка”.

У Хаксли все дети без исключения растут в воспитательных центрах, то есть в детских домах. Авторы российского “Форсайта” гуманно предлагают альтернативы в виде различных “воспитательных сообществ”. Даже идею отмены школы, закачки информации прямо в мозг через интернет, которая так шокировала либерально настроенных граждан, доморожденные методологи слизали у творца “прекрасного нового мира”. Он, правда, несмотря на свои гениальные прогностические способности, до чипов не додумался. Вот что видят студенты, когда на экскурсии их знакомят с гипнопедией (для нашей цивилизации это уже вчерашний день): “Они вошли и оказались в сумраке зашторенного спального зала. У стены стояли в ряд восемьдесят кроваток. Слышалось лёгкое, ровное дыхание и некий непрерывный бормоток, точно слабенькие голоса журчали в отдалении.

Навстречу вошедшим встала воспитательница и застыла навтыяжку перед Директором.

– Какой проводите урок? – спросил он.

– Первые сорок минут были уделены началам секса, – ответила она. – А теперь переключила на основы кастового самосознания.

Директор медленно пошёл вдоль шеренги кроваток. Восемьдесят мальчиков и девочек тихо дышали, раздумываясь от сна. Из-под каждой подушки тёк шёпот”. Тихий, но отчётливый голос перечислял преимущества их принадлежности к касте бета: “До подъёма им повторяют это ещё разочков сорок или пятьдесят, затем снова в четверг и в субботу. Трижды в неделю по сто двадцать раз в продолжение тридцати месяцев”, – сказал директор. И добавил: “Покуда, наконец, всё сознание ребёнка не заполнится тем, что внушил голос, и то, что внушено, не станет в сумме своей сознанием ребёнка. И не только ребёнка, а и взрослого – на всю жизнь. Мозг рассуждающий, желающий, решающий – весь насквозь будет состоять из того, что внушено. Внушено нами!.. Внушено Государством!”

### **Культура развлечений**

В “прекрасном новом мире” побеждены не только болезни, но и старость: “В недобрые прежние времена старики отрекались от жизни, уходили от мира в религию, проводили время в чтении, в раздумье – сидели и думали!.. Теперь же настолько шагнул прогресс: старые люди работают, совокупляются, беспрестанно развлекаются; сидеть и думать им некогда и недосуг”. Ну, чем не современная западная действительность? Да и у нас уже пропагандируют “секс для пожилых” и чудодейственные средства, которые этому споспешествуют. Что же касается беспрестанных развлечений, то ради них и из дома выходить не надо, только включи телевизор – и развлекайся до умопомрачения.

Вообще любопытно, что развлечения в мире Хаксли как-то уж очень напоминают современные стандарты культурного отдыха: “В последовавшие затем недели она не раз подумывала, а не отменить ли поездку в Нью-Мексико и не слетать ли взамен с Бенито Гувером на Северный полюс. Но только была она уже на полюсе – недавно, прошлым летом, с Джорджем Эдзелом, – и безотрадно оказалось там. Заняться нечем, отель до жути устарелый: спальни без телевизоров, и запахового органа нет, а только самая наидряннейшая синмузыка и всего-навсего двадцать пять эскалаторных кортов на двести с лишним отдыхающих”.

И понимание свободы как возможности беспрестанно развлекаться и наслаждаться тоже вполне узнаваемо. Тут можно возразить: “А что нового в таком понимании свободы? Разве когда-нибудь было иначе?”

Но мы зададим встречный вопрос: когда, в какие исторические эпохи были тождественные приоритеты? И, пожалуй, кроме древнего Рима периода

упадка ничего больше не припомним. Да и там, кстати, так жила весьма значительная часть привилегированного населения. А остальные, когда те наслаждались, обеспечивали им эту возможность. В христианском же мире понимание свободы как беспрепятственных наслаждений стало невозможно. Даже те, кто по социально-экономическому положению мог себе такое позволить (и, по слабости человеческой природы, позволяя!) не провозглашали это как нравственную норму.

Не будем долго распространяться об очевидном, но всё же напомним, что в христианстве имеет ценность лишь свобода от греха. Те же развлечения, которые живописует Хаксли и которые с какой-то маниакальной назойливостью навязывают современным людям сильные мира сего (и многие уже на эту приманку увлечены), – эти развлечения не просто греховны, а представляют собой прямо-таки торжество порока. Порока, возведённого в норму и даже ставшего эталоном поведения. Разврат, в том числе детский (о содомии Хаксли писать, видимо, не решился, хотя намёки на это “развлечение” в книге есть), коллективное беснование на “сходках единения” (так у Хаксли называется сатанинская пародия на агапы, которые были приняты у первых христиан), легальное и поголовное употребление наркотиков – сегодня всё это является отнюдь не гипотетическими, а вполне реальными целями глобалистов. Целями, которые, как теперь принято говорить, находятся в шаговой доступности. В европейских школах программы “сексуального воспитания” давно стали реальностью, а 25 октября 2010 года на заседании ООН один из специалистов в области образования Вернор Мунозу предложил ввести обязательное “сверхнародное” и “всемирное” сексуальное воспитание для детей **от 5 лет** во всех государствах ООН, что вызвало бурную дискуссию между членами ООН ([res.claritatis.cz/zpravy/z-domova/delegt-osn-oznail-boenstv-zajnejvt-oblm/4254?PHPSESSID=62638cda8a0ec91459d0eee2a5b8aff](http://res.claritatis.cz/zpravy/z-domova/delegt-osn-oznail-boenstv-zajnejvt-oblm/4254?PHPSESSID=62638cda8a0ec91459d0eee2a5b8aff)). Книга, которая послужила фундаментом для этого предложения, гласит: “Радость секса должна быть главной целью общего сексуального воспитания”. Более того! “Право может быть полностью гарантировано только тогда, когда дети пройдут курс общего сексуального воспитания сразу, в начале школьного обучения” (см. там же).

## Новая религия

Попытки создания некоей универсальной религии пока не увенчались успехом, однако носят весьма активный характер. То мы узнаём, что где-то строится храм для представителей самых различных религиозных культов, то, когда мы приезжаем за границу, нам предлагают посетить в качестве туристского объекта бахаистский сад. Но вовсе не для того, чтобы мы полюбовались экзотическими растениями, а чтобы познакомить нас с новой религией, созданной в XIX веке и утверждающей единство всех религий.

Но есть и более серьёзные явления. В 1893 году деятели наднациональной элиты из числа членов масонских лож формируют Всемирный парламент религий, который впервые публично поставил вопрос о создании Организации объединённых религий. (Историю вопроса см. подробнее в монографии Г. Морозовой “Третий Рим против нового мирового порядка”. М., Институт русской цивилизации, 2009. С. 17–22.) Сто лет всё шло ни шатко ни валко, но в конце XX века процесс активизировался. Особенно радели о создании Организации объединённых религий епископ американской епископальной церкви В. Свинг и... бывший генсекретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв. Не правда ли, неожиданно для марксиста-атеиста? В 1993–1997 годах Свинг объехал много стран, но поддержки от лидеров главных мировых религий не получил. Зато руководители сект, оккультных и сатанинских сообществ откликнулись охотно. В сентябре 1995 года на территории бывшей военной базы США Президио, где теперь располагается американская резиденция Фонда Горбачёва (интересно, правда?), этот Фонд собрал свой первый Всемирный форум, на котором была оглашена основная задача на ближайшую пятилетку: изложение “фундаментальных приоритетов, ценностей и действий, необходимых для руководства человечеством на пути развития первой глобальной цивилизации”. На втором Всемирном форуме уже говорилось, что “контроль над мировыми религиями – контроль над человечеством”, и выдвигались идеи некой

глобальной этики, которая демонстративно противопоставляется Девяти евангельским заповедям блаженства. В создании Организации объединённых религий заинтересован и вездесущий Фонд Рокфеллера. Но хотя в июне 1997 года было принято решение начать деятельность ООР с 2000 года, эта затея практически провалилась, поскольку ни одна из мировых религий не согласилась войти в Организацию объединённых религий официально. Попытки наднациональной элиты поставить под контроль мировые религии пока не удались, но они продолжают.

Что до легализации наркотиков, — а в мире Хаксли наркотическая “сома” представляла собой неотъемлемый атрибут повседневной жизни, — то во многих странах наркотики уже частично разрешены. Где-то напрямую (легализация употребления марихуаны), а где-то — слегка закамouflированно, под видом так называемой заместительной терапии, когда вместо героина потребителям за казённый счет выдают другой наркотик — метадон. В Скандинавии людям прописывают лекарства, которые даже своим названием стилистически близки Хаксли — “таблетки счастья”. Их пьют и взрослые, и даже дети. Пьют годами. Точный состав этого волшебного препарата нам узнать не удалось: русские, живущие в тех краях, стараются на “таблетки счастья” не подсаживаться. Видимо, срабатывает здоровый консерватизм. Хотя можно предположить, что это антидепрессанты типа “Паксила”, “Прозака” (даже фильм такой есть — “Нация прозака”) и т. п. Но и без точных данных о составе понятно, что у человека вырабатывается стойкая зависимость. Пьёшь таблетки — есть счастье. Брошаешь — его как не бывало. Чем не “сома”?

Однако всего этого создателям реального “нового мира” уже мало. Программа-минимум, можно сказать, уже выполнена. И вот комитет ООН выступает с инициативой легализовать лёгкие наркотики уже не в отдельно взятой стране, а в масштабе земного шара. И глобальный финансист Сорос одобряет и поддерживает это “полезное” начинание.

### Наука — враг стабильности

Чрезвычайно интересна и судьба науки в романе Хаксли. В конце произведения приводится разговор Главноуправителя Мустафы Монда с Дикарем и двумя интеллектуалами, Гельмгольцем и Бернардом. Кстати, выбор имени и фамилии Главноуправителя тоже любопытен. Принято считать, что он назван так по имени основателя Турции после Первой мировой войны Кемаля Мустафы Ататюрка, который запустил в стране процессы модернизации и официальной секуляризации общественной жизни, а фамилия позаимствована у английского финансиста Альфреда Монда, ярого врага рабочего движения. Но напрашивается и другая трактовка: *monde* по-французски — “мир”, а тут речь идёт об одном из главных мироуправителей; кроме того, Мустафа — популярнейшее мусульманское имя. В первой трети XX века, правда, ничто не предвещало “великого переселения” мусульман в Европу и, соответственно, резкого усиления мусульманского фактора в мировой политике. Ну, да ведь и многое другое, описанное в романе Хаксли, казалось бы, и во сне не могло бы тогда присниться. . .

Но обратимся к содержанию беседы. Мустафа Монд раскрывает карты, объясняя принципы, по которым сконструирован “прекрасный новый мир”.

“Теперь же мир стабилен, устойчив, — говорит Главноуправитель (ещё одна достойная внимания деталь: глобалистская концепция устойчивого развития появилась намного позже, в начале 70-х годов прошлого столетия!). — Люди счастливы; они получают всё то, что хотят, и не способны хотеть того, чего получить не могут. Они живут в достатке, в безопасности; не знают болезней; не боятся смерти; блаженно не ведают страсти и старости; им не отвращают жизнь отцы и матери; нет у них ни жён, ни детей, ни любви — и, стало быть, нет тревожений; они так сформированы, что практически не могут выйти из рамок положенного. Если же и случаются сбои, то к нашим услугам сома. А вы её выкидываете в окошко, мистер Дикарь, во имя свободы. Свободы! — Мустафа рассмеялся. — Вы думали, дельты (низшая раса. — **И. М., Т. Ш.**) понимают, что такое свобода! А теперь надеетесь, что они поймут “Отелло”! Милый вы мой мальчик!”

Ради стабильности пришлось пожертвовать не только высоким искусством, потому что оно может вызывать вредные для счастья переживания, но и наукой.

“Мы не хотим перемен, — откровенничает Мوند. — Всякая перемена — угроза стабильности. И это вторая причина, по которой мы так скупно вводим в жизнь новые изобретения. Всякое чисто научное открытие является потенциально разрушительным; даже и науку приходится иногда рассматривать как возможного врага... Меня влечёт истина. Я люблю науку. Но истина грозна; наука опасна для общества. Столь же опасна, сколь была благотворна. Наука дала нам самое устойчивое равновесие во всей истории человечества. Китай по сравнению с нами был безнадежно неустойчив; даже первобытные матриархии были не стабильней нас. И это, повторяю, благодаря науке. Но мы не можем позволить, чтобы наука погубила своё же благое дело.

Вот почему мы так строго ограничиваем размах научных исследований... Мы даём науке заниматься лишь самыми насущными сиюминутными проблемами. Всем другим изысканиям неукоснительно ставятся препоны. А занятно бывает читать, — продолжал Мустафа после короткой паузы, — что писали во времена Господа нашего Форда о научном прогрессе. Тогда, видимо, воображали, что науку можно позволить развиваться бесконечно и невзирая ни на что. Знание считалось верховным благом, истина — высшей ценностью; всё остальное — второстепенным, подчинённым. Правда, и в те времена взгляды уже начинали меняться. Сам Господь наш Форд сделал многое, чтобы перенести упор с истины и красоты на счастье и удобство. Такого сдвига требовали интересы массового производства. Всеобщее счастье способно безостановочно двигать машины; истина же и красота — не способны. Так что, разумеется, когда властью завладели массы, верховной ценностью становилось всегда счастье, а не истина с красотой. Но несмотря на всё это, научные исследования по-прежнему ещё не ограничивались. Об истине и красоте продолжали толковать так, точно они оставались высшим благом. Это длилось вплоть до Девятилетней войны. Война-то и заставила нас запеть по-другому. Какой смысл в истине, красоте или познании, когда кругом лопаются сибиреязвенные бомбы? После той войны и была впервые взята под контроль наука. Люди тогда готовы были даже свою жажду удовольствий обуздать. Всё отдавали за тихую жизнь. С тех пор мы науку держим в узде. Конечно, истина от этого страдает. Но счастье процветает. А даром ничто не даётся. За счастье приходится платить”.

Вам не кажется поразительным время написания этого монолога, больше напоминающего манифест? Если про контрацептивы, разрушение семьи и даже объединение религий можно сказать, что эти идеи уже достаточно давно витали в воздухе, то такой взгляд на место и роль науки в обществе был для начала XX века просто немыслим. Наука в то время была на подъёме, её роль стремительно возрастала. Казалось, ещё немного — и она достигнет таких высот, что человек с её помощью станет полновластным хозяином Вселенной, раскроет все её тайны, научится ею управлять. Словом, займёт место Бога. И действительно, открытия сыпались, как из рога изобилия. А потом, в последние десятилетия XX века, всё произошло точно по Хаксли. Так называемую “чистую” науку, теоретические исследования в области физики и царицы наук — математики — свернули. Причём не только у нас, как думают многие патриоты, в глубине души остающиеся неисправимыми западниками. (В том смысле, что они до сих пор находятся во власти иллюзии, будто нас Запад губит, а сам процветает. Из чего следует, что они там, на Западе, всё равно молодцы — умеют жить!)

### **Всемирное государство**

Мы уже упомянули о мировом государстве и о страшной войне, которая предшествовала его образованию. Пора остановиться на этом подробнее. В конце 20-х годов, в период написания романа, читающая публика воспринимала подобные идеи как нечто отвлечённо-философское, как издержки авторской фантазии. Такое развитие событий подавляющее большинство людей не считали даже теоретически возможным. Несмотря на бурный научно-технический прогресс, жизнь была ещё достаточно патриархальной, страны не

были похожи друг на друга, ни у одного государства или каких-либо иных сил не было ни финансовых, ни военных возможностей для покорения всего мира. Даже шестьдесят лет спустя, в начале 90-х, редкие материалы о том, что за спиной западных стран-участниц двух мировых войн стояли банкиры, чьей основной целью была не просто нажива, а постепенная отмена суверенитета всех государств, в том числе и крупных держав (которые для осуществления этой цели и нужно было ослабить войной), и что цель эта, несмотря на победу СССР во Второй мировой войне, в значительной степени была достигнута, — такие материалы почти не воспринимались нашим обществом, поскольку шли вразрез с общепринятой трактовкой истории. Понадобилось ещё двадцать лет, чтобы если не все, то хотя бы заметное число людей перестали с презрительной усмешкой отмахиваться от неудобных фактов, называя их “конспирологическим бредом” и “теорией заговора”. Во-первых, потому что фактов стало известно уже очень много, в том числе и из переводных источников. А во-вторых, потому что заговорщики, набрав ещё больше силы после разрушения СССР, уже не особенно скрывают свои замыслы. Во всяком случае, о неотвратимости глобализации, то есть о создании всемирного государства, говорится уже открыто. И не только говорится, но и многое делается в этом направлении. Страны объединённой Европы (а это уже значительный кусок глобализованного мира!), лишившиеся своих национальных валют и стремительно утрачивающие политическую самостоятельность, сейчас вплотную подошли к необходимости унификации законодательства. Ведь в едином европейском государстве, ставшем частью и одновременно прообразом всемирного государства, люди должны жить по одним и тем же правилам. Процесс этот, конечно, непростой (а сейчас, в связи с надвигающимся экономическим коллапсом, единая Европа трещит по швам!) и наталкивается на сопротивление. Но тем не менее, он идёт.

Страны же “периферии” чем дальше, тем больше обрекаются “центром” на деградацию под усыпляющие бдительность посулы бороться с нищетой, болезнями и неграмотностью. Делается это намеренно. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: на самом деле за столько лет “борьбы с бедностью” при желании в любой из стран третьего мира можно было бы создать достаточно сильную экономику и существенно улучшить жизнь людей. Особенно если учесть богатство природных ресурсов этих стран. Но даже и не очень богатые страны (например, Куба) благодаря настоящей, не фиктивной помощи, которую в своё время оказывал странам третьего мира Советский Союз, начинали интенсивно развиваться, создавали свою промышленность, науку, медицину... С разрушением СССР всё это закончилось, и мир начали стремительно *глобализировать*. Для развивающихся стран (заметьте, кстати, что их так уже и не называют, чтобы не было неправильных ассоциаций) это означает прекращение развития, поскольку периферия и не должна развиваться. Она должна обслуживать центр, а сама должна превратиться либо в безлюдный природный заповедник с небольшими этнографическими включениями для обслуживания туристов (именно такой вариант предложен у Хаксли), либо в гигантскую фабрику с использованием фактически рабского труда, либо в хранилище вредных отходов, либо в большой публичный дом для иностранных туристов, либо в полигон для социальных, медицинских и прочих экспериментов. Этот “прекрасный новый мир” XXI века пока только создаётся, его контуры лишь слегка обозначены, поскольку для тех, кого Хаксли называл “Элитой Власти”, было бы опрометчиво представлять его раньше времени. Ведь этот план предполагает радикальное сокращение населения Земли, потому что при такой картине мира большинство людей оказывается лишним, да и держать их в подчинении нелегко. Но как “сократить” миллиарды людей? Программы сокращения рождаемости, во-первых, работают на будущее, а во-вторых, по признанию самих *глобализаторов*, в полной мере не дают нужного эффекта. Население земного шара продолжает расти. Алкоголизация, наркотизация и криминализация населения, СПИД, разврат, вредные продукты и лекарства тоже лишь частично решают проблему перенаселённости. Похоже, другого выхода, кроме развёртывания грандиозной мировой войны, у глобалистов нет.

Поэтому некоторые страны под песни о “гуманитарной международной помощи” уже сделаны поставщиками “пушечного мяса”: в них десятилетиями не прекращаются войны, мальчишек с малолетства ставят под ружьё, и те, кому

удаётся дожить до зрелости, представляют собой прекрасно натренированных бойцов, неиссякаемый источник рекрутов для ЧВК (частных военных кампаний) – наёмных армий, которые подчиняются не руководству той или иной страны, а кому-то ещё. Этот кто-то пока предпочитает оставаться в тени, но его (их) наёмники, имеющие на вооружении самую современную технику, всё активнее участвуют в войнах. “Когда американские войска вошли в Ирак в марте 2003 года, – пишет Т. В. Грачёва, – они привезли с собой самую большую армию наёмников за всю историю современной войны. К концу 2006 года только в Ираке их насчитывалось 100 000. Тогда это было практически соотношение 1:1. Как сообщается в пресс-релизе сенатора Джима Вебба, по состоянию на июль 2007 года в Ираке уже насчитывалось 180.000 наёмников, в то время как численность американских регулярных сил составляла 156.247” (“Невидимая Хазария”, “Зерна”. Рязань, 2008. С. 108). Несколько раньше в Боснии соотношение наёмников и американских солдат сначала было 1:10, а затем этот показатель резко изменился и стал 1:1. “Это значит, что 50% операций в этом районе имели тайный, подрывной и официально нигде не учитываемый характер” (там же. С. 101). “Засветились” ЧВК и в грузино-осетинской войне. Да и в Ливии, судя по всему, без ЧВК не обошлось.

### **Императив расчеловечивания**

Вопрос ценностных ориентиров “прекрасного нового мира” мы частично уже затрагивали, но в романе есть целая глава, специально посвящённая этому вопросу, и пройти мимо неё мы посчитали неправильным. Дикарь спорит с Главным управителем Мустафой Мондом, который говорит ему, что после Девятилетней мировой войны они, ради счастья оставшихся в живых людей, пожертвовали не только искусством и наукой, но и христианством. Библия и труды богословов надёжно заперты в сейфах, эти книги считаются неприличными. Подавляющее большинство обитателей “рая на Земле” даже не подозревают об их существовании. Элита знает о Боге, но считает, что (цитируем слова Монда) “Бог не совместим с машинами, научной медициной и всеобщим счастьем”. В мире, где молодости и благополучия хватает на всю жизнь, религиозность становится лишней. Раньше люди искали у Бога защиты от одиночества. “Теперь же, – говорит Мустафа, – мы внедряем в людей нелюбовь к уединению и так строим их жизнь, что оно почти невозможно”.

Наша современная “цивилизованная” жизнь тоже так устроена, что уединение почти невозможно. Подавляющее большинство людей живёт в городах или даже в мегаполисах, больше похожих на улы, нежели на места человеческого обитания. Младенцы рождаются в роддомах, где с первых минут жизни оказываются в окружении достаточно большого количества чужих людей (другие новорожденные и их матери, медперсонал, врачи). С первых лет жизни детей вынуждают проводить значительную часть времени в детских коллективах (яслях и детсадах). Это называется социализацией, и у многих современных родителей настолько промыты мозги, что они жертвуют здоровьем ребёнка, настаивая на посещении детского сада, даже когда ребёнок явно не справляется с такой нагрузкой: часто болеет, приобретает неврозы. Ну, а дальше – по накатанным рельсам: массовая школа, институт, работа. И везде – люди, люди, люди, огромное количество людей. В крупных компаниях, которые стремятся жить по западным лекалам, сотрудников не только заставляют сидеть в огромных помещениях на виду друг у друга, но и “социализируют” по выходным. У нас это уже получило название “корпоратив”. Если ты не участвуешь в корпоративном отдыхе, то становишься подозрительным для местных сотрудников безопасности, неблагонадёжным для своей фирмы.

Дикарь пытается сказать, что пороки, которыми услаждают себя “новомирцы”, унижительны.

“Соотносительно с чем? – возражает Монд. – Конечно, если взять иной, отличный от нашего критерий оценки, то не исключено, что можно будет говорить об унижении. Но надо ведь держаться одного набора правил”.

“Если бы вы допустили к себе мысль о Боге, то не унижались бы до услаждения пороками, – не унимается Дикарь. – Был бы тогда у вас резон, чтобы стойко переносить страдания, совершать мужественные поступки. Я видел это у индейцев”.

“Не сомневаюсь, – сказал Мустафа Монд. – Но мы-то не индейцы. Цивилизованному человеку нет нужды переносить страдания, а что до совершения мужественных поступков, то сохрани Форд от подобных помыслов. Если люди начнут действовать на свой страх и риск, весь общественный порядок полетит в тартарары”.

Ненужными оказываются и такие важнейшие для христиан добродетели, как самоотречение и самопожертвование. Общество потребления может эффективно функционировать лишь тогда, когда люди не отрекаются от своих желаний, а напротив – потворствуют им в самой высшей степени, какую только допускают гигиена и экономика.

Целомудрие не просто не нужно, оно вредно, поскольку якобы порождает страсть и неврастению, а те, в свою очередь, провоцируют нестабильность. Нестабильность же означает конец цивилизации. “Прочная цивилизация, – делает вывод Монд, – немыслима без множества улаждающих пороков”.

“Но в Боге заключается резон для всего благородного, высокого, героического. Будь у вас...”

– Милый мой юноша, – сказал Мустафа Монд. – Цивилизация абсолютно не нуждается в благородстве или героизме. Благородство, героизм – это симптомы политической неумелости. В правильно, как у нас, организованном обществе никому не доводится проявлять эти качества. Для их проявления нужна обстановка полной нестабильности. Там, где войны, где возникает конфликт между долгом и верностью, противление соблазнам, защита тех, кого любишь, или борьба за них, – там, очевидно, есть некий смысл в благородстве и героизме. Но теперь нет войн. Мы неусыпнейше предотвращаем всякую чрезмерную любовь. Конфликтов долга не возникает; люди так сформированы, что попросту не могут иначе поступать, чем от них требуется. И то, что от них требуется, в общем и целом так приятно, стольким естественным импульсам дается теперь простор, что, по сути, не приходится противиться соблазнам. А если всё же приключится в кои веки неприятность, так ведь у нас всегда есть сома, чтобы отдохнуть от реальности. И та же сома остудит ваш гнев, примирит с врагами, даст вам терпение и кротость. В прошлом, чтобы достичь этого, вам требовались огромные усилия, годы суровой нравственной выучки. Теперь же вы глотаете две-три таблетки – и готово дело. Ныне каждый может быть добродетелен. По меньшей мере, половину вашей нравственности вы можете носить с собой во флакончике. Христианство без слёз – вот что такое сома”.

Что это, как не кредо современной потребительской цивилизации? Разве не слышали мы в самом начале перестройки, что нормальной стране герои не нужны? Да и сейчас, хотя патриотизм вроде бы поднимают на щит, мы узнаём о современных героях, – таких как Евгений Родионов или Константин Васильев, – в основном, благодаря усилиям отдельных энтузиастов, а отнюдь не государственной информационной политике.

Благородство и целомудрие для глобалистской цивилизации опасны и вредны. Поэтому их как бы обезвреживают, гасят иронией. “Стольким естественным импульсам даётся теперь простор”, что люди, не желающие погружаться в “цивилизованное” скотство, не знают, куда от него деться. А им со всех сторон навязываются *теплохладность*, равнодушие, терпимое отношение ко злу, и всё это теперь называется толерантностью.

Очень важные вещи сказаны Главным Управителем и про духовный смысл наркотизации населения. Принято считать, что наркотики – один из способов убийства “лишних людей” (хотя сома в романе безвредна), а также средство отвлечения молодёжи от попыток вдуматься в смысл происходящих событий и занять активную, созидательную жизненную позицию. Но оказывается, есть и более глубокий, духовный пласт. Наркотики (во всяком случае, по замыслу Хаксли) должны вводить человека в состояние, которого христианин достигает путём долгой, упорной борьбы со своими страстями. А тут принял пару таблеток наркоты – и простил врагов, стяжал терпение и кротость. То есть это, помимо всего прочего, ещё и дьявольская пародия на христианство, выдаваемая за гениальный рецепт *осчастливливания* человечества.



## Искушение комфортом. Блаженная сома

Но самый коварный аргумент автор устами Монда выдвигает в конце спора, фактически загоня Дикаря в угол. На этот эпизод важно обратить особое внимание. Именно так и действуют “цивилизаторы”, доказывая “отсталым нациям” неоспоримые преимущества вестернизированного образа жизни. Дикарь, правда, остаётся при своём мнении. Но многие ли люди, особенно молодые, не поколеблются в своём традиционализме, услышав такое? Итак, Дикарь говорит: “Но мне любы неудобства.

— А нам — нет, — сказал Главноуправитель. — Мы предпочитаем жизнь с удобствами.

— Не хочу я удобств. Я хочу Бога, поэзии, настоящей опасности, хочу свободы, и добра, и греха.

— Иначе говоря, вы требуете права быть несчастным, — сказал Мустафа.

— Пусть так, — с вызовом ответил Дикарь. — Да, я требую.

— Прибавьте уж к этому право на старость, уродство, бессилие; право на сифилис и рак; право на недоедание; право на вшивость и тиф; право жить в вечном страхе перед завтрашним днём; право мучиться всевозможными лютыми болями.

Длинная пауза.

— Да, это всё мои права, и я их требую.

— Что ж, пожалуйста, осуществляйте ваши права, — сказал Мустафа Монд, пожимая плечами”.

Да, именно на этом улавливали и улавливают современных людей. Намертво связывая удобства и облегчение физических страданий с утверждением порока как нормы, идеологи нового мирового порядка пытаются доказать, что иначе нельзя. Иначе, дескать, будете жить во вшах, грязи и болеть сифилисом. Хотя почему, собственно, должна быть такая дурацкая сцепка? Почему физическая чистота должна непременно сочетаться с моральной нечистоплотностью? На Руси народ жил благочестиво, молился Богу и при этом регулярно мылся в бане. Одно другому нисколько не мешало. Даже наоборот: в церковь, в дом Божий, обязательно надо было приходиться чисто вымытым и чисто одетым. И в медицине, пока не наметился отказ от христианских норм, действовали серьезные нравственные ограничения. Убийство детей во чреве матери преследовалось по закону, пациентов пытались спасти до последних мгновений их жизни, такие “достижения”, как “фетальная терапия” (изготовление препаратов из абортированных младенцев) применялись разве что в сатанинских ритуалах. Что касается сифилиса, то это вообще аргумент для слабоумных, поскольку не только специалисту, но и любому профану известно, что так называемые “дурные болезни” (в частности, сифилис) — это следствие разврата, а никак не целомудрия. С грехом вошли в нашу жизнь болезни и смерть. Так что греховный образ жизни, положенный в основу глобалистской цивилизации, со стопроцентной вероятностью гарантирует отнюдь не беспредельное благоденствие и стабильность, а стремительное нарастание хаоса и расчеловечивания. Что мы и видим в последние десятилетия, когда идеология глобализма вышла из-за кулис на авансцену истории.

И, конечно, это грандиозная ложь, что такая жизнь делает людей счастливыми. Грех не может принести счастья, потому что он отдаляет нас от Бога. А подлинное счастье возможно только в Боге и с Богом. Отдаваясь во власть греха, человек отдаётся во власть дьявола, ненавидящего людей за то, что они созданы по образу и подобию Божию, и всеми силами стремящегося их погубить. Глупо рассчитывать на счастье, попав в лапы к своему заклятому врагу.

Недаром обитатели “прекрасного нового мира” не могут существовать без наркотиков. Это как раз указывает на то, что в глубине души они все несчастны и вынуждены заглушать “блаженной сомой” свои тревоги, страхи, тоску, а главное — страшную, поистине дьявольскую внутреннюю пустоту. Рост психических болезней, депрессий, самоубийств, алкоголизма и наркомании в тех странах и тех слоях населения, которые исповедуют идеологию “прекрасного нового мира”, — это наглядное свидетельство того, что путь к счастью не может лежать через отказ от Бога и свободу совершения греха.

## Пророки, фантасты, проектанты

Теперь, когда мы разобрали роман, самое время сказать коротко об авторе. Олдос Хаксли был человеком ироничным. И в ироничном стиле написал свой роман. Поэтому когда читаешь его, создаётся впечатление, что автор высмеивает своих героев и их образ жизни. Всех без исключения, в том числе и Дикаря, хотя в нём гораздо больше симпатичного, чем в обитателях “прекрасного нового мира”, рационализация чувств и поведения которых уже не позволяет причислять их к категории людей. Это скорее нечто промежуточное между людьми и биороботами.

Ну, думаешь, талантливая антиутопия. Автор предупреждает нас об опасности такой чересчур рукотворной жизни, в которой всё спланировано, всё предназначено для получения удовольствия.

Да, безусловно, талантливый автор. Но мы знаем и других, не менее талантливых создателей фантастических произведений. Что же именно в Хаксли так поражает? А поражает то, с какой точностью всё или почти всё, им описанное, уже воплотилось в реальной жизни. Может быть, Хаксли был не просто писатель, а современный пророк? Но даже величайшие пророки Ветхого Завета так точно и конкретно не рисовали будущее. В их предсказаниях было много условного, метафорического, загадочного, допускающего множественные трактовки.

В этом невозможно разобраться, не выходя за рамки чтения книги. Но когда знакомишься с биографией автора, поражаешься ещё больше. Оказывается, истинно английский юмор вовсе не помешал ему участвовать в разработке того, над чем он так смеялся в своём романе. Это противоречие поначалу кажется неразрешимым. Но чем больше узнаёшь об убеждениях, политических пристрастиях и антипатиях Хаксли, о его друзьях и коллегах, о его пороках (таких, например, как наркомания), тем больше проясняется картина.

Семья, в которой вырос Хаксли, была непростой. Его дед, биолог-эволюционист Томас Хаксли (в другой транскрипции – Гексли), был вдохновителем автора эволюционной теории Чарльза Дарвина, а также Герберта Уэллса, который писал не только фантастические романы для любознательных подростков, но и... возглавлял английскую разведку во время Первой мировой войны. Взгляды дедушки Гексли, Г. Уэллса и других интеллектуалов этого круга повлияли на юного Олдоса и его брата Джулиана, который впоследствии возглавил ЮНЕСКО, а затем подписал эпохальный документ под названием “Гуманистический манифест-2”, который по праву можно назвать открытой идеологической платформой для построения “прекрасного нового мира”, столь талантливо описанного в своей книге его братом. Но это случилось значительно позже, в 1973 году. А в начале XX века именно в этой группе интеллектуалов и связанных с ними политиков (известно, например, что Черчилль находился под воздействием идей Томаса Хаксли) шло активное обсуждение пока ещё чисто теоретических разработок идеологии “прекрасного нового мира”. Особенно эту кучку *высоколобов* занимали вопросы евгеники – улучшения человеческой породы. Им очень хотелось внедрить в человеческое общество практику искусственного отбора.

Герберт Уэллс ещё в 1905 году написал “Современную утопию”, где не постеснялся пропагандировать так называемую “социальную хирургию”. Размышляя о том, как устранить инвалидов, умственно отсталых и психически больных людей, которые мешают человечеству достичь счастья и благоденствия, он додумался до того, что неплохо было бы “евгенически неблагополучных” изолировать, не давая им шансов на размножение. А многодетные браки, по мнению писателя, вообще должны были стать особой привилегией!

Зная это, нисколько не удивляешься тому, что прославленный фантаст вошёл в дружбу с создательницей Лиги контроля над рождаемостью (впоследствии переименованной в Международную федерацию планирования семьи) Маргарет Зангер (в другой транскрипции – Сейнджер). Он даже написал хвалебное предисловие к её книге “Стержень цивилизации”, в которой она уже без всяких художественных вымыслов, по-деловому намечала планы, как избавляться от тех, кого она со свойственным ей цинизмом называла “плевелами человечества”. Очень скоро эти планы стали претворяться в жизнь. В 30–40-е годы XX века насильственная евгеническая стерилизация и аборт уже производились и в США, и в Швеции, и, разумеется, в гитлеровской Германии.

Вдохновлённый идеями старших товарищей, брат Олдоса Хаксли Джулиан создал в 1939 году “Манифест евгеники”, который был опубликован в солидном журнале *Nature*. А в начале 60-х, уже войдя в мировую политическую элиту, Джулиан высказывался за то, чтобы появившиеся тогда международные организации — ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), ЮНЕСКО и Всемирный банк давали слаборазвитым странам “связанные кредиты”, то есть предоставляли финансовую помощь в том случае, если руководство этих стран согласится целенаправленно сокращать население. Вскоре это стало обыденной, весьма распространённой практикой.

Даже из приведённого нами весьма неполного списка людей, окружавших Олдоса Хаксли, ясно, что среду, в которой он вырос и сформировался, можно определить как весьма специфическую. Это были не просто свободные мыслители мальтузианского толка, это были люди, всерьёз нацеленные на революционное переустройство мира. В другие времена они, может быть, так и остались бы “лондонскими мечтателями”. (Это мы по ассоциации с Г. Уэллсом. Помните? В своей книге “Россия во мгле” он назвал Ленина “кремлёвским мечтателем”). Но в начале XX века романтики, мечтавшие о переустройстве мира, оказались очень востребованы алчными, хищными прагматиками, которые к тому моменту уже концентрировали в своих руках огромные финансовые капиталы, однако не желали на этом останавливаться, а стремились к мировому господству. И умники из элитарных кругов как нельзя больше подходили в качестве идеологов и проектантов этого принципиально нового мироустройства.

Кто знает, не потому ли в такую моду вошёл в ту пору жанр антиутопии? И Уэллс, и Хаксли, и другие идеологи борьбы со “старыми”, “отжившими” ценностями (то есть, прежде всего, христианством) излагали свои соображения и в форме статей и философско-политологических эссе, и в форме романов и повестей. Уэллс даже одну из своих работ так прямо и назвал: “Открытый заговор”, — достаточно подробно рассмотрев в ней вопрос, как этот заговор можно осуществить.

Но, как выразался небезызвестный, всегда руководящий борьбой со Спасителем герой Гёте, — так сказать, главный проектант прекрасных новых миров: “Суша теория, мой друг!” Художественное произведение, роман даёт гораздо больше возможностей представить и показать, как проект может воплощаться в реальности. Ведь реальность гораздо многомерней любого, даже самого подробного плана. Одно дело — изложить этот план линейно, по пунктам, в виде этакого скелета. А другое — создать многомерную модель, да ещё наполнить её людьми, которые в воображении читателя начинают жить своей жизнью, вступать в какие-то взаимоотношения, приспосабливаться к социально-экономическим и политическим условиям. Поскольку в то время ещё не было компьютеров и сложных программ, позволяющих моделировать поведение людей в новых, непривычных ситуациях, приходилось полагаться на воображение *высоколобов*, обладавших к тому же литературным дарованием. Так что, строго говоря, “Прекрасный новый мир” — это не роман, а облечённый в художественную форму проект развития общества. Аналогичный вывод делает и уже упоминавшийся нами известный американский экономист, политик и политолог Линдон Ларуш. “В действительности, — говорит он, — популярные романы Уэллса, такие как “Машина времени” и “Остров доктора Мора”, книга Олдоса Хаксли “Прекрасный новый мир”, работы Оруэлла “1984” и “Скотный двор” были написаны с целью показать людям план создания нового мирового порядка”.

Почему на “конкурсе проектов” победил именно проект Хаксли? Об этом, как, собственно, и о самом конкурсе история умалчивает. Но то, что творцы новейшей истории уже не первое десятилетие скрупулёзно воссоздают в реальной жизни (насколько позволяют современные научно-технические возможности) модель, предложенную Олдосом Хаксли, это факт. Факт, который настолько бросается в глаза, что даже далёкие от политики учёные — исследователи творчества писателя — высказываются вполне определённо. “Хаксли сумел спроектировать целостный, убедительный мир вероятного будущего, — пишет И. В. Головачёва в объемной монографии “Наука и литература. Археология научного знания Олдоса Хаксли”. — Ещё более поразительно то, что составляющие именно этого романного мира, а не какого-либо другого из придуманных тогда или впоследствии миров, составляют основное содержа-

ние нашей, пока ещё не закончившейся эпохи” (<http://marsexxx.com/lit/golovatcheva-huxley.htm>).

В другом месте тот же автор пишет, что “Хаксли причислял свои литературные утопические фантазии к *“утопиям, приближенным к настоящему”* (near-in Utopias), поясняя, что такие тексты могут восприниматься в качестве *проектов, планов возможных и желательных действий\** (Головачёва И. В. “Литература и наука в творчестве Олдоса Хаксли. Автореферат диссертации на соискание степени доктора филологических наук).

Много чего можно было бы ещё рассказать о теоретическом и практическом вкладе Олдоса Хаксли в построение “прекрасного нового мира”. К примеру, о его активном участии в проекте “МК-ультра”, посвящённом созданию и внедрению “культуры рока-секса-наркотиков”, которая оторвала молодых людей от корней, внося в человеческое общество дух постоянного бунта и возведённого в принцип существования разврата. В результате западные страны сегодня морально разложены настолько, что для них уже нормальны “содомские браки”, детский секс, повальная наркомания в молодёжной среде, официально зарегистрированные партия педофилов, “церковь сатаны”... Можно было бы подробнее остановиться и на личных пристрастиях Хаксли к наркомании и оккультизму. И на его одержимости мальтузианством, которую он обнаруживал на каждом шагу. Интересно было бы порассуждать и о высказанной в его последнем романе “Остров” ювенальной идее создавать клубы Взаимного Усыновления, расширяющие количество тех, кто добровольно сыграет роль матери и отца чужого ребенка. В общем, много чего можно было бы ещё поведать о столь яркой фигуре XX столетия, но для этого нам потребовалось бы написать монографию. А мы затеяли весь этот разговор с иными целями. Во-первых, нам хотелось показать спланированность, рукотворность того, что многие до сих пор считают спонтанным, само собой происходящим в мире. А во-вторых, читателям важно знать, что “архитекторов перестройки мира” было совсем немного. В сущности, это была маленькая кучка людей. Да, они работали на тех, у кого были (и сейчас есть) деньги и власть. Да, им помогал главный заказчик, который от сотворения мира пытается этот мир перековать на свой манер. Но какие бы они ни были, это всего лишь люди, а вовсе не “объективные, неумолимые процессы” или “стихийно складывающиеся закономерности”, в чём пытаются нас убедить те, кто либо участвует в этих якобы объективных процессах, либо по разным причинам не хочет им противостоять.

А раз так, то сопротивление отнюдь не бесполезно. Тем более что людей, которые не считают мир Хаксли прекрасным и дивным, по крайней мере, в нашей стране достаточно много. Да, поезд, на котором нас везут в этот мир, отправился уже давно и ушёл довольно далеко. Но тем более нужно как можно скорее нажать на стоп-кран и перейти на другой путь! Иного шанса спастись как-то не просматривается, потому что путь в расчеловеченный новый мир – путь в пропасть, в бездну.

Сегодня это с каждым днём всё более ощутимо. Уже не надо обладать каким-то особым чутьём, чтобы сквозь запахи многочисленных ароматизаторов обонять сернистые миазмы преисподней.

Хотя Господь открыл нам, чем закончатся все эти бредовые проекты сотворения нового мира, Он показал это на примере самого автора идеи и романа – Олдоса Хаксли. Он, который с такой иронией рисовал портреты обитателей “прекрасного нового мира”, фактически повторил их судьбу, когда, совсем как мать Дикаря Линда, попросил свою вторую жену (которая, как, впрочем, и первая, была лесбиянкой и адептом “нового сознания”, то бишь дианетики) дать ему перед смертью “сому” – сделать наркотический укол.

А все рукописи незадолго до его смерти сгорели, опровергнув утверждение неизвестного булгаковского персонажа. “Лжец и отец лжи”, как ему и положено, солгал.

---

\* Huxley, A. Utopias, Positive and Negative / Aldous Huxley / Ed. and with an afterword by James Sexton // Aldous Huxley Annual. – 2001. – Vol. 1. – P. 2–3.

АНДРЕЙ РУМЯНЦЕВ

## ДРАМА БАЙКАЛА

1

С началом девяностых годов драма Байкала вступила в свою самую мрачную фазу. Распад страны, развал экономики на огромных пространствах России, резкое падение уровня жизни и социальная напряжённость, наконец, непримиримое противостояние политических сил в стране, окончившееся расстрелом здания Парламента, – всё это отодвинуло на задний план решение важнейших экологических проблем. Борьба за выживание заслонила и общественное движение в защиту “священного моря”. “Мы, – говорил в одном из недавних своих интервью Валентин Распутин, – выходили митинговать для того, чтобы предоставили работу, выдали жалование, которое не платили месяцами и годами, вернули украденные у нас вклады. Боролись за себя, а не за Россию. Прежние поколения действительно стояли за Родину. А мы – за хлеб. Но дело-то ведь не в хлебе, как оказалось. Война показала: дело не в хлебе! Дело в душе, в отношении к стране, к России. В войну отношение к России было удивительное. Её спасали и спасли. А мы отдали её в ельцинские времена на разграбление”.

Можно добавить: оставили мы без всенародной защиты и Байкал. На первый взгляд, казалось удивительным: крупнейшие предприятия с отлаженным производством и многотысячными коллективами рушатся, а “грязные” производства остаются на плаву. В Иркутске и области закрылись мощный машиностроительный завод имени Куйбышева, радиозавод, предприятия по ремонту тракторов, выпуску электрических приборов, почти все предприятия, занимавшиеся производством товаров народного потребления, но продолжали действовать БЦБК и другие целлюлозные комбинаты, нефтехимический гигант в Ангарске, алюминиевые заводы. В Бурятии в первые же годы ельцинских “реформ” приказали долго жить первенцы местной индустрии: приборостроительный завод, предприятия “Электромашина” и “Теплоприбор”, резко снизили мощности цементное и шиферное производство, а Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, выпускавший тару для торговли и продолжавший немилосердно отравлять воздух и реку при её впадении в Байкал, благополучно выстоял. Впрочем, удивлять это могло лишь на первый, то есть

---

*РУМЯНЦЕВ Андрей Григорьевич родился в рыбацкой деревне Шерашово на Байкале. Окончил Иркутский университет. Автор более двадцати поэтических и прозаических книг. Заслуженный работник культуры России, народный поэт Бурятии. Постоянный автор журнала “Наш современник”.*

поверхностный взгляд. Дельцы, за бесценок приватизировавшие с помощью продажных чиновников общенародную собственность, быстро сообразили, что товары народного потребления – это не та продукция, которая может дать большой навар. Баснословные прибыли приносили добыча и продажа за рубежом нефти, газа, золота, алмазов, выпуск алюминия, химической продукции. Целлюлоза в этом списке стояла, может быть, на последнем месте, но, используя до предела оборудование советского времени, не вкладывая средств в модернизацию, можно было и на целлюлозе и продукции из неё хорошо нагреть руки.

В эпоху частной собственности на всё и вся природоохранное законодательство прежних лет уже не годилось, а новое разрабатывалось медленно и с огрехами. И это с учётом небывалой коррумпированности контролирующих ведомств рождало вопиющую безнаказанность нуворишей.

Высшая власть при Ельцине, по сути, отбросила принятые до неё государственные решения по охране Байкала. Напомним, что закон о нём был принят Государственной Думой только в 1999 году. Дальше тянуть было некуда: решением ЮНЕСКО Байкал тремя годами ранее был включён в список объектов Всемирного культурного и природного наследия.

В последние два десятилетия при всех всплесках гласности, которая давала о себе знать на немногочисленных митингах и пикетах защитников озера, хозяева обоих целлюлозных комбинатов не чувствовали никакой ответственности за отравление Байкала.

Работа Селенгинского ЦКК вообще редко оказывалась в поле общественного внимания. В конце восьмидесятых здесь установили систему замкнутого водооборота. Со временем она поизносилась, и некачественно очищенные стоки, да и непредвиденные сливы, аварийные протечки отстойников не замечались государственными контролёрами. Новые владельцы комбината везде, где только возможно, – в средствах информации, на депутатских слушаниях, общественных обсуждениях – внушали публике, что их предприятие достигло чуть ли не мировых стандартов в очистке промышленных стоков. Этот пиар и ныне помогает московским хозяевам комбината на Селенге вести производство по-старому, получая прибыли и оставляя местным жителям загрязнённую среду обитания.

Летом 2011 года активисты общественной организации “Байкальское движение”, побывав на комбинате, в очередной раз подтвердили, что экологические требования здесь не выполняются. Любопытно, как прокомментировал их мнение в газете “Информ Полис” старший помощник прокурора Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуры: “На 23 вида опасных отходов производства предприятие не имеет необходимых паспортов”; “вода, которая подаётся предприятием населению своего посёлка, не проходила санитарно-эпидемиологической проверки”; “документы на отстойник ТЭЦ, который особенно загрязняет подземные воды, по словам руководителей комбината, утеряны”; “через суд мы понуждаем предприятие соорудить новый отстойник, но там считают, что это потребует больших затрат”; “в судебном иске, поданном прокуратурой, более двадцати требований, но пока они не выполнены”.

Прочитав такое, только и воскликнешь: в какие дикие времена окунулась Россия! И как издевательство нуворишей над её гражданами в той же газете, на той же странице сообщается, что по итогам Всероссийского конкурса на звание “Лучшее российское предприятие” (вероятно, проводила его федеральная власть) Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат стал победителем в номинации “Экологическая ответственность”.

На Байкальском комбинате положение с очисткой стоков выглядело ещё хуже. В отличие от Селенгинского ЦКК, здесь выпускали целлюлозу белёную, а её производство сопряжено с применением хлора и других особо опасных для Байкала ядовитых веществ. Между тем, на предприятии не существовало системы замкнутого водопользования, и всё первое десятилетие *дикого капитализма* в России оно безнаказанно отравляло озеро. С приходом В. Путина на пост Президента РФ власть инициировала строительство на комбинате “водооборотки” – проекта дорогостоящего и, в общем-то, не сулящего особого эффекта для предприятия такого типа. Под гарантию правильности экологического проекта согласились кредитовать зарубежные инвесторы. Но система так и не была достроена на их средства: убедившись, что хозяева комбината меньше всего заботятся об участии всемирного природно-

го наследия и не выполняют условий кредитования, инвесторы отказались финансировать проект.

Какие люди определяли тогда судьбу Байкала в Иркутске, видно из поздних откровений одного из них — бывшего чиновника В. Яковенко. При губернаторе Ю. Ножикове, правившем областью в 1992–1997 годах, он был первым заместителем главы администрации и отвечал, как он выразился в беседе с корреспондентом местной газеты, за “стратегию экономического развития региона”. Десять лет спустя после отставки шефа и своей В. Яковенко заявил журналисту: “Считаю, что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат зря закрыли (в дни, когда было опубликовано интервью, предприятие временно не работало. — **А. Р.**). В своё время я был категорически против этого. Такой же позиции придерживался и Ножиков. В Минэкономике я выступал против закрытия”. “А как же Байкал?” — спросил корреспондент. “Под комбинатом, — ответил бывший чиновник, — за годы его работы образовалась линза с отходами производства. Ну, ликвидируем мы БЦБК, а линза останется. Но зато мы потеряем стратегическое предприятие (интервьюер явно наводил тень на плетень: “стратегическое предприятие” давно уже вывозит 98 процентов своей целлюлозы в Китай, так как на родине покупателей у него нет. — **А. Р.**). А очистные сооружения комбината вполне справлялись. Я сам пил воду на очистных и живой, как видишь, остался”.

В Байкальске насилие над “чудо-морем” приняло в последние годы совершенно зверские, колониальные формы. Система замкнутого водооборота, кое-как достроенная, не очищала стоков даже до уровня пресловутых предельно допустимых концентраций (ПДК) при производстве белёной, выгодной хозяину, целлюлозы. Нужно было обойти запреты. Для управляющей компании ООО “ЛПК “Континенталь менеджмент”, в состав которой входил БЦБК, лучшим средством оказался шантаж природоохранных ведомств. И высшей власти, конечно.

В октябре 2008 года хозяева остановили производство, отправив во временные, не оплачиваемые отпуска более тысячи трехсот рабочих (60 процентов всего состава). Руководство заявило, что причина этого — ввод замкнутого водооборота, который не даёт возможности использовать активный хлор при производстве белёной целлюлозы. Расчёт владельца был прозрачен: “Если вы (то есть природоохранные ведомства) требуете соблюдать экологические нормы, а их не удаётся достичь даже при системе замкнутого водопользования, то вот вам головная боль: решайте проблему безработицы в моногородке. Рабочие сами заставят вас пустить комбинат и — на наших условиях”.

В самом деле, для Байкальска, имеющего единственное градообразующее предприятие, остановка производства на ЦБК стала трагедией. В разные инстанции полетели гневные письма, в суды — обращения возмущённых людей, митинги из самого городка перекинулись в областной центр. Власти, помогая “бедному” олигарху, вынуждены были искать средства для выплаты компенсаций людям, оставшимся без зарплат и, конечно, — выход из технологического тупика, в котором оказался комбинат.

Летом 2009 года (комбинат в это время всё ещё простаивал) на Байкале побывал В. Путин. В глубоководном научно-исследовательском аппарате “Мир-1” он спустился на дно озера как раз в акватории ЦБК. К удивлению учёных — знатоков проблемы, он сказал после погружения, что “Байкал в хорошем состоянии, никакой угрозы для него нет”. Видимо, после заявлений экологов-общественников и мрачных выводов учёных премьер ожидал увидеть “чудо-море” похожим на сточную яму. Но он не учёл, какого объёма “резервуар” перед ним и какую самоочищающуюся способность имеет озеро. Даже при том, что мы уже полвека варварски загрязняем его, превратить его в помойку пока, слава Богу, не удалось.

Позже на сайте правительства России Путин продолжил разговор в прежнем духе: “Когда мы были на Байкале летом, я разговаривал с учёными, с членами Академии наук, спрашивал, как отразилась деятельность ЦБК на Байкале, на его экологии. Там нет изменений к худшему для Байкала. Это не значит, что там нет проблем. Только нужно посмотреть на них повнимательнее и по-серьёзному, без всякой политизации”.

Не в первый раз чиновники разных рангов убеждают публику, что мнение противников целлюлозных комбинатов на Байкале — это *политизированный* взгляд на проблемы озера. На том же сайте его создатели пытаются обелить

БЦБК. По их информации получается, что БЦБК вносит в общую копилку загрязнений самую незначительную часть, ну, совсем-совсем каплю по сравнению со стоками других предприятий. Посмотрите: “Байкальский комбинат в 2008 году слил в озеро только 27,4 тысячи тонн вредных веществ, а Гусиноозёрский промышленный узел в Бурятии – 442 тысячи тонн, водоканал города Гусиноозёрска – 348 тысяч, водоканал Иркутска – 106 тысяч, предприятия Улан-Удэ и его система бытовых стоков – 34 тысячи тонн. То же самое происходит с воздушными выбросами. Целлюлозно-бумажный комбинат “растворил” в атмосфере лишь 4,3 тонны вредных веществ, в то время как Ангарск – 221 тысячу тонн, Северобайкальск на бурятском участке БАМа – 28,5 тысячи, ТЭЦ города Улан-Удэ – 21,3 тысячи тонн”.

Сомневаемся, что приведённые сведения достоверны. Но даже если это и так, то пугающие цифры рассчитаны на людей, не знакомых с байкальской проблемой, к тому же не имеющих представления о географии. Очистные сооружения предприятий и коммунального хозяйства Гусиноозёрска, конечно, допотопны, но вред они приносят скорее Гусиному озеру, на берегу которого расположен городок, а вовсе не Байкалу, до которого двести километров и который не связан водными артериями с этим далёким водоёмом. То же самое водоканал Иркутска. Его очистные не назовёшь идеальными, но загрязняет он Ангара, а она пока ещё не течёт вспять, в Байкал. Конечно, и в Северобайкальске, лежащем на берегу “священного моря”, и в Улан-Удэ, расположенном на Селенге, в ста тридцати километрах от её впадения в Байкал, очистка воздушных выбросов совершенно негодна, но всё же сравнивать воздух над целлюлозно-бумажным комбинатом и городами ближнего и дальнего подлесья нормальный человек не возьмётся: у стен БЦБК разит таким зловонием, какого не сыщешь нигде в прибайкальском регионе.

Но на высшую власть лукавая информация, с одной стороны, и социальная напряжённость в Байкальске – с другой, произвели впечатление. В январе 2010 года правительство издало постановление “О внесении изменений в перечень видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории”. В этом документе производство целлюлозы исключалось из “запрещённых производств”, причём комбинату разрешалось выпускать продукцию, сбрасывая промышленные стоки прямо в Байкал. Кроме того, разрешалось складирование отходов всех классов опасности на берегу “священного моря”.

У сибирских учёных, занимающихся проблемами Байкала, постановление вызвало шок. Ещё в конце предыдущего года председатель научного совета СО РАН академик М. Кузьмин, многие годы смело и бескомпромиссно защищающий “чудо-море” от посягательств любых чиновников, узнав о готовящемся документе, написал В. Путину письмо о недопустимости осуществления зловещего плана. Директор Лимнологического института СО РАН на Байкале академик М. Грачёв так выразил своё мнение на этот счёт в печати: “В августе (2009 года. – **А. Р.**) В. Путин проводил совещание, на котором присутствовали академики, губернаторы, руководители ведомств. Было принято решение запустить производство небелёной (то есть менее опасной. – **А. Р.**) целлюлозы в замкнутом цикле. Именно в замкнутом! Что могло измениться с августа? Когда объявляли Байкал Участком мирового природного наследия, Россия обещала мировому сообществу репрофилирование комбината. Теперь что, репрофилирование “разобещано”? Даже не указано время, на которое разрешается сброс стоков в Байкал”.

После нового постановления правительства, разрешившего БЦБК сброс в озеро неочищенных стоков, митинги протестов прокатились уже не только по прибайкальским регионам, но и по многим крупным городам страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Настоящая буря пронеслась по экологическим сайтам интернета. Нашёлся даже смельчак, который обжаловал высокий документ в суде. Им, правда, оказался не сибиряк, а москвич, школьный учитель, руководитель столичного экологического объединения “Царицыно для всех” Андрей Маргулев. Нечего и говорить, что этот правовой инцидент был погашен.

Упомяну ещё одну историю, на этот раз иркутскую. Общественная организация “Байкальская экологическая волна”, назначившая на середину февраля 2011 года митинг протеста против решения, подписанного В. Путиным, вдруг удостоилась визита сотрудников УВД области. Представители милиции



заявили, что активисты организации... незаконно используют нелегализованное программное обеспечение. Без всякого ордера были изъяты оргтехника и документы. При этом стражей порядка не заинтересовали лицензионные соглашения экологов-общественников на программное обеспечение. Удивлённым активистам гости заявили, что "Байкальская экологическая волна" действует – ни много, ни мало – "против правительства России". Семерых сотрудников общественной организации задержали "для дачи показаний". Эта процедура продолжалась до девяти часов вечера... Поневоле вспомнишь знаменитое путинское: "мочить в сортире", – хотя "мочить" в данном случае пришлось людей, болеющих за судьбу Байкала.

## 2

Наиболее серьёзно и аргументированно выступили в печати против затей правительства, как и следовало ожидать, учёные – академики, члены-корреспонденты, доктора наук: председатель президиума Иркутского научного центра СО РАН И. Бычков, председатель научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал М. Кузьмин, заместитель председателя президиума Восточно-Сибирского научного центра СО РАН В. Рукавишников, председатель президиума Бурятского научного центра СО РАН Б. Базаров, директор институтов, причастных к изучению байкальских проблем. Их открытое письмо В. Путину и приложенная к посланию аналитическая записка по проблемам ЦБК и города Байкальска имели решительное заглавие: "Спаси "колодец планеты"!"

Хочу привести самые важные строки из этих документов.

"Очевидно, что постановление... направлено на возобновление работы БЦБК с использованием технологий производства целлюлозы 40-летней давности, не соответствующих современным требованиям и предусматривающих, в том числе, дурно пахнущие выбросы вредных веществ в атмосферу, которые ощущаются на расстоянии до 70 километров... БЦБК с начала своего существования стал камнем преткновения между руководством страны и обществом. Именно БЦБК стимулировал развитие экологического движения в нашей стране и до сих пор угрожает экологической катастрофой не только для страны, но и для всего мира.

Возобновление производства целлюлозы Байкальским комбинатом в режиме сброса сточных вод нарушает международные обязательства России по охране уникальной всемирной ценности – Объекта всемирного природного наследия – озера Байкал, а также противоречит требованиям Федерального закона "Об охране озера Байкал" и не позволяет начать реализацию действительно экономически целесообразных и экологически допустимых проектов развития города Байкальска на основе использования природного потенциала озера...

Нам представляется, что средства, которые планируются в виде дотаций на возобновление производства целлюлозы на БЦБК, более рационально было бы направить на поддержку уволенных работников комбината и на перепрофилирование производства в г. Байкальске. В частности, превращение Байкальска в туристический центр сможет решить многие вопросы занятости населения города. Кроме того, в Байкальске можно развернуть производство лекарственных препаратов из сибирской лиственницы, изготовление кремниевых солнечных батарей и модулей, другие производства, запланированные к реализации на ближайшие годы в Иркутской области. Наконец, производство бутилированной байкальской воды, которая так необходима для Азиатского континента, не может быть высоко rentable, пока действует комбинат. До его перепрофилирования нельзя решить и вопросы создания привлекательных рекреационно-туристической и спортивно-оздоровительной баз в г. Байкальске.

Сброс сточных вод в Байкал необходим комбинату для производства белёной (наиболее дорогой. – **А. Р.**) целлюлозы с применением хлорного отбеливания, то есть с производственным циклом, разработанным на БЦБК. В результате работы целлюлозно-бумажных предприятий с хлорным отбеливанием в качестве побочных продуктов образуются диоксины и хлорированные фураны. Их состав в сточных водах БЦБК имеет значительное сходство с составами диоксинов и хлорированных фуранов в почвах и донных отложениях, зооплактоне, отловленном вблизи комбината. Диоксины найдены так-

же в ряде живых организмов Байкала. При регулярном употреблении в пищу животных, в которых накапливаются диоксины, увеличивается канцерогенный риск для населения, что установлено на берегах водоёмов, на которых расположено производство белой целлюлозы с хлорным отбеливателем. В связи с этим научное сообщество категорически против запуска БЦБК со сбросом отработанных вод непосредственно в Байкал. За рубежом на аналогичных ЦБК предприятиях переходят на отбелку целлюлозы перекисью водорода и озоном. Однако для БЦБК переход на такую технологию затруднителен, так как комбинат работает с использованием технологии, разработанной в начале 60-х годов. Основное технологическое оборудование комбината, схема варки, промывки, отбелки регенерации извести, подготовки древесины за более чем 40 лет практически не изменились. Мощность БЦБК мала сравнительно с мощностью передовых российских и зарубежных предприятий. При современной мощности комбинат имеет низкую конкурентоспособность и на мировом, и на внутреннем рынке.

В водах, сбрасываемых комбинатом, отмечаются превышенные по сравнению с предельно допустимыми концентрации фенола, хлорид- и сульфатионов. Но самое главное, в окрестностях предприятия присутствуют в воздухе высокие концентрации дурно пахнущих соединений двухвалентной серы – сероводорода, метилмеркаптана, диметилсульфида и диметилдисульфиды. БЦБК выбрасывает в сутки одну тонну дурно пахнущих веществ. Концентрации меркаптана в населённой части г. Байкальска превышают предельно допустимые в 10 и более раз.

В соответствии с Государственным докладом «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2007 году» доля объёма выбросов в атмосферу комбинатом от общего объёма выбросов всеми источниками (включая предприятия, организации, ЖКХ и др.) в центральной экологической зоне Байкальской природной территории составляла 51 процент, аналогичный показатель по сбросам сточных вод – 86 процентов, по образованию отходов – 42 процента.

Всё это отрицательно действует на здоровье людей. Совместное влияние вредных веществ вызывает раздражающие действия на дыхательную систему, угнетает окислительно-восстановительные процессы, вызывает нарушение углеводного обмена, оказывает отрицательное влияние на состояние белковых молекул человека. Исследования показали неблагоприятное влияние этих веществ на репродуктивную функцию женщин. Установлено, что у женщин детородного возраста, испытывающих воздействие метилсернистых соединений, наблюдается повышенная частота осложнений во время беременности и родов: патологии плаценты, угроза прерывания беременности, возможность выкидыша (риск составляет 54–76 процентов).

Комбинат расположен в зоне высокой сейсмической активности с возможными землетрясениями силой до 9–11 баллов по двенадцатибалльной шкале Рихтера\*. Таким образом, при землетрясениях большой силы в Байкал из разрушенных ёмкостей могут попасть реагенты и отходы. При рассмотрении рисков необходимо иметь в виду возможность утечки жидкого хлора из ёмкостей, разрушение ёмкостей – хранилищ белого и чёрного щёлока, нефтепродуктов, серной кислоты, а также прорыв ограждающих конструкций и поступление в Байкал накопленных отходов очистки сточных вод из шламонакопителей. Возможны и другие тяжёлые экологические последствия”.

Казалось бы, мнение большой группы авторитетнейших учёных должно было отрезвить авторов постановления. Ничего подобного! Весной того же года предприятие начали запускать вновь, преодолевая многочисленные технологические неурядицы и сбои.

Читатель должен знать, что всякий раз закрытие и возобновление работы ЦБК – предприятия частного – сопровождается огромными государственными вложениями средств. Миллиардер О. Дерипаска не понёс никаких издержек при метаморфозах, случавшихся с комбинатом. Остановить производство и выбросить на улицу более тысячи трёхсот рабочих – пожалуйста, только оплатите из бюджета людям их вынужденные многомесячные прогулы. Возобновить выпуск продукции и вернуть байкальцев на рабочие места – пожалуйста

---

\* В конце декабря 1861 года прибрежная Цаганская степь опустилась при землетрясении на несколько метров, образовался залив Провал. А вдруг землетрясение такой силы произойдёт в районе Байкальска? (Прим. наше. – А. Р.)

ста, только дайте средства на реконсервацию цехов. И власть, как приказчик богатого хозяина, исполняет требования собственника. Но если бы речь шла только о взаимной любви высоких чиновников и олигарха! То, что разыгрывается ими, как карта, есть бесценное достояние нынешних и будущих поколений российских граждан!

Решение правительства принято, комбинат возобновил работу, но ведь есть и установленные государством нормы предельно допустимых концентраций вредных веществ в стоках предприятий. Их-то никто не отменял. Чиновники природоохранных ведомств оказались в двойственном положении: выбросы ЦБК в Байкал и в атмосферу не укладывались ни в какие нормы. И тут мы можем увидеть, как нынешние государственные “защитники природы” решают проблемы охраны наших природных богатств.

Заместитель министра промышленности и торговли России (кстати, член совета директоров БЦБК) А. Дементьев направил тогдашнему заместителю премьера И. Сечину письмо, в котором изложил неприятную для комбината ситуацию. Автор поясняет, что предприятие оказалось “за гранью правового поля” и ему нужно помочь преодолеть препятствия на пути к успешной работе. И что, вы думаете, предлагает чиновник? Просить премьера отменить постановление? Ошибаетесь. Он предлагает отменить действующий приказ Министерства природных ресурсов и экологии о “строгих” нормативах и установить новые, в которые комбинат вполне бы вписывался. В противном случае, напоминает чиновник своему начальнику, “несоблюдение нормативов приведёт к увеличению платежей за выбросы загрязнений, к непомерным (!) для предприятия штрафам – до 200 миллионов рублей в месяц”. Можете представить, какие яды спускает в Байкал комбинат, если по закону он должен платить ежемесячно сотни миллионов рублей штрафа! И какая трогательная забота государственных служащих о кошельке Дерипаски!

Оказалось, что А. Дементьев направил свои предложения не по собственной инициативе. Ещё раньше заместитель премьера, зная, что комбинат не сможет работать пригодно на устаревшем оборудовании, дал поручение министерству подготовить пресловутый “план действий по обеспечению устойчивой работы ОАО “Байкальский ЦБК” во втором полугодии 2010 года и в 2011 году при безусловном выполнении взятых экологических обязательств”. Последние слова “о взятых обязательствах” были, разумеется, дымовой завесой. В Доме правительства хорошо знают, что при выполнении комбинатом экологических правил он не может быть пущен в ход. К тому же в октябре 2008 года, когда предприятие пришлось остановить на целых полтора года, его московские покровители говорили о том, что комбинат придётся запустить единственно для того, чтобы израсходовать все химические вещества, приготовленные впрок, и провести мероприятия, предусмотренные при закрытии опасных производств. Вышло так, что это снова – пустые слова.

Отношение федеральных властей к проблемам Байкала, как мы видели, и непредсказуемо, и безответственно. После того, как правительство санкционировало сброс неочищенных стоков БЦБК в “священное море”, оно же поручило специалистам разработать целевую программу “Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории до 2020 года”. В этом документе оставлен в стороне вопрос о закрытии ЦБК. Как будто предприятию выдана охранная грамота, и оно останется неприкасаемым ещё десятилетие. Зато намечены меры, которые без закрытия комбината едва ли улучшат здоровье сибирского моря. Предполагается “сократить объём стоков в озеро” (естественно, без стоков БЦБК), “понизить уровень накопленных отходов” (что значит – понизить? Меньше накапливать? А когда будут утилизированы, обезврежены накопленные отходы на двух целлюлозных комбинатах?), “укрепить береговую линию озера”, “провести мониторинг состояния Байкала”, то есть постоянно следить за его самочувствием. А что толку следить, если государство не пресекает вопиющие экологические преступления?

Судьба комбинатов-отравителей не определена. Ещё один заместитель премьера, И. Шувалов, приехавший на Байкал осенью 2010 года, заявил, что проблему ЦБК “одним махом не решить, нужен пятилетний переходный период”, причём вовсе не для закрытия комбината, а лишь для его реперофилирования.

В июне 2011 года Комитет ЮНЕСКО на своей сессии сделал решительное заключение: “Действия российских властей угрожают мировому природному

наследию”. В очередной раз эта международная организация предложила закрыть целлюлозные комбинаты на Байкале. Но наши правители снова проигнорировали голос разума.

Как-то академик М. Кузьмин сказал о БЦБК: “Комбинат можно сравнить с лошадиным стойлом, построенным в церкви. Очевидного материального вреда церкви это не принесет (ох, Михаил Иванович, принесёт, да ещё какой: надолго загадит святое место, всех верующих оттолкнёт!). Только церковь всё равно перестанет быть храмом. Одно-единственное стойло превратит её в конюшню”.

Думаю, хватит рвать сердце. От власти, представляющей интересы олигархов, милосердия к Байкалу не дождёшься!

“Священное море”, по большому счёту, принадлежит вовсе не человеку, а природе. Она его мать. А мы, как и деревья, звери, птицы, лишь прилепимся к нему и пользуемся его щедротами. По своей греховности мы покусаемся на его святость. Природа, конечно, отомстит нам за это вырождением, мором от нехватки чистой питьевой воды. Но разве не можем мы цивилизованно разобраться с теми, кто губит Байкал?

А последнее слово – к землякам. Хватит надеяться на “дядей”, которые защитят Байкал: на чиновников из далёкой Москвы, на ту местную власть, которая соглашается с любым губительным предложением, на собственников, которые рьяно отстаивают свой личный шкурный интерес. Хватит! Выше нас защитников нет. Наша земля, наше родное гнездо – с нас и спрос.

\* \* \*

... Снова перед глазами Байкал. С деревенского взгорья его сине-белое лоно похоже на небесное поле, чудесным образом опустившееся на землю, чтобы напомнить, что и на ней, грешной, может жить высокое, возвышенное. Сквозь прозрачный воздух горы на противоположном берегу выглядят тоже сказочными, воздушно-голубыми.

Но недолго, радуясь, трепещет душа. Уже стучится в неё забытая на минуту тревога: неужели я – из последнего поколения, которое видело Байкал живым и солнечным? Как отчитаюсь я там, в ином пределе, перед отцом и дедом? “Ты получил Байкал чистым, что ты сделал с ним?” – спросят они. Что отвечу им? Скажу, что возмутился, когда кто-то, отринувший стыд и совесть, осквернивший многое, не пощадил и эту святыню? Возмутился – только и всего?

Что ответим все мы, братья?

ГЕОРГИЙ ЦАГОЛОВ

## ВТО: ТО ИЛИ НЕ ТО?

*Россия не получит преимуществ от присоединения к ВТО.*

Кристин Лагард, глава МВФ

22 августа 2012 года стало исторической датой: Россия вступила во Всемирную торговую организацию. Что принесёт стране членство в ней? Давний спор на эту тему продолжается. Но теперь уже ответ на вопрос переведён в практическую плоскость. Истекшие полгода, конечно, недостаточны для окончательных выводов и суждений. Но о чём всё же говорят непреложные факты последнего времени?

### Лузеры

Прежде чем перейти к анализу процессов в российской экономике, приглядимся к опыту соседей, раньше нас вступивших в ВТО. Украина, сделавшая это в 2008 году, продолжает испытывать на себе пагубные последствия преждевременного шага. Уже через год после открытия торговых границ ВВП Украины уменьшился на 15%. Объём промышленного производства сократился более чем на 40%, а машиностроение рухнуло на 57%. Добрая половина тех, кто работал в автомобилестроении, потеряли работу. В сельском хозяйстве бывшей житницы СССР, вознамерившейся стать “житницей Европы”, также проявились негативные тенденции. 50 сахарных заводов остановились. Большой урон понесло животноводство. Полмиллиона человек оказались на улице. “В минус” ушло производство муки (–8% в 2009-м и –9% в 2011 году) Резко упало и только чуть-чуть начало выправляться производство говядины, телятины и свинины (–21% в 2009-м и –12% в 2011-м году). Влиянием мирового кризиса такое падение никак не объяснишь: экономика Европы за это же время сжалась лишь на 3–4%, а у не вступивших в ВТО Белоруссии и Казахстана – аналогичные показатели практически не изменились.

Раньше всех других постсоветских стран членом ВТО стала Киргизия (декабрь 1998-го). С тех пор промышленное производство там почти сошло на нет, а сельское хозяйство резко сократилось. Земледелие уменьшилось в 35 раз, животноводство – в 30 раз. Вместе с тем уровень торговли возрос. Но преимущественно импортными товарами.

Несколько позже вступившие в ВТО наши бывшие прибалтийские республики тоже основательно просели. Хлынувший в Латвию поток дешёвых това-

ров вскоре сократил её промышленность. Если прежде удельный вес индустрии занимал около 40% латвийского ВВП, то сейчас он снизился до 14%. Производители текстильных изделий, например, не смогли выдержать жёсткой конкуренции и были вытеснены западными производителями.

Десятки вступивших в ВТО стран Азии, Африки и Латинской Америки вскоре почувствовали, что цены на все их сырьевые товары, кроме нефти, существенно снизились. Попав в долговую зависимость от западных банков и международных финансовых организаций, они вынуждены увеличивать объёмы экспорта для погашения кредитов.

### **Новые лидеры**

Конечно, отдельным государствам, в том числе и азиатским, членство в ВТО не только не мешает, но и помогает. Но все они без исключения предельно тщательно готовились к этому шагу.

У Южной Кореи, например, это заняло 10 лет. В 1960-е годы прошлого века бедность заставляла многих её граждан питаться корой деревьев. Но затем она совершила скачок в число развитых государств. Национализировав банки, авторитарный вождь страны Пак Чон Хи превратил их в источник финансирования выпестованных им многоотраслевых концернов — «чеболов». А к руководству привлёк наиболее способных и созидательных предпринимателей. И те, не в пример нашим олигархам, превратили аграрную страну в одного из «молодых азиатских тигров», создав, пусть и с помощью государства, работающие на весь мир электронные, автомобилестроительные и прочие высокотехнологичные корпорации. Вначале Корея закрыла свои рынки, создавала конкурентные преимущества для своих производителей, нарастила производство, модернизировала свою экономику, стала конкурентоспособной, а потом уже вошла в ВТО.

Примерно так же поступил и Китай. Хотя политика «открытости внешнему миру» была провозглашена им вскоре после начала реформ в конце 1970-х годов, в ВТО он вступил лишь через двадцать с лишним лет — в 2001 году. Подготовительные усилия направлялись, в первую очередь, на укрепление собственного сельского хозяйства и промышленности, захиревших в годы маоизма. Это делалось с помощью и рыночного, и государственного инструментария. При этом стимулировался опережающий рост вывоза готовой продукции, постепенное повышение в её объёме наукоёмких товаров, достижение соответствующего мировым стандартам качества всё большей части экспортируемых изделий. Сначала Китай превратился в «мировую фабрику», а затем уже вступил в ВТО.

Условия присоединения к ВТО Поднебесная тщательно продумывала. Членство в организации теперь содействует её зарубежной экспансии и не столь опасно для внутреннего рынка. К тому же собственные интересы в сношениях с нерезидентами внутри страны и на мировой арене Китай с тех пор защищает с завидным упорством и мастерством.

### **Закопёрщики**

В итоге Второй мировой войны соотношение сил в капиталистическом мире резко изменилось в пользу США. За океаном решили закрепить свои преимущества с помощью Бреттон-Вудского соглашения, означавшего утверждение валютной гегемонии доллара и выпестованных на его основе международных организаций, облегчающих транснациональным корпорациям (ТНК) внешнюю экспансию и обеспечивающих преимущественные условия американским товарам. Для этого в 1945 году были созданы Мировой банк и Международный валютный фонд, а затем мыслилось учреждение Международной торговой организации. Но этого сразу не получилось, и с 1947-го по 1993 годы просуществовало не имевшее законченного юридического оформления Генеральное соглашение по торговле и тарифам — ГАТТ. За это время число присоединившихся к нему стран увеличилось с 23 до 123. Процесс завершился образованием Всемирной торговой организации, начавшей действовать с 1 января 1995 года.

Интересы США и ТНК состояли в максимальной либерализации мировой торговли. Стратегия заключалась в том, чтобы ликвидировать барьеры на пу-

ти трансграничного движения товаров и капиталов по максимально широкому спектру отраслей. Причём этим дело не ограничивалось. По признанию бывшего директора ВТО Ренато Руджеро, задачи распространялись на области, которые никогда раньше не относились к торговой политике. “Я подозреваю, что ни правительства, ни бизнес пока до конца не осознали объём этих обязательств”, – говорил он. Имелись в виду требования ВТО “открыть рынки” образования, здравоохранения, транспорта, водоснабжения, культуры и ЖКХ.

На должности Генеральных директоров ГАТТ и ВТО с одобрения США значались представители высшей государственной бюрократии разных стран. Большинство из них были тесно связаны с международными корпорациями. Так, первым Генеральным директором ВТО (1993 – 1995) стал бывший генеральный прокурор Ирландии Питер Сазерленд. Позже он занял место председателя совета директоров “Бритиш петролеум”. Итальянец Ренато Руджеро до назначения на пост Генерального директора ВТО (1995–1999) работал в гигантах нефтегазовой и автомобильной индустрии: *ENI* и *FIAT*. После окончания работы в ВТО он переместился в кресло министра иностранных дел Италии в правительстве Сильвио Берлускони, а ныне работает в крупнейшем международном финансовом конгломерате *Citigroup*.

Сменивший его новозеландец Майк Мур (1999–2002) до того был премьер-министром в своей стране, а после окончания службы в ВТО стал послом Новой Зеландии в США. Единственный представитель из развивающихся стран на посту Генерального директора ВТО Супачай Паничпакди (2002–2005) являлся раньше вице-премьером Таиланда. А занимающий с 2005 года по настоящее время высшую позицию в ВТО француз Паскаль Лами до того был генеральным директором одного из крупнейших французских банков *Crédit Lyonnais*.

### **Отбрасывают лестницу**

Между прочим, принцип либерализации не был популярен ни в США, ни в Великобритании, ни в других богатых странах в период первоначального развития. Тогда они широко использовали инструменты протекционизма. Новые индустриальные страны (НИС) прежде также поддерживали и защищали свою экономику. Они не смогли бы поднять свою промышленность, используя рецепты свободной торговли. Государство при этом играло большую роль в инвестициях и субсидиях. Либеральные же реформы во многих развивающихся странах приводили к экономическому кризису. Открытие своих рынков иностранному капиталу вело к вытеснению национальных производителей, росту безработицы и социальной поляризации. По мнению всемирно известных экономистов американца Иммануила Валерстайна и египтянина Самира Амина, рецепты свободной торговли теперь используются “странами центра”, чтобы предотвратить индустриализацию в бедных и “периферийных” государствах.

И в самом деле, какая “свобода” подразумевается? Свобода ТНК открывать для себя новые рынки сбыта, использовать дешёвую рабочую силу и сырьё, переносить “грязные” производства подальше от дома... Не потому ли в рамках ВТО богатые страны убеждают других идти в направлении, противоположном тому, куда двигались они сами? Используя протекционизм на ранних этапах, страны-лидеры теперь запрещают другим практиковать его. Таков неокOLONIALИЗМ. По выражению южнокорейского экономиста Чхан Ха Джуна, они “отбрасывают лестницу”, по которой сами забрались наверх, – и таким образом блокируют развитие большинства стран.

### **Переговоры**

Одним из доводов в обоснование принятого решения о вступлении России в ВТО служит длительное ведение переговоров по этому вопросу: они начались при Ельцине в 1993 году и закончились в конце 2011 года при президенте Медведеве. Этот аргумент не вполне убедителен. В данном случае продолжительность – не самое главное. К тому же о содержании переговоров и достигнутых результатах сведений немного, так как большая часть из них проходила в секретном порядке. Из того же, что известно, складывается довольно противоречивая картина.

В 1986 году в ходе горбачёвской *перестройки* правительство СССР обратилось в ГАТТ с заявкой о получении статуса наблюдателя в этой организации. Однако США отклонили её, указав, что принципы плановой и рыночной экономики несовместимы. Спустя четыре года искомый статус все же был получен. В 1993 году новая либеральная власть в России выразила желание присоединиться к ГАТТ, и начались переговоры. С 1995 года они были продолжены уже с ВТО.

Особенно трудно было достичь договоренности с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Разногласия с ЕС удалось урегулировать после того, как Россия поддержала Киотский протокол об охране окружающей среды. Шестилетние споры с Америкой шли по вопросам финансовых рынков, поставок в Россию сельскохозяйственной продукции и защиты прав интеллектуальной собственности.

Запад не раз ставил нам неприемлемые условия. Так, нынешний Генеральный директор ВТО П. Лами, в бытность свою комиссаром по торговле в Еврокомиссии, требовал от российской стороны поднять внутренние цены на газ до уровня экспортных. России пришлось отчаянно маневрировать. По другим вопросам *прогибались* ещё больше, соглашаясь, причём в предварительном порядке – до вступления в ВТО – со снижением ряда тарифов и пошлин. В связи с этим Путину пришлось заявить: сначала примите нас в организацию, а потом уже мы проведём акции по либерализации внешнеэкономических связей.

Начавшийся глобальный финансовый кризис вынудил многие страны задуматься не о свободной торговле, а о жёстком регулировании своей экономики. В середине 2009 года на заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС в Москве Путин сделал официальное уведомление о прекращении индивидуальных переговоров по присоединению России к ВТО, объявив, что с начала 2010 года наша страна будет участвовать в них в рамках и от лица единого Таможенного союза РФ, Белоруссии и Казахстана. Несколько позже первый вице-премьер Игорь Шувалов подтвердил, что три государства будут вступать в ВТО одновременно и на согласованных условиях. Но в 2011 году позиция России изменилась, и на Министерской Конференции ВТО был одобрен пакет документов о присоединении России в индивидуальном порядке.

Дискуссии в обществе о целесообразности вступления в ВТО обострились во время завершающей стадии переговоров, особенно в канун ратификации решения правительства законодательными органами. Всё чаще стали раздаваться голоса с предложениями провести референдум по столь важному для судьбы страны вопросу. Однако эту идею отклонили, заявив, что столь сложная проблема может быть правильно решена лишь узкой группой специалистов.

Весной 2012 года инициативная группа по проведению всенародного референдума о вступлении России в ВТО объединила немало общественно-политических сил. 4 апреля во время заседания её оргкомитета выступили многие известные экономисты, публицисты, общественные деятели, политики и бизнесмены. Событие было проигнорировано центральными СМИ. Группа обратилась в Центральную избирательную комиссию России с соответствующим предложением. Но ЦИК посчитала, что народ “лезет не в своё дело”. Тогда обратились в Верховный Суд. Безрезультатно. В начале июля в центре Москвы и других городах России прошли митинги против присоединения к ВТО и новой волны “либеральных реформ”. В них принимали участие тысячи людей.

Представители экспертной общественности всё же добились обсуждения вопроса о присоединении России к ВТО в Госдуме. Оно началось с констатации того, что Минэкономразвития опубликовало лишь неофициальный перевод договоренностей. Главный переговорщик от России – Максим Медведков – тогда прямо заявил: “Другого перевода, скорее всего, не будет”. Привыкайте, мол, работать с текстом, который, строго говоря, может и не соответствовать подписанным российской делегацией документам. 10 июля 2012 года Госдума ратифицировала Протокол о вступлении России в ВТО. Решение было принято с перевесом всего в 30 голосов (238 – за, 208 – против), причём исключительно голосами депутатов фракции “Единая Россия”.



## Переговорщики

Похоже, что самые влиятельные приверженцы вступления России в ВТО были уверены в успехе своего дела. Во всяком случае, свою победу они торжественно отмечали уже 16 декабря 2011 года, когда в Швейцарии министром экономического развития РФ Эльвирой Набиуллиной и комиссаром Евросоюза по торговле Карелом де Гюхтом был подписан Меморандум о взаимопонимании между Россией и ЕС и о завершении двусторонних переговоров по вступлению России в ВТО.

В штаб-квартире ВТО подходящего зала не нашлось, и празднество проходило в женевском Конгресс-центре ООН. На церемонию прибыли Игорь Шувалов, курировавший процесс в последние годы, глава Сбербанка Герман Греф, не без оснований считающийся основным лоббистом вхождения России в ВТО и проделавший немалую работу в этом направлении в бытность его на посту министра экономики России. Были здесь и экс-министр финансов Алексей Кудрин, тоже активно участвовавший в переговорных процессах, Максим Медведков, бывший заместитель Грефа и директор департамента торговых переговоров Министерства экономического развития, десять последних лет возглавлявший российскую делегацию по ВТО в Женеве.

Все эти люди давно зарекомендовали себя ревностными сторонниками сближения с Западом, проводниками и адвокатами политики либерализма, верными последователями их духовного отца – Егора Гайдара, внедрившего в российскую экономическую жизнь методы “шоковой терапии”.

Естественно, что все они оказались среди почётных гостей и участников состоявшегося в Москве во второй половине минувшего января Гайдаровского форума-2013. Он проходил в стенах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ – главного консультанта Кремля в вопросах экономической политики. В центре обсуждений были и другие темы: интеграция России в мировую экономику и её взаимоотношения с ВТО.

Среди выступавших – премьер Д. Медведев и гендиректор ВТО П. Лами. Здесь же собрался весь цвет российского либерализма, в том числе Анатолий Чубайс, опекавший с самого начала и до конца ход переговоров о вступлении России в ВТО, олигарх Пётр Авен (группа Михаила Фридмана), бывший министр внешних экономических связей в правительстве Гайдара. Главными партнёрами форума оказались Мировой банк, ВТБ, ВР, Coca-Cola, Ernst & Young, Novartis, Cotton Way.

Выступления большинства ораторов были созвучны интересам этих и прочих ТНК. Г. Греф не скрывал: “В глобализации так же, как и в конкуренции, побеждают сильнейшие... и правила ВТО, и правила других международных организаций, например, Всемирного банка, заточены, чтобы выигрывали страны, которые находились в них с самого основания”. При этом шеф Сбербанка почему-то счёл возможным пожуричь присутствовавших в зале членов правительства: «Большинство министров даже не знают, в чём состоит главная задача ВТО, не говоря о правилах организации. Можно задать вопрос министрам? Сколько часов вы потратили на изучение правил ВТО? Я 8 лет занимался этим вопросом. Правила ВТО – это 47 тысяч страниц документа. Базовое соглашение – 600 страниц. Я знаю, что они (министры. – Г. Ц.) не потратили ни одного часа на изучение правил и норм ВТО”. Курьёз состоит в том, что и сам амбициозный критик не блистал знаниями. “Россия – 136-я страна, вступившая в ВТО”, – утверждал он, тогда как на самом деле она была 156-й. Кстати, теперь их 158. В самом конце лета, уже после нас, в организацию вошло государство Вануату, а зимой к ВТО присоединился Таджикистан.

### “Интеграция” без модернизации

Необходимость интеграции в мировую экономику – одно из распространённых объяснений решения о вступлении России в ВТО. Полезность развития внешнеэкономических связей и контактов с другими государствами, действительно, не следует подвергать сомнению. Но в данном случае речь идет всё же о другом.

“Мы, наконец, получили правила, по которым нам нужно играть в эпоху глобализации”, – заверял на Гайдаровском форуме Греф. Да, правила-то мы

получили. Но вот вопрос: подготовились ли мы к такой игре? Ответ однозначно отрицательный.

Порушенная “до основания” в 1990-е годы экономика не восстановлена. Её диверсификация и модернизация не состоялись. Сырьевой крен хозяйства усиливается. Страна по-прежнему сидит на нефтегазовой игле. Господдержка промышленных предприятий оказалась точечной (АвтоВАЗ). Работающих на экспорт обрабатывающих отраслей так и не появилось. В полном упадке остаются машиностроение и станкостроение. 70% основных фондов изношены и требуют замены. Сельское хозяйство никак не готово к международной конкуренции с поддерживаемыми зарубежными государствами аграрными предприятиями. Не проведя модернизации, о которой велось столько разговоров, мы “интегрировались”. И теперь оказались в ВТО слабыми по сравнению со многими другими “игроками”. Мы опрометчиво открыли настежь все двери и окна. А ветер, как известно, раздувает костёр, но задувает свечу.

В течение долгих переговоров российской стороне, может, и удалось изменить ряд условий пребывания в ВТО к лучшему, что позволит отчасти смягчить будущие потери. Но этого мало. Параллельно надо было провести реструктуризацию, укрепить её, прежде всего, промышленность, сельское хозяйство, сферу финансов и услуг. Именно так действовали успешные ныне страны – члены организации. Однако наша страна упорно не желает разворачиваться в сторону модернизации. Одна из причин – отсутствие на неё спроса. Коррупция и рейдерство у нас продолжают оставаться прибыльнее инноваций. И экономика не выходит из этой привычной колеи. Как выразился сенатор Юрий Росляк, несмотря на то, что переговоры о присоединении к ВТО велись так много лет, мы “толком ничего и сделать не успели для того, чтобы подготовиться к работе в этой системе”.

### **Бизнес: *pro & contra***

Существует мнение, что у истоков развития политики вступления России в ВТО стоят нефтяные и металлургические магнаты. И в самом деле, глава корпорации “Северсталь” Алексей Мордашов или хозяин “Лукойла” Вагит Алекперов с давних пор не скрывали своего желания вступить в эту организацию. Они активно орудуют за рубежом, имея предприятия во многих странах мира. Внутри страны позиции олигархов весьма прочны, а с помощью присоединения к ВТО миллиардеры надеются устранить дискриминацию на внешних рынках и облегчить себе возможность дальнейшей экспансии.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) А. Мордашов 12 лет возглавляет рабочую группу по вступлению России в ВТО. Летом 2010 года корреспондент “Коммерсант FM” обратился к нему с вопросом: “Господин Чубайс призвал к скорейшему вступлению в ВТО, господин Якобовили (главное лицо в “Вимм-Билль-Данн”. – Г. Ц.) сказал, что это вопрос ближайших месяцев. Разделяете ли Вы столь оптимистичный подход к проблеме?” Последовал ответ: “Да. Россия абсолютно готова к членству в ВТО”.

Но далеко не все олигархи придерживаются такой точки зрения. В 2002 году другой металлургический король – Олег Дерипаска – заявил, что “вопрос об ускоренном вступлении России в ВТО ошибочно включён в повестку дня для России в качестве приоритетного, в то время как его место – во втором десятке задач». Выразив мнение, что педалирование проблемы “является серьёзной методологической и одновременно практической ошибкой руководителя Минэкономразвития Германа Грефа”, магнат охарактеризовал позицию министра как “близорукую”, а временами и “ангажированную”.

Эти слова говорились в тот момент, когда казаки жгли портрет Грефа под окнами его кабинета на Триумфальной площади. Министр посчитал, что их наняли его политические противники из числа тех, кому не нравится, что он якобы фактически выполняет инструкции Вашингтона, действуя без учёта национальных интересов России. На совещании у тогдашнего премьера М. Касьянова Греф призвал применить к своим оппонентам жёсткие меры.

В итоге был создан Общественный Совет при президенте РФ по проблемам ВТО. Но случилось так, что возглавил его тогдашний зампред думского комитета по природным ресурсам Константин Ремчуков (фракция “Союз правых сил”). Одновременно он являлся председателем высшего научно-кон-

сультационного совета алюминиевой корпорации Дерипаски, а в прошлом был его помощником. Совет последовательно придерживался мнения, что ВТО нанесёт ущерб российским интересам. Тогда же вышла книга К. Ремчукова «Россия и ВТО. Правда и вымыслы», в которой критиковалась политика Грефа, отмечалось, что, прежде чем сделать такой шаг, Россия должна значительно повысить конкурентоспособность своей промышленности и быть готовой «показать в структуре экспорта продукцию с высоким уровнем добавочной стоимости». Позже Ремчуков приобрел 100-процентный пакет акций «Независимой газеты» и стал её директором и редактором.

Негативная позиция ряда олигархов в вопросе о присоединении к ВТО во многом связана с тем, что они обзавелись не только сырьевыми активами, но и предприятиями во многих иных сферах хозяйства, уязвимых при вступлении в ВТО. Так, в холдинг «Базэл» Дерипаски входила купленная им в 2002 году у Романа Абрамовича компания «Руспромавто», объединившая ГАЗ, «Урал» и ПАЗ. А они рискуют стать одними из первых жертв торговли без ограничений в рамках ВТО.

Владимир Лисин, занимавший в 2010–2011 годах первую строку в русском списке «золотой сотни» журнала *Forbes*, — ещё один из давних критиков вступления страны в ВТО. 17 сентября 2001 года журнал «Эксперт» привёл его слова: «Не нужно, сняв штаны, бежать за предложениями Европейского сообщества». Хозяин Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) считает, что российские производители пока ещё «достаточно слабы», чтобы конкурировать с Западом. По его мнению, присоединение к Всемирной торговой организации «угробит» в России сельское хозяйство, сельхозмашиностроение, автомобилестроение и другие производственные сектора. В таком случае, по словам олигарха, «внутренний рынок стали резко сузится, а мы поставляем на него тридцать процентов своей продукции. Моё мнение, что нужно эту историю заканчивать».

Руководители гражданского авиастроения также разделяли его взгляды. «Сейчас пошлина на ввоз самолётов составляет 25%, — говорил гендиректор компании «Ильюшин Финанс и К<sup>о</sup>» Александр Рубцов. — Если мы войдём в ВТО, то она будет всего 5%. . . Это создаст очень удобные условия для прихода иностранцев и нанесёт огромный ущерб нашим производителям, поскольку мы не сможем выдержать такой конкуренции».

Во время длившихся 18 лет переговоров олигархи постарались максимально обезопасить свои империи от возможных ударов, неизбежных при вступлении в ВТО. Они структурировали переговорщиков сосредоточиться на соблюдении их интересов. В итоге были достигнуты договорённости о защите финансовых звеньев, например, страховые компании Запада не смогут вступать на российский рынок ещё много лет. По условиям Меморандума иностранным банкам запрещается открывать в России свои филиалы — только учреждать дочерние компании, которые будут находиться под контролем российского законодательства.

Что же касается обрабатывающих отраслей, сельскохозяйственного производства и лёгкой промышленности, то они оказались незащищёнными. Неудивительно, что их представители настроены против присоединения к ВТО. 19 апреля прошлого года в Госдуме состоялся «круглый стол» фракции «Справедливая Россия», куда были приглашены многие руководители крупных российских предприятий, ассоциаций и отраслей промышленности. Большинство из них заявили о неготовности России к вступлению в ВТО и необходимости перенести его на более поздний срок.

Аналитики группы *INSIDERS* установили, что в среде российского бизнеса существует большой разброс мнений по поводу целесообразности вступления страны в ВТО. У 37% опрошенных бизнесменов отсутствует чёткое мнение об этом. А большинство склоняется к тому, что «пока российскому бизнесу нечего делать на мировом рынке».

«Вступление России в ВТО, — говорит генеральный директор «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, — в целом для бизнеса страны явление, конечно, вредное. По следующим причинам: неизбежный приход в страну крупных монополий и, как следствие, массовое вымирание мелких и средних компаний, навязывание России некоторых специальных правил и тарифов, не выгодных нам».

## Первые “ласточки”

И самые мрачные прогнозы противников вступления в ВТО не предвещают скорейшего катастрофического исхода. Переходный период, в течение которого будут вводиться в практику достигнутые договорённости, конечно, сглаживает последствия этого шага. Поскольку во многих сферах российской экономики иностранные товары и без присоединения к ВТО преобладают, ждать их резкого наплыва не стоит. И всё же негатив принятого решения просматривается довольно ясно, а вот позитивные моменты пока никак не обнаруживаются.

В стане сторонников ВТО теперь говорят, что вначале будут потери, а плюсы появятся позже. Премьер-министр Д. Медведев, например, в октябре заявил, что пользу от ВТО “мы увидим не в короткой перспективе, а лет через пять-десять”. Греф недавно признал, что от вхождения в ВТО Россия “пока только теряет”. А по выражению главного переговорщика М. Медведева, “совершенно очевидно, что сразу после присоединения “сливки”, прежде всего, снимает не страна-новичок, а “старые” члены ВТО”.

По условиям присоединения к ВТО импортные пошлины на многие продовольственные товары в России были сразу же снижены. Так, на свинину, поставляемую по квотам, они были уменьшены с 15 до 0%, а сверх квоты – с 75 до 65%, на живых свиней – с 40 до 5%. Пошлины на молочные продукты – не так резко: в основном с 25 до 15%.

По данным Министерства сельского хозяйства, с сентября по ноябрь 2012 года импорт говядины, свинины, молока, масла и сыров вырос от 10 до 33,5%. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) даёт ещё более впечатляющие цифры: импорт сухого молока за указанное время увеличился на 216%, сухой сыворотки – на 89%, сыров – на 116%, а сливочного масла – на 136%.

Председатель правления “Союзмолоко” Андрей Даниленко посчитал, что с сентября по ноябрь поставки молочной продукции из Белоруссии выросли на 20%. Это ставит под удар развитие российской молочной отрасли, поскольку мы не можем конкурировать по уровню господдержки с основными поставщиками молочной продукции в Россию: Белоруссией, странами Балтии, Финляндией, а принятые изменения в субсидировании молочной отрасли приведут к тому, что в итоге поддержка сократится.

Существенно вырос импорт растительного масла (до 50%), табачных изделий (33%) и алкоголя (35%). В перспективе же, по расчётам Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, Россия из-за роста импорта вследствие вступления в ВТО ежегодно будет терять минимум по 7,2 млрд долл. Причем 4 млрд долл. придётся именно на российский агропром.

По данным Национальной мясной ассоциации (НМА), цены на живых свиней упали в Центральной России, где сосредоточена половина всего промышленного производства, до 65 руб. за 1 кг в живом весе, тогда как ещё в августе она была на уровне 94 рублей. Нынешние цены уже ниже себестоимости производства для большинства производителей, утверждает руководитель исполнительного комитета НМА Сергей Юшин. Между тем, за период 2005-2011 годов в наше свиноводство было привлечено 250 млрд руб. инвестиций; 50 млрд руб. – от частных инвесторов и 200 млрд руб. – в качестве госпомощи. Получается, что теперь это “выброшенные деньги”.

Президент Мясного союза России Мушег Мамиконян подтвердил, что союз обеспокоен снижением пошлины на ввоз готовых мясных изделий, так как это может стать причиной потери конкурентоспособности большинства отечественных производителей. Как подсчитали в союзе, объём отечественного рынка переработанного мяса, который подпадает под позицию “готовые мясные изделия”, составляет 18 млрд долларов, или 560 млрд рублей в год. Условия соглашения по мясной отрасли будут иметь смертельные последствия для мясоперерабатывающей промышленности, которая достигла самой высокой степени обеспечения рынка отечественной продукцией – свыше 95%. Особенно опасна уступка Евросоюзу в виде снижения пошлин на импорт живых свиней для убоя в 8 раз. Она делает несправедливыми условия конкуренции между отечественными и европейскими свиноводами, ибо уровень прямой государственной поддержки в Европе во много раз выше. Отсюда напрашивается необходимость предоставления субсидий и дотаций российским свиноводам в том же размере, что и их коллегам в Евросоюзе. Но по подписан-

ному Меморандуму господдержка сельского хозяйства должна быть снижена в ближайшие годы в два раза.

Дало ли членство в ВТО дополнительные стимулы для развития экономики России? Приведём данные Минэкономразвития. Если в первом квартале 2012 года рост ВВП России составил 4,9% в годовом выражении, то во втором квартале – 4,0%. В третьем квартале рост снизился до 2,8%, а в четвертом опустился до 2,2%. Как видно, замедление темпов роста ВВП продолжается. Относительно прогнозов на текущий год заместитель МЭР А. Клепач заявил: “Если тенденция не переломится, в начале года нас ждёт пауза роста, если никаких дополнительных стимулов в экономике не появится, то темпы роста в 2013 году могут оказаться ниже, чем в предыдущем”.

АвтоВАЗ прекратил покупать листовой металл у отечественных производителей и закупает его в Индии. Ростсельмаш вынужден банкротить свои предприятия, заказы сократились более чем в два раза. Инвестиции прекратились, приостановились закупки новой техники и завод встал. Около 2 тысяч почти готовых комбайнов находятся в замороженном состоянии. На инициированном РСПП январском совещании по поддержке шинной промышленности России шинники в связи с присоединением России к ВТО попросили поддержки. По данным Торгового дома “Кама”, в 2012 году объём ввоза шин в Россию увеличился на 17%, а экспорт сократился на 3%. Прогнозируется перенасыщение рынка и обострение конкурентной борьбы.

### **Нерадужные перспективы**

После вступления России в ВТО “Газпром” должен продавать газ внутри страны с прибылью, не компенсируя низкие внутренние цены своими экспортными контрактами. “Эти правила не касаются поставок газа некоммерческим потребителям, в отношении которых Российская Федерация сохраняет право применять такое регулирование цен на природный газ, которое будет обеспечивать социально-экономические цели и задачи России”, – говорится в материалах Минэкономразвития. Однако рост тарифов на газ для заводов и фабрик приведёт к росту цен и на всю другую продукцию.

В октябре вопрос об адаптации нашей экономики к ВТО обсуждался на заседании “Меркурий-клуба”, где встречаются видные политические и государственные деятели, крупные предприниматели и учёные. Открывая дискуссию, академик Евгений Примаков заявил, что ожидаемое после присоединения к ВТО усиление конкуренции “нужно использовать для ускорения структурной перестройки российской экономики”. Председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник подверг критике мнение, что ВТО способствует эффективной защите экспортного потенциала и притоку инвестиций. “У меня, – сказал он, – это вызывает очень большое напряжение. Практически весь экспортный потенциал страны – нефть и газ! А его защищать не надо. Теперь об инвестициях. Поверьте мне как бизнесмену. Мы отработали в девяти странах, с нуля делали проекты. Никого не интересовало – в ВТО страна или нет. А только условия по контракту”. По утверждению Шафраника, “мы не готовы к конкуренции. Мешают старые болячки – доступ к инфраструктуре и эффективность компаний и отраслей, не входящих в сырьевой прайд”. Директор Института Европы РАН академик и писатель Николай Шмелев заметил: “По сути, вступлением в ВТО мы сами принуждаем себя к конкуренции и модернизации. Купили себе кнут. А как мы его выдержим, никто сказать пока не может... Когда возникает вопрос, готовы ли мы к тем задачам, которые ставим, начинается чесание затылка”.

Искать возможности поддержки конкурентоспособности надо за пределами ВТО – так считает советник президента Путина, академик РАН Сергей Глазьев: “Это более широкая работа через банки развития, денежно-кредитная политика, обменный курс, финансирование НИОКРов, техническое регулирование и так далее”. Учёный обратил внимание, что на мировой арене появилась группа стран-эмитентов резервных валют, которые сняли все количественные ограничения на денежную эмиссию, в результате чего из-за неэквивалентного внешнеэкономического обмена по финансово-кредитным инструментам мы просто дарим им ежегодно по 80 млрд долларов.

В январе 2013 года С. Глазьев направил президенту страны записку, в которой, развивая прежние выводы, пишет: “В условиях наращивания эмиссии

мировых валют возникает угроза поглощения российских активов иностранным капиталом». Такую политику Глазьев называет «легализованной агрессией» и предвидит, что в условиях кризиса она перерастает в финансовую войну за обладание реальными ресурсами. Россия эту войну проиграет, прогнозирует академик, поскольку зависит от зарубежных финансовых источников, имеет сырьевую экономику и переживает упадок обрабатывающей промышленности.

Характерно, что на предложения пронципального аналитика сразу же воинственно отреагировали звёзды российского либерализма. А. Чубайс, например, написал в своем «ЖЖ», что человек, утверждающий, будто США и Европа эмитируют деньги для захвата российских активов по дешёвке, «не может считаться экономистом». У этих людей давние счёты. В прошлом Глазьев не раз критиковал Чубайса, а как-то и прямо заявил, что тому не место ни в системе государственной власти, ни в частном бизнесе.

В связи с вступлением России в ВТО понижаются стандарты здравоохранения и безопасности питания. ВТО вынуждает своих членов ввозить генетически модифицированную продукцию. Инструментом навязывания является Суд ВТО. «Если вступим в ВТО, будем кушать ГМО», – замечает российский эксперт Александра Ждановская, приводя немало примеров из опыта разных стран мира. Вот один из них. В мае 2001 года Шри-Ланка ввела запрет на импорт 21 категории ГМО-товаров (соя и другие) и ввела обязательную сертификацию продуктов на содержание ГМО. Планировалось внести поправки в «Закон о продовольствии». Однако США пригрозили азиатской стране, что опротестуют эти законы в ВТО, и в случае отказа Шри-Ланке грозят штрафные санкции в 190 миллионов долларов. ВТО предупредила руководство государства, что её закон будет рассматриваться как «несправедливый барьер в торговле». И, несмотря на широкие протесты общественных организаций и граждан Шри-Ланки, правительство под давлением ВТО отказалось от своих законов по ГМО.

В ноябре 2012 года исходящие от ВТО вызовы и угрозы российской экономике обсуждались на самом высоком уровне – на расширенном заседании Совета безопасности. Президент В. Путин назвал те отрасли, которые в первую очередь могут пострадать от режима ВТО: животноводство, сельскохозяйственное машиностроение, автопром, лёгкая и пищевая промышленность, фармацевтика, производство медицинского оборудования. К ним с полным правом можно было бы добавить авиастроение, судостроение, а также ряд отраслей сферы услуг.

Было отмечено, что в условиях новой волны глобального кризиса, которая постепенно, начиная с Европы, захлестывает мировую экономику, зарубежные игроки всеми правдами и неправдами стремятся освоить новые рынки, особенно такой ёмкий и перспективный, как Россия. А это увеличивает риски для российских компаний, поскольку отечественная экономика уступает развитым странам по производительности труда и энергоэффективности.

Отмечалось и то, что участие в ВТО может создать дополнительные сложности в отдельных регионах со слабо диверсифицированной экономикой, например, в моногородах. Кроме того, ожидается снижение поступлений в региональные бюджеты и, в конечном счете, увеличение разрыва между территориями по уровню социально-экономического развития. Чтобы не допустить ухудшения внутренней ситуации при общем спаде мировой экономики, Путин поручил разработать меры для снижения негативных эффектов. «Минтруду, ведомствам экономического блока следует провести комплексный анализ последствий присоединения России к ВТО для отечественного рынка труда и уже в ближайшие месяцы представить конкретные предложения о снижении негативных эффектов», – потребовал глава государства. Говорилось и о необходимости удерживать безработицу на низком уровне, не допустить падения уровня занятости в моногородах и в тех регионах, где концентрируются крупные предприятия отраслей, входящих в «группу риска».

### **Новая экономика**

Преждевременное вступление России в ВТО требует экстренной мобилизации усилий по коренному изменению её экономики. Политика рыночного фундаментализма давно уже потерпела полный провал. Но либералы, тем не менее, занимают главенствующие позиции в высших эшелонах российской

власти. Между тем страна нуждается в смешанной экономике, открывающей путь к возрождению России. В конце января на расширенном заседании правительства, где обсуждалась программа деятельности кабинета до 2018 года, президент Путин выразил неудовлетворённость результатами хозяйственного развития и призвал задуматься о новой модели экономики. “Реализовывать наши планы придётся в непростых условиях, – сказал президент. – Также очевидно, что возврат к предкризисной модели роста невозможен; это касается России и мира в целом”. Правильные слова. Другой вопрос: реализуются ли они вскоре на практике? Время не ждёт. Полгода из отведенного нам переходного периода уже прошли.

ОЛЬГА СВЕРДЛОВА

## РАЗДЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. ЗА И ПРОТИВ

Когда сегодня заходит разговор о школе, то в любой дискуссии, будь она на радио, телевидении или на кухне, все твердят об одном и том же: что наша школа зашла в тупик, что нужно коренным образом менять всю систему образования.

Последнее предложение – заменить пятибалльную систему на десятибалльную, а может быть, и на 100-балльную – тогда у учителя якобы появится больше возможностей оценить знания школьников. Хотя сами школьники не в восторге от этой идеи.

Но вот что говорит лучший математик планеты, который получил самую престижную премию – Джона Чарльза Филда, – Владимир Воеводский. Математика, которую мы изучали по учебнику Колмогорова, была действительно на очень высоком уровне. В Америке уровень преподавания математики в обычной школе намного ниже, хотя при желании можно найти все. Но зачем человеку, который хочет научиться считать сдачу в магазине, математика в таком объёме?

В чём все едины – так это в том, что следует реформировать образование. Слава Богу, система образования более консервативна, чем другие общественные институты, и мы не решаемся на революционные перемены, которые произошли в экономике и в общественной жизни и которые дали далеко не однозначные результаты.

Поиски новых форм и методов, в конце концов, новой педагогики – веяние времени. Что же предлагают реформаторы от образования? Много чего, но здесь мы остановимся только на одном – самом, я бы сказала, неожиданном и экстравагантном.

Оказывается, в одном исследовании было установлено, что дети сегодня более невротичны, чем, к примеру, 40 или 50 лет назад, и это потому, по мнению авторов исследования, что девочки и мальчики учатся вместе.

Вот когда учились отдельно, дети были более спокойны, сдержанны, уравновешенны. И предлагают в качестве панацеи разделить школы по половому признаку, короче говоря, сделать обучение раздельным.

Образование и воспитание действительно зашло в тупик. Но невротизирует подростка не присутствие в классе представителей противоположного пола, а сама жизнь, трагическая информация о которой врывается в дом прямо с утра: теракты, убийства, пожары, насилие, ураганы, наводнения.

А ещё – неуверенность родителей в завтрашнем дне и непонимание того, что сегодня ценно в жизни.



Да и ТВ, и откровенные картинки в интернете делают свое чёрное дело – развращают детские умы и души, растормаживая сферу влечений, старательно подавляя чувство стыда. Детская психика просто не в состоянии выдержать такой груз.

Психические травмы, вызываемые жизненными ситуациями, приводят к так называемым стрессам. У детей, находящихся в постоянном стрессе, происходит быстрое изнашивание организма, предупреждает Ганс Селье, создатель теории стрессов. Так что не совместное обучение девочек и мальчиков создаёт нервные перегрузки, а сама жизнь, как мы уже сказали. Поэтому разговоры о том, что дети стали более нервными, поскольку мальчики и девочки учатся вместе, выглядят, по крайней мере, наивными.

Совместное обучение расширяет круг общения и совместной деятельности, облегчает личные контакты между мальчиками и девочками. Мальчики начинают ценить не только наружность девочек, внешние данные, но и проникаются уважением к личности, начинают понимать, что интеллект, характер, нравственность играют не последнюю роль в жизни, что женщина – не живой товар, как её хотят представить в последнее время, а личность со своим интеллектуальным и нравственным потенциалом.

Мне довелось учиться в школе с раздельным обучением. Мы старались показать, что женщины ни в чём не уступают мужчине, что мы чего-то стоим, и шли учиться, в основном, в технические вузы, становились инженерами, конструкторами, строителями. Но богатели ли страна от такого количества женщин с высшим образованием? Женщина реализовывала себя не в материнстве, а в успешной карьере.

Помню, каким откровением для меня прозвучали слова ученицы в фильме “Доживём до понедельника”, когда девочка на вопрос, о чём она мечтает, сказала, что хочет иметь хорошую семью и много детей.

Было трудно преодолевать застенчивость, естественную для подростка и искусственно возвращенную в условиях раздельного обучения. Всё это лимитировало нашу социальную активность.

Были ли мы счастливы в любви, семейной жизни? Об этом могут сегодня рассказать писатели, психологи, в конце концов, историки. В те годы никому и в голову не могло прийти принять закон о вступлении в брак с 14 лет. Наше поколение было намного пассивнее в устройстве не только личной своей судьбы, но и в общественной жизни. Активность была регламентирована. Конечно, в этом повинны и время, в которое мы росли, и наша драматичная история. Но историю всё-таки делают люди.

Истоки нашей зажатости, комплексов, пассивности, я думаю, следует искать и в раздельном обучении. Ведь один из первых инстинктов человека – это ощущение пола. Подавлять его – значит, идти против природы. Мы наступаем на человеческую природу, а в ответ природа мстит нам. Вместо естественной тяги полов друг к другу было искусственное разделение и отчуждение мальчиков от девочек, мужчин от женщин, как в зоне, в тюрьме, в лагере, в армии.

Мы смотрели на мальчиков, как на пришельцев с другой планеты. Отношения складывались тяжело. В нашем классе почти все девочки развелись через несколько лет после замужества. Замуж выходили поздно: девушки – в 27 лет, а юноши женились в 29.

Мы романтизировали мальчиков, готовы были принять любого, если он был мужского рода, не могли оценить ни характера, ни личности, и страх перед жизнью и одиночеством толкал нас на неравные браки.

Подросток избегал девочек, но должен был впоследствии работать с женщинами и выполнять свою роль в семье. Начальники-самодуры и авторитарные отцы, не умеющие найти общий язык ни со своими подчиненными, ни с детьми, – это, во многом, порождение отчуждения мужчин от женщин.

\* \* \*

Однажды я встретила одного знакомого, когда он был под впечатлением увиденного в школе. Кстати, не какой-то замшелый папаша, а оператор, снимающий довольно неплохие фильмы. Он зашёл в школу, чтобы узнать для сына домашнее задание. Мальчик-девятниклассник, спортсмен, уехал на неделю на сборы и должен был вернуться только в воскресенье.

Охрана пропустила отца в вестибюль, была перемена, он поднялся на третий этаж, где учился сын, и попросил одноклассницу выписать на бумажку задания за неделю.

Девочка вышла в коридор с портфелем, вернее, сумкой, и в поисках затерявшейся на дне ручки выбросила из неё всё содержимое: на подоконник полетели тетрадки, открытки с голыми мужчинами и женщинами, презервативы, прокладки. При этом она без всякого смущения приговаривала: “А это на языке моего тела”. Одним глазом он заглянул в открытую дверь класса: одна девочка сидела у мальчика на коленях, другая так крепко обняла его, что мальчик почти задыхался в её объятиях, третья гладила бедного парня так, что он просто балдел под её натиском.

“Такая раскованность или распущенность, не знаю уж, как назвать, — сказал он взволнованно. — А как одеты? Юбки короче шорт, животы голые, вместо кофточек — лифчики”. — “Так это мода такая”, — попробовала я реабилитировать одноклассниц его сына. “Но ведь не на пляж они пришли и не в публичный дом — в школу, — пытался он возразить мне, но в голосе уже не было прежней уверенности. — Или я отстал, не понимаю современной молодежи?”

Девочки терпят любые вольности, даже сами провоцируют мальчиков. Так и хочется воскликнуть: “О времена, о нравы!”

Средства массовой информации внушают новые стандарты западной культуры, навязывают далеко не лучшие их образцы, чужую мораль. Слово “сексуальный” заменило все определения женской красоты. Кумирами становятся завсегдатаи гей-клубов, участники передач, откровенность и раскованность которых за пределами нормы. Ничего не стыдно, можно рассказывать обо всём, чем делятся только с самыми близкими людьми.

Мы так боимся отстать от Запада и так неудержимо рвёмся вперёд, что вскоре действительно окажемся “впереди планеты всей”. Только не по уровню жизни, а по испорченности нравов и низвержению морали.

Мы пытаемся легализовать проституцию, а во Франции хотят принять закон об уголовном наказании за занятие этим ремеслом. У нас полный беспредел царит в подаче информации. Совесть отступает под натиском денег. Зло, поставленное на поток, делает свое чёрное дело.

\* \* \*

Либерализация половой морали, развенчание двойного стандарта — что дозволено мужчине, не положено женщине, — культ наслаждения и денег, реклама нижнего белья перед Домом правительства — всё это не могло не сказаться на поведении и нравах девочек и мальчиков.

Так, может быть, действительно раздельное обучение очистит нравы и спасёт человеческий род от дальнейшего грехопадения?

Однако существует ещё одна опасность, о которой прежде, во времена раздельного обучения, то ли не думали, то ли предпочитали не говорить. В закрытых однополых сообществах резко возрастает риск нетрадиционных сексуальных отношений.

У мальчиков в подростковом и юношеском возрасте есть потребность преклонения друг перед другом: вспомним нашу классическую литературу.

Ещё А. И. Герцен обращал внимание на психологическое сходство юношеской дружбы и первой любви. “Я не знаю, почему дают какой-то монополю воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различие полов, что она — страстная дружба. Со своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь её характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности. Я давно любил, и любил страстно Ника, но не решался назвать его “другом”, и когда он жил летом в Кунцеве, я писал ему в конце письма: “Друг ваш или нет, ещё не знаю”. Он первый стал мне писать “ты” и называл меня своим Агатоном по Карамзину, а я звал его моим Рафаилом по Шиллеру”.

Если прислушаться к Фрейду, считавшему, что в основе любых чувств, в частности дружбы, лежит половое влечение, которое просто в силу разных

причин не может быть реализовано, то тем более мы должны быть очень осторожны. Конечно, пансексуализм Фрейда подвергся жесточайшей критике, однако следует признать, что “дружеские привязанности и половое влечение формируются совместно, на базе одних и тех же процессов”, – констатирует современный психолог, исследующий феномен дружбы.

Если перевести эти слова на язык педагогической практики, то они будут означать, что остаётся совсем маленький шаг от романтической любви к мальчику-другу до сексуальных отношений с ним. Но он никогда не будет сделан, если не раскручивать воображение и фантазию подростка, не вбивать ему в голову информацию, которая плотно ложится на грунт подсознания и которая, как мина замедленного действия, неизвестно где и когда сработает.

Тонкая грань, которая отделяет любовные переживания от дружеских чувств, размывается нашими СМИ. Делая героем своих передач людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, окружая их ореолом необычности, подчёркивая их художественный талант, оригинальность, они закладывают мысль о том, что “голубые” – это не патология, не исключение из правил, а чуть ли не норма. Так, к примеру, нам сообщают, что Киркоров и Басков посетили гей-клуб, и намекают, что их поход туда не был случайным. Правда, наши поп-звезды, оправдываясь, говорят, что хотели послушать там только хороший оркестр. Или последняя новость в интернете: М. Задорнов увидел в бане, как Галкин и Дроботенко мылись в одной ванне, и выскочил оттуда в ужасе...

Осведомленность наших педагогов в этой области порой доходит до анекдотов. Вот живая история, которая произошла в одной из образцовых московских школ совсем недавно. Учительница предложила творческое задание первоклашкам: найти рифму для слова “живчик”. И сообразительный малец выкрикнул: “лифчик”. Учительница на секунду замерла, но, взяв себя в руки, спросила, что это значит. Мальчик задумался и вдруг сказал почему-то, что это то, “что носит папа”. И вот тут-то всё и началось. Вызвали родителей мальчугана и предложили им забрать его из школы, так как у них не учатся дети из тех семей, где имеет место “нетрадиционная мораль, то бишь ориентация”.

Считается хорошим тоном игриво, с двусмысленной улыбкой спросить у гостя телепередачи, не является ли он представителем сексуальных меньшинств.

Возможно, риску вызвать негодование читателя, но считаю, что противоядием этому злу может быть только девочка, которая сидит рядом, за одной партой в твоей школе, реальная партнерша не в виртуальном мире, а живая, близкая – доступная и недоступная.

\* \* \*

Кто же создаёт порнопродукцию? На какой кухне варится зелье, отравляющее сознание наших детей? Скандально известный писатель Виктор Пелевин в своей книге “Generation П” рассказывает о тех, кто сочиняет порноклипы и порнофильмы. Оказывается, это не развращенные супермены, выдавшие всякие виды, а несчастный отец семейства, отягощенный детьми и платой за наёмную квартиру. В поисках заработка он напрягает свой измученный мозг, выдумывая все эти мерзости и гадости, которыми наполняет воображение зрителя. Думаю, что, в лучшем случае, Пелевин заблуждается, а может быть, увлекается неудачно выбранным образом.

А далее мы, наконец-то, узнаём не только о киллерах, расстреливающих мораль в упор, но и о заказчиках этой продукции. Это редакторы глянцевого журналов или телешоумены, которые давно уже продали свою совесть, но не за 30 сребренников, а за миллионы долларов.

Деньги, деньги, деньги – деньги решают всё. Они лишают людей морали, чувства ответственности перед современниками и перед будущим. Человек начинает служить только одному богу – Мамоне.

“Все стало вокруг голубым и зелёным...” – эти строчки из старой песни как нельзя более точно отражают уровень нашей морали сегодня.

Понятно, почему голубым. Ведь наш голубой экран всюду стремится идти в ногу со временем, и голубой цвет сегодня – самый экзотический и мод-

ный, а зелёным потому, что совесть, мораль и нравственность давно проданы за “баксы”.

\* \* \*

Не всегда забытое старое становится новым.

Мужские и женские гимназии, Институт благородных девиц – это всё эхо далёкого прошлого, которое в новых условиях совершенно неприемлемо.

Если раньше томик Мопассана или истрёпанную книжку Фореля “Половой вопрос” прятали от детей где-нибудь в глубине шкафа, а на зарубежные фильмы, где были сняты *постельные сцены*, допускали лишь после 16 лет, то сегодня подросток, хорошо ориентируясь во “всемирной паутине”, знает, где и что можно найти.

В сегодняшнем мире, в условиях, когда у детей другой жизненный опыт, вернее, когда голова забита информацией, почерпнутой из рекламы, фильмов, глянцевого журналов, с порносайтов и порнокассет, раздельное обучение может быть не полезно, а опасно – во всех смыслах. Возвращаться к нему было бы не только утопией, идеализацией прошлого, но просто губительно для будущего. Да к тому же, хотя этим я снова дам повод упрекнуть себя в банальности, есть особая прелесть в общении мужчин и женщин. Общество мужчин заставляет подтягиваться, напрягаться, прилично одеваться в любом возрасте, и в этом смысле дополнительная нагрузка ложится на психику. Но это то, что делает нашу жизнь более красочной, более счастливой, более радостной.

Мужская мудрость и женское прилежание – что может быть прекраснее этого сочетания?

АЛЕКСЕЙ ШОРОХОВ

## НЕВИННОСТЬ ОРДЫ

*“Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния”.*

А. К. Толстой

*По мнению “исламских правозащитников”, русские всё ещё недостаточно благодарны монголам за 300 лет ордынского ига...*

### Адвокаты средневековой Хиросимы

В конце 2012 года на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки поступило обращение группы взволнованных граждан. Граждане взволновались по поводу вышедшего в прошлом году фильма, “сработанного в киностудии “Православная энциклопедия”, и “выпущенного якобы с целью просвещения”. На самом же деле, как настаивает группа граждан, это – “миф, сеющий рознь!”

Как вы уже, наверное, догадались – имеется в виду фильм Андрея Прошкина “Орда”, посвященный чуду исцеления ордынской ханши русским митрополитом – святителем Алексием Московским.

По мнению неравнодушных к исторической правде подписавших обращение граждан, “в противоположность православным русским ордынцы отображены в фильме негативно. Показанные на экране сцены насилия и кровавых убийств представляют их в виде вызывающих отвращение, бессмысленно жестоких, кровожадных и недоразвитых существ.

Вместе с тем, средневековое государство Золотая Орда в своё время было передовым во многих отношениях, что позволило создать сеть крупнейших на континенте городов, решить задачи управления, связи и безопасности на гигантской территории...”

Что ж, посмотрим, как “создавалась сеть крупнейших на континенте городов”, а также “решались задачи управления, связи и безопасности на гигантской территории...”

Сразу после монгольского нашествия две трети русских городов были уничтожены. Разрушенную Рязань так и не удалось восстановить: нынешний город с тем же именем выстроен позже. Запустел Киев, превосходивший по численности населения и инфраструктуре большинство европейских столиц,

включая Париж и Лондон. В Киеве осталось не более 200 домов. Археологами неподалёку от Бердичева обнаружено так называемое Райковецкое городище: город, полностью уничтоженный во время Батыева нашествия. Там одновременно погибли все жители. Жизнь на месте этого города более не возродилась. По подсчетам археологов, из известных по раскопкам 74 городов Руси XII–XIII веков 49 были разорены. Жизнь в 14-ти не возобновилась, 15 превратились в села.

Но, возможно, нашествие монголов способствовало процветанию на других территориях, и только русским не повезло?

Начнём с того, что этноним “монгол” в форме “мэнгу”, “мэнгу-мо”, “мэнгу-ва” – впервые встречается в китайских хрониках династии Тан. Так китайцы называли группу “варваров” (все степные народы), которые кочевали на их северных границах.

Говорить о высокой культуре кочевников не приходится, их успехи в градостроительстве и создании инфраструктуры тоже понятны, известно также, что у монголов не было даже письменности.

Вдобавок ко всему, они вели бесконечные междоусобные войны, после которых пленных варили в котлах, “равняли к оси телеги”, беременным вспарывали животы. В сказаниях об этой борьбе написано: “Небо звёздное, бывало, поворачивалось. На постель тут не ложились, мать широкая земля содрогалась – вот какая распря шла всеязычная”.

Объединивший монголов Чингисхан тоже глубоким гуманизмом не отличался: по его словам, “высшее наслаждение для мужчины – победить своих врагов, гнать их перед собой, отнять у них всё, видеть лица их близких в слезах, сжимать в объятьях их дочерей и жён”.

Тем не менее, утверждают взволнованные граждане, “сцены насилия и кровавых убийств”, показанные в фильме “Орда”, совершенно безосновательно “представляют” монголов “в виде... бессмысленно жестоких, кровавых”...

Что ж, обратимся к другому тезису авторов обращения. Вслед за наведением порядка в степи “великий монгол” отправился создавать “сеть крупнейших на континенте городов” и “решать вопросы безопасности и связи”. Начал с Северного Китая (1211–1234) и Средней Азии. Северный Китай буквально превратился в пустыню. Современник писал: “Везде были видны следы страшного опустошения, кости убитых составляли целые горы: почва была рыхлой от человеческого жира, гниение трупов вызывало болезни”.

В Средней Азии всё сопротивлявшееся население подверглось “всеобщей резне” – “катлиамм”. Рашид-ад-Дин писал, что Чингисхан отдал приказ, чтобы убивали всякое живое существо из любого рода людей и любой породы скотины, диких животных и птиц, не брали ни одного пленного и никакой добычи. Здесь большинство городов подверглось “всеобщей резне”.

Решив вопросы “безопасности и градостроительства” здесь, в 1256 году монголы повторно вторглись в Иран, в результате чего долины Передней Азии превратились в пустыню. В 1258 году пал халифат Аббасидов и был взят Багдад, самый большой город на Земле, который тоже подвергся “всеобщей резне”.

### **Культурное строительство по-ордынски**

Но, вполне возможно, воззвавшие к генпрокурору считают, что за прошедшие сто лет после смерти Чингисхана монголы значительно окультурились, настолько, что, раскаявшись в первоначальной резне и дикости: “Прости, бачка, мал-мал погорячились...” – решили облагодетельствовать разграбленные ими народы?

Действительно, в строительстве городов степняки достигли феноменального прогресса (с нуля-то!).

И даже известно, каким образом! Плано Карпини, итальянский монах-францисканец, посланный с грамотой к монголам Папой Иннокентием IV в 1245 году, сообщает в своих записках, что при взятии осажденного города “татары спрашивают, кто из них (жителей) ремесленники, и их оставляют, а других, исключая тех, кого захотят иметь рабами, убивают топором...”

А под 1259 годом уже русская летопись упоминает о русских мастерах, бе-

жавших к Даниилу Галицкому: “. . . и мастера всякие бежали из татар: седельники, и лучники, и тульники, и кузнецы железу и меди, и серебру”.

Если учесть количество разграбленных и завоёванных культурных народов, включая болгар (предков нынешних “обеспокоенных граждан”), неудивительно, что дикари, используя труд захваченных мастеров, воздвигли в диких степях множество городов. В том числе и огромную столицу Золотой Орды – город Сарай-Берке. Тем более что в Средневековье ремесло передавалось от отца к сыну, а мастера и их семьи так и оставались рабами.

Чтобы хоть отдалённо представить себе общее количество пленников, достаточно вспомнить, что в одном только ничтожном осколке империи Чингисхана – Казанском ханстве – после взятия его Иваном Грозным было освобождено около 100 000 русских, угнанных в рабство.

### **Хан Узбек и 282-я статья**

Однако же и сами “взволнованные граждане”, видимо, сомневаясь в “неоценимых услугах” Золотой Орды в деле строительства городов на Руси и других достижениях древнерусской культуры, следом подтягивают “тяжёлую артиллерию” политкорректности и толерантности.

“Фильм явно пропагандистский. Причём с духом, не соответствующим Конституции нашей страны. Роль страшилок здесь отведена предкам татар – ордынцам – и их религии – исламу, по вымыслу авторов щедро демонстрирующих зверства и извращения. Сегодня татары – это второй по численности коренной народ в Российской Федерации. . .”

Ну, то, что авторы воззвания в свои предки вместо культурных болгар (если эти авторы, конечно, не имеют крымского или астраханского происхождения) зачисляют своих поработителей монголов (татары – одно из самоназваний степняков) – это их личное дело. А вот то, что они в очередной раз на сцену вытаскивают обиженный ислам, заслуживает рассмотрения.

Дело в том, что в Орде с исламом было всё не просто. Достаточно посмотреть на вероисповедание её правителей: Батый (1242–1255) – язычник, Сартак (1255/56–1256) – христианин несторианского толка, его сын, малолетний Улагчи (1256–1257) – нет точных данных, но скорее всего тоже крещён; Берке (1257–1266) – мусульманин, Менгу-Тимур (1266–1281) – язычник, Тудаменгу (1281–1287) – мусульманин, Телебуга (1287–1290) – язычник, Тохта (1291–1312/13) – буддист, Узбек (1312/13–1342) – мусульманин, Джанибек (1342–1357) – мусульманин. . .

То есть даже ко времени показанных в фильме событий далеко не все ордынцы приняли ислам (известно, что целые улусы ордынцев-несториан уходили на Русь, откуда потом и произошли Аксаковы, Тургеневы, Юсуповы и другие известные русские фамилии).

И именно при не очень привлекательном персонаже фильма (и реальной истории) хане Узбеке, сделавшем ислам государственной религией Орды, начались чудовищные гонения на иноверцев: многие члены семейства Джучидов и племенные предводители не собирались принимать ислам, прямо заявляя хану: “Ты ожидай от нас покорности и повинования, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем тура и ясык Чингисхана и перейдём в веру арабов?”. В ответ на это Узбек, успевший привлечь на свою сторону войска, развернул массовые репрессии.

В течение короткого времени по его приказу было уничтожено 120 (!) Чингизидов и ещё больше менее знатных ордынских сановников, отказавшихся перейти в ислам, а также “бахшей и лам”, то есть буддистов и священнослужителей других конфессий.

Это всё к трогательному пассажи “мусульманских правозащитников” о “веротерпимости в Орде”.

Но не поэтому, думается, “взволнованные граждане” требуют “прекратить на территории Российской Федерации распространение и демонстрацию художественного фильма “Орда”, способствующего пропаганде жестокости, дезориентации и дезинформированию общества, разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни между гражданами страны”.

## Новый Халифат

В XXI веке явился новый Чингисхан, и имя ему – Политкорректность. И повлёк за собой толпы новых ордынцев в великий поход на запад под именем “Трудовая миграция”. Новый Чингисхан сажает их не на степных лошадок, а в железнодорожные вагоны, оставшиеся от русских, и беспрепятственно везёт их в Москву по железным дорогам, оставшимся от русских. А здесь, в Москве и вообще в России, их ждёт миф “о доброй Орде”, из которой якобы “произошли и Российская империя, и Советский Союз”. И пора-де вернуться к золотым временам Золотой Орды. Потому как толпы прибывающих азиатов исламизированы очень слабо, образованны ещё слабее. Значит, им нужен объединяющий миф. Вот он, держите.

Зачем? А затем, что, как бы они того ни отрицали, создание современного халифата невозможно без передовых технологий: ядерных, ракетных, космических, информационных. А для этого, так же, как и восемь веков назад, новой Орде или Халифату (называйте, как хотите) нужны всё те же ремесленники. Сегодня это уже не гончары или кузнецы, а ядерщики, ракетостроители, программисты.

Какая страна может гарантированно уничтожить “Большого шайтана” (США)? Только Россия. Какая страна может противостоять Китаю? Она же. Следовательно, направление нового великого похода очевидно.

Именно поэтому и звучат взрывы в домах заволжских муфтиев и на Кавказе – потому что мирные мусульмане новой Орде не нужны. Ей подготовили уже ваххабитские кадры в Саудовской Аравии и Катаре.

Но самое странное, что этому процессу своими воззваниями способствуют потомки волжских булгар, носители традиционного российского ислама, с учёными степенями и званиями. Видимо, не до конца понимая, что при победившем шариате им места даже в захудалом медресе не найдётся – языка Пророка, как оказалось, наши исламские деятели науки и искусства в большинстве своём не знают. А про цивилизованные костюмы, галстуки и запонки им вообще придётся забыть. И, памятуя о “человеколюбии” хана Узбека, – это ещё не самая большая потеря...



**ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ**

*Заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора*

## РУССКОЕ СЛОВО — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

*Выступление на заседании Совета  
по межнациональным отношениям при Президенте РФ*

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги!

Последние три выступления за две недели Главы государства здесь, в Сталинграде—Волгограде, на семейном форуме в Колонном зале и сегодня ещё раз подчёркивают государственный характер проблем русского языка, русской культуры и литературы. Ясно, что это уже не носит второстепенный, необязательный характер. Это вопрос нашей духовной безопасности. И сегодняшняя беседа подтверждает, что русский язык — мощнейшая скрепа для нашего государства. Важны, конечно, нефтепроводы, железные дороги, но именно русский язык и есть самая мощная, духовная и необходимая скрепа в нашем межнациональном вопросе.

Таким он стал не из-за имперских амбиций русских людей, не из-за стремления навязать свой национальный дух, державную суть, а по причине того, что без глубинных объединяющих, общих смыслов, без его высочайшего устройства, без его культуры он не стал бы таким. Пора всем понять, что русский язык — это величайший дар, дарованный нам свыше.

Да и юридически международным языком ООН он стал после победы под Сталинградом, сражения под Курском, взятия Берлина. Короче, русский язык — язык победы.

Русскому языку выпала миссия языка объединителя по причине того, что с первых времён своего развития, а главное, от письменной традиции Кирилла и Мефодия, 1150-летний юбилей которых мы отмечаем в этом году (блестящая книга о них писателя Юрия Лошица выходит в этом году), от Киевской Руси он стал языком древнерусского, а затем и русского народа, языком высочайшей в мире культуры и литературы, науки и дипломатии, языком Ломоносова, Державина, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова, Есенина, Шолохова, Солженицына, Распутина, Белова, Рубцова, десятков величайших, искуснейших поэтов и прозаиков, стал языком мировой культуры, не зная который, исказить который есть невежество, позор и бесчестье для нашего человека, для человека, действующего во всех направле-

ниях жизни. Сейчас уже ясно, что беспорядок в языке, его сокращение, замена многих русских слов иноязычными ведёт не только к невежеству, но и к смуте в обществе.

При создании государства Израиль в 1947 году громадные усилия были предприняты для воссоздания древнееврейского языка, на котором говорили две тысячи лет назад. Это был тяжелейший лингвистический процесс, но он дал толчок росту национального духа, а мы не только не изучаем древнерусский язык, но нередко сегодня на это наследие наступают темнота незнания, амбиции, бескультурье, да и злой умысел из-за границы и внутри. Помните планы по урезанию русской классики, глубочайшего нашего резерва в языке, литературе, где нет “Евгения Онегина” (говорят, что восстановили).

Но мы не можем только посыпать голову пеплом, отчаиваться. В стране немало делается для русского языка. Да, вспомним хотя бы Год русского языка. Мы смогли провести собрания, конференции, выставки, организовали Всероссийскую союзную встречу русистов и писателей, установили памятник Русскому слову в Белгороде, русской учительнице в Дагестане. Но предстоит сделать ещё больше.

Надо “встряхнуть” общество, высмеять невежество многих людей и плохое знание русского, надо делать модой хорошее знание русского языка. А для этого им того помочь.

В передачах ТВ-каналов утром и вечером ввести “Урок русского”, в котором объяснять многие слова, их суть, порядок произношения, употребления во многих произведениях и в разговорной речи. Это касается и интернета. Так мы поддерживаем и литературный портал “Изба-читальня”.

В СМИ делать это и рекомендовать им постоянно иметь “Уголок русского слова”. Это не требует громадных затрат, а требует проявления гражданского чувства и совести.

Вообще, на Комиссии было внесено предложение: в лицензии на деятельность телевизионным компаниям, органам печати ставить задачу, чтобы вещание, публикации проводились грамотным, литературным, свободным от сквернословия языком — это и есть следование профессии и народным началам.

Мы поддерживаем выдвинутое на местах и в Комиссии предложение о проведении периодических экзаменов-опросов по русскому языку для государственных служащих всех регионов. Это ведь те работники, которые ежедневно общаются с миллионами людей.

Утверждать ежегодно органом местного самоуправления по всей РФ программы, положения или мероприятия по развитию и сохранению государственного русского языка, ведь судьба всех наших предложений решается на местах.

Сегодня мы говорим о главных организационных делах, о главных звеньях. Первое и главное — это не юридические законы и правила, они у нас есть и, возможно, ещё возникнут, можно ещё добавить, а та душа, страсть, умение, забота о русском языке, которые должны быть у всех, кто имеет отношение к его утверждению, распространению: это учителя, библиотекари, писатели, журналисты, администрации областей.

Ясно, что должны быть опорные пункты русского языка, обучающие, пропагандирующие, развивающие. Это практическая и организационная работа, как в областях с преобладающим русским населением, так и в национальных объединениях.

На недавнем, проходившем под началом Святейшего Патриарха, Всемирном Русском Народном Соборе приводился опыт организации и строительства, создания областных и городских центров русской культуры, которые должны включиться в общероссийскую кампанию по упрочению, пропаганде и защите русского языка, безусловно, и как языка государственного. Ну, а пока таких центров нет везде, мы обязаны возобновить, создать курсы, школы, кружки, группы по русскому языку. Ничего зазорного и начетнического в организации изучения русского языка гражданами России нет. Это важно и представителям других национальностей, ибо двуязычие — это расширение их кругозора, культуры, профессионализма. Один из экспертов недавно настаивал, что в законе о государственном языке надо написать, что русский язык делает граждан конкурентоспособными. Я не возражаю, но первым надо поставить вопрос о приобщении к великой культуре и знанию. А что каса-

ется двуязычия, то я, русский человек, учившийся в украинской школе и закончивший Киевский университет, убедился, что знание двух, трёх и более языков увеличивает духовную и профессиональную силу человека. На таких курсах надо поучиться, побывать, поучаствовать и русскому человеку, ведь на него обрушивается нынче из СМИ море иностранных слов, иноязычных выражений, с которыми, к сожалению, никто не борется, не ставит им заслон. Удивительно, что такие слова появляются не только в технических науках, кое-кто из учёных-попрыгунчиков пытаются втиснуть их в словари. Да и вообще, появляется много фальшивых словечек, мифов, русские песни поются с вульгарным акцентом и неэстетическим хрипом.

Несколько лет назад выдающийся учёный Н. Н. Скатов из Пушкинского Дома в Петербурге заявил о необходимости создания движения, общероссийской массовой организации “Русское слово”. К сожалению, не нашлось организаторов, лидеров, меценатов, чтобы сделать это движение широким. Предложение зависло, нужно его восстановить.

Мы на Всемирном Русском Народном Соборе, в Союзе писателей России стараемся создать широкую комиссию писателей, учёных, филологов, педагогов-практиков по русскому языку с задачей анализа процесса положения русского языка, негативных явлений, влияющих на его развитие и выработку конкретных рекомендаций по его состоянию.

Мы решили учредить премию “За чистоту и красоту русского языка”. Да и сегодня можно назвать кудесников слова: Валентин Распутин из Иркутска, Юрий Ложиц и Владимир Костров из Москвы, Ольга Фокина из Вологды, москвичка Лариса Васильева, архангелогородец Владимир Личутин, Ирина Семёнова из Орла, краснодарец Виктор Лихоносов, петербуржец Глеб Горбовский, оренбуржец Пётр Краснов и др.

Многие сегодняшние издатели считают литературой наспех сколоченные детективы, пошлые, насыщенные вульгарной речью и даже матом постельные мелодрамы. Они, изгнав редакторов и корректоров из издательств, плодят безграмотность и бескультурие.

Должна быть кропотливая и взвешенная работа филологов, писателей по составлению рекомендованного списка сопоставлений с иностранным языком. Нужно дать рекомендации к употреблению там, где это возможно, русских слов вместо иностранных. Делали же это в XVIII веке в ответ на богатые иноземные заимствования Петра I Ломоносов, Державин, Фонвизин, Карамзин (кислород, окоем, а куда делся вратарь – Лев Яшин был вратарь, а не голкипер и был лучшим в мире вратарём).

Вот слова, которые пришли с сочинениями М. Карамзина: благотворительность, взыскательность, вольнодумство, ответственность, промышленность, рассудительность, таинственность и десятки других. Хорошо, что не было телевидения, а то они убивца и душегуба именует благородно “киллер”, а разбой пытаются заменить “робингудовским” словом “рэкет”. Ну, а бандитствующих толстосумов называют возвышенным словом “олигархи”.

Мы должны в этом смысле составить и “список возвращения” старых, но коренных русских слов. Этот список начал в своё время А. И. Солженицын. Здесь и для нас большое поле деятельности.

Дорогие друзья! Нам надо в республиках и областях поддержать, заметить, поощрить специалистов, преподавателей, учёных – всех, кто проводит активную деятельность в сфере развития, пропаганды и защиты русского языка. Мы знаем, что слово, речь звучит со сцены. Давайте от имени нашей Комиссии будем рекомендовать присваивать лучшим художественным коллективам страны, небольшим группам, отдельным чтецам премию за распространение, донесение людям чистоты и богатства русского языка, как и других языков – “Национальное достояние”. Русский язык проходит в немалой степени и через искусство, народную песню, художественное слово. Надо восстановить Всероссийский конкурс чтецов на исполнение русского слова, попросить великого артиста, заведующего кафедрой художественного слова Василия Ланового возглавить его, представлять победителей конкурса всей стране (как представляют танцоров или певцов).

В Союзе писателей России, где представлены все республики и области, почти все 100 национальностей, мы не раз обсуждали положение о национальных языках, русском языке. Слово, если хотите, – это и наш духовный строительный материал, только в отличие от кирпича и бетона он часто име-

ет необъяснимо сложную структуру, иногда хрупкую и в то же время прочную в веках, особенно если народ, власть поддерживают его.

Очень важно рекомендовать всем организациям областей и республик, городов и сёл участвовать в проведении Дня русского языка 6 июня в день рождения А. С. Пушкина. В 2000 году, когда ещё шли бои в Чечне, мы, писатели, привезли туда 200 томов Пушкина. Чеченская учительница сказала: “Пушкина привезли, значит, война кончается”. Так и случилось.

В связи с этим организовать во всех школах всероссийский, поэтапный обязательный конкурс ко Дню русского языка средних учебных заведений, который должны учитывать при поступлении в вузы.

И ещё – о переводах. Помню, на одном из пленумов Союза писателей народный писатель Якутии Николай Лугинов, блестяще владеющий русским языком, но пишущий на русском и якутском, сказал: “Нам невозможно без русского слова, как и родного слова. Поэтому мы с лёгкостью переходим с одного языка на другой, оставаясь коренными якутами, – и улыбаясь, закончил, – я до 3-го класса считал, что А. С. Пушкин – якутский поэт”. Вот какая была сила перевода и школы переводчиков в Советском Союзе. Мы обязаны восстановить её. Предлагаем – при Союзе писателей России, издательстве “Художественная литература”, при Литературном институте с помощью государства воссоздать Фонд “Рукопожатие” как фонд национального перевода. Премия “Рукопожатие” мы уже воссоздали, правда, пока безденежную, но она дорогого стоит – стоит нашей дружбы, взаимопонимания и согласия.

И последнее. Обращаюсь к учёным, писателям, журналистам. Давайте развенчаем тенденцию, возникшую в период перестройки, когда у сочинителей разного рода нашлись в их сочинениях только исторические конфликты, столкновения и недовольства между народами. Давайте проявим усилия в показе большой исторической дружбы между ними, больше дружелюбия и взаимопонимания, как и в Советском Союзе. Хочу выразить оптимизм. Россия, её люди очнулись. Они сбрасывают с себя иго информационных фантомов и затуманенных слов, вырабатывают иммунитет против них. Но для этого нужны ещё наши большие общие усилия.

И в этой созидательной работе по укреплению нашей Федерации неопценимую роль играет русский язык и как государственная скрепа, и как язык великой культуры и духа.

ДМИТРИЙ ВОЛОДИХИН

## ЗЕМСКИЙ СОБОР 1613 ГОДА

*К 400-летию восстановления Русского государства*

Великая смута уничтожила Русское государство. Об этом никогда не пишут в учебниках и редко, с большой неохотой – в популярной литературе. В конце 1610 года Россия как самостоятельная политическая реальность перестала существовать. В Кремле сидело бессильное боярское “правительство”. Рядом с ним действовала могучая пропольская администрация. Но её могущество распространялось лишь на одну столицу: в её пределах она поддерживалась большим польско-литовским отрядом, расположившимся на территории Кремля и Китай-города.

За пределами Москвы Русская земля представляла собой рванину самостоятельных областей. Где-то господствовали бойцы Лжедмитрия II – его убили в декабре 1610-го, но армия “царика” отнюдь не распалась; где-то стояли шведские гарнизоны; где-то устроилась польская армия; где-то большие городские общины решали и спорили: за кого “задаться”? За поляков? За шведов? Или выдвинуть кого-то из своих? Кое-кто присягнул чужеземному отроку – королевичу Владиславу. Но он не шёл к Москве и не желал переходить в Православие, а ведь только выполнение этих условий гарантировало ему русский трон. Владислав не выполнил их, и присяга, данная ему, рухнула.

Воцарилось безвластие.

То, что было Россией, имело все шансы распаться на три, пять, десять маленьких независимых державочек.

*Около двух лет единого русского государства не существовало.*

Оно вновь возникло лишь по одной причине: русский народ и Русская Церковь пожелали его восстановить и претворили свой план в жизнь. Ненависть к захватчикам – иноземцам и католикам – оказалась столь сильной, а желание жить своей головой – столь неотступным, что под Москвой собралось первое земское ополчение. Оно отбило часть города и осадило польский гарнизон, занимавший центр Москвы. Сил для решительной победы не хватало, но, во всяком случае, ополченцы упрямо держались у стен своей столицы до лета 1612 года. В августе 1612-го к Москве явилось Второе земское ополчение. Объединив усилия, земцы отбили натиск отборного польско-литовского корпуса Ходкевича, взяли Китай-город штурмом, принудили к капитуляции вражеский гарнизон Кремля и разбили в предместьях Москвы авангардный отряд польской армии Сигизмунда III.

Осенью 1612 года в Москве образовалось единое земское правительство, представлявшее оба ополчения. К тому моменту под контролем земцев ока-

залась значительная часть Московского государства, но далеко не всё. Многие города и области земского правительству не подчинялись.

Более того, сама власть этого правительства выглядела эфемерно. Она опиралась на небольшую армию, выбившую врагов из столицы. К поздней осени 1612 года в ней не набиралось даже 8.000 бойцов. Притом большей частью земское воинство состояло из казаков – неистового, буйного, пёстрого скопления, готового в любой момент свалиться в бунт или даже прямой разбой.

Ещё того хуже: *подавляющее большинство высокородных русских аристократов не поддержали земское освободительное движение*. Кто-то оказался на стороне поляков, кто-то симпатизировал шведам, а многие просто проявили крайнюю пассивность, не желая рисковать головой ради общего русского дела. Страшно и омерзительно! Служилая аристократия играла роль военно-политической элиты в России. Она обязана была бороться с чужеземными захватчиками, отстаивать, а потом восстанавливать единство страны... Что ж в реальности? В реальности всё выглядело прямо противоположным образом: лишь очень небольшой процент русской знати вышел под знамена двух земских ополчений. Самые родовитые люди царства, самые большие богачи, самые опытные воеводы и управленцы не вошли в число земских лидеров. Пожарский – хоть и князь, но человек невысокой знатности, аристократ третьего сорта. Один лишь молодой князь Дмитрий Трубецкой из великородной ветви Гедиминовичей полтора года тянул на себе воз руководства ополченцами...

Для того чтобы привести разрозненные силы России к новому единству, земское правительство должно было выдвинуть нового государя, Русская Церковь должна была дать ему высшую санкцию на царствование, а земское воинство послужить ему щитом и мечом.

Нужен был новый царь. Все понимали это. Знатнейшая часть нашей аристократии мечтала о польских порядках, о правлении боярской магнатории, об игрушечном царике или даже о замене его собранием “эпархов” – сенаторов, но она оказалась в трудном положении. Предыдущие годы страшно дискредитировали высшую знать России. Сотрудничество многих её представителей с поляками вызывало у победителей-земцев ярость и презрение.

Остался один выход: создать со всех концов России Земский собор и дать ему право на избрание нового царя.

В ноябре 1612 года земское ополчение последний раз отбросило поляков от Москвы. Начало зимы 1612/1613 годов прошло в хлопотах, связанных с созывом Собора. Люди съезжались медленно, люди съезжались трудно. Земский собор открылся лишь в начале января 1613 года. Его заседания проходили в Успенском соборе Кремля.

К Москве съехались многие сотни “делегатов”, представлявших города и области России. По некоторым сведениям, их число превышало тысячу, но большинство историков придерживается мнения, что в Москве собралось 500–700 человек. Точных данных на сей счёт нет. В итоговой грамоте Собора стоят подписи и упомянуты имена лишь части делегатов. По этому документу устанавливаются личности менее 300 участников Собора<sup>1</sup>. По нему же ясно, что их было намного больше, но сколько именно – установить невозможно<sup>2</sup>.

Собрали тех, кто сумел прибыть: иные опустевшие земли и послать-то никого не могли. К тому же страна была переполнена шайками “воровских” казаков и бандами авантюристов всякого рода. А тех, кто смог приехать, ждали голод, холод и разруха послевоенной Москвы. Осенью 1612 года там даже ратники земского ополчения порой умирали от голода. Так что само появление на Соборе означало акт гражданского мужества.

Те “выборные”, кто добрался до столицы, представляли огромную территорию и могли совокупным своим голосом говорить за всю державу. Среди них присутствовали выходцы из разных социальных групп: аристократии, дворянства, стрельцов, казаков, купцов, ремесленников, духовенства. Имелось даже небольшое количество крестьян. В документах Собора их именовали “уездными людьми”.

Монархический выбор, совершенный в 1613 году, отражает настроения если не всех “выборных”, то, во всяком случае, абсолютного большинства: “А без государя Московское государство ничем не строится и воровскими заводы на многие части разделяется и воровство многое множится, – справедливо считали участники Собора. – А без государя некоторыми делы строить и промы-

шлять и людьми Божиими всеми православными христианы печися некому”<sup>3</sup>.

Но определение наилучшего претендента на трон проходило в спорах и озлоблении. Участники собора не быстро решили эту задачу и не единодушно. “Пришли же изо всех городов и из монастырей к Москве митрополиты и архиепископы и всяких чинов всякие люди и начали избирать государя. И многое было волнение людям: каждый хотел по своему замыслу делать, каждый про кого-то [своего] говорил, забыв Писание: “Бог не только царство, но и власть кому хочет, тому дает; и кого Бог призовет, того и прославит”. Было же волнение великое”<sup>4</sup>. Иначе говоря, борьба мнений, агитация сильных “партий”, посулы и тому подобные прелести избирательного процесса не обошли стороной и Собор 1613 года.

Земские представители выдвинули больше дюжины кандидатур нового монарха.

Легче всего оказалось “отвести” предложение, относившиеся к польскому правящему дому. Весьма скоро ушёл из поля зрения собравшихся королевич Владислав: хватит, нахлебались от поляков!

Позднее пропал из обсуждения герцог Карл-Филипп, сын шведского короля. По Новгороду, захваченному шведами, знали: их правление тоже не мёд. Древняя московская аристократия с презрением относилась к сравнительно “молодому” шведскому королевскому семейству. Иван Грозный вообще назвал его “мужичьим”. Как подчиниться нашим князьям и боярам челоуку, уступавшему значительной их части в родовитости? С другой стороны, одиннадцатилетний шведский отрок не смог бы удержаться на русском престоле без поддержки высшей знати, а следовательно, зависел бы от нее. Относительная слабость и оскорбительная незнатность шведского претендента, как ни парадоксально, для многих “выборных” являлись доводами в его пользу. “Слабак” на троне – это возможность большой политической игры для сильных людей царства... Поэтому кандидатура его держалась довольно долго, и даже велись переговоры с его старшим братом, королём Густавом-Адольфом. Сам Пожарский одно время склонялся к “шведскому варианту”, предвидя тяготы войны на два фронта – с Речью Посполитой и Швецией, – а также прикидывая возможности получить от шведов поддержку против более опасного врага<sup>5</sup>.

Но в людях оставалось сильным воодушевление, рождённое недавней победой над чужеземными войсками. К чему, недавно освободившись от власти иностранцев, опять сажать их себе на шею? Карл-Филипп сгинул из списка претендентов вслед за Владиславом. Дмитрий Михайлович не стал настаивать на его кандидатуре.

Идея самозванства потускнела в глазах всей земли. Насмотрелись на “государей Димитриев Ивановичей”! Сколько крови из-за них пролилось! Мука, сводившая судорогой всё тело России, научила наш народ: нельзя заигрывать с ложными “цариками” ради собственной корысти... кончится плохо. Царь должен быть истинный. По крови и по Божественному изволению. Все прочие варианты несут неминуемое зло. Поэтому быстро отказались от Марины Мнишек и её сына-“ворёнка”, а значит, и от мира с атаманом Заруцким, поддерживавшим их силою казачьих сабель. Марина Мнишек в 1605 году была возведена Лжедмитрием I на высоту русской царицы, но раз “государя”, приведённого самозванческой интригой на трон, признали ложным, то и царица его – ложная.

Отказ от этих кандидатур был единодушно высказан на Соборе и прозвучал в грамотах, рассылавшихся от имени его участников по городам и землям: “И мы, со всего собору и всяких чинов выборные люди, о государьском обирание многое время говорили и мыслили, чтобы литовсково и свейсково короля и их детей и иных немецких вер и никоторых государств иноязычных не християнської веры греческого закона на Владимирское и на Московское государство не обирати и Маринки и сына её на государство не хотети, потому что польсково и немецково короля видели к себе неправду и крестное преступление и мирное нарушение, как литовской король Московское государство разорил, а свейской король Великий Новгород взял обманом за крестным же целованьем. А обирати на Владимирское и на Московское государство и на все великие государства Росийсково царствия государя из московских родов, ково Бог даст”<sup>6</sup>.

Заруцкий обладал сильной армией, активно действовавшей на юге России. Лишь после долгих военных действий он сам, Марина Мнишек и “ворёнок” окажутся в плену. За упорные претензии на русский престол им придётся расплатиться жизнью.

Собор склонился к тому, чтобы выбрать кого-то из высшей русской аристократии.

По разным источникам известны лица, предложенные участниками Собора для избрания на царство.

Наиболее длинный список претендентов содержит “Повесть о Земском соборе”. Вот как в ней изложено всё дело избрания: “Князи ж и бояра московские мысляще на Россию царя из вельмож боярских и избравше седмь вельмож боярских: первый князь Феодор Иванович Мстиславской, второй князь Иван Михайлович Воротынской, третей князь Дмитрий Тимофиевич Трубецкой, четвертой Иван Никитин Романов, пятый князь Иван Борисович Черкасской, шестый Феодор Иванович Шереметев, седьмый князь Дмитрий Михайлович Пожарской, осмый причитається князь Петр Иванович Пронской, но да ис тех по Божии воли да хто будет царь и да жеребеуют...<sup>7</sup> А с казаки совету бояра не имеючи, но особь от них. А ожидаючи бояра, чтобы казаки из Москвы вон отехали, втай мысляще. Казаки же о том к бояром никак же не глаголете, в молчании пребывая, но токмо ждуще у бояря, кто от них прославится царь быти”<sup>8</sup>. Позднее казаки всё же назовут своего кандидата или, вернее, кандидата, подсказанного им частью московского боярства: “Атаман же казачий глагола на соборе: “Князи и бояра и все московские вельможи, но не по Божии воли, но по самовластии и по своей воли вы избираете самодержавнаго. Но по Божии воли и по благословению благовернаго и благочестиваго, и христоролюбиваго царя государя и великого князя Феодора Ивановича всея Руси при блаженной его памяти, кому он, государь, благословил посох свой царской и державствовать на России... Феодору Никитичу Романову”<sup>9</sup>. И тот ныне в Литве полонен, и от благодобраго корене и отрасль добрая и честь, сын его князь Михайло Федорович. Да подбаеет по Божии воли на царствующим граде Москве и всея Руси да будет царь государь и великий князь Михайло Федорович и всея Руси”. И многолетствовали ему, государю”<sup>10</sup>.

“Повесть о Земском соборе” в общих чертах передаёт обстановку, сложившуюся при избрании нового государя. Правда, в ней названы далеко не все претенденты. Другие источники сообщают, что среди кандидатов, предлагавшихся на русский престол, звучали также имена князя Д. М. Черкасского, популярного у казаков и к тому же весьма знатного аристократа; князя Ивана Васильевича Голицына – не менее родовитого вельможи, брата Василия Васильевича, которого столь уважал князь Пожарский; князя Ивана Ивановича Шуйского, томившегося в польском плену. Возможно, участники собора называли и других кандидатов, но они не пользовались популярностью, а потому имена их не дошли до нашего времени.

Претендентом номер один являлся князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Ему принадлежало формальное первенство в земской освободительной армии.

Но он проиграл. Проиграл с треском, обидно, безнадежно. Был совсем рядом с великим успехом и упал на уровень второстепенной политической фигуры...

Чего не хватило Дмитрию Тимофеевичу для избрания на царство?

Желания у него хватало. Одна из повестей о Смутном времени рассказывает: “Князь же Дмитрий Тимофиевич Трубецкой учрежаше столы честныя и пиры многая на казаков и в полтора месяца всех казаков, сорок тысяч, зазывая к себе на двор по вся дни, чувствуя, кормя и поя честно и моля их, чтоб быти ему на Росии царем и от них бы казаков похвален же был. Казаки же честь от него приимающе, ядяще и пиюще и хваляще его лестию, а прочь от него отходяще в свои полки и браняще его и смеющесе его безумию такову. Князь же Дмитрий Трубецкой не ведаше лести их казачьей”. А когда монарший венец окончательно ушел от Дмитрия Тимофеевича, он тяжело переживал своё поражение: “Лицо у него ту с кручины почерне, и [он] паде в недуг, и лежа три месяца, не выходя из двора своего”<sup>11</sup>. Он даже не поставил свою под-



пись под грамотами, извещавшими города и земли об избрании Михаила Федоровича Романова на царство.

Хватало Трубецкому и знатности. Он приходился отдалённым потомком великому князю литовскому Ольгерду – по линии, восходящей к старшему сыну Ольгерда, Дмитрию. А Дмитрий Ольгердович княжил в богатом Брянске, управляя колоссальной областью. В Московском государстве по давней традиции очень высоко ставили князей, связанных с литовским монаршим родом, – Голицыных, Мстиславских, Бельских, Трубецких и т. п. Со второй половины XVI века Трубецкие ставились в первых строках боярских списков, возглавляли армии, воеводствовали и наместничали в крупнейших городах. Очень немногие семейства могли тягаться с ними в родовитости: князья Мстиславские, Шуйские, Голицыны, Воротынские, Одоевские, Пронские, Глинские да три-четыре рода старомосковских бояр – самые сливки русской аристократии того времени. Отец Дмитрия Тимофеевича имел боярский чин. Сам он появился на царской службе в 1604 году: в чине стольника ходил против Лжедмитрия I. Тот же чин сохранил Трубецкой и при Василии Шуйском. Перебежав от Василия Шуйского к Лжедмитрию II (июнь 1608), он сразу получил от “царика” боярский чин: “тушинцам” пришлось по вкусу, что в их лагере оказался столь знатный человек. . .

Роль князя Д. Т. Трубецкого в земском движении огромна. В 1611 году он вместе с Иваном Заруцким составлял полки Первого ополчения, пришёл с ними под Москву, участвовал в битвах с интервентами. Воинские заслуги его перед Россией очевидны.

У Первого ополчения было несколько вождей: Прокофий Ляпунов, Иван Заруцкий, князь Дмитрий Трубецкой и Андрей Просовецкий. Порой трудно определить, кто из них был инициатором того или иного действия земцев. Формально Дмитрий Тимофеевич признавался старшим среди них – его имя писали на грамотах ополчения первым. Да и обращаясь к руководству ополчения, в грамотах из городов его тоже называли на первом месте<sup>12</sup>. В то же время источники гораздо чаще упоминают самостоятельную роль иных руководителей – Заруцкого и особенно Ляпунова. Дмитрий Тимофеевич как будто оказывается в тени.

Но это иллюзия.

Известно, что именно он собирал войска Калужской земли. Весной 1611 года самой крупной фигурой в стане русских сил, концентрирующихся вокруг Калуги, был его двоюродный брат – князь Юрий Никитич Трубецкой (с ним ведут переговоры внешние силы)<sup>13</sup>. Дмитрий Тимофеевич появляется рядом с ним в марте – апреле 1611 года<sup>14</sup>. Юрий Никитич, известный своими пропольскими симпатиями, колебался, но к земскому делу в итоге не примкнул. И тогда его родич оказался во главе калужан. Летом 1611 года князь Д. Т. Трубецкой именно как старший человек калужского воинства оказался и первым из воевод всего ополчения в целом.

Иностранцы видели в нём действительного вождя земцев. Шведы, в частности, считали его “осторожным и бдительным командиром”, не допустившим распада ополчения после гибели Ляпунова. Русские полагали, что меж двух истинных лидеров ополчения – Ляпунова и Заруцкого – Трубецкой “никакой чести не имел”<sup>15</sup>. Но, во всяком случае, Дмитрий Тимофеевич никогда не был просто “живым знаменем”, не был игрушкой в руках прочих вождей ополчения. Случалось, он расходился во мнениях с иными воеводами. Так, летом 1612 года он не поддержал Заруцкого, пожелавшего возвести на престол малолетнего сына Марины Мнишек от Лжедмитрия I. Заруцкий злоумышлял против Пожарского, даже пытался его убить, а Трубецкой – никогда. Заруцкий ушёл из-под Москвы, слышав о приближении земцев Минина и Пожарского, а Трубецкой остался. Ясно видно: этот человек имел самостоятельное значение. И, без сомнений, он самостоятельно принимал политические решения.

Историк В. Н. Козляков высказался на этот счёт веско и точно: “Несмотря на то, что князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. . . получил свое боярство от Лжедмитрия II, этот воевода ополчения стал восприниматься как глава его “дворянской” части. К ноябрю 1611 года в полках ополчения оказались представители московских дворянских родов Змеевых, Измайловых, Исленьевых, Колтовских, Коробьиных, Одадуровых, Охотиных-Плещеевых, князей Приимковых-Ростовских, Пушкиных, Самариных”. Знатные дворяне легко подчиня-

лись аристократу-Трубецкому – в том не было никакой “поруки” для их родовой чести. А вот не столь знатный Ляпунов, а тем более безродный Заруцкий не очень-то годились на роль их начальника. Без Трубецкого дворянская часть ополчения могла просто разойтись по домам.

Трубецкой достоин почтительного отношения, ведь он единственный – единственный из нескольких десятков знатнейших людей Царства! – не отказался от святой роли вождя в земском ополчении. А приняв её, шёл с земцами до победы. Этот молодой человек – не особенно удачливый полководец и не великий администратор. Но всё же он проявил достаточно ума и отваги, чтобы встать выше прочих людей своего общественного слоя.

После ухода Заруцкого Дмитрий Тимофеевич единолично руководил Первым земским ополчением. Князь лично участвовал в отражении отрядов Ходкевича. В октябре 1612 года именно его подчинённые взяли штурмом Китай-город. Когда к Москве подошли отряды короля Сигизмунда, Трубецкой вместе с Пожарским отбросил их<sup>16</sup>. Наконец, именно он формально являлся старшим из земских управителей России вплоть до Земского собора 1613 года.

И вот ему отказали в возведении царство. А высшая власть была так близка! Полшажочка оставалось до неё. Трубецкой фактически обладал ею на протяжении нескольких месяцев – на исходе 1612 года и в начале 1613-го...

Почему же так вышло?

Видимо, Дмитрий Тимофеевич оказался в странном положении: *он никому не был до конца своим, хотя и до конца чужим его тоже никто не мыслил.*

*Свой для казаков?* Не вполне. Ведь князь возвысился, прежде всего, как глава дворянской части первого ополчения. Дворянской, а не казачьей. В общественном смысле князь был гораздо ближе дворянам, чем казакам...

*Свой для дворян?* Но их он не сумел защитить от казачьего буйства и, наоборот, в их глазах выглядел как предатель своего круга, заигрывающий с социально чуждой стихией. Дворяне разбежались из его ополчения, страшась обид, то и дело наносимых им казачеством. Обстоятельства битвы с Ходкевичем за Москву прямо и однозначно свидетельствуют: казачьи отряды Трубецким контролировались очень слабо.

*Свой для аристократии?* Да, верно! Однако... молодой вельможа в аристократической среде был всего лишь одним из “игроков” – не самым знатным, не самым опытным по части интриг, не самым авторитетным из царедворцев. У каждого аристократического клана имелся свой интерес и свои козыри. Трубецкой играл в свою пользу и достаточно для победы числа союзников не нашёл.

Отчасти предводителя земцев подвело одно неприятное обстоятельство. Шуйские, Мстиславские, Романовы, Черкасские, Глинские, Сабуровы и некоторые другие рода знатнейших людей царства соединены были с династией московских Рюриковичей-Калитичей брачными узами. А Трубецкие – нет! Ни одного брака, прямо связывающего Трубецких с Московским монаршим домом, заключено не было.

Итак, поражение Трубецкого как претендента на русский престол объяснить не столь уж трудно.

Из прочих претендентов особого внимания заслуживает князь Фёдор Иванович Мстиславский.

Этот происходил из Гедиминовичей, притом знатность его абсолютно превосходила всех прочих князей Гедиминовичей, выставлявшихся на выборах: Голицыных и Трубецких. Мстиславские брачно были связаны и с московскими Рюриковичами. Один из предков Фёдора Ивановича женился на родной внучке Ивана Великого! А сам Фёдор Иванович в начале XVII столетия вообще считался самым знатным аристократом во всей России. С ним могли бы потягаться разве только Шуйские, да их свергли, и ныне Шуйские находились в узилище у поляков.

Если бы при выборах на русский трон главную роль играла кровь, то есть высота происхождения, Фёдор Иванович, безусловно, победил бы. Но знатность имела значение всего лишь *одного* из факторов, которые брали в расчёт участники Собора. Не единственного. Её, разумеется, учитывали: недостаток знатности отвёл от престола нескольких кандидатов, в частности, князя Пожарского, Ф. И. Шереметева, а также И. Н. Романова<sup>17</sup>. Однако *позиция и действия претендентов на протяжении Смуты имели не меньшее значение.*

И что же?

Князь Пронский, высокородный Рюрикович, – не заметен ни в большом добре, ни в большом зле. Смута как будто прошла мимо него, взрослого человека. Он вёл себя пассивно.

Князь Черкасский показал себя скверным полководцем.

Но всё это маленькие грехи.

А вот князь Мстиславский открыл полякам ворота Кремля. Он возглавлял Семибоярщину и именно он привёл Россию к униженному положению. Дать ему царское звание после всех этих “художеств” означало бы ни во что не ставить святой подвиг земского ополчения. Первое время после изгнания поляков из Кремля князя Мстиславского могли просто прибить под горячую руку, а не на трон возвести. . .

Нет, этот аристократ, пусть и знатнейший, пусть и достойнейший по крови, явно не годился.

Нет смысла в подробностях рассказывать о “борьбе партий” на Соборе. Основные его события многое множество раз описаны в научной и популярной литературе. Для русского патриота важны два обстоятельства: почему царём избрали не Дмитрия Михайловича Пожарского? Какую позицию занимал он по отношению к юному избраннику, Михаилу Фёдоровичу Романову?

Ответ на первый вопрос ясен: у Пожарского имелось меньше всего шансов на избрание среди всех кандидатов. Он всем им заметно уступал в знатности. Его стали бы терпеть в государях менее, чем терпели Бориса Годунова и Василия Шуйского. И какой из этого выход? Бросить дворян-ополченцев на уничтожение всех более знатных персон Московского царства? Порубить несколько десятков Рюриковией, Гедиминовичей, а также выходцев из старомосковских боярских родов? Даже если бы у Дмитрия Михайловича возникла столь безумная мысль, войско бы не послушалось его приказа. А если бы нашёлся отряд, готовый услужить своему воеводе, его скоро уничтожили бы казаки. По свидетельствам многочисленных источников, сила казачья в 1613 году абсолютно превосходила силу дворянства<sup>18</sup>, собравшегося в Москве, а боярство раскололось на “партии”.

Конечно, Пожарский располагал войском. Конечно, имя его пользовалось доброй славой из конца в конец России. Конечно, из соображений почтительности его имя включили в список претендентов. И в 1634 году враждебный ему дворянин Ларион Сумин в запальчивости обвинил Дмитрия Михайловича, что он домогался царства и даже потратил на подкуп 20 000 рублей<sup>19</sup>. Как тут не заподозрить властолюбивых мечтаний у Дмитрия Михайловича?

Но твёрдого намерения “воцариться” у Пожарского явно не было. Тому же Сумину и тогда не поверили, и сейчас в его заявление верится с трудом. Сумма – фантастическая. Серебряная копеечка того времени весила приблизительно 0,5–0,6 грамма<sup>20</sup>. Следовательно, 20 000 рублей представляли собой груды серебра общим весом в 1,0–1,2 тонны. На такие деньги можно было купить город с окрестными селами! Не особенно богатый Пожарский в условиях полного разорения страны, думается, не имел источников, из которых мог бы добыть даже вдесятеро меньшую сумму. Что ж, добрый друг Минин снабжал его серебром из земской казны? Ещё менее правдоподобно. Во-первых, состояние земских финансов было в той же степени, что и Минину с Пожарским, открыто другому кандидату – князю Д. Т. Трубецкому. Во-вторых, армия всё это время получала жалование и “корм”. Будь тогда израсходована такая сумма, служилые люди просто разбежались бы от Москвы: земским лидерам нечем стало бы им платить. Исчерпывающе точно высказался о Минине как о казначее Второго ополчения историк И. Е. Забелин: “Он её (казну. – Д. В.) раздавал щедро, но разумно, ибо на ней держался весь. . . достославный народный подвиг. Ни одного намека в летописях и в других актах о том, чтобы Минин обращался с этою казною нечестно. Ни одного летописного замечания о том, чтобы нижегородская рать была когда-либо оскорблена со стороны расходования казны, чтобы происходили в казне самовольные захваты со стороны начальников. Между тем, летописцы никогда не молчат о таких делах, у кого бы они ни случились”<sup>21</sup>.

Наконец, есть и более весомое соображение. Биография Пожарского до 1613 года неплохо отражена источниками. Летописи, исторические “повести”,

а также разного рода документы позволяют составить подробный его портрет. Основные черты нравственного облика Дмитрия Михайловича, его психология, его интеллектуальные способности не позволяют допустить мысли о том, что он сознательно пробивал себе путь к трону.

Пожарский честолюбив – к тому толкает его родовая честь, столь сильная в знатных людях того времени. Но он ни в коей мере не авантюрист и не революционер. И, подавно, не глупец. Знал, что с его воцарением Смута продлится: не признают великие роды захудалого Рюриковича на престоле, когда вокруг полным-полно Рюриковичей нимало не захудалых. Знал, что может, восхотев трона, погубить страну, хотя недавно сделался её спасителем. Знал, что, борясь за старый порядок, немедленно пострадает после его возвращения. Так вот, старый порядок начал возвращаться, и этот общественный уклад не допускал восхождения на царство мелкого представителя Стародубских князей.

Наверное, если бы вся земля поклонилась Пожарскому и в едином порыве преподнесла ему царский венец, князь бы принял его. Но никакого “единого порыва” на Земском соборе не наблюдалось. Нет, вместо него – полное “раздрасие”. И как бы ни одолевали Дмитрия Михайловича вспышки честолюбия, он всё же не захотел сделаться главой одной из партий, бешено зубами грызущихся за власть, сыплющих деньгами направо и налево, интригующих за “голоса”. Его уважали: назвали среди кандидатов. Странно было бы не уважить! Он, может быть, искал всеобщего одобрения и даже предпринимал какие-то попытки добиться его... Но весьма быстро понял, к каким губительным последствиям могут привести подобные действия.

Надо с радостью и почтением принять решение Дмитрия Михайловича – смириться. Ему не стать государем. Не этого ли ради он бил сумбуловцев под Пронском в 1610 году, дрался на московских баррикадах в 1611-м, пил смертную чашу с Ходкевичем? По-божески, совершив положенное, князь должен был отойти в сторону. И он отошёл. Не одолел его дух Смуты. Не победил его соблазн. Вот верное поведение для доброго христианина! И в будущем Пожарский никогда, ни единым словом или поступком, не покажет своего сожаления об утраченных возможностях.

Он поступил правильно. Ради Христа и ради России так и нужно было поступить.

Как относился князь Пожарский к избранию Михаила Фёдоровича? Трудно сказать со всей определённостью, но, вероятнее всего, неодобрительно.

Для того он имел несколько серьёзных причин.

Михаил Фёдорович связан с прежними царями-Рюриковичами, но не кровно. Сестра его деда, Анастасия Романовна, стала первой женой Ивана IV. Правда, сам дед, Никита Романович, женился на Евдокии Александровне Горбатой-Шуйской. Князья Горбатые-Шуйские являлись высокородными Рюриковичами, потомками великих князей из Суздальско-Нижегородского дома. Но всё же к истинным Рюриковичам Романовы оказались в лучшем случае... прислонены. А для титулованных потомков Рюрика и Гедимины естественнее было бы покоряться монарху, теснее связанному с одним из великих царственных домов.

Михаила Фёдоровича выдвигала на престол партия со скверной репутацией. Среди московского боярства его сторонниками были И. Н. Романов – открытый пособник поляков, Б. М. Салтыков – племянник явного предателя Михаила Салтыкова, Фёдор Иванович Шереметев – член Семибоярщины, сдавшей полякам Москву, и князь Б. М. Лыков – давний враг Пожарского. Видимо, отчаявшись в собственном успехе, поддержали его и князья Черкасские. Между тем, один из них, И. Б. Черкасский, когда-то сражался с земскими ополченцами...

Они наладили связи с властями Троице-Сергиева монастыря, богатейшими купцами и казачеством. Троицкие власти предоставили сторонникам Михаила Фёдоровича своё московское подворье для совещаний. Купцы дали средства на ведение “предвыборной кампании”. Казачьи атаманы обеспечили военную силу, поддержавшую эту “партию”. Казаки устраивали буйные выступления на подворье митрополита Крутицкого и в самом Кремле. Дошло даже до осады Трубецкого и Пожарского на их дворах! Именно казачье давление склонило чашу весов в пользу Михаила Фёдоровича. А что до-

брого видел князь Пожарский от казаков? Их буйство? Их корысть? Это была сила, много зла сделавшая России того времени, сила, социально чуждая Пожарскому с его дворянами-ополченцами, и одновременно сила, ловко используемая старинным московским боярством при возведении на трон своего кандидата.

Наконец, Михаил Фёдорович не годился на трон по малолетству. На соборных заседаниях вокруг имени его шли жестокие баталии – те “за”, те “против”, – а ему ещё не исполнилось и шестнадцати лет. Он не обладал никаким опытом управленческой или военной деятельности. К тому же, более двух лет он не виделся с отцом – энергичным политиком, следовательно, не мог у него учиться. Пожарский отчетливо понимал: пока царь не повзрослеет, державой будут вертеть либо казаки, либо монаршие родичи. А эти последние, как уже говорилось, выглядели людьми сомнительных достоинств. На Соборе не раз поднимались разговоры о малолетстве претендента. Более того, ушлые интриганы откровенно говорили: “Молод и разумом ещё не дошёл, и нам будет поваден”.

Вероятнее всего, князь Пожарский видел мало доброго в перспективе отдать Россию такому государю. Он бы, не взойдя на престол сам, наверное, вручил бы его Голицыну или Воротынскому, честно сопротивлявшемуся полякам и пострадавшему от них. Однако за ними не стояло столь мощной партии сторонников... До наших дней дошли косвенные свидетельства источников, согласно которым Дмитрий Михайлович стоял в оппозиции к группировке Романовых.

Но Пожарский, стоит повторить, смирился. Надо полагать, не только уступив насильно казачьему, коего никогда не боялся, и не только по соображениям православно-нравственности.

Для него, по всей видимости, значимой была позиция Троице-Сергиевой обители, вставшей за юного претендента. К тому же Дмитрий Михайлович понимал: влиятельные Романовы, их многочисленная родня и сторонники (хотя бы из корыстных побуждений!) окажутся прочной опорой трону. Русский престол получит в их лице тьму защитников, прочим же аристократическим “партиям” будет рискованно пробовать царя Михаила Фёдоровича на прочность – так, как пробовали царя Василия Ивановича.

К этому обстоятельству следует присмотреться со вниманием.

Что такое Романовы? Ветвь древнего боярского семейства Захарьиных-Юрьевых. В их жилах вовсе не текло царской крови. Они имели очень опосредованное отношение к роду Юрика, совершенно никакого – к родам Гедимиона и Чингисхана, пользовавшихся тогда в России большим авторитетом. Романовы всегда являлись слугами московских государей. Именно слугами, а не правителями. И вместе с ними роль таких же слуг, не имеющих царской крови в артериях и венах, играли многочисленные старинные роды московского боярства: Салтыковы, Сабуровы, Годуновы, Пушкины, Шереметевы, Шеины, Морозовы, Колычевы, Плещеевы, Вельяминовы, Бутурлины, Глебовы... Кто-то из них утратил прежнее величие – как, например, Колычевы, сильно пострадавшие от опричнины, или Сабуровы с Годуновыми, потерявшие державное значение с гибелью царя Фёдора II Годунова. Кто-то сохранял большое влияние при дворе и большое богатство. В данном случае важно другое: все эти роды и множество других, не столь именитых, составляли социально близкую Романовым среду. Все они могли бы сказать о Романовых: “Эти – из наших”. Они-то, как видно, в нужный час и собрали деньги для казаков, мобилизовали собственных бойцов, проявили дипломатические способности, договариваясь с Церковью, и нажали на недовольных, где надо... Князья боролись разрозненно, всяк за себя. Нетитулованная же знать выставила всего два рода на выборы, а когда Шереметевы решили поддержать Романовых, вся её мощь сконцентрировалась в единой точке. Казаки стали оружием этой коалиции.

Наконец, Михаил Фёдорович, чистый от всех грехов Смуты, стоял намного выше столпов Семибоярщины, “тушинских бояр” и откровенных слуг польской власти. А они составляли большинство среди выдвинутых кандидатур. К несчастью, большая часть аристократии русской вышла из Смуты замаранной... Михаил Фёдорович – нет.

Не мог Дмитрий Михайлович не чувствовать ответственности за страну, недавно избавленную им от власти захватчиков. Отказавшись от мысли о соб-

ственным восхождении на престол, князь должен был отдаться расчётам: кто на вершине власти будет наименее вреден для России? Оптимисты в подобном случае сказали бы: “наиболее полезен”, но ведь из Смуты выросло невиданное количество людей-чудовищ, и некоторые из них с тяжёлой страстью тянулись к царскому венцу...

Если объективно оценивать “обойму” претендентов, то Михаил Фёдорович – среди лучших. Не самый удачный, но, во всяком случае, хороший вариант. И Пожарский, очевидно, не стал откровенно сопротивляться его избранию, поскольку увидел: лучшие не “пройдут”, а из тех, кто реально может взойти на престол, Михаил Фёдорович выглядит предпочтительнее других.

Отсутствие явного противодействия со стороны Пожарского, признание им, авторитетнейшим из земских воевод, соборного решения, делает его одним из создателей династии. Добрая уступка, сделанная Дмитрием Михайловичем, значила тогда исключительно много. Он держал в руках серьёзную воинскую силу. Допустим, весьма затруднительно было бы использовать её для личного его воцарения. Но остановить неугодного претендента, персону, явно не подходящую для роли монарха, Пожарский, думается, мог. И не стал. Князь просто подписал соборную грамоту об избрании Михаила Фёдоровича на царство<sup>22</sup>.

Иногда бездействие – очень серьёзный шаг.

Иногда отсутствие поступка – решительный, хорошо обдуманный поступок.

Имя Михаила Фёдоровича окончательно восторжествовало на соборных заседаниях 21 февраля 1613 года. Под сводами Успенского собора, главного для всей русской земли, его нарекли государем.

Дальнейшее изложено в “Новом летописце”: “Он же [Михаил Фёдорович], благочестивый государь, того и в мыслях не имел и не хотел: был он в то время у себя в вотчине, того и не ведая, да Богу он угоден был... Власти же и бояре, и все люди начали избирать из всех чинов, [кого] послать бить челом к его матери, к великой государыне старице иноке Марфе Ивановне, чтобы всех православных христиан пожаловала, благословила бы сына своего, царя государя и великого князя Михаила Фёдоровича Всея Руси, на Московское государство и на все Российские царства, и у него, государя, милости просить, чтобы не презрел горьких слёз православных христиан. И послали на Кострому из всех чинов рязанского архиепископа Феодорита и с ним многих властей чёрных, а из бояр Фёдора Ивановича Шереметева, и изо всех чинов всяких людей многих. Они же пошли и пришли на Кострому, он же, государь, был в то время в Ипатцком монастыре”<sup>23</sup>.

Надо заметить: Пожарский не поехал с посольством в Ипатьевский монастырь, но в его поведении нельзя разглядеть признаков враждебности. Князь Д. Т. Трубецкой, другой вождь земцев, сильно переживал своё поражение и даже на время слёг. Но Дмитрий Михайлович просто не мог выехать из Москвы, пока на нём висели многочисленные административные обязанности. Он продолжал свою работу, и никто из летописцев и духовных писателей того времени не отмечает в его действиях признаков огорчения или злобы.

Между выездом “посольских людей” к Михаилу Фёдоровичу и обрядом венчания на царство пройдет без малого четыре месяца. Кому-то полагалось все это время заведовать колоссальным государственным хозяйством. Трудно сказать, в какой момент произошло формирование нового правительства, и Трубецкой с Пожарским передали новым людям бразды правления. 21 февраля монарх уже известен, но всё же от имени князей Д. Т. Трубецкого и Д. М. Пожарского на Белоозеро отправляется грамота об “испомещении” на землях тамошнего уезда дворян, пострадавших в годы Смуты<sup>24</sup>. А 27 февраля по грамоте этих двух вождей земского движения решаются земельные вопросы в Угличском уезде<sup>25</sup>. Даже в марте ещё видно по документам особенное их управленческое положение при земском правительстве<sup>26</sup>. Известна мартовская “отписка” (отчёт) о получении из Шуи пушечных припасов, обращённая к Трубецкому с Пожарским<sup>27</sup>. Значит, они ещё продолжают работать как ведущие администраторы.

Когда “дуумвират” окончательно отошёл от дел, определить трудно. Скорее всего, в марте. Апрельские грамоты 1613 года, уходящие из Москвы, составляются уже от имени боярской администрации – “Фёдорца Мстиславского

с товарищи”<sup>28</sup>. Но даже если Пожарский с Трубецким сложили полномочия в самом начале марта, им предстояло долгая сложная процедура передачи дел. Какое там посольство...

Сам молодой монарх и его мать инокиня Марфа долгое время сомневались, стоит ли принимать соборное решение. Работа государя после смерти Фёдора Годунова и предательской передачи Василия Шуйского полякам выглядела одной из опаснейших. Сумеют ли земцы защитить Михаила Фёдоровича? Нет ли обмана и вероломства в их предложении? Но посольство уговорило обоих. Не напрасно светским его главой назначили боярина Фёдора Ивановича Шереметева: он происходил из той же общественной среды, что и Романовы, и принадлежал к такому же старомосковскому боярскому роду, как и они. Шереметевы приходились Романовым отдалённой родней: у обоих родов был один предок – московский боярин начала XV века Фёдор Андреевич Кошка. Инокиня Марфа и её сын могли рассчитывать на то, что кровь-то одна – чай, не выдадут...

Романовы отправились в Москву. “Люди же Московского государства встретили его с хлебами, а власти и бояре встретили за городом с крестами. И пришёл государь к Москве на свой царский престол в лето 7121 (1613) после Великого дня в первое воскресенье на день Святых жен Мироносиц. На Москве же была радость великая, и пели молебны”<sup>29</sup>.

11 июля состоялось венчание на царство, а вслед за ним начались большие торжества.

Как показала русская история, выбор, сделанный в 1613 году “выборными” людьми, и уступка, совершённая лидерами земского ополчения, оказались правильными. Михаил Фёдорович оказался именно тем царём, фигура которого сплотила страну.

Во-первых, за ним стояла самая сильная аристократическая коалиция.

Во-вторых, его поддержала Церковь.

В-третьих, и главное, страна возрождалась из руин, из грязи, из пепелищ. Она начинала жить с чистого листа. И в такой ситуации лучшим оказался тот царь, которого никто не имел оснований упрекнуть в неблагоприятных деяниях смутных лет. Михаил Фёдорович был чист. Чистота его внушала добрую надежду.

А сочетание политической силы и святой надежды – весьма прочное.

## ПРИМЕЧАНИЯ:

<sup>1</sup> Утверждённая грамота об избрании на Московское государство Михаила Фёдоровича Романова / Предисл. С. А. Белокурова. М., 1906. С. 75–92. Всего названо приблизительно 260–270 имен “выборных”, то есть участников Собора.

<sup>2</sup> В целом ряде случаев один человек подписывался за целую группу “выборных” от какого-то города или области. В таких случаях численность всей группы выборных не указывается.

<sup>3</sup> Акты Земского собора 1612–1613 годов. // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 19. М., 1957. С. 189.

<sup>4</sup> Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб. 1910. С. 129.

<sup>5</sup> Любомиров П. Г. Очерк истории Нижегородского ополчения 1611–1613 годов. М., 1939. С. 214.

<sup>6</sup> Акты Земского собора 1612–1613 годов. // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 19. М., 1957. С. 189–190.

<sup>7</sup> “Жеребеют” – определяют будущего царя с помощью жребия.

<sup>8</sup> Повесть о Земском соборе 1613 года. // Вопросы истории, № 5. 1985. С. 95.

<sup>9</sup> Трудно судить, сколь достоверна казачья легенда о передаче скипетра государем Фёдором Ивановичем боярину Фёдору Никитичу Романову. Скорее всего, правды в ней мало. При Борисе Годунове Фёдор Никитич был пострижен в монахи с именем Филарет, позднее сделался архиереем, ездил с послами от Семибоярщины к Сигизмунду под Смоленск и остался у поляков в плену. Его сын, Михаил Фёдорович, родился до пострижения.

- <sup>10</sup> Повесть о Земском соборе 1613 года. // Вопросы истории, № 5. 1985. С. 96.
- <sup>11</sup> Станиславский А. Л., Морозов Б. Н. Повесть о Земском соборе 1613 года. // Вопросы истории. № 5. 1985.
- <sup>12</sup> Акты Археографической экспедиции. Т. II. СПб, 1836. № 192.
- <sup>13</sup> Акты Археографической экспедиции. Т. II. СПб. 1836. № 182.
- <sup>14</sup> Письмо князей Юрия и Дмитрия Трубецких к Яну Петру Сапеге // Записки гетмана Жолкевского о Московской войне. СПб. 1871. Приложения. № 41. Письмо представляет собой ответ на послание Сапеги.
- <sup>15</sup> Геркман Э. Историческое повествование о важнейших смутах в государстве Русском // Хроники Смутного времени. М., 1998. С. 255–256; Видекин Д. Ю. История шведско-московитской войны XVII века. М., 2000. С. 197; Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб. 1910. С. 112.
- <sup>16</sup> Повесть о победах московского государства. М., Наука. 1982. С. 73.
- <sup>17</sup> Иван Никитич Романов приходился дядей Михаилу Фёдоровичу Романову. Но Михаил Фёдорович был сыном старшего из братьев Никитичей – Фёдора, в иночестве Филарета, а Иван Никитич – пятым из сыновей Никиты Романовича Захарьина-Юрьева, прародителя Романовых. И это по местническим счетам резко снижало уровень его знатности.
- <sup>18</sup> Многие дворяне всё же разъехались по домам, а казаков прибыло.
- <sup>19</sup> Забелин И. Е. Сыскное дело о ссоре межевых судей стольника князя Василия Большого Ромодановского и дворянина Лариона Сумина // Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете. Вып. 7. 1848. С. 85.
- <sup>20</sup> Мельникова А. С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого. М., 1989. С. 131.
- <sup>21</sup> Забелин И. Е. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. М., 1999. С. 66.
- <sup>22</sup> Собрание государственных грамот и договоров. М., 1813. Т. I. С. 637.
- <sup>23</sup> Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб. 1910. С. 129.
- <sup>24</sup> “И мы осадных сидельцов за службы велели испоместить”: Жалованная грамота “Совета всея земли”. 1613. // Исторический архив, № 6. 1993. С. 193–195.
- <sup>25</sup> Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века. М., 1998. Т. 2. № 399.
- <sup>26</sup> Дворцовые разряды. 1612–1628. Том 1. СПб. 1850. С. 1083.
- <sup>27</sup> Любомиров П. Г. Очерк истории Нижегородского ополчения 1611–1613 гг. М., 1939. Приложение № 5.
- <sup>28</sup> Дворцовые разряды. 1612–1628. Том 1. СПб. 1850. С. 1103.
- <sup>29</sup> Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб. 1910. С. 131.



## ЛЮБОВЬ В БОРЬБЕ СО ЗЛОМ

*Со всех концов России продолжают приходить отзывы читателей на книгу Станислава Юрьевича Куняева “Любовь, исполненная зла...”, которая прежде публиковалась на страницах журнала “Наш современник” под названием “В борьбе неравной двух сердец”, посвящённую судьбам русских поэтов Серебряного века. Письма читателей говорят о том, что нравственно-этические вопросы в жизни и литературе, вопросы свободы творчества, ответственности творца за сказанное им слово — всё это не есть “звук пустой”, а является важной частью общечеловеческой культуры, касающейся всех и каждого.*

### **“ТАЛАНТЛИВО, ГЛУБОКО И НЕОБХОДИМО...”**

Очень растрогалась, получив в качестве незаслуженного подарка Вашу книгу “Любовь, исполненная зла”. Уверена, что это так же талантливо, глубоко и необходимо, как и Ваши прекрасные стихи и как Ваша замечательная книга о любимом Сергее Есенине. Кланяюсь Вам сердечно, благодарю, желаю долгих лет на радость всем читающим и тем, которые станут читающими благодаря Вашему таланту.

С любовью и уважением  
**Татьяна Васильевна Доронина,**  
Народная артистка СССР  
г. Москва

### **“ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ВАШИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ...”**

Позвольте ещё раз поздравить Вас с юбилеем. Вы встретили его в хорошей форме — и физической, и творческой. Желаю Вам благополучия в жизни, желаю оставаться ещё многие годы таким же глубоким мыслителем.

Ваша книга “Любовь, исполненная зла...” на меня произвела большое впечатление. Ибо то, о чём я думал, имея обрывочные данные о “Серебряном веке”, Вы с большой силой подтвердили в своей книге. Я полагаю, что нынешнее время во многом схоже с теми годами. Чем это закончилось — известно!

Будучи в Армении, я познакомил с содержанием книги некоторых знакомых. Они очень заинтересовались Вашим произведением. Но я не мог им её оставить, так как она подарена мне Вами. Не найдёте ли возможным подписать три книги для Армении и Библиотеки Н. И. Рыжкова на “Прохоровском поле”?

Буду за это весьма Вам благодарен. Список “желающих” передаю.

С искренним уважением  
**Николай Иванович Рыжков,**  
Член Совета Федерации  
г. Москва

## СПАСИБО ЗА РУССКОСТЬ!

Дорогой Станислав Юрьевич, здравствуйте!

На слове “дорогой” рука чуть дрогнула: редко кому хочется сказать теперь “Дорогой”! Мир, особенно литературный, словно бы обезлюдел, впал в паскудство и изворотливость, никто никого не любит, не ценит, не хочет помнить. И только Вы подписываете книгу “Старинным друзьям...” – за что спасибо особое.

Вашу “Любовь, исполненную зла” прочитал залпом – как стопку выпил и не поперхнулся. Таких книжек с нашей славянской стороны я уже давненько не читывал. Да кроме Вас с такой страстью, с таким сарказмом, а по сути – с неизбывной горечью никто и слагать-то не умеет. Мне бывало необыкновенно смешно прежде, когда Юра Кузнецов посягал на равенство с Пушкиным (экое самомнение!), но я совершенно согласился с Вашими рассудительными мыслями о роли Ахматовой в русской поэзии – то ли благотворной, то ли ущербной. Лучшее из неё никто не подвергает сомнению, но многое – увы!.. и ах!

В зелёной моей литинститутской юности (17 лет, Москва, первая книжка – и автор из провинции!) Цветаева с Ахматовой очень даже шли на ум. Мы зачитывались ими, особенно наши прокуренные поэтически – всякие Ляды, Ланки, Инги, Мары, – словом, сплошные молдавско-прибалтийские шмары-кошмары. А нынче что же?! Не только студенческие подруги не читаются, но и Ахматова с Цветаевой мало в чём убеждают. Не хочу показаться поэтическим женоненавистником, но сколько нашего брата погибло от их кликушества и ведьмовства. Не одна Дербина Колю Рубцова угробила. Думаю, и Боря Примеров был изначально приговорён пасть жертвой небезызвестной Кондаковой, суевающейся и поныне в либеральной тусовке. Наблюдал я её недавно по ящику из Переделкино – аж крякнул от досады! За что ратует на свою гнутую копеечку? Ну, да Бог с ними! – Ваша книга в очередной раз перекрыла своей честной русскостью всю эту псевдоисторическую инакость. Спасибо ещё раз.

“Наш современник” каждый месяц жду с нетерпением, звоню в Союз: “Не пришёл ли следующий номер?”. Он, к счастью, приходит регулярно, и я на два-три дня погружаюсь в родное.

Ваш вечный поклонник  
**Василий Макеев**  
г. Волгоград

## ПУШКИН – НАШ ПУТЬ

Дорогой Станислав Юрьевич!

С истинным наслаждением прочёл в шестом номере “Нашего современника” Вашу главу о Пушкине. Готов подписаться под каждой мыслью, под каждым словом, если уместна с моей стороны такая похвала. Пушкину создали акафисты равновеликие ему Гоголь и Достоевский. Ваша статья в данном ряду. Это не преувеличение, не дежурный комплимент. Вы точно и по-своему

вместе с классиками, продолжая их мысли, определили значение нашего Поэта для России, да и для мира в целом. Где ещё, в какой стране сочинитель стихов стал предметом общего обожания? Пушкину поклоняются верующие и безбожники, русские и евреи, утончённые либералы и “твердолобые сталинисты”. А почему? Потому что Пушкин – божественная, идеальная норма поэта, гения, человека. Потому что именно таким людям адресована Нагорная проповедь Иисуса Христа в надежде, что она будет услышана и реализована. Ведь Спаситель прямо сказал, что пришёл не к лукавым праведникам, но к искренним грешникам.

У англичан среди таких есть Байрон, у французов – Верлен и Рембо, у американцев – Эдгар По, возможно, равные нашему Поэту мастера. Но они слишком заигрались с дьяволом и не сделали религиозными фигурами в глазах соотечественников... На Востоке мы знаем поэта-суфия Инайят Хана, индуиста Тагора, даоса Ли Бо... Они тоже не стали пророками для своих стран, потому что их опередили в союзе с Богом Магомет, Кришна, Лао Цзы. Наш Пушкин уникален потому, что ни через одного из пророков Земли небесный Отец не проявлял Себя столь свободно, легко и очаровательно, как через Пушкина. Но под этой свободой, лёгкостью, очарованием – великая пахота, а над ней – крест дуэльного распятия.

Пушкин – наш тяжкий путь к святости и сама эта грешная святость, включающая Крещение Руси, расколы, смуты, апофеозы, наконец, великий советский опыт.

Вы очень своевременно напомнили о том, как праздновался столетний юбилей Пушкина в зловещем 1937-м. Я смутно помню кое-что из того времени (мне тогда было шесть лет), но кроме того, я сохранил семейную реликвию – металлический барельеф Поэта, отштампованный в ту пору на советской фабрике с надписью (1837–1937). Кое-кто по такому поводу может похихикать: дескать, праздновали пышно смерть поэта (“Они любить умеют только мёртвых”). Но ведь это был по существу официальный акт канонизации Пушкина советской властью, объявление перехода его в бессмертие, наконец, религиозный вердикт, объявляющий вне закона любые попытки “сбросить Пушкина с корабля современности”.

Вы замечательно глубоко проанализировали слова Гоголя о Пушкине как идеале человека в развитии, каким он станет через двести лет. Тут дело не в цифре – в сути. Если в иных странах и религиях – идеал каноничен, у русских он постоянно развивается, как развивался сам Пушкин от “афея” к “отцам пустынноикам и девам непорочным”. Потому что и сам Бог – непрерывное развитие.

Вы убедительно защитили А. С. от попыток приватизации со стороны Ахматовой и Цветаевой, от похлопывания по плечу Маяковским, от блоковских наваждений, то есть выделили Пушкина опять же в особую фигуру на русском поэтическом Олимпе. И как тут с Вами не согласиться! Даже, не принимая излишней резкости по поводу вышеназванных, вполне достойных персоналий Олимпа. Время-то большое – не до олимпов. Россию настойчиво заталкивают в политическую, экономическую, аморальную пропасть – в пасть дьяволу. Не в первый раз! Пушкин же остаётся нашей охранной грамотой – “не дождётся”! Опять же – почему? А потому что образец духовного, нравственного и физического здоровья.

В заключение позвольте поблагодарить Вас как главного редактора за честь публикации именно в шестом номере журнала моей подборки стихов, за то, что в том же номере опубликованы замечательные стихи о России иркутянина Виктора Бронштейна – ещё одно доказательство непобедимости Пушкина и всемирной Русской Идеи, живущей поверх всех лопающихся швов современного мира.

В моём книжном шкафу Ваша книга стихов “Пространство и время” с дарственной надписью: “Юрию Ключникову с верой в силу правды и с надеждой, что сыновья продолжат наше дело... 30.7.1985”. Рад подтвердить сегодня, что оба наши Сергея это дело продолжают. А Вам – здравия, многая лета и славных трудов на благо Отечества!

**Юрий Ключников**  
г. Новосибирск

## ОСТАНОВИТЕ КОЩУНСТВО!

Добрый день, Станислав!

Спасибо тебе за книгу “Любовь, исполненная зла...”, которую я тут же, за один вечер проглотил, хотя в журнале читал её под другим названием – “В борьбе неравной двух сердец...”. Думаю, что новое название, действительно, имеет больше соответствия с описываемыми событиями и именами поэтов, вовлечённых в думный круг твоих размышлений, ярких, неожиданных суждений.

Я тут снова в “Литгазете” наткнулся на Игоря Панина, где он снова носится с убийцей Рубцова Людмилой Дербиной и опять пытается её обелить и убедить обывателя, да и читающий мир в её невинности. Вот что он пишет:

*“Не хотелось бы копать в том давнем вологодском деле. Рассказывать в деталях (в которых, видимо, тоже кроется дьявол) о повторной экспертизе 2001 года, показавшей, что Рубцов умер не от удушения, а в результате инфаркта, спровоцированного сильным опьянением и борьбой с Дербиной. Дело-то в другом. Он любил эту женщину по-настоящему. Не отпускал и всякий раз, когда она уходила, возвращал её. Да и она его любила, потому и возвращалась. И сегодня, спустя 42 года после трагедии, неужели нельзя хотя бы просто оставить её в покое? Не говоря уже о милосердии и прощении, на которых базируется христианство, но даже чисто по-человечески... Вина или нет, но срок она отсидела, а за все эти годы получила столько оскорблений, сколько, вероятно, ни одна женщина в нашей литературе. До сих пор пишет стихи и воспоминания? – Пусть пишет. Не пора ли поставить точку в этой истории и перестать разносить грязные сплетни, оскорбляя тем самым и память Рубцова?... Но нет, мы не таковские. Мы будем до конца бороться за чистоту поэтических рядов.*

*Раздаются даже голоса, что Дербина – это проклятие русской поэзии... И у меня такое предложение... а давайте её распнём?! Не виртуально, нет, а всамделишно. Распнём и начнём водить вокруг креста хороводы, исполняя при этом песни на стихи Рубцова “В горнице моей светло...”*

Это ж до какого кощунства может дойти человек в своих визгливо-душевных излияниях за убийцу! И ведь его не остановить. Это ещё не вся цитата. Сил больше не было воспроизводить её в письме до конца. Вот она, любовь, исполненная зла!

Станислав, ещё раз спасибо тебе за книгу! За великую любовь к нашему безвременно погибшему великому поэту Николаю Рубцову, за преданность истинному русскому слову, за твои бойцовский качества, за твёрдость твоего духа. И – храни тебя Господь!

Твой  
**Владимир Скиф**  
г. Иркутск

## ДОКАЗАТЕЛЬНО И СПРАВЕДЛИВО

Здравствуй, дорогой Станислав Юрьевич!

Невольно вызывает восхищение то, как Вы мощно, сосредоточенно и плодотворно работаете. Вот и в “Борьбе неравной двух сердец” вновь проявился Ваш талант глубокого, скрупулёзного и смелого исследователя. У меня не возникло ни малой доли сомнения в доказательности Вашего труда, в его мотивированности и справедливости оценок “Серебряного века” и литературных “кумиров” века XX-го. Большое Вам за это спасибо!

**Геннадий Кузнецов**  
г. Новокузнецк

## “НЕ ТЕРЯЕМ УВЕРЕННОСТИ В ПОБЕДЕ...”

Здравствуйте, уважаемый Станислав Юрьевич!

Прочитал Вашу книгу “Любовь, исполненная зла...” с огромным интересом. Особенно впечатлила история с Николаем Рубцовым и его женой. Это, конечно, интереснейшая находка-сопоставление и анализ поэтических текстов, которые открывают духовный мир автора. Давно я не читал ничего более увлекательного. Теперь многим друзьям рекомендую эту замечательную книгу.

Расскажу кратко о себе. Родился и вырос я в деревне, в Бокситогорском районе Ленинградской области. Исторически это был Устюжанский уезд Новгородской губернии. В детстве застал ещё стариков, родившихся до революции, на рубеже XIX–XX веков, общался с ними, дышал воздухом русской цивилизации, ещё не зная трудов славянофилов, Данилевского, Тютчева, Лютцова. Это общение, жизнь в деревне, на природе формировали мою душу. Закончил школу в городе Пикалёво, где живут мои родители. Поскольку в деревне очень любил животных, то поступил учиться на животновода-зооинженера в аграрный университет, который находился в Пушкине (Царское Село). Потом учился в аспирантуре, здесь же защитил кандидатскую диссертацию, получил звание доцента, сейчас пишу докторскую. Читаю лекции, веду занятия у студентов, руковожу исследованиями аспирантов в своей профессии. За эти годы прочитал очень много книг, сформировавших моё мировоззрение, а точнее – углубивших его, поскольку основу я получил в деревне. Очень ценю Кожина, Шафаревича, Нарочницкую и многих других современных мыслителей. Ваши книги тоже сильно повлияли на меня. Благодаря им мне кажется, что я с Вами давно уже знаком, Станислав Юрьевич, знаю всю Вашу жизнь, которая во многом является примером для русского патриота.

Большая часть моих друзей – это русские православные патриоты-государственники. Здесь, в Питере, много такой замечательной молодёжи. Причём, что больше всего радует, есть и совсем молодые люди, 18–20 лет, которые разделяют наши убеждения.

Живя в современном мире, утопающем в грехе и жестокости, мы, однако, не теряем оптимизма и уверенности в нашей русской победе по слову преподобного Силуана Афонского: “Держи свой ум во аде и не отчаивайся”. Эта уверенность живёт в нас, в том числе и благодаря Вам!

С уважением и любовью к Вам

**Вадим Грачёв**  
г. Санкт-Петербург

## ПРЕОДОЛЕВАЯ ДУХОВНОЕ РАБСТВО

Дорогой Станислав Юрьевич!

В системе духовного рабства, которая формируется интенсивно и успешно и предназначена большей части человечества, важное место занимает процесс создания искусственных авторитетов. В случае смерти обычного, ничем не примечательного “творца”, но изрядно потрудившегося в определенной сфере для опровержения традиционных, народных взглядов на жизнь и многообразие её проявлений, а также божественных истин, специалисты по созданию имиджа наделяют усопшего рядом эпитетов, которые я услышал с экрана телевизора, почерпнул из печатных изданий и по памяти приведу:

“Ушедший из жизни (имярек) был отважным борцом с тоталитаризмом, бессеребренником, совестью нации, с его смертью завершилась целая эпоха, он был правофланговый, основоположник нового направления, человек-легенда, Человек с большой буквы, Учитель, создатель школы, невосполнимая утрата, новатор, нетрадиционное прочтение и осмысление, новое слово в искусстве, в науке, талант невероятного масштаба...” – и т. д. и т. п.

При жизни тоже восхваляют неумеренно, но особенно стараются исползовать кончину известного деятеля либерально-демократического направления, “наследившего” в науке, искусстве, политике и прочих областях земной

суеты, чтобы ни один человек, простой или знатный, не осмелился подвергнуть сомнению его “вклад” в определённую деятельность и старался следовать ему в мыслях и поступать подобным образом. То есть добровольно-принудительно формируется определённый тип человека, благоприятная среда для окончательного торжества бесовщины.

Лишь немногие мыслители осмеливаются слить подобных творцов в поимую яму истории. Являясь отчасти и опосредованно Вашим учеником, могу констатировать, что всё Ваше творчество: и поэзия, и проза, и литературная критика направлены на защиту традиционных, народных нравственных ценностей от либерального блуда. Написав новую книгу “Любовь, исполненная зла...”, вы свершили очередной гражданский подвиг.

Книга написана превосходным русским языком, читается легко и с интересом. С моей точки зрения, она является творческой удачей: и по форме, и содержанию. Она с виду небольшая по объёму, но ценнее, чем иной солидный научный фолиант доктора филологических наук, профессора. Мал золотник, да дорог! — к месту сказано мудрым народом. Читаю и перечитываю с удовольствием. И раньше знал о проказах наших “гениев” немало редких подробностей, но вы привели в стройную систему имеющиеся факты о бесовском искушении в литературе и в жизни.

Содержание вашей филологической, исследовательской работы — за пределами и выше большинства докторских диссертаций. Она не стандартна и нетривиальна, остроумна и глубока, тезисы и умозаключения непротиворечивы и достаточно доказательны.

Ещё раз поздравляю с творческой удачей, желаю Вам, Вашим родным и близким здоровья и благополучия!

**В. П. Проценко**

г. Тимашевск Краснодарского края

## **ТРУДНЫЙ СПОР ПРАВДЫ ПУБЛИЦИСТА И ПРАВДЫ ХУДОЖНИКА**

Дорогой Станислав Юрьевич!

Вы прислали мне свою книгу с примечанием: “Поскольку у тебя есть какой-то врождённый инстинкт надёжного простонародного понимания жизни, то ты, надеюсь, поймёшь, для чего я написал эту книгу”.

И хорошо зная Вас, дорогой Станислав Юрьевич, и руководствуясь своей интуицией, я прекрасно понимаю, что в этой работе Вами двигали самые благие побуждения, опирающиеся на глубокие раздумья о судьбах русской литературы. Эти напряжённые раздумья были Вам свойственны всегда, и они нашли яркое отражение как в Вашей публицистике, так и в поэзии.

Я внимательно читала Вашу работу “В борьбе неравной двух сердец”, опубликованную на страницах “Нашего современника”. И справедливо сочла, что мне не стоит откликаться на неё немедленно, по первым впечатлениям. “Нужно всё это обдумать”, — сказала я себе. Первое простонародное правило, которое приходит мне на ум, когда речь идёт о добре и зле, — нет худа без добра и добра без худа. К примеру: очень плохо поступила Ева, что соблазнилась запретным плодом. Однако результатом её грехопадения стал расселённый по всей Земле род человеческий.

Конечно, человечество по преимуществу живёт во грехе; тем не менее, среди этих многочисленных грешников встречаются не только “отцы пустыньники и жены непорочны”, но и такие замечательные люди, как Вы, например, Станислав Юрьевич. Говорю это без тени юмора. Незаурядный поэтический дар, несомненный талант публициста, неисчерпаемый энтузиазм организатора и беспримерная работоспособность, одухотворенные христианским мировоззрением, заслуживают глубочайшего уважения.

Так и растленный, суетный, отягчённый безмерной гордыней, мятежный, одержимый “серебряный век” дал нам великих поэтов и прозаиков (не буду перечислять их имена, Вы их сами назвали). Однако согласитесь, что и “козлоногие” поэты, и поэтессы “из логова змиева” не одно лишь зло принесли в мир — они обогатили русскую поэзию новыми художественными приёмами, новыми ритмами и интонациями, оставив всё это в нашем с Вами распоряже-

нии. И рука у меня не поднимается, уважаемый Станислав Юрьевич, бросить камень в таких же, как я, несовершеннолетних существ — непоправимо ошибавшихся, быть может, в своей короткой жизни, но и страдавших, и жестоко расплатившихся за свои ошибки.

Вы исходите из того, что Дербина, оборвавшая жизнь Рубцова, — духовная наследница “разрушительницы” и “разорительницы гнезд” Ахматовой, так как Ахматова была и остаётся её кумиром.

Я не поклонница Ахматовой, однако справедливости ради замечу, что сама Анна Андреевна всё-таки не убила ни одного из своих мужей. А если среди её окружения и были самоубийцы из-за несчастной любви (Вс. Князев), то почему ответственность за эту смерть должна нести именно Ахматова?

Бениславская застрелилась на могиле Есенина, ещё несколько женщин покончили самоубийством после трагической гибели поэта, но Вам ведь не приходит в голову (и справедливо не приходит!) мысль о том, что Есенин “уволок” с собой на тот свет нескольких человек!

Вы и сами — поэт, и кто из поэтов не был в Вас безнадежно влюблен, да и поклонниц Вашего творчества немало. Дай Бог Вам долгой жизни, Станислав Юрьевич, но вот не дай Бог — застрелится кто-нибудь на Вашей могиле, и какая Ваша будет в том вина?!.. Увы, в контингенте поклонников поэзии (и Вы сами это прекрасно знаете) немало людей экзальтированных (одержимых, если выразиться Вашим словом), неуравновешенных, а то и вовсе психически нездоровых.

Более того, Станислав Юрьевич, я не нахожу неумолимой связи между характером стихов Дербиной и тем, что она совершила.

В отличие от Вас, я не число за ней особого таланта, который бы выделял её как самостоятельную фигуру среди большого числа пишущих женщин. Характер её стихов, по большому счёту, не выходит за рамки прикладного творчества. То есть это не более чем романтизация персональной личной жизни, свойственная женщинам вообще.

Вспомните, что и пушкинская Татьяна, начитавшись переводных романов, воображала себя “Клариссой, Юлией, Дельфиной”. Но трагедия, которая прошла через юную жизнь этой провинциальной девушки (убийство безобидного Ленского на дуэли из-за пустяка, из-за глупого кокетства легкомысленной Ольги), сделала её другим человеком, заставила понять всю меру личной ответственности женщины. С Дербиной этого не произошло, она продолжает жить “Клариссой, Юлией, Дельфиной”, то есть волчицей, медведицей и крушиной, да к этому прибавился ещё ореол её гонимости и жертвенности. Волчица, поднимающаяся на Голгофу, — ну, где тут хоть какая-то гармония поэтической картины, где хоть капля художественного вкуса?!

Разорьте, Станислав Юрьевич, Вашу редакционную корзину, куда Вы выбрасываете “отбракованные” рукописи: если не половина, то добрая треть содержимого корзины — это стихи “крушин”, “волчиц”, “зимних вишен”, “касандр” и “птиц с перепитым крылом, с головой бросающихся в омут любви”.

Заметьте, что там же лежат многочисленные “настасьи филипповны”, потому что какой же русский город, какое село без своей роковой красотки-страдалницы! Чем же провинился Достоевский, если наши дамы пленяются одной из самых страшных и разрушительных его героинь? Писатель с огромной художественной достоверностью показал мятежный путь этой женщины, которая не только погибла сама, но и, не желая того, растоптала жизнь, как минимум, ещё двух человек. Поистине, “нам не дано предугадать, как слово наше отзовется”!

Я согласна с Вами, что на рубеже XIX–XX веков в обществе действительно очень сильны были губительные, разрушительные, самоубийственные тенденции. Попали в этот гигантский водоворот и люди искусства, в том числе и поэты.

Изобличая “порочный век”, Вы с особым удовольствием прошлись по женщинам, эти фуриям сексуальных и прочих революций. “Языческая гордыня”, “соблазн языческой и греховной красоты”, дохристианская жажда крови и разрушений... Создаётся впечатление, что все без исключения женщины — “из логова змиева”, они только и ждут подходящей атмосферы, чтобы реализовать свои утробные языческие инстинкты.

Нелишне напомнить, что первой христианкой на Руси стала русская княгиня. Правда, если чей-то недобрый язык станет выборочно приводить лето-

писные свидетельства из жизни великой равноапостольной княгини Ольги, то перед нами как раз и возникнет “хищная волчица”, огнём и мечом уничтожившая древлян в отмстку за убийство мужа. Но не одни лишь змиевы подношения принимают женщины: когда к Ольге пришли первосвященники земли русской, она окрестилась в православную веру и оставалась добродетельной христианкой до конца своих дней.

Мудрые священники Древней Руси проявляли немалую терпимость к жестокому обычаю своего времени. До нас дошли и такие наставления епископов русским князьям: “Попускаешь ты себе, князь, есть мясо во всякий постный день... да портить отроковиц... так зашел бы в храм лоб перекрестить”. Понимали святые отцы нашей православной церкви, что если князя в четыре года сажают на коня (с конца копыя вскормлен), в 17 лет он уже всю жизнь участвует в междоусобных битвах, а в 20 лет, обуянный гордыней, ведёт полки на своего родного брата (это факты из биографии святого великого князя Юрия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода), то трудно ждать от него безгрешной и праведной жизни. Впрочем, Юрий Всеволодович, хотя он и нанёс известный урон наследию своего отца Всеволода Большое Гнездо (приложил руку к “разорению гнезда”), был человеком богобоязненным и мученически погиб в битве с монголо-татарами, за что и канонизирован.

И мужчины, и женщины во все века совершали роковые, порою непоправимые ошибки. Однако, на мой взгляд, недопустимо ставить на одну доску с Демьяном Бедным автора “Войны и мира” и “Анны Карениной” только за то, что он просил не ставить креста на его могиле. Вряд ли есть необходимость вершить столь строгий земной суд над собратьями своими, когда есть Высший Суд.

Мне вспоминается Ваше чудесное стихотворение, глубоко проникнутое гуманизмом и христианской любовью к людям:

*Живём мы недолго — давайте любить  
И радовать дружбой друг друга.  
Нам незачем наши сердца холодить,  
И так уж на улице вьюга!*

*Давайте друг другу долги возвращать,  
Щадить беззащитную странность,  
Давайте спокойно душою прощать  
Талантливость и бесталанность.*

*Ведь каждый когда-нибудь в небо глядел,  
Валялся в больничных палатах.  
Что делать? Земля наш прекрасный удел —  
И нет среди нас виноватых.*

Это Ваша правда художника – и она мне почему-то ближе, чем Ваша правда публициста...

Искренне и от всей души поздравляю Вас с юбилейным днём рождения! Пусть и впредь не меркнет Ваш блистательный талант – на радость всем нам, кто любит Вас, кто желает Вам добра, счастья и крепкого здоровья!

**Светлана Сырнева**  
г. Киров

### **“ВЫ ОТВЕТИЛИ УБЕДИТЕЛЬНО”**

Дорогой Станислав Юрьевич!

Прочитала вашу замечательную книгу трижды (впервые – в журнальном варианте) – настолько она меня поразила. Не надеялась когда-либо и от кого-либо получить серьёзные, правдивые ответы на вопросы, беспокоившие меня долгие годы. Блестящий философ и филолог Гасан Гусейнов, к примеру, честно ответил мне, что затрудняется объяснить, почему талантливейшие художники, зачастую объективно хорошие, совестливые люди, исповедующие



эстетизм\богоборчество как мировоззрение и стиль жизни, неизбежно расплачиваются жестоким саморазрушением.

Вы ответили убедительно и, возможно, исчерпывающе.

Не скажу, что ваши жёсткие выводы меня обрадовали. Ведь я всем сердцем любила и продолжаю любить творчество Цветаевой, Блока, Есенина, Волошина (для меня это художники высшей, так сказать, категории, но их-то вы, к счастью для меня, почти пощадили). Что касается других ярких, талантливых деятелей эпохи Серебряного века, вы их просто растоптали. Не перечисляю их, чтобы не утомлять вас.

А ведь спорить с вами совсем не хочется. Сопrotивляясь, негодуя и сокрушаясь душою, я, тем не менее, вынуждена принять вашу точку зрения.

И знаете, почему? Аргументы – аргументами, но невозможно было не почувствовать, что вы и сами негодуете, сокрушаетесь и – ЖАЛЕЕТЕ героев вашей книги. Меня это совершенно покорило и растрогало.

Отлично зная ваш бойцовский, непримиримый нрав в полемике с вашими идейными и литературными оппонентами, я опасалась и в этой вашей книге наткнуться на слепую запальчивость и безоговорочное осуждение, присущие публицисту, уверенному в том, что его мнение – это и есть истина в последней инстанции. Простите меня. Я встретила в вашем лице автора, в котором стальная бескомпромиссность парадоксальным образом сочетается с глубиной и тонкостью восприятия, с умением понимать “чужое” и по-человечески чужому и чуждому сострадать. Это большая редкость по нынешним временам. Приходится признать, что моё мнение о вас было весьма поверхностным.

Я была воистину потрясена тем, как вы изложили трагический сюжет Николая Рубцова и Дербинной. Начав с сурово-презрительной характеристики этой женщины, вы кончили, тем не менее, почти отеческим сочувствием к ней. Для меня это означает абсолютную непредвзятость вашей позиции. Любя Рубцова (он и мой любимый поэт), невозможно найти оправдание Дербинной. Но вы, блистательно анализируя её творчество, логически приходите к выводу, что гибель Поэта была неизбежной, так как жизнь столкнула две антагонистические (и ментально, и психологически, и творчески) сущности, и тёмная сущность оказалась, увы, неодолимой. В земной жизни. Вы подводите читателя к осознанию, что судьба Рубцова была предопределена – именно потому, что он был категорически ДРУГОЙ. А значит, и она не столь уж виновата, потому что – непоправимо другая. Свет и Тьма, как у вас сказано.

Вот эта ваша неожиданная непредумышленность, глубина и честность анализа произвели на меня неизгладимое впечатление.

От всей души благодарю вас, Станислав Юрьевич, за книгу, оказавшуюся частью моей личной биографии. Мысленно я снова и снова возвращаюсь к ней, обдумываю.

Единственное мягкое возражение. Вы противопоставляете бесовщине авторов Серебряного века духовность и несокрушимую гармоничность Пушкина. По-моему, это неправильно.

Во-первых, Пушкин не явился на свет сразу таким мощным – духовным и гармоничным. У него было время для роста.

А во-вторых, Пушкиным можно побить КОГО УГОДНО. Он же действительно “наше всё”, единственный и неповторимый национальный гений. Рядом с ним все неудачники, мелкие бесы.

Еще раз СПАСИБО.

С уважением,  
**Татьяна Кузьмина**  
г. Сталинград

### **О СВЕТЕ И ТЬМЕ, И НЕ ТОЛЬКО...**

Здравствуйте, Станислав Юрьевич!

Прочитал в “Нашем современнике” Вашу статью о Рубцове и Дербинной – думаю, Вы дали форум многим литературоведам (я о свете и тьме).

**Юрий Беликов**  
г. Пермь

## БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ

Дорогой Станислав! Ещё раз благодарю тебя за то, что ты разрешил опубликовать в нашем журнале “Поэзия” свою книгу “Любовь, исполненная зла...” Уверен, что для читателей журнала книга станет истинным потрясением, ибо ты говоришь то, что до тебя боялись сказать многие!

Откровенно завидую твоей замечательной работе. Единственное огорчает, что написал это не я... Хотя откровенно говорю, может быть, сам я на это и не отважился бы.

Публикации начинаем с самого ближайшего номера. Даём сразу около 40 страниц с продолжением.

Твой  
**Лев Котюков**  
Москва

## ПОМОИ ОТ ПАНИНА

Статья Игоря Панина “Санта-Барбара от Куняева” (пятый номер “Лит. России” от 1 февраля 2013 года) даже на привычном сегодня желтом газетном фоне выглядит особенно гадко.

Игорь Панин не скрывает своей “личной неприязни” к Станиславу Куняеву. Давние обиды, уязвленное самолюбие или зависть тому причиной – не так уж и важно. В конце концов, Куняев и Панин находятся в “разных весовых категориях” нашей литературы, и тщедушные удары малоизвестного автора Станислав Юрьевич может просто не заметить.

Но тема, вокруг которой подобным образом “танцует” Панин, слишком серьезна. Она касается личности великого русского поэта Николая Рубцова.

“Меня давно интересовало всё, что связано с именем Николая Рубцова, стихи которого я искренне люблю, – пишет Панин. – Прочитал массу литературы о нём, неоднократно беседовал с людьми, знавшими его при жизни. Удивляло вот какое обстоятельство – биографы, все как один, отмечали буйный нрав Рубцова, конфликтность и неадекватное поведение в состоянии алкогольного опьянения, но в нелепой смерти его винили почему-то одну Дербину”. Логика автора понятна: в своей смерти Рубцов виноват сам, можно к этой “идее” присоединить уже другие, “жареные” факты, тем более что у Панина “вполне естественно” возникло “желание лично побеседовать с Дербиной, взять у нее интервью”. Но о самом интервью Панин почти ничего не сообщает, зато приводит пространную цитату из давних воспоминаний Константина Кузьминского “Любовь поэта и кровь любви”, лживых и отвратительных по своему содержанию и тону. Панин демонстрирует нравственную глухоту и вопиющий непрофессионализм, не гнушаясь цитировать эту мерзость, не замечая даже фактических ошибок автора, “живущего ныне в США”.

Например, Кузьминский (и солидарный с ним Панин) настойчиво повторяет мысль о прижизненной безвестности и непризнанности Рубцова: “. . . Что знаем мы о трагедии Рубцова-Дербиной? О любви их – знаем. И в стихах Колиных, и в стихах Людмилы – о ней говорится. Была. А – о жизни полуофициального (?) поэта?.. О пьянстве его горчайшем?.. О попытках “пробиться в печать”?.. О нищете, неустроенности, о тоске?”

Безвестность Рубцова – на самом деле миф. При его жизни подборки стихотворений регулярно появлялись в центральных журналах и газетах, не обделен он был и вниманием критиков, особенно после выхода его книги “Звезда полей” (1967), получившей свыше 50 (!) рецензий, среди которых совсем не было так называемых “организованных”. В журнале “Вопросы литературы” (тогда ведущем литературоведческом издании) имя Н. Рубцова встречается довольно часто. В третьем номере журнала за 1966 год В. Кожинот отметил подборку стихотворений поэта в “Октябре”, в седьмом номере 1968 года Вл. Гусев писал: “Поэт, по сути, не так уж прост: главное в жизни, сама жизнь и смерть, природа и ясный простор земли в их отношении к человеку – вот что его занимает” (с. 107). В седьмом номере за 1970 год В. Кожинот заметил: “Сейчас нельзя уже говорить о современной русской литературе, не зная, что делается, скажем, в Вологде, – ибо там живут и работают Виктор

Астафьев, Василий Белов, Николай Рубцов” (с. 32). В номере одиннадцатом за тот же год критик Ал. Михайлов рассуждал: “Н. Рубцову совершенно чужды получившие некоторое распространение плоское противопоставление деревни городу, кичливое любование своим крестьянским происхождением” (с. 25). Кстати, все отзывы о Н. Рубцове в журнале были исключительно положительными.

Еще один факт: Н. Рубцов без проблем публиковался в чрезвычайно популярном тогда альманахе “День поэзии”, за место в котором разворачивались целые подковерные битвы, многие поэты даже поссорились из-за этого “всерьез и надолго” (В. Цыбин с Н. Старшиновым; Т. Глушкова и Ю. Друнина с Ю. Кузнецовым и др.).

Вот они, эти публикации Н. Рубцова: “День поэзии-1963” – стихотворения “В океане”, “Утро на море”, “В кочегарке”. “День поэзии-1966” – стихотворения “Загородил мою дорогу...”, “Над вечным покоем...” (в этом номере, между прочим, дебютировал Ю. Кузнецов). “День поэзии-1967” – стихотворение “Шумит Катунь”. “День поэзии-1968” – стихотворения “У размытой дороги”, “Последний путь”. В “Дне поэзии-1969” – целая подборка: “На ночлеге”, “В жарком тумане дня...”, “Посвящение другу”, “Во время грозы”, “Последняя ночь”.

А еще были публикации в региональном “Дне поэзии Севера”: в 1966-м, в 1968 году – в двух номерах, вышедших в Архангельске и Петрозаводске; в 1969-м, 1970-м и 1971-м годах! Как видим, список получился довольно впечатляющий.

С середины 1960-х годов (время вступления Н. Рубцова в большую литературу) книги у него выходили одна за другой: четыре сборника за шесть лет, еще один был сдан в набор (“Зеленые цветы”) и появился в книжных магазинах сразу после гибели Рубцова, следующий (“Подорожники”) был подготовлен к печати. Мало кто из поэтов того времени мог похвастаться подобной “скорострельностью”, многие ожидали выхода книги подолгу: годами, а то и десятилетиями. Удивительный факт: первые два поэтических сборника Рубцова увидели свет еще до его членства в Союзе писателей! И гонорары за свои публикации Рубцов получал немаленькие. Говорит друг поэта, Сергей Багров: “Коля бедным никогда не был”. Другое дело, что обращаться с деньгами Рубцов не умел – вырос в детдоме.

Слава его росла постепенно, но неуклонно. Рассуждение о том, что странная и загадочная гибель Рубцова стала одной из причин взлета его популярности – непрофессионально и несправедливо к его поэзии в целом. Уже при жизни Рубцова многим было ясно, с какой величиной они имеют дело. Враги у Рубцова, конечно, имелись, но были и покровители, и истинные ценители его творчества: А. Яшин, Е. Исаев, В. Кожин, Ст. Куняев, В. Астафьев, В. Белов... Незадолго до смерти Н. Рубцову дали выступить на выездном пленуме Союза писателей, а что это означало в те времена, понимали все. И посмертная судьба Рубцова подтвердила неписаное правило: поэзия живет по своим собственным законам. “И не она от нас зависит, А мы зависим от нее...”

О “пьянстве” и даже “алкоголизме” Николая Рубцова не писал только ленивый. Панин выделяет еще одну мнимую черту характера поэта: “буйный нрав”.

В двух, самых полных на сегодняшний день, “Воспоминаниях о Рубцове”, изданных в 1983 году в Архангельске и в 1994 году в Вологде, и в биографических книгах Н. Коняева и В. Белкова, Рубцов предстает совсем в другом облике, – небезупречном, но другом.

“Коля был человеком очень чувствительной и нежной души” (Галина Матвеева); “Доброты в нем было через край, доверчивости – еще больше: простота, не знающая границ...” (Александра Меньшикова); “Николай Рубцов был добрым. Он не имел имущества. Он им всегда делился с окружающими. Деньги тоже не прятал” (Глеб Горбовский); “Денег не берег... Бессребреник и вечный странник” (Валентин Сафонов); “В компаниях он мог быть самым разным. То центром всеобщего внимания, то глубоким и тонким собеседником, то безудержным весельчаком, то молчаливым наблюдателем, то совершенно незаметным “неучастником”. Он был всяким, но никогда не был ни вздорным, ни злым” (Эдуард Крылов); “Ни в одних стихах Рубцова даже тени нет озлобленности” (Виктор Астафьев); “Навязчивости в Рубцове не было

никакой, пьяным за три почти года мне не довелось его видеть ни разу, и потому многое в рассказах о нем представляется досужим вымыслом” (Василий Оботуров), “После смерти стали говорить, что Рубцов пьяный писал стихи. Это клевета. Он где-то уединялся и там писал. Как-то Бог руководит” (Виктор Астафьев).

Я давно, еще в 1995 году, дал слово о гибели Рубцова не писать. Тем более что мотив убийства многократно менялся — как в оправданиях самой Дербиной, так и в многочисленных версиях “со стороны”. В истории литературы останутся только твердые и неопровержимые факты: Людмила Дербина задушила Николая Рубцова в его квартире, которую он получил в 34 года, — не за месяц до смерти, как пишет Кузьминский, а гораздо раньше. Судебное дело раскрыто, все обстоятельства и детали известны. Дербину осудили на восемь лет, отсидела она пять с половиной, а не семь (еще один “ляп” Кузьминского, а вместе с ним и Панина), в 90-х годах были опубликованы ее воспоминания и стихи.

Еще В. Маяковский с болью и без особой надежды просил: “...пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил”. Но для Панина, как оказалось, нет ничего святого и в этом, и в том мире, — он сваливает в одну кучу и грязное, и чистое белье. И что в результате получилось?.. Ссылки на “знакомых поэтов”; на загадочных людей, знавших Рубцова “при жизни”; на Дербину, которая в принципе не может быть объективной; голословные обвинения в адрес неназванных авторов, запустивших в народ “собственные бредовые теории” (эта оценка особенно умиляет, — Панин даже не замечает, что в этот ряд он включает себя самого); оскорбительные оценки... Только однажды Панин в своей статье сказал правду: “...не считаю себя специалистом в данной области”. Как говорится, “не читал, но осуждаю”, не считая, но пишу...

Понятно, что Паниным двигает обида на Куняева, но нельзя же так явно за ней идти! Статью трудно читать: автора “заносит” то в одну, то в другую сторону, он поливает грязью сначала Куняева, потом Рубцова, затем снова Куняева, но, упустив его из виду, вдруг обрушивает весь свой словесный поток на Сергея Ключникова, посвятив ему целых четыре абзаца, и лишь потом возвращается к “предмету своей страсти”. Игорь Панин в очередной раз выставляет себя в смешном виде, подробно рассказав о том, как распространял сплетню (“за что купил, за то и продаю”) о якобы уничтоженной Рубцовым поэме “Разбойник Ляля”.

Развязный тон публикации не удивляет, — каков человек, таков и стиль, — поражает другое: как может профессиональный литератор, чьи “статьи, интервью, рецензии выходят достаточно часто” (по его собственному скромному признанию), опускаться до сплетен, выяснения отношений и оскорблений? Ни одного доброго слова о Рубцове-человеке! Зато Дербина вызывает у него исключительное сочувствие.

Хотел того Панин или нет, но его статья оказалась написанной в духе авторов, патологически ненавидящих Рубцова: кузьминских, шнейдерманов, новиковых, — смердяковых русскоязычной литературы.

**Виктор Бараков,**  
г. Вологда

## СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

### “ВАС НЕ НУЖНО — НЕ ЦЕНЮ!”

Приславших мне такого рода письма — благодарю. Но, как говорится, в каждой бочке мёда есть ложка дёгтя...

До чего низко опустился при демократии уровень публичных разборок — на заседаниях Госдумы, на телевизионных поединках, на всяческих открытых микрофонах какого-нибудь “Эха Москвы”, ну, и, конечно, в газетных баталиях

ях. Крики, визги, оскорбления, истерики, угрозы, мат, хамство, аж до мордобоя дело доходит...

Передачи Малахова и Соловьёва уже страшно смотреть – того и гляди, оппоненты и оппонентки в волосы друг другу вцепятся. Один Александр Проханов каким-то чудом сохраняет в этом паноптикуме человеческое и гражданское достоинство. Не ожидал я, что доживу до таких времён. Раньше – в 60–80 годы – я с азартом, бывало, вмешивался в литературные распри, но помню, что и сам держал себя в руках, и соперники не переходили границы приличия. А теперь...

В ответ на мою книгу “Любовь, исполненная зла”, вернее, на первую её главу, посвящённую гибели Николая Рубцова, “Литературная Россия” откликнулась “простыней” на две с лишним полосы некоего Игоря Панина, вроде бы сотрудника “Литгазеты”, почему-то опубликовавшего свой материал “Санта-Барбара от Куняева” не у Полякова, а у Огрызки. Могу лишь предположить, что у Полякова хватило ума не печатать этот по содержанию и по форме жалкий пасквиль.

В первых строках своего сочинения Панин решил поиздеваться над моей тюркской фамилией, вспомнив глумливую эпиграмму обо мне то ли, как он пишет, Аронова, то ли Губермана. Поскольку я никогда не интересовался стихами сотрудника “МК” Аронова, а Губерман в советское время был известен лишь как мошенник, получивший срок за торговлю краденными из русских церквей иконами, то меня это глумление ничуть не задело. Но Панин пытается убедить и себя, и читателя, что моя фамилия останется в литературе лишь потому, что присутствует в творчестве этих двух еврейских остроумцев. Этот якобы “специалист по Рубцову” почему-то не помнит, что моя фамилия не раз упоминалась и Николаем Рубцовым: в его нескольких письмах ко мне, в его дарственной надписи на книге “Звезда полей” (“Станиславу Куняеву, дорогому поэту и другу, на добрую память. 7.12.68 г. Н. Рубцов г. Москва, тёплая зимняя погода”); в его дружеском стихотворении “Ответ Куняеву” с одновременно и шутивными и серьёзными строчками:

*Кроя наших краснобаев,  
Всю их веру и родню,  
— Нужен мне, — скажу — Куняев,  
Вас не нужно — не ценю!*

Я человек не гордый. Если благодаря Николаю Рубцову моё имя останется в истории русской литературы, то мне этого будет вполне достаточно.

Надеюсь, что Панин, не раз писавший о Рубцове и Дербиной, выучит наизусть строки из письма последней ко мне, опубликованного в книге “Любовь, исполненная зла”: **“Николай любил Вас, часто вспоминал. Только и слышишь, бывало: “Стасик, Стасик...”** В своё время это поняла даже Дербина.

Поражаюсь тому, как можно было, якобы “любя Рубцова”, с садистским удовольствием восхищаться злобными размышлениями Кузьминского, мелкого околосредствительного диссидента 60-х годов, давным-давно живущего в Америке:

*“Вологодские русофобия... Кожинины в кожанках, свиномордые свинофилы, те самые гниды Вологодского Союза, которые загубили Колю, довели его до тоски и безумств <...> Они-то живы, они пишут, воруют в наглую и передёргивая по-чёрному... Людмила пишет, что Коля в неё горящими спичками бросался, а я знаю, что и сигареты по пьяни гасил... Об ней, об бабу, ... а довели его те, кто сейчас пишет мемуары, ставит памятники, поёт песенки, переименовывает в честь него улицы — в честь него, чьи стихи они же и не печатали, сами жрали от пуза, а ему не давали, жили-жировали... <...> Что знаем мы о трагедии Рубцова—Дербиной? <...> О пьянстве его горчайшем? О попытках “пробиться в печать”? Об этом знала только Людмила — и любила. И убила в отчаянье. Когда пьяный Коля тянулся за молотком, чтоб — её... Фонари вы её — видели? На женском прекрасном лице?... И идут — публикации за публикацией: “Убийца поэта”. А если бы Коля её замочил? Она ведь — тоже поэт. И прекрасный...”*

Весь этот шизофренический русофобский бред цитируется Паниным с помощью Огрызки для того, чтобы доказать, будто в смерти Рубцова виноваты

все его вологодские земляки – “свиномордые свинофилы”. А кто был тогда в Вологде рядом с ним? Яшин, Астафьев, Белов, Фокина, Романов, Шириков, Грязев, Кортаев, Балакшин, Чухин и многие другие – честные и любящие Рубцова русские писатели и поэты, которые всем, чем могли, помогали ему, так же как мы, его московские друзья: Кожин, Передреев, я, Егор Исаев. И первая московская книга Рубцова – “Звезда полей” – во многом вышла благодаря нашим общим стараниям. Константин Кузьминский, несостоявшийся поэт, – но более чем состоявшийся русофоб, задыхаясь от злобы, много лет подряд заполняет свой сайт бульварными проклятиями по адресу Кожина, Распутина, Проханова, Бондаренко, Горбовского, Селезнёва, словом, всех тех, кто в то время любил и понимал Рубцова по-настоящему, в отличие от всяческих питерских кузьминских, бродских, шнейдерманов и московских паниных с огрызками.

Нынешние, по словам Виктора Астафьева, жёлтые “жюльнаристы” выпихивают Дербину на подиум, выдвигают на премию “народный поэт”, экспертом которой является сам Панин, негодующий, что она оказалась всего лишь на 9-м месте. Весь этот абсурдный спектакль станет возможен лишь тогда, когда им удастся доказать, что “алкоголик” Рубцов умер от инфаркта, а если его и задушила Л. Д., то лишь в состоянии аффекта, при самообороне, иначе бы он “замочил” её “молотком”.

Прочитав статью Панина, я понял причину его запредельной ненависти ко мне. Я-то думал, что мы ни где не встречались. Но он плаксиво жалуется:

*“Разве Куняев ничего обо мне не знает? Допустим, он не читал моих стихов. Возможно, он забыл о том, что мы с ним лично знакомы: в 2009 году очень мило беседовали в Барнауле и даже обсуждали возможность проведения в “Л. Г.” дискуссии о современной патриотической поэзии”, “но не мог Куняев в 2010–2011 годах не читать “Лит. газеты”. И вряд ли он не видел там ни одного материала за подписью Игоря Панина, так как мои статьи, интервью, рецензии выходят достаточно часто. Но здесь он делает вид, будто впервые обо мне слышит”.*

Бедный завистник! Ну, зачем я должен помнить какую-то случайную встречу с ним “в Барнауле, в 2009-м году”? Смешно, когда он напоминает мне, что приходил в качестве курьера три года тому назад за стихами Виктора Бокова в редакцию “Нашего современника”. Это что – историческое событие? Ну, а если я и читал какие-то рецензии Панина, то в памяти они не остались, так что, как говорится, “пиши жалобу на себя”.

Мало того, что у него комплекс неполноценности (все, видите ли, должны помнить, где он был и что напечатал), но и журналист-то он беспомощный, потому что сумел всего-навсего лишь повторить слухи и сплетни, вышедшие за мою долгую жизнь из-под пера некоего поэта Теушакова, старого сплетника Личутина, провокатора Мальгина, давно живущего, подобно Кузьминскому, “за бугром”, и т. д.

Но особенно уязвило тонкую поэтическую душу Панина то обстоятельство, что я не знаю его стихов. Что делать! Я попросил Володу Бондаренку “вытащить” стихи Панина из интернета (ещё раз повторюсь, что сам я берегу своё время и свои глаза, а потому ни на компьютере не работаю, ни в интернет не залезаю. А сайт мой для меня организовала моя почитательница Александра Яковлева, которая следит за тем, что я печатаю, и время от времени обновляет его. Спасибо ей за это).

Стихам Панина предшествует его фото: жирный парень с волосатым брюхом в плавках сидит под пальмой на каком-то экзотическом южном пляже, естественно, с ноутбуком и сочиняет стихи о Родине: *“Тошен писателю быт; дни окаянные. Родину нужно любить на расстоянии, дабы не вязнуть во щах кисло-ужаса и никого просвещать больше не тужиться”.* Дальше идёт такой же косноязычный набор слов “просветителя” в духе Болотной площади, о “гэбне”, о “новой полиции”, о “палачах”, о “плачущем “карлике”, а в конце итог:

*В общем, представился б шанс,  
а не пародия,  
я б не вернулся, душа,  
матушка Родина.*

А в чём дело? Какой шанс тебе нужен? Езжай к своему кумиру Кузьминскому в США или к Мальгину в Италию, к Губерману в Израиль. Чего ждать какого-то “шанса”? И матушке Родине будет легче, когда она избавится от такого сыночка. И в русской поэзии будет меньше одним русофобствующим графоманом:

*Остановка, хоть в окно поглядим:  
две избушки, огороды и грязь.  
Ах ты, Родина, ах, диво из див, —  
проблеваться бы в тебя, умилась.*

Действительно “тошен писателю быт”: его тошнит от пейзажей с “избушками” и “огородами”, с “замызганным Касимовым” и “муторной Рязанью”, которые вдохновляли Есенина и Рубцова, ему “проблеваться” хочется. Ну, и “проблевался” бы под пальмой на экзотическом пляже, тем более что нервишки не в порядке.

*Тоску замуровав  
в исписанной тетради,  
к чему качать права,  
каких иллюзий ради...*

*Без видимых причин,  
без лишнего вопроса...  
Намедни — кокаин,  
сегодня — кровь из носа.*

Какие творческие муки испытывает наш стихоплёт! — до блевотины дело доходит, до кровотечения из носа. Очень советую Полякову полностью напечатать в “ЛГ” этот “патриотический цикл” своего сотрудника, закомплексованного выкорышша интернетовской помойки, рыдающего от непонимания на Родине:

*Услышишь слово “Родина” — беги!*

А может быть, Родина его сама “выблует” куда-нибудь в Израиль, к Губерману? Да вспыльчивый Рубцов, если бы подобный Панин в своё время пришёл к нему в литинститутскую общагу и прочитал такое, пинками бы выгнал паскудника из своей комнаты.

\* \* \*

А теперь перейдём к Огрызке. У него есть веская причина для того, чтобы постоянно обливать грязью журнал “Наш современник” и его главного редактора. Всё дело в том, что в начале 90-х годов Огрызко работал какое-то время в нашем журнале, но был оттуда изгнан мною, когда я узнал, что он плетёт целую сеть интриг в коллективе, “подсиживает” своих ближайших товарищей по работе, распространяет о них всяческие сплетни. Я редко беру в руки “Лит. Россию”, но буквально в любом номере, который попадаетея мне на глаза, нахожу “огрызкины следы”. Может быть, больше, чем меня, он ненавидит только Кожинова, о котором “Лит. Россия” писала, что Кожинов “человек скрытый, хитрый, недоброжелательный”. В нескольких номерах газеты за 2012 год Огрызко попытался утвердить лживую версию о том, что Кожинов в советское время активно сотрудничал с КГБ; желая скомпрометировать Кожинова, он попытался замарать литературную репутацию честнейшего Юрия Селезнёва, заявив, что последний был “слепой исполнитель воли Кожинова” и мыслил “прямолинейно” и “плоско”. Частенько Огрызко опускается до прямой лжи. В статье “Нас, может быть, двое” (№ 30–32, 2012) он заявляет, что Кожинов “собирался писать по сути апологетическую книгу о Тютчеве”. Да эта книга была написана Вадимом Валерьяновичем в 80-е годы, вышла в 1988-м, неоднократно переиздавалась, а её автор стал лауреатом

Тютчевской литературной премии. Мало показалось Огрызке своих антикожыновских выпадов, так он опубликовал несколько страниц лживых воспоминаний скульптора Чусовитина и фантазёра Байгушева, порочащих Кожина. В одной из своих статей Огрызко лжёт, когда пишет, что после августовского путча Куняев якобы “сбежал” из Москвы “на три месяца”, “сославшись на необходимость дописать книгу о Есенине”. То есть хочет изобразить меня жалким трусом. Но после августовского путча на писательском пленуме, проходившем в сентябре 1991 года, я разорвал распоряжение префекта ЦАО А. Музыкантского, предписывающее его “гвардейцам” закрыть и опечатать Дом писателей на Комсомольском проспекте, 13, якобы за то, что руководство Союза писателей России сотрудничало с ГКЧП. И этот мой поступок помог писателям спасти свой дом. И всю осень 1991 года я находился в Москве, в гуще литературных и политических событий. А книгу о Сергее Есенине мы с сыном Сергеем начали писать на даче в Подмоскowie не в 1991-м, а в ноябре-декабре 1994 года.

В “Лит. России” рядом с панинским пасквилом речь идёт не только обо мне и Кожине, но и о Сергее Ключникове и о моём сыне Сергее, которому Панин отказывает в праве быть сотрудником журнала “Наш современник”: **“Понятно, что нет в России ни одного человека, кроме вашего сына, который мог бы заведовать отделом критики в “Нашем (вашем! – И. П.) современном”**”).

Ну что я могу ответить на этот упрёк Панина и одновременно его единомышленника В. Личутина, чьи слова о том, что при “Нашем современном” “кормится худо-бедно весь куняевский род”, Панин торжествующе цитирует?

А вот что. Мой сын, Сергей Куняев, до прихода в “НС” пять лет работал редактором в издательстве “Современник”, потом пять лет в отделе критики журнала “Москва”. Он мой соратник и соавтор по созданию книги “Сергей Есенин”, изданной в серии ЖЗЛ в 1995 году, с тех пор переиздававшейся 12 раз и объявленной в 2005 году самой популярной книгой серии. Он автор книги о Николае Клюеве, которая была целиком напечатана в журнале “НС” и выйдет также в серии ЖЗЛ в 2013 году. Он автор книги “Жертвенная чаша” о русской литературе XX века, а также книги “Русский беркут” о судьбе и творчестве поэта Павла Васильева. Он же составитель, автор вступительных статей и комментариев к книгам С. Есенина, Н. Клюева, А. Ганина, П. Карпова, В. Кожина, А. Ланщикова и т. д. Всего не перечислишь.

Взвесьте, господин Панин, кого должен был я взять на должность заведующего отделом критики в журнал – его или журналиста, подобного Вам, имеющего за душой несколько рецензий, которые забываются на другой день после их прочтения, и нескольких русофобских стишат, достойных лишь интернетской помойки.

Так что Сергей Куняев не “кормится” (по словам Личутина) при “Нашем современном”, а честно и успешно работает там. Лучше бы вспомнил Личутин, как он, испугавшийся четверть века тому назад взвалить на себя бремя руководства журналом “Октябрь”, оказался совершенно не способным ни к какой работе и стал искать благодетелей, чтобы прокормиться. Сначала нашёл Проханова, потом “притёрся” к издателю Титову, потом прислонился к литературному начальнику Ф. Кузнецову, а сейчас кормится с руки Юрия Полякова, организующего Личутину литературные премии. Ну ни дать ни взять чистый Фома Опискин, профессиональный иждивенец из пророческой повести Достоевского “Село Степанчиково и его обитатели”.

Но с благодетелем надо чем-то расплатиться – и несётся со страниц “Литгазеты” в адрес врагов Полякова лай переделкинско-го “друга человека”, охраняющего две хозяйские дачи, а заодно и свою благоустроенную конуру.

Огрызко в том же “панинском номере” печатает заметку некоего В. Голованова, грубо и облыжно обвиняющего поэта Владимира Кострова в плагиате. Старый и больной Костров не в силах был ответить клеветнику, и слава Богу, что за своего друга и учителя вступился Геннадий Красников. А совсем недавно ко мне обратился знаменитый Олег Михайлов и чуть не плача пожаловался, что его подвижнические литературоведческие труды были ошельмованы в “Лит. России” всё тем же Огрызкой.

Но этого мало нашему пакостнику. В том же панинском номере он с наслаждением комментирует историю с убийством “деда Хасана” в ресторане на территории “Дома Ростовых”:



**“Сближение писательского руководства и “королей преступного мира” началось в 2005 году при “дяде Стёпе”, то есть при Сергее Михалкове”. Тут же Огрызко, естественно, сообщает, что после Михалкова “власть в “Доме Ростовых” перешла к поэту-хозяйственнику Ивану Переверзину”, коварно намекая, что “криминальные авторитеты, любившие обедать в “Старом фазтоне”, даже “крышевали” некоторых писательских менеджеров”. А в конце этой лживой и подлой заметки он совсем распоясался, замахнувшись на весь Союз писателей России:**

**“Как бы там ни было, покушение на короля криминального мира, совершённое на территории “Дома Ростовых”, сильно подмочило репутацию как всего писательского сообщества, так и нынешнего руководства МСПС.**

**Пикантность ситуации ещё и в том, что не так давно 80-летний председатель Союза писателей России Валерий Ганичев публично заявил о том, что в числе своих преемников он видит всё того же г-на Переверзина. Если так дело пойдёт и дальше, то не исключено, что скоро на Комсомольском проспекте, 13, мы увидим новую “малину”.**

Прочитав это, я тут же позвонил Ганичеву, который был возмущён до глубины души:

– Огрызко профессиональный провокатор и сплетник, – заявил мне по телефону Валерий Николаевич. – Я ничего публично ни о каком своём преемнике не заявлял, я говорил лишь, что вопрос о руководстве Союза писателей России будет решаться осенью делегатами нашего писательского съезда...

Ну разве Огрызко вместе с Паниным – не представители жёлтой прессы, хотя многие писатели не соглашались со мной, почему-то называя его “голубым журналистом”. Впрочем, как говорится, “на вкус и цвет товарищей нет”.

Во время своей работы в “Лит. России” Огрызко набивался в друзья-товарищи или даже в покровители к Юрию Кузнецову. Но, насколько мне известно, Кузнецов, проработавший в “Нашем современнике” с 1997 года до самой своей смерти в 2003 году и напечатавший все свои произведения, написанные в эти 7 лет только в родном журнале, не оставил в своём творческом наследии ни одной строчки о “жовто-блакитном” (да простят меня украинцы!) журналисте, прилипавшем к нему. А Станиславу Куняеву, чьё имя так шельмуется сегодня в огрызкинской “Лит. России”, Кузнецов посвятил стихотворение, в котором присвоил ему звание “лейтенанта третьей мировой”. Оно начинается так:

*Жизнь прошла. А значит, будь спокоен,  
В общей битве с многоликим злом  
Ты владел нерукотворным боем —  
Ты сражался духом и стихом.*

Вечная память тебе, Юра, ты уже обитаешь в раю, который каким-то чудом изобразил в поэме о Христе, напечатанной в твоём любимом журнале. Твоя душа встречается с душами Рубцова, Кожинова, Передреева, а я до сих пор сражаюсь “духом и стихом” с мелкими бесами, один из которых так подобоострастно отирался около тебя. А Вадиму ты посвятил целых пять стихотворений – одно глубже другого. Но этот бесёныш, исходящий чёрной злобой к Кожинову, не способен понять их, хотя и притворяется писателем.

\* \* \*

Мало того, что огрызочная “Лит. Россия” постоянно облаивает из-под своей подворотни и треплет имена С. Михалкова, Н. Рубцова, В. Кожинова, Ю. Селезнёва, В. Ганичева, И. Переверзина, О. Михайлова, В. Крупина, Ст. Куняева, Вл. Кострова и многих других писателей. Недавно жёлтая газетёнка замахнулась даже на святое для России имя Александра Пушкина. Два года тому назад (04.03.2011) Огрызко опубликовал на страницах своей газеты якобы поэму о Пушкине под названием “Александр и Александра”. Автором был якобы тоже поэт Игорь, но не Панин, а Кохановский, известный как песенный текстник и якобы друг Высоцкого. Поэма повествует о якобы существовавшей сексуальной связи Пушкина со старшей сестрой его жены

Александриной и о том, что автором “диплома ордена роконосцев” и грязных писем, которые получил в конце 1836 года поэт и которые стали причиной его дуэли и смерти, был... сам Пушкин. Эта грязная сплетня, корни которой тянутся из XIX века, в наше подлое перестроечное время расцвела пышным цветом под перьями пошляков из “Московского комсомольца”, “Искусства кино”, “Парламентской газеты”. Но всех их: и академика Н. Петракова, и неких А. Королёва с В. Козаровецким – переплюнули Огрызко с Кохановским. С развязной рифмованной графоманской пошлостью последний сообщает нам, что Александринина **“знала, что сестра не безупречна перед мужем”**, что Пушкин **“сочинит и разошлёт семь пасквилей – дипломов мерзких о нём самом, что, в свой черёд, предлог для поединка веский”**, что он сам “посвятил в свой дерзкий план любимую Александрину”. Но “апогеем” бесстыдства является финал “поэмы” о том, что **“поэту верность – свой обет – несла в душе Александрина, и лишь спустя 15 лет обет прервал другой мужчина, печаль коснулась брачных уз, когда пикантностью неместной всплыла недевственность невесты, но как-то сгладился конфуз”**.

Всё знают Кохановский с Огрызкой, как будто оба соглядателя в замочную скважину подглядывали и за сёстрами Гончаровыми, и за Пушкиным, как будто ночевали в их спальнях. Когда знаменитый своими глубочайшими знаниями жизни Пушкина, своим толкованием пушкинских текстов и своей научной честностью мой однокашник по МГУ Валентин Семёнович Непомнящий с омерзением прочитал кохановско-огрызковскую стряпню, то прислал в редакцию “Нашего современника” негодующее письмо, в котором писал: **“Известно: получив анонимку, Пушкин решил, что это затея Луи Геккерена, “приёмного отца” и сожителя Дантеса <...> известно далее: в свете обвиняли в этом грязном деле и кн. П. Долгорукова, и кн. И. Гагарина, и министра К. Нессельроде, и министра С. Уварова; одним словом, тень пала на многих. Само собой разумеется: давая получению “диплома” огласку, Пушкин не мог не предвидеть подобных последствий. А это значит: если – по указанной версии – Пушкин сам фабрикует мерзкий пасквиль, где, называя себя роконосцем, обливает грязью свою жену специально для того, чтобы сделанную мерзость приписать другому или другим. Подобное во все времена – включая и пушкинское, и исторически ещё недавнее, – называлось подлостью. Конечно, Пушкин, как и все мы, был человек грешный, что сознавал и в чём нередко раскаивался. <...> Но никто из знавших его, включая недругов, – никто, нигде и никогда не обвинял и не заподозрил поэта в каком-либо низком поступке. Подлецом Пушкин предстаёт только в наше время, в названной версии, стоящей на том, что подлость была ему “выгодна” <...> В историю с пасквилом, порочащим Наталью Пушкину, вписывают её сестру Александру, предстающую такой же бессовестной тварью, как и сам поэт. <...> Пушкин предстаёт, сверх всего, ещё и беспросто тупым циником <...> Мы имеем дело с явлением эпохи конца человеческой культуры – эпохи, в которую России, родине Пушкина, вступать тошно.**

Вот что я могу сказать о современной, как глянцевый журнал, версии нравственного облика величайшего русского поэта. Верю, что она не оболванит читателей – тех, для кого ещё внятно человеческое и белое отличимо от чёрного. Надеюсь, они поймут: то, в чём стараются убедить творцы версии о Пушкине-подлеце, есть факт биографии самих этих людей”...

Непомнящий прав. Видимо, дьявольский план всех этих паниных, кузьминских, кохановских и огрызков заключается в том, чтобы сформировать в читающем обществе убеждение, будто бы Александр Пушкин – “подлец”, Александринина Гончарова – “бессовестная тварь”, Николай Рубцов – “алкоголик”, что все они виноваты в собственной смерти, а пострадавшими от их сумасбродства являются Дантес с Геккереном да Людмила Дербина.

Этих людей, грязно извращающих судьбу и жизнь Пушкина, вполне уместно назвать хлестким словом “извращенцы” и относиться к ним с таким же презрением, с каким Пушкин относился к педерастической парочке Геккерену и его, по словам Пушкина, “так называемому сыну”, чьи имена до скончания времён будут носить на себе печать позора. Странно, что столь позорная “слава” так притягательна для сплетников из “Литературной России”.

В конце прошлого года я встретился с фотохудожником и летописцем российской писательской жизни, автором знаменитого “Русского альбома”, действительным членом Петровской академии наук и искусств Анатолием Пантелеевым. Он приехал из Питера в Москву, чтобы побывать на моём юбилее. Но не только за этим.

Возмущённый постоянным шельмованием со стороны Огрызки многих славных писательских имён России, Пантелеев, прежде чем побывать на моём юбилее, сначала приехал на Цветной бульвар, нашёл дом № 32, строение 3, прошёл по коридору первого этажа до кабинета главного редактора. Зашёл, молча сел в кресло перед его столом. Огрызко засуетился, заказал чаю, что-то говорил об изданных им книгах, совал Пантелееву эти книги... Пантелеев молча выслушал его подобоострастную болтовню, а потом кратко, но весомо изложил Огрызке всё, что он думает о его грязных сочинениях, касающихся многих достойных писателей. Огрызко что-то заверещал, что он должен обо всех сказать правду, какая бы горькая она ни была, но Пантелеев встал, чуть-чуть перегнулся через стол и дал ему по толстой физиономии даже не пощёчину, а врезал-таки по-настоящему, по-мужски... Огрызко стал вылезать из-за стола, но Пантелеев остудил его пыл, плеснув остатки чая из кружки на искажённое злобой лицо, повернулся и вышел из кабинета.

Рассказывая об этом мне, Пантелеев поблагодарил меня, подчеркнув, что такому способу заступничества за честь своих друзей он научился у меня. Да, в молодости я, действительно, не раз именно так рассчитывался с подлецами и клеветниками. Думаю, что эта затрещина, полученная, говоря словами Валентина Непомнящего, “подлецом”, – не последняя в его жизни.

ИННА РОСТОВЦЕВА

## ВООБРАЖЕНИЕ СЕРДЦА

Забыто ли имя – Ксения Некрасова?

Кажется, само это имя, сама эта судьба всплывают со страниц забытого дневника – так много сокровенной потаённости в этом вопросе, обращённом, похоже, только к себе. Но вопрос обращён шире – к поэтам. Историкам литературы. Критикам. Читателям, наконец.

Тот факт, что у многих современных поэтов есть стихи, посвящённые Ксении Некрасовой, говорит сам за себя: то, что не дорого, что не любят – не вызывает посвящений. . .

Но если вдуматься в характер художественного отношения к образу Ксении Некрасовой, то поражает щемящее чувство “виноватости” перед ней, с такой откровенной пронзительностью выраженное в известном стихотворении Ярослава Смелякова:

*Что мне, красавицы, ваши тряпки,  
ваша изысканность, ваши духи и бельё?  
Ксения Некрасова в жалкой соломенной шляпке  
в стихотворение медленно входит моё.*

Ксения Некрасова входит в память поколений. Она была из “когорты” не признанных поэтов трудной судьбы, так резко контрастирующей с благополучными судьбами официальной писательской элиты. Опубликованы неизвестные ранее мемуары, обнародованы новые факты, проливающие свет на то, как много обид затаила она в своей душе и унесла о собою, незаслуженных, горьких обид, в сравнении с которыми и “жалкая соломенная шляпка” “с матерчатым мятым цветком”, и запах “от кройки подвалом иль чердаком”, и дачная станция, где “вечно без денег она всухомятку шла”, воспринимаются не более как поэтические реалии. Ведь самая горчайшая из обид, которую пришлось испытать Ксении Некрасовой за её недолгую жизнь, – она прожила 46 лет, – это официальное непризнание со стороны Союза писателей, отказ принять её в свои ряды.

Надежда Чертова, бывшая тогда работником аппарата Союза писателей, вспоминает, как это было: “Неизменно шла она и шла к Дому писателей в особняк с колоннадой, воспетый еще Львом Толстым. Она и воспринимала этот дом сложно, многогранно и по-своему неповторимо. Тут было и нечто вроде преклонения, и чуткое ожидание – что-то дом этот скажет ей, Ксении Некрасовой? – и жертвенная готовность ждать, ждать и верить.

У неё и стихотворение есть “Дом Союза писателей”, начинавшееся проческими – в отношении судьбы самой Ксении – строками:

*Нет к нему  
ни дорог, ни шоссе...*

И сама Ксения свято верила, ходила в Дом писателей, преодолевая столь естественный в женщине стыд за свои бедные одежды, терпеливо, с тайным волнением, огромность которого так нетрудно понять, ожидала, чем же ответит ей Союз писателей?

И дождалась: Союз писателей на её заявление ответил отказом.

По долгу штатного сотрудника рабочей части президиума московской нашей организации я обязана была присутствовать на заседаниях Секретариата СП СССР, которому мы тогда были непосредственно подчинены. Теперь не помню, кто председательствовал, – Фадеева не было.

Проголосовали с какой-то рассеянной поспешностью и перешли к другим вопросам. Я сидела ошеломлённая. Ксения ждала за дверями зала, я её видела, идя на заседание. Ни одного её возможного защитника – ни Асеева, ни Светлова, ни Смелякова – в зале не было. Я только подумала: сиди на своём обычном председательском месте А. А. Фадеев, с его тонким, умным, любознательным пониманием поэзии, не допустил бы он такой поспешности...

И тут мне передали записку. Кто-то из наших замов, скорее всего, Е. Долматовский, просил меня выйти и сказать Ксении о решении, не маять человека зря.

Это было тяжкое поручение. Расстояние в несколько шагов до дверей зала я преодолела на свинцовых ногах.

Ксения ждала, стоя в двух шагах от дверей. Я подошла к ней вплотную.

– Ксения... – тут я поперхнулась, голос у меня стал хриплым. – Вам отказали.

Она продолжала стоять молча. Яркий её рот был полуоткрыт, словно от жажды, а в опущенных руках угадывалась беспомощность предельная, горестная.

– Да. Спасибо. – Она облизнула сухие губы. – Я пойду.

(“Моя Ксения”. Воспоминания о К. Некрасовой, альманах “Поэзия” № 46, 1986).

Потрясение было столь незаслуженно и велико, что Ксения Некрасова, по-видимому, так и не сумела от него оправиться: спустя некоторое время после случившегося она умерла (17 февраля 1958 года).

Непризнанный поэт?.. Да, её официальная биография укладывается в несколько строк. Родилась в январе 1912 года в д. Ирбитские Вершины Екатеринбургской губ. В 1938–1941 годах училась в Литинституте имени М. Горького. Первые стихи опубликовала в 1937 году в журнале “Октябрь”. Первый сборник стихов “Ночь на баштане” вышел в 1955-м. Посмертно издан сборник “А земля наша прекрасна!” (1958).

Но одновременно с этой существовала, была ведь другая творческая биография поэта, в которой нашлось место и признанию, и восхищению, и высокой оценке? Известно, что Алексей Толстой переписал несколько её стихотворений в свою тетрадь, что М. Пришвин отметил в дневнике, что у Ксении Некрасовой, у Хлебникова и у многих таких души сидят “не на месте, как у всех людей, а сорваны и парят в красоте”, что Анна Ахматова “по собственной инициативе” бралась “пристроить” её стихи.

Нашлось место и просто человеческому соучастию и состраданию, желанию облегчить нелёгкую жизненную ношу поэта. Так, в воспоминаниях Надежды Чертовой, уже упоминавшихся здесь, говорится о библиотекарке Елене Ивановне Авксентьевской, умном и преданном друге и помощнике писателей, чью поддержку неизменно получала Ксения Некрасова. Елена Ивановна открывала ей читальную комнату задолго до официального открытия библиотеки, чтобы не имеющая дома Ксения могла спокойно поработать. На одном из стеллажей, вплотную забитых книгами, она ухитрилась выделить местечко для её стихов, куда она складывала свои исписанные листочки...

Необходимо вспомнить и Льва Рубинштейна, бережно собравшего и сохранившего эти “исписанные листочки”, – а писала Ксения Некрасова на случайных клочках бумаги, в школьных тетрадках, в альбомах для рисования, –

рассеянные по разным местам: именно благодаря его самоотверженным усилиям выходили все посмертные книжки поэта, вплоть до последнего времени. Он отыскал много новых, неизвестных ранее текстов, в том числе и фрагменты из немногих уцелевших, но представляющих огромную ценность записок Некрасовой о поэзии и о себе...

По свидетельству публикатора, Ксения Александровна начинала рассказ о своей автобиографии следующими словами: “Детство моё прошло великолепно! Отец был горным инженером. Жили между Ирбитом и Шадринском вблизи Егоршинских каменных копей...” Но это так мало соответствовало подлинной жестокой и беззащитной правде: ведь родителей своих она не помнила, была взята из приюта семьёй учителя на воспитание...

В этом – вся Ксения Некрасова. Но так ли уж она далека от истины – от той подлинной, большой философской Истины, что – несмотря на всё – существует. Если правда, что биография поэта – его книги, то такая – счастливая, красивая, возвышенная биография – у Некрасовой есть. В ней – и чудесное присутствие детства, и строгий благоговейный трепет в храме науки – в “моём институте”, и огромные просторы Урала и Средней Азии, где она была в эвакуации в войну, и ликующее чувство Победы, пережитое ею вместе со всем советским народом, и испытанная ею радость горького материнства...

В этой биографии – трагической и светлой одновременно – было всё, что необходимо для того, чтобы произрасти поэзии. Так оно и случилось.

\* \* \*

Чем жива поэзия? Почему “непризнанные” стихи Ксении Некрасовой живут в сознании читателей, несмотря на меняющееся время, на новые моды, на новых кумиров? Именно критике, согласно традиции, идущей от В. Белинского до М. Бахтина и уделявшей столь много внимания “посмертной судьбе” художника, пришло время поставить этот вопрос сегодня и дать ответ на него многочисленным любителям и ценителям её поэзии.

Справедливости ради следует сказать, что он был поставлен серьёзно ещё при жизни Ксении Некрасовой, когда Николай Асеев впервые напечатал в 1937 году в мартовской книжке журнала “Октябрь” три стихотворения никому не известной молодой поэтессы (ей было в ту пору 25 лет): “Украинка”, “Девушка моего времени”, “Отдых”.

Это был поступок, это была оценка, было отношение, ибо “имя совершенно незнакомого автора, неожиданно остановившего на себе внимание, было выхвачено острым критическим глазом маститого поэта буквально из конвейера гладких, пристойных стихотворных прописей... Да, чутьё на свежий почерк, непохожий на другие, иногда с виду неразборчивый, но несущий свой взгляд на вещи, свои думы, свою наблюдательность” – не подвело Асеева. Но его выбор тогда, в те годы, не был облегчённым. В заметке “Об отделе молодых”, которую Асеев напечатал в качестве послесловия к публикации из Ксении Некрасовой, он пронизательно, – как бы заглядывая в будущую судьбу незнакомого автора, – говорит о том, что её поэтические строки, так непохожие на “обычную скоропись подражателей и эпигонов”, “вызывают недоумение у присяжных оценщиков и приёмщиков”. Он приводит в качестве примера аргумент своего “молодого сотоварища” по работе (оставшегося неизвестным), буквально восставшего против печатания стихов Кс. Некрасовой. Эти аргументы весьма характерны: стихи сырые, небрежные, набор фраз, без определения идеи, просто наброски...

Сколько раз приходилось, видимо, Ксении Некрасовой слышать это “заключение” о себе, этот безжалостный приговор из уст “присяжных оценщиков и приёмщиков” – ведь единственная вышедшая при жизни стараниями поэта Щипачёва книжечка её стихов “Ночь на баштане” (1955) включала всего лишь 14 стихотворений, что равносильно – по нынешним меркам – одной подборке.

Тем большую значимость имеют возражения Асеева своему оппоненту, представлявшему не просто другую – господствовавшую тогда – официальную точку зрения на явление Ксении Некрасовой: “Я именно и считаю, – решительно утверждая он, – что печатать нужно потому, что “автор способный человек”. Что же касается того, что стихи “не сделанные”, то и тут я вижу хорошее качество автора. “Сделанных” стихов у нас печатают много. До того много, что вот

и у товарища, приглашённого редакцией для отбора молодых, начинающих авторов, пропало чувство отличия строки “сделанной” от живой. Он привык иметь дело со строчками, подогнанными под размер, с чередующимися рифмами, с отбитым ногой ритмом, и он уже не слышит, не чувствует внутреннего движения размера строки, её жизни. Он привык к имитации строфы, к монтажу отдельных строк, не связанных ничем, кроме формальной зависимости. Он не узрел живого организма стиха, пусть ещё не законченного в своей формации, но уже радующего своей правдивой сущностью, своим живым дыханием. Нет, стихи Кс. Некрасовой не подходят под мерку обычных версификаторских упрощений. И зря подходить к ним с аршинчиком обычных требований, измерять её размеры, копаться в поисках точной рифмы. Это всё она может приобрести за дёшево. А вот того, что у неё есть: непосредственной связи с окружающим, внимательного глаза, чуткого уха – не добудешь, не достанешь ни из каких литературных консультаций, не научишься ни из каких учебников”.

Это замечательная общая характеристика, объясняющая “феномен Ксении Некрасовой” и сохраняющая своё значение и по сегодняшний день, была подкреплена со стороны Асеева конкретным тонким эстетическим анализом отдельных её поэтических строк и образов. Только поэт так видит поэта:

*Заря умыла ей лицо,  
Луною вытерто оно.*

Разве часто вам встречаются две таких скупых и крепких строки для описания свежести кожи – румянца и матовой, чуть смугловатой белизны. И разве заря не именно “умывает” лицо человеку, а широкая дорожка света от луны не схожа с румянцем? И много ли таких “сырых” строк встречалось вам в жизни?”

Так и хочется ответить на этот вопрос, – нет, немного. Словно предугадав подобную “реакцию живого” (Аполлон Григорьев) и рассчитывая на его поддержку, Николай Асеев заканчивал свои критические заметки “Об отделе молодых” (кроме Ксении Некрасовой, им было замечено ещё одно имя – Александра Яшина, тоже оправдавшего впоследствии надежды Асеева) решительным образом: “Нет, Ксению Некрасову мы напечатать, а читатель пусть скажет своё мнение без предвзятости, без наморщенного в недоумении лба: сырой ли это набор фраз или настоящие строки поэта, ...чьа “сырость” есть сырость росы па листьях, сырость взрыхлённой земли, сырость морского ветра”.

Читатель сказал своё мнение “за”, и оно оказалось решающим: небольшое наследие поэта, насчитывающее не более 100 стихотворений, выдерживало одно издание за другим: тоненькие, невзрачные, не всегда со вкусом оформленные книжки мгновенно исчезали с книжных прилавков, оседали в домашних библиотеках, в памяти... В истории русской поэзии XX века, где так много блестящих имён, жила и её, Ксении Некрасовой, имя.

Время раскрывало новые грани и стороны этого самобытного дарования. Стало очевидно: то, что на самом деле подчас было в её первых стихах-набросках незавершённого, необработанного, неумелого, получило шлифовку: так работают её любимые уральские мастера по камню: “и, камень распилив, ладони мастер-камнерез снимает с камня, открывая срез”. Срез поэзии.

Следы этой упорной работы, труда, мастерства не всегда видны, хотя, по свидетельству исследователей, у многих её стихотворений есть ряд вариантов, частями или полностью некоторые стихотворения входят в другие или, напротив, теряют отдельные строчки, как в случае со стихотворением “Сгущались сумерки в садах”, восходящим к раннему “Отдыху”, но без его первой строки: “Вчера был вечер”.

Но это – литературоведческие изыскания. Достаточно просто внимательно взглядеться и глубоко прочувствовать саму эту поэзию, чтобы увидеть, каким высоким ореолом, граничащим с благоговением, с поклонением и преклонением, окружены здесь понятия *мастер*, *мастерство*. Оно у Ксении Некрасовой непременно волшебное, ибо служит преображению вещей, его секретами в равной мере владеют и “зодчие древние”, и уральские камнерезы, и хозяин обыкновенной – и вместе с тем необыкновенной – говорящей лопаты.

Такое созидательное, приносящее людям радость и красоту мастерство выработывала в себе всю жизнь и сама Ксения Некрасова.

Это только на первый, поверхностный взгляд может показаться, что работала она исключительно по наитию — как птичка Божия. За действительно незаурядной — от Бога — интуицией скрывались твёрдые эстетические принципы, глубокое понимание и осознание смысла того, что она делает. Истока, который ей виделся в древнейшей традиции русского слова, русского бытия и русской литературы. Сохранились записки, в которых она размышляет о нерифмованном стихе, как бы отвечая на не раз возникавший вопрос, откуда он, незванный гость — нерифмованный стих, — пришёл к ней. Так ли уж случаен он в её творчестве? Вот ответ: "... былины о богатырях устно передавались в народе из поколения в поколение белым стихом. А странники молитвы, и сказания, и сказки, и акафисты сказывали на Руси тоже белым стихом".

*Как жемчуг, русские слова  
лежат в сиянье оболочек, —*

не случайно именно так пластически — образом, формой, и цветом — выразила Некрасова своё поэтическое представление о белом стихе.

Углубляя свою мысль и обнаруживая при этом незаёмный интерес и вкус к познанию истории русской поэзии, она толкует о сложных неоднородных путях её развития: "По-видимому, у нас на Руси ещё в глубокой древности существовали два потока поэзии; одно течение — это стихи без рифмы, основанные на глубокой мысли и образе, где словам тесно, а мыслям просторно, поэзия историческая и государственная, о трагедиях и победах народа. Поэзия, созданная белым стихом. И второе течение — это зарифмованные стихи, то есть те, где главную роль в создании стиха играет рифма: одинаковое созвучие окончания строчек стиха. Такая поэзия в древнее время создавалась скоморохами и людьми... с пронизательным глазом".

Некрасова сделала свой выбор — в пользу свободного, гибкого, искусно интонированного стиха, "основанного на глубокой мысли и образе", но она существенно дополнила и обогатила его и "пронизательным глазом" и способностью к молниеносным и точным рифмам, перезванивающимся, как сигнальные звоночки, чаще всего к концу стихотворения, усиливая его мысль.

И какое завидное разнообразие! В её поэзии встречается и интонация заплачки, причитания ("И цветёт рябина горьким белым цветом у окна покинутой жены... И стоит рябина вся в цветах горючих, белыми букетами украшая ветви, тонкая, высокая..."), и интонация колыбельной ("Мальчик очень маленюкий, мальчик очень слабенький — дорогая деточка, золотая веточка!"), и интонация ритмизованной прозы, знакомая нам по произведениям А. Белого, А. Ремизова, Ф. Сологуба ("Учёным печка русским медведем на задних лапах села у стола, Анисья Павловна у печки: есть ситцевый характер, а шёлковый слывет добром, а бархатный — такой встречаешь редко, а у Анисьи старый нрав был холстяной" — "В лесной сторожке"), и интонация мифа, легенды, притчи, которые "пишутся на меди" (Л. Леонов):

*И долго сидел  
над землёй Саваоф,  
высекая замысел Свой.  
А когда Он руки свои  
отделил от работ,  
положив у ступни оупелый резец,  
и встал —  
тончайшей розой  
из мраморных гор  
лежала земля...  
Так вот — без тревог и сомнений —  
идёт по земле  
человеческий гений...  
(“В котловине хребта Алатау”)*

Сегодня кажется даже странным помыслить, что когда-то Ксению Некрасову, пусть и раннюю, упрекали "в отсутствии определённой идеи", и тот же Асеев, отмечая это утверждение и пытаясь её как-то оправдать, приводил до-



водом, согласно духу того времени (30-х годов), спасительный тезис: “Свойство видеть великое в малом, подчёркивание значительности всего живого, входящего в наш советские быт, пейзаж, чувство и мысль – вот идея Кс. Некрасовой”.

Поэт не нуждается в оговорках, в набивших оскомину штампах: его “идея”, или пафос, как говорил Белинский, отчетлива и может быть выражена одним словом: любовь к родине. Сколько рассыпано в её поэзии строк и строчек, в которых Кс. Некрасова открыто, не таясь, признаётся в своей любви к России, к русской истории, к русской речи:

*Я долго жить должна —  
я часть Руси.*

.....  
*Храните Родину мою!  
Её берез не забывайте,  
её снегов не покидайте.*

.....  
*Люблю тебя, моя Россия,  
ты уважала пчёл и мир,  
мечи лишь в крайности точила  
когда незванный чужестранец  
ломал подсолнухи твои.*

...Сказки. Три созданные ею сказки, поставленные рядом друг с другом, – грустные и человечные, мудрые и наивные: “О коте и еже”, “О воде” и о том, как писатели “к Сказке тянутся руками и капканами стучат”, только подтверждают, чем была для неё фантазия. “Фантазия” – она реальна, когда фантазия сказку рисует – это уже действительность... и потом она войдёт в обиход жизни так же, как ковш для питья... И жизнь будет именно такой, какой её рисует наша фантазия...” Эти слова Ефима Честнякова, близкого ей по духу художника, многое объясняют в природе её эстетических отношений с действительностью...

Вот ещё один принцип, который исповедовала Ксения Некрасова и который в наши дни воспринимается по-особому ново и свежо. Его можно было бы определить как принцип “всамделишности”, или документализма, если бы это не выглядело слишком осовремененно. У самой Ксении Некрасовой есть поразительно тонкое наблюдение на сей счёт: “А если послушать, как разговаривают или письма пишут русские люди, так целые куски речи или письма можно без поправления вставить в главы поэмы...” Здесь проявлены не только чуткость к живой, разговорной, необработанной речи, но и провидение далеко идущих возможностей “поведения в поэзии документа – создание иллюзии документа: “записок”, “дневника”, “письма”. И в самом деле, что такое обращение поэта к своему письменному столу: “Мой стол, мой нежный деревянный друг...”, – как не живое, тёплое, полное человеческого участия письмо, посланное по почте?

Это умение расположить стихи на границе документа и читательского доверия (“Вы, читатель, право, не стесняйтесь, почувствуйте себя как дома”) и есть, по-видимому, то, что придаёт таланту Ксении Некрасовой устойчивый долгодетный аромат своеобразия и непохожести.

\* \* \*

“Если бы из меня мог вырасти цветок, его б я родила”, – говорит героиня одной из повестей Андрея Платонова. Это признание воспринимается как своего рода условность, отражающая своеобразие модели платоновского мира: трудно представить себе столь живое воображение сердца реально существующим в жизни – но...

*Встретила я  
куст сирени в саду.  
Он упруго*

*и густо  
рос из земли,  
и как голых детей,  
поднимал он цветы  
в честь здоровья людей,  
в честь дождей и любви.*

Оказывается, оно действительно существует, как существует поэзия, растущая не из слова, не из рифмы, а из столь острого чувства “бесконечно-го восхищения жизнью”, — “неутолённости рук”, “ненаглядения” глаз, — когда хочется что-то людям дать — и в одном этическом ряду становится “добро ли совершить или написать стихи”...

Именно такие стихи написаны Ксенией Некрасовой.

Собраны они воедино в книгу “В деревянной сказке”, и они несут в себе то ощущение подлинности, о которой лучше всего сказал автор: “Мои стихи или я сама — одно и то же, — только форма разная”.

Это — подлинность дневника, где с документальной точностью “день припилен к бумаге” (Пришвин): нерифмованные, неотглаженные строчки, спешащие завершить мысль, “вместить её в 3 слова”: про мороз, наш двор, утренний автобус, дневное кино в будни или про то, что в авоське лук торчит зелёными стрелами — теснятся рядом с картинками из детства, рисунками, утренними этюдами, зарисовками, выполненными по памяти и с натуры, которые, в свою очередь, соседствуют с “законными” жанровыми образованиями — сказками, песнями, поэмой “Ночь на баштане”.

Но вот что примечательно: этот безыскусный, прихотливый и, казалось бы, пёстрый, разнородный материал, записанный только “для себя”, на наших глазах перерастает рамки дневника, выходит за границы “самовыражения” ещё одной индивидуальности — любопытной, оригинальной, но — и не более...

Перед нами больше, чем дневник, — перед нами путь сердца — единый цельный поэтический организм.

Как и всякий путь, путь сердца пролегает во времени. “Окрашенность” стихов временем можно безошибочно определить по тем частям хроники события, истории, которые насквозь “пронизывают” содержательность стиховой структуры: “лежал Урал на лапах золотых, электростанции, как гнёзда хрусталей, сияли гранями в долинах” — 30-е годы; “и жило много нас в тылу, в огромной Азии в горах” — 40-е; “солдат с войны вернулся жив” — послевоенные...

Но с не меньшей отчётливостью — и это существенный показатель времени, XX века, — путь сердца располагается в пространстве. Люди — как дети, а дети — как всякая поросль людская — отличны... от зверей и птиц воображением сердца,

*и оттого-то и возникает в пространстве  
между живущим и говорящим  
и безначальная боль, и  
бесконечное восхищение жизнью.*

Сразу же бросается в глаза: романтическое “вещество выражения” этого восхищения жизнью в стихе Некрасовой резко повышено — оно несёт на себе печать самобытной индивидуальности поэта.

Ксения Некрасова так поворачивает к читателю пространство стиха, что возникает иллюзия существования в авторской речи двух голосов: “говорящего” и “живущего”.

*За картошкой к бабушке  
ходили мы.  
Вышли, а на улице теплынь...*

Кто произносит эти слова? Конечно же, лирическая героиня, но так говорить, с такой интонацией детского рассказа, непосредственности, доверия можно только в самой жизни, как бы не “видящей” себя в литературе, не отвердевшей в литературной конструкции.

И хотя приведённые слова, открывающие стихотворение “Русская осень”, не выделены особо, а идут в общем потоке авторской речи, они резко отличаются — именно своей незаस्थывшей теплотой непосредственности, откровенности — от последующих слов, как устное слово от литературного, а в философском плане — как жизнь, детство, не преображённые художником, от жизни, уже тронутой “рукой” искусства:

*День, роняя лист осенний,  
обнажая линии растений,  
чистый и высокий  
встал перед людьми.*

Эта развёрнутая метафора осени своей графичностью, архитектурностью, строгостью конструкции — даже рифма появляется — напоминает некоторые образцы поэзии XX века, в особенности явственно переклички с Н. Заболоцким (“Лежало озеро с отбитыми краями” Некрасовой прямо ассоциируется с “Лесным озером” Заболоцкого, со строками: “Опять мне блеснула, окована сном, хрустальная чаша во мраке лесном”).

Твёрдость метафоры как бы скрепляет “вещество” восхищения жизнью — не даёт бесформенно растечься взрыву чувства:

*Всякий раз  
я вижу эти травы,  
ели эти  
и стволы берёз,  
почему смотреть  
не устаёшь  
миг  
и час,  
и жизнь —  
одно и то же...*

Разумеется, не в каждом стихе с такой отчётливостью можно обнаружить неоднородность, неоднослойность авторской речи (и в данном случае мы вынуждены были как бы “растянуть”, замедлить продолжительность стихотворения). В том-то и загадка, и безыскусная прелесть творчества Ксении Некрасовой, что её стихи представляют собой редкий сплав наивного, детского, доверительного высказывания: “...а я недавно молоко пила козье”, “я очень хотела иметь кольцо...” — с мощной изобразительностью, пластичностью, столь развитой в поэзии XX века: “огромный синий воздух гудел пол ударами солнца”, “Окна, как пчёлы на чёрных стенах, блестят позолотой стеклянных крыльев”, “и утро с синими следами по небу облаком плывёт”.

Вот одновременно и рассказ о детстве, и картина детства: “и сели в телегу с плугом, поехали в поле сеять, один ноги свесил с телеги и взбалтывал воздух, как сливки, а глаза другого глазели в тележки щели. А колеса оси, как петушьи очи, вертелись, ну, а я посреди телеги, как в деревянной сказке, сидела”.

Этот авторский взгляд — из глубины вещей — “из деревянной сказки” — выдержан у Некрасовой с удивительной цельностью. “Вещество выражения” неотделимо у неё от “вещества существования” героини: “а между землей и небом — я, и кружка моя молока, да ещё берёзовый стол стоит для моих стихов” — постоянно преображаемого воображением сердца. Она “возвышает” свой язык, чтобы передать чувство, когда “прихлынет к сердцу странника родным прекрасное лицо”, неизъяснимую красоту русской природы и русского народа, “до белеющих седин живущего чуткой красотой”. Так появляются “сгустки наивных формул” самых общих определений, вроде “восхищение души”, “поросль людская”, “по последнему слову техники”, “к младенчеству весны с любовью припадаю”, “твое лицо, мой современник нежный”, — заставляющие вспомнить своей наивной одухотворённостью язык героев Андрея Платонова. Это имя естественно и закономерно возникает в связи с Ксенией Некрасовой и свидетельствует, прежде всего, о том, что её творчество входит в определённый литературный ряд, литературную традицию: Хлебников — За-

болоцкий – Платонов. Как и у Андрея Платонова, эти корявые формулы здесь органичны, ибо неотделимы от характера героини. “Использовать такие конструкции вторично – всё равно, что использовать затвердевший гипс”, – это сказано не только о Платонове, но и о Ксении Некрасовой – о художниках, которым невозможно подражать безнаказанно. Художник этого склада наделён третьим глазом – “он ловит то, что прячется за свет и в тайниках живёт, не названное словом”.

Именно с ним, с третьим глазом, связана удивительная способность Ксении Некрасовой читать “лица прохожих, как лучшие стихи”, угадывать душу вещей: “дома, в котором я живу”, комнаты, платья, воды, листьев смородины, заключать день пройденный... в раму. Так возникают её портреты как наиболее органичная форма обобщения и уловления внутренней сути предметов и явлений. Даже когда они списаны с “натуры” – портреты Николая Асеева, Анны Ахматовой, Джамбула, Фалька, – то и тогда бесконечно далеки от внешнего сходства, простого жизнеподобия, а поражают высокой степенью условности, “фантастического элемента”, преобразовывающего мир по своим художественным законам.

Великий скульптор Бурдель точно заметил: “Портрет – это всегда двойной образ: образ художника и образ модели”. Вот портрет слепого:

*По тротуару идёт слепой,  
А кругом — деревья в цвету,  
Рукой ощущает он  
Форму резных ветвей.  
Вот акации мелкий лист,  
И каштана литая зыбь.  
И цветы, как иголки звёзд,  
Касаются рук его.*

Казалось бы, это вполне завершённый объективный портрет обделённого судьбой, лишённого зрения человека. Но рядом с ним вдруг возникает – с неповторимой индивидуальностью – образ соучастья, сопереживания – образ автора, Ксении Некрасовой. Ещё слышится шум деревьев и трав, которые рукой ощущает слепой... – и как точно, сердцем угадан образ “строчки – листья”:

*Тише, строчки мои,  
не шумите в стихах.*

Неожиданное, открытое появление автора в стихе, его “глаз” меняет содержание картины, которая теперь идёт со знаком философского обобщения: не просто слепой, – а человек постигает лицо вещей: “если очи взяла война – ладони глядят его, десять зрачков на пальцах его, и огромный мир впереди”. В этот огромный мир, лежащий впереди, выводит слепого – автор, его доброе сердце.

А вот другой портрет – Анны Ахматовой, с которой Ксения Некрасова встречалась в годы эвакуации в Ташкенте, портрет удивительно многомерный и психологичный.

Всмотримся в него: южный город, оплетённый ветками дом, попавший в сети “зелёных черенков и почек” – трепетный, волшебный мир цветения. Но этот мир – “в тенётах зелени” – возникает перед нами не сам по себе, а как личное открытие художника, пытающегося разгадать чудо. Подобно герою Леонида Мартынова из “Лукоморья”, автор спрашивает “равнодушных сердцем” прохожих: “Где же пряхи, что сплетали сети?” Мы чувствуем всю многозначность, символику этого вопроса: где же творец поэзии, чуда, волшебства? Поэтому появление Анны Ахматовой – она проходит ненароком по улице – воспринимается как высокий случай, дарованный поэзии жизнью. Ахматова возникает на портрете как органическое продолжение внешнего мира природы: “а лицо, как стебель, а глаза, как серый тучегонный ветер” – и мира, созданного и пересозданного волей, умом и сердцем художника: “и ложатся под ноги ей тени облачками... львами с гривами цветов”.

В поэзии XX века есть немало прекрасных портретов Анны Ахматовой, но, думается, не затеряется среди них и портрет работы Ксении Некрасовой,

схватившей едва ли не главное в существе ахматовской поэзии – её неуловимость, тайну, когда она может дом заколдовать воздушной веткой голубых глициний.

“А создавать портрет – не значит ли рассматривать человека, как пейзаж, и бывают ли пейзажи без фигур, и не преисполнены ли эти фигуры повествованием о том, кто их видел?” – не без основания задавался таким вопросом в начале века Рильке.

Действительно, портреты Ксении Некрасовой, на которых человек словно выходит из пейзажа (“а ладони у нас – кленовые листья, тонки и малы”, “юноша, как тонкий дождик, пальцы милой женщины, словно струны, тихо задевает”), иногда пейзаж – из человека (“косились в сторону из окон огоньки, и в их лучах, как слёзы ребятишек, роняли ветви наземь свои вишнёвые цветы), полны повествования, прежде всего, о том, кто их видел.

Когда из зрачка вороны на нас смотрит портрет аккуратной старушки: “и вдруг – очки – взглянули на меня, седые волосы в кружок и отложной воротничок”, то это – одновременно и портрет автора, его “третий глаз”, надёжно запрятавший свою человеческую беззащитность, незащищенность души в сказку и тем самым преодолевший своё одиночество.

Когда печка русская у Некрасовой высится “медведицей с ярко-красною душой”, то здесь угадана не только живая традиционная основа русского дома помогать людям жить, но и характер героини, умеющей “находить и таить сказки милые”. Стол, комната, платье, двор, вода – все вещи и предметы потому столь выразительны и сказочны у Ксении Некрасовой, что приобретают “нрав хозяйки милой” – самого автора.

Развивая мысль Рильке, можно утверждать, что эта поэзия, говорящая душе человека столь искренно и доверчиво тогда, когда она даёт пейзаж, вещи, предметы, отчаялась бы высказать глубочайшее в человеке, окажись она в безбрежном пустом пространстве.

Ксения Некрасова одухотворила пространство, заселила его – от земли до неба – невиданными яркими цветами, “как Млечные созвездия”, сказочной синицей “с чёрным глазом на боку”, лунной ночью, стоящей на старенькой крыше со сложенными тёмными крыльями, готовой взлететь... Она ощутила космос, окружающий нас, как сказочное существо, полное живых тайн, и он, словно бы благодарный за такое участие, раздвинул границы её личных переживаний, её микромир, не богатый внешними событиями, помог преодолеть одиночество и неустроенный быт, продлил “вещество существования” в творчестве...

Ценность и своеобразие этой поэзии в том, что она не только позволила человеку и пейзажу, облику и миру, внутреннему и внешнему встретиться и найти друг друга (это общая тенденция в поэзии XX века), но и, сохраняя непосредственность чувства и мощь изображения, так пронизать их друг другом, что “отгадки бытия стоят, прислонясь к стене, – рисунком внутрь и холстом на свет”.

И не одно поколение читателей будет внимать им с трогательным соучастием сердца.

ЮРИЙ ПАВЛОВ

## СМИ О СМЕРТИ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА

С интервалом практически в две недели ушли из жизни Борис Стругацкий и Василий Белов. Реакция СМИ на их уход была во многом предсказуема. Либеральные газеты и журналы откликнулись на смерть Стругацкого публикациями, в которых ключевыми были слова: “пророк”, “великий писатель” (“Русский репортёр”. 2012, 29 ноября – 5 декабря), “большой писатель и большой человек”, “непререкаемый авторитет миллионов” (“Огонёк”. 2012, № 47), “Учитель”, “мэтр” (“Новая газета”. 2012, № 122) и т. д. и т. п. Смерть же Белова одни либеральные СМИ не заметили, другие отозвались на неё весьма своеобразно.

За последние двадцать лет для большинства наших официальных и либеральных СМИ стало традицией не замечать не только жизни, творчества, но и смерти выдающихся русских писателей. Так были обойдены вниманием кончины Дмитрия Балашова, Евгения Носова, Николая Тряпкина, Юрия Кузнецова, Леонида Бородина... Напомню лишь два сюжета, связанные со смертью Юрия Кузнецова.

В ответ на молчаливую реакцию власти и телевидения на уход из жизни одного из самых значительных поэтов последней трети XX века появилось “Открытое письмо руководителям телевизионных каналов” (“Наш современник”. 2004, № 1). В нём заговор молчания вокруг смерти Кузнецова справедливо назывался “частным проявлением вопиющего бескультурья, возобладавшего на отечественном ТВ в последнее десятилетие”. Это письмо было примечательно не столько своим текстом, не столько констатацией очевидных фактов и явлений (свидетельствующих об антидуховной, антикультурной, антирусской доминанте в деятельности телевидения), сколько тем, что сей документ, помимо патриотов, подписали некоторые либералы. Среди них следует выделить Андрея Нуйкина, Юрия Карякина, Александра Рекемчука, которые десятилетиями ранее поставили свои фамилии под позорным письмом 42-х.

Через два года после смерти Юрия Кузнецова в редакцию “Нашего современника” пришла телеграмма за подписью Сергея Филатова, бывшего Главы администрации президента Ельцина, ныне Председателя Совета Конгресса российской интеллигенции. Телеграмма начиналась словами: “Глубоко уважаемый, Юрий Поликарпович! Сердечно поздравляю Вас с Новым, 2006 годом и Рождеством Христовым!” (“Наш современник”. 2006, № 2). Так в очередной раз наглядно проявилось невежество и чужебесие тех, кто руководит нашей страной последние десятилетия.

Реакция на смерть Василия Белова властью предержавших (Путина, Медведева) и подконтрольных им СМИ (“Первого канала”, “России-1”, “Российской газеты” и других) формально нарушила эту многолетнюю традицию умолчания. Дай Бог, чтобы это было чем-то большим, чем дань приличиям. Однако декабрьское послание президента, “секвестирование” образования, названное реформой, последнее награждение в Кремле всё тех же жванецких, ясиных и им подобных свидетельствуют о неизменности идейно-духовно-культурных приоритетов власти.

В целом же большинство авторов и редакторов продемонстрировало непрофессионализм и филологическую дикость, что, в частности, проявилось в незнании даже школьных азов теории литературы. На более чем трёхстах сайтах (“Новые Известия”, “Эхо Москвы”, “Правда”, “Лента.ру”, “Труд”, “Культура”, “Международный фонд славянской письменности и культуры” и других) общим местом стало утверждение: умер Василий Белов – “основатель жанра “деревенской прозы”. Однако “деревенская проза” – не жанр, а литературное направление (по одной версии) или литературное течение (по другой версии). А авторы, представлявшие данную идейно-эстетическую общность писателей, творили в разных жанрах: рассказ, повесть, роман. Не менее удивило и то, что днём кончины Белова сотни раз было названо не четвертое, а пятое и шестое декабря. Но более всего меня поразила трактовка творчества Белова и “деревенской прозы” в целом.

Для Александра Самоварова, автора статьи “Мастер. Памяти Василия Белова” (<http://www.apn.ru/publications/article27696.htm>), смерть писателя – лишь повод в очередной раз высказать любимую идею авторов АПН: политический идеал, к которому нужно стремиться – это “русское национальное государство”, где демократия – “власть русского большинства”. Остальное: Василий Белов, его творчество и вся “деревенская проза” – идеологизированные фантомы, созданные человеком, не обременённым литературными знаниями.

Уже в самом начале статьи Самоваров неожиданно называет Белова “элитарным” писателем, а “более народными” именуёт Бориса Стругацкого и Юлиана Семёнова. Такая градация порождена определением народности как “популярности в массах”. Столь примитивное понимание народности характерно для части либеральных авторов. Например, народность Владимира Высоцкого и Аллы Пугачёвой они подтверждают их популярностью. “Правые” же авторы XIX–XXI веков характеризовали и характеризуют народность как изображение человека и времени с позиции традиционных православных ценностей. Примечательно, что ещё в начале 80-х годов XX века Игорь Золотуский в статье “Оглянись с любовью” на тех же примерах, что и Александр Самоваров, рассмотрел интересующую нас проблему принципиально иначе. Критик отнёс творчество Василия Белова к высокой литературе, а прозу Юлиана Семёнова – к массовой; для первой литературы характерна подлинная народность, для второй – псевдонародность.

В своей статье Самоваров допускает и элементарные фактические ошибки, свидетельствующие об уровне его знания истории литературы, биографии и творчества отдельных писателей. Вот некоторые из них:

1. Самоваров называет роман Василия Шукшина “Я пришёл дать вам волю” (изданный в 1971 году, за три года до смерти писателя) его последним произведением. Но последними публикациями Шукшина, как известно, были повесть-сказка “До третьих петухов” (1974) и рассказ “А поутру они проснулись” (1974). Ответ же на вопрос, которым задаётся Самоваров, нужно искать не в романе (к тому же не так топорно понимаемом), а в сказке...

2. В год XX съезда КПСС Леониду Бородину было не пятнадцать лет, как утверждает Самоваров, а восемнадцать. И учился он в то время не в средней школе, а в школе милиции в Елабуге.

3. XX съезд партии пробудил к жизни не “деревенщиков”, а “шестидесятников” – представителей “молодёжной”, “исповедальной” прозы и “громкой”, “эстрадной” поэзии.

“Литературная газета” в номере пятидесятом за 2012 год поместила статью Феликса Кузнецова “Завет Белова”. В подзаголовке, выражающем позицию автора и газеты, справедливо определяется место Белова в отечественной словесности: “Ушёл из жизни великий русский писатель”. В отличие от либеральных авторов, Кузнецов, характеризуя творчество Белова как представителя “деревенской прозы”, точно расставляет акценты: “деревенская проза” есть бытийная, историко-философская проза, она – самое значитель-

ное явление в русской литературе второй половины XX века. И это та объективная реальность, с которой, подчеркну, никогда не согласятся современные авторы учебников, либеральные критики, журналисты, преподаватели подобных взглядов.

Однако в данной публикации, жанр которой определяется автором как эпитафия, чрезмерно большое место уделено Шолохову (видимо, сказались исследовательские предпочтения Кузнецова последнего времени). Неточна и одна из ключевых мыслей эпитафии: Белов и вся «деревенская проза» принадлежат «к шолоховской литературной школе». «Деревенская проза» не раз называется Кузнецовым направлением, а оно, как известно, всегда шире школы: направление относится к школе как общее к частному. Выводить же «деревенскую прозу» из «Тихого Дона», что делает Кузнецов, по разным причинам непродуктивно. Здесь куда более очевидны параллели с «Поднятой целиной», ни разу не упоминаемой автором, и, видимо, не случайно. Изображение коллективизации в «Поднятой целине» и в «Канунах», «Годе великого перелома», «Часе шестом» — прямо противоположное.

Феликс Кузнецов в начале статьи именует себя единомышленником Василия Белова, что, конечно, не так. Разномыслие писателя и критика (в 60–80-е годы одного из самых идеологически ортодоксальных критиков) проявляется во многом, в отношении к коллективизации — в первую очередь. В своей трилогии Василий Белов называет «великий перелом» величайшим преступлением и с огромным художественным мастерством его изображает. Кузнецов же приписывает Белову свой оправдательный взгляд на коллективизацию как на историческую неизбежность: «Беспощадность коллективизации сделала возможной индустриализацию страны, чтобы выиграть грядущую войну».

Стоит заметить, что Белова пытаются сделать сторонником коллективизации как советские патриоты типа Феликса Кузнецова, так и большинство либералов. Всем им можно лишь посоветовать: читайте «Плотницкие рассказы» и трилогию Белова — лучшее из того, что написано о «великом переломе» в нашей литературе.

Статья «Проза и почва Василия Белова» Валерии Жаровой, опубликованная в сорок шестом номере «Собеседника» за 2012 год, не удивила: её пафос созвучен позиции газеты. Жарова перепевает идеи своего креативного директора Дмитрия Быкова, автора мерзкой «Телегии», и его предшественников 20–30-х и 60–70-х годов XX века. В первом же предложении Жарова называет Белова крестьянским писателем, используя убогую терминологию теоретиков и практиков Пролеткульта и РАППа, деливших писателей на пролетарских, крестьянских и т. д. Трогательно, что на страницах «Собеседника», одного из самых либеральных изданий, реанимируется вульгарно-социологический подход 20–30-х годов минувшего века. Жарова самим названием «крестьянский писатель» пытается исказить смысл творчества писателя, принизить его значение. Отсюда и факт, сообщаемый в первом же предложении: Белов — «слесарь по первому образованию» (всё-таки не слесарь, а столяр и плотник). Сразу вспоминается одно из общих мест в статьях либералов второй половины 80-х годов: автор «Привычного дела» и все представители «деревенской прозы» не приемлют перестройки, так как им не хватает культуры, образования...

Одной из главных идей статьи Жаровой является мысль о пагубности именно русского почвенничества (сравните с подзаголовком быковской «Телегии» «Русское почвенничество как антикультурный проект»). Эта идеология, как утверждается, якобы и «погубила или почти погубила» писателя. Трудно сказать, какой смысл вкладывает в понятие «почвенничество» автор «Собеседника». Взгляды теоретиков почвенничества (Аполлона Григорьева, Николая Страхова, Фёдора Достоевского) и их последователей в XIX–XXI веках ни в коей мере не совпадают с транслируемыми Жаровой установками «почвенников», которые к тому же не называются по фамилиям, не приводятся и цитаты из их статей и книг.

Не проясняет вопрос о почвенничестве и параллель с Сергеем Есениным, о котором говорится так: «Ведь и самые почвеннические стихи Есенина откровенно плохи». Примеры вновь отсутствуют, а они просто необходимы, хотя бы в качестве доказательства подобного дикого утверждения.

Рассуждения Жаровой о почвенничестве, занимающие почти треть всего текста, завершаются уточнением: «Это не о Белове». Оно свидетельствует, что у автора «Собеседника» проблемы ещё и с логикой...



То немногое, что говорится в тексте о самом Белове, даёт основание усомниться в профессионализме Жаровой. Белов, как утверждается в статье, “большую часть жизни прожил в деревне”. На самом деле Василий Иванович не прожил в деревне даже трети своей жизни.

Не менее уязвима и ключевая идея последней части статьи Жаровой: “То, что писал, начиная с 80-х, писал он немного – это в большей степени публицистика, выражающая уже не беду народа, а его собственную непримиримую позицию”. Однако созданное Беловым с начала 80-х годов значительно превышает по объёму то, что было им написано в 60–70-е годы. Назову лишь романы “Всё впереди”, “Год великого перелома”, “Час шестой”.

О незнании творчества Белова свидетельствуют и последний, итоговый абзац эссе Жаровой, в котором варьируется расхожая мысль: 60-е годы – “самый плодотворный его период, когда написаны повести “Привычное дело”, “Плотницкие рассказы”. В данной версии игнорируются другие вершинные произведения Белова, принадлежащие к разным жанрам: уникальные “Лад”, цикл “Воспитание по доктору Споку”, классические рассказы 60–90-х годов, трилогия, о существовании которой, судя по всему, Жарова не догадывается, роман “Всё впереди”, пьесы...

И, наконец, вопреки утверждениям Жаровой, Быкова и других либералов, русское почвенничество дало большое количество гениев в XX веке. А русский почвенник Василий Белов стоит в одном ряду с американским почвенником Уильямом Фолкнером, армянским почвенником Грантом Матевосяном и другими классиками мировой литературы.

Смерть Белова как трагедию, как кончину русского гения восприняли авторы статей, вышедших в “Завтра”, “Дне литературы”, “Литературной газете”, “Российском писателе”, “Камертоне”, “Парусе”... Остановлюсь на самых интересных публикациях. Владимир Бондаренко в статье “Земное и небесное” (“Завтра”. 2012, № 50), вспоминая о юбилее Белова, бывшем за месяц с небольшим до его смерти, утверждает, что власть и телевидение не заметили и этого юбилея. В отличие от большинства авторов разных направлений, Бондаренко называет все произведения писателя, ставшие русской классикой. Среди них критик особо выделяет “Лад”, который либеральные авторы либо замалчивают, либо характеризуют как нечто второстепенно-этнографическое. Бондаренко же настаивает: “Лад” Василия Белова – это всё равно, что “Дао Дэ Цзин” китайского мудреца Лао Цзы”, – и выражает уверенность, что “пройдёт две тысячи лет со дня его написания, и русский народ, подобно нынешнему китайскому, будет опираться в основах своей национальной жизни на всё тот же беловский “Лад””. Бондаренко точно определяет суть новаторства Белова, его вклад в сокровищницу русской литературы. А всё творчество писателя критик именует “словесным памятником крестьянству”.

Характеризуя Белова как человека, Владимир Бондаренко выделяет такие его черты, как бунтарство, здоровый крестьянский консерватизм, всегдашнюю готовность поддерживать всех, кто борется за русскую литературу, культуру, народ, Россию. Единство слова и дела, жизни и творчества Василия Белова Бондаренко подтверждает, в частности, так: “Он был с нами в августе 1991 года, был с нами в октябре 1993 года, был с нами в 1996 году, был с нами, с газетой “День” и газетой “Завтра”, во всех сложных и трагических ситуациях”. На эту же особенность писателя обращает внимание на страницах “Камертона” Владимир Крупин: “Белов был человеком с открытой и чистой душой. Обо всех проблемах он говорил честно и открыто, никогда не был двуличен. С друзьями на кухне и на властной трибуне он говорил одно и то же” (<http://webkamerton.ru/2012/12/ego-narod-ne-zabudet/>).

Не разделяя некоторых оптимистичных прогнозов Владимира Бондаренко, хочу сказать о другом, более очевидном. Мне представляется неточным следующее его утверждение: “Смерть всё ставит на свои места. Сразу всем – и левым, и правым – стало ясно: ушёл великий русский писатель”. Однако на страницах “левых” изданий, доступных мне, Василий Белов ни разу не называется великим русским писателем. Более того, уверен, что он и не будет так назван ни в либеральных СМИ, ни в современных вузовских учебниках.

“Домой, в Тимонику” Владимира Личутина (“Завтра”. 2012, № 50) – самая искренняя, самая душевная, самая интимная публикация из всех, вызванных смертью Василия Белова. В эссе Личутина размышления об усопшем перебиваются воспоминаниями разных лет, изображение Тимоники, её окре-

стностей, баньки писателя перемежается с мыслями о Боге, творчестве, о судьбах крестьянства, народа, страны. Я, по понятным причинам, лишь коснусь нескольких тем эссе.

Личутин, в отличие от всех авторов, отозвавшихся на смерть писателя, называет Белова своим учителем. Уже поэтому судьба Белова периодически проецируется на судьбу автора публикации. В итоге получился двойной портрет: учителя и ученика, ставших классиками отечественной литературы при жизни. Эссе Личутина, писателя с богатым русским языком и уникальной образностью, воспринимается как стихотворение в прозе.

До чтения “Привычного дела” Личутин был начинающим советским писателем-космополитом. Он стыдился малой родины как якобы затрапезной и невзрачной, а деревенская жизнь казалась ему “слишком опрошенной, приземлённой”. Поэтому героев своих Личутин искал на стороне и создавал их по романтическим лекалам. Благодаря повести Белова прозаик духовно и национально прозрел, родился как русский писатель. Он увидел красоту крестьянского мира, а деревенские люди открылись ему с иной стороны. Личутин понял, что именно Иваны Африкановичи и Катерины есть точка опоры жизни и творчества.

Штрихи к портрету своего учителя автор эссе щедро рассыпал по всему тексту. Приведу некоторые из них: “Белов – один из немногих русских писателей, которые так болезненно присосли пуповину к родному очагу”; “Из Белова вырос с годами не просто писатель, но хранитель неизбывного русского мира во всех его крестьянских подробностях”; “Многие его работы печальны, но духоподъёмны, излечивают от тоски. Он стал пастырем и путеводителем, звонарём и летописцем, автором крестьянского евангелия “Лад”.

В данном эссе есть одно противоречие, мимо которого пройти не могу. Оно порождено распространённым и опасным мифом. Постсоветская реальность – самая страшная, самая позорная, самая смертоубийственная для человека, народа, страны в истории России – явно повлияла на отношение многих творческих людей к социалистическому прошлому. Отношение это либо в разной степени потеплело, либо стало принципиально – положительно – иным. Вот и Владимир Личутин, в своих произведениях 70–80-х годов показавший фармазонскую, сатанинскую сущность Советской власти, в последнее десятилетие оценивает этот период нашей истории совершенно иначе. А в этом очерке он, думаю, навязывает свой сегодняшний взгляд на СССР и Василию Белову: “При этом без сомнений храня верность Советской власти, при которой возрос до знаменитости, понимая, что добрый дом – Советский Союз, установленный народом на многие века, ломать безумно, а нужно лишь временами, как ведётся в рачительном хозяйстве, просевшее – укреплать, покосившееся – выпрямлять...”

Ещё раз скажу об очевидном: судьбы Ивана Африкановича и Катерины, Федулёнка, Олёши Смолина, Павла Рогова, Данилы Пачина и многих других героев, представляющих крестьянский, народный русский мир, безжалостно перекраиваемый Советской властью, вопиют против мифа о “добром доме – Советском Союзе”. Когда же абзацем ниже Личутин рассказывает о поездке 2008 года из Вологды в Тимонику и говорит об обезлюдевшем, обветшавшем “вологодском угле” на двести вёрст, то приводит высказывание Белова – “геноцид, холокост куда почище еврейского”. При этом Личутин не уточняет, какой исторический период Белов имеет в виду. По контексту можно понять, что – постсоветский. Однако геноцидом у Белова называлась именно коллективизация. Нельзя забывать и “пустопорожный” трудодень, и беспаспортное бесправие, и хрущёвский беспредел, и исчезновение сотен тысяч якобы перспективных русских деревень в брежневские времена, и многое другое...

Конечно, советские 60–80-е годы – это меньшее зло, чем постсоветские десятилетия. Но очевидно и другое: процесс уничтожения крестьянства, русского мира, начатый Лениным и продолженный его преемниками, завершён или почти завершён Ельциным, Путиным и Медведевым. Хватит идеализировать Советский Союз, возлагать надежды на современных коммунистов (среди которых немало достойных людей) с их губительной марксистско-ленинской идеологией. Сколько можно из двух зол выбирать меньшее? Пора, наконец, вернуться к традиционной русской государственности, к традиционным национальным ценностям. И творчество Василия Белова – один из краеугольных камней в фундаменте будущего Русского Дома. Необходимо только прочитать и объективно оценить разножанровое наследие великого писателя.

Многие акценты в постижении этого наследия точно расставлены Михаилом Назаровым (<http://www.rusidea.org/?a=25120410>). Он историк по образованию и не повторяет ахинею о “родоначальнике жанра “деревенской прозы”, а – в отличие от многих литературоведов, критиков и журналистов, относящих Белова к направлению “деревенской прозы”, – именуется сию идейно-эстетическую общность писателей литературным течением. Назаров напоминает, что презрительное название “деревенская проза” было придумано “советскими критиками-интернационалистами”. Направленность течения, которое следовало именовать онтологической прозой, Назаров определяет как “попытку восстановления русских национальных ценностей в условиях антирусского коммунистического режима”.

Автор статьи называет практически все этапные произведения Белова (за исключением цикла “Воспитание по доктору Споку”), лаконично формулируя их идейный смысл. Например, коллективизация в трилогии – это “уничтожение традиционного трудолюбивого русского крестьянского”. Тема коллективизации – центральная тема в творчестве Белова – получила продолжение, в частности, в его выступлении на II съезде народных депутатов СССР в 1989 году. Я вслед за Назаровым приведу лишь фрагмент из этого выступления, который в комментариях не нуждается: “Реабилитируйте раскулаченных крестьян! <...> Дайте справедливый государственный статус униженной и оскорблённой России!”

Сущность многогранной личности Белова передаётся через факты, сообщаемые Назаровым. Это и активное участие в Русской партии, и борьба против поворота северных рек на Юг, и защита уничтожаемых русских деревень, и подпись под “Письмом 500–5000” уже в 2004 году... Назаров акцентирует внимание на особой любви Белова к Ивану Ильину, которая вылилась в подготовку и издание трудов философа, в написание предисловия к ним. Дополнительной иллюстрацией этой любви являются и недавно опубликованная переписка Белова со Станиславом Куняевым (“Наш современник”. 2012, № 10) и факт, сообщённый Владимиром Крупиним: Василий Иванович принёс Горбачёву, тогда главе государства, книги Ивана Ильина и Ивана Солоневича (<http://webkamerton.ru/2012/12/ego-narod-ne-zabudet/>).

Весьма показательны и ответы Белова на анкету “Русская исповедно-завещательная библиография: влиятельные люди о влиятельных книгах”. Среди авторов, рекомендуемых Василием Ивановичем, я особо выделяю Василия Шукшина, Игоря Шафаревича, Станислава Куняева, Георгия Свиридова, Михаила Назарова.

И, конечно, автор статьи не мог не затронуть тему Бога. Тем, кто болеет за судьбу России, следует помнить следующие слова Белова: “Пока наш народ не обретёт Бога в душе своей, до тех пор не вернётся и наш русский лад” (“Наш современник”. 2002, № 10).

Завершу краткий обзор большой цитатой из некролога Союза писателей России, в котором место Белова в нашей жизни и литературе определено точно: “...Солнце нашей русской крестьянской жизни, – фундамента и столпа России, – закатилось! Почил в Бозе Василий Иванович Белов. Это умер не просто писатель, не просто классик, а это наше русское всё. Это смерть человека-великана, без которого, как нам всегда казалось, жизнь русского мира могла прерваться. Василий Иванович своим могучим духом мог побивать и побивал легионы врагов России, русского человека, русской земли! Вся его жизнь – сопротивление враждебному духу! <...> И он, конечно же, не умер для русского мира, – он есть и всегда будет! Его знал, любил и всегда будет любить русский народ” (<http://www.rospisatel.ru/pisатели-belovu.htm>).

Весной 2013 года читающая Россия отмечает столетие со дня рождения выдающегося русского поэта и прозаика Александра Яковлевича Яшина (настоящая фамилия Попов). Родился А. Яшин 14(27).03.1913 в деревне Блудново Никольского уезда Вологодской губернии, в крестьянской семье. Окончил семилетнюю школу и педагогический техникум в г. Никольске. С 1932 года работал сельским учителем, затем — журналистом. Первый сборник стихотворений “Песни Северу” вышел в Архангельске в 1934 году. В 1935-м Яшин переехал в Москву, где учился в Литературном институте, который окончил в 1941 году. Он приобрёл известность после выхода в свет поэтической книги “Северянка” (1938). На фронт Яшин ушёл добровольцем, был фронтовым корреспондентом и политработником, участвовал в боях. Подвигу Сталинграда посвящена его поэма “Город гнева” (1943). Демобилизовался по состоянию здоровья в 1944 году. В 1940–1950-х годах выпустил несколько сборников стихотворений. За поэму “Алёна Фомина” (1949) ему была присуждена Сталинская премия. Во второй половине 50-х годов в творчестве Яшина наступает перелом. Его рассказы и повести “Рычаги” (1956), “Вологодская свадьба” (1962), “Угощая рябиной” (1965) стали важнейшими вехами на путях развития русской прозы: они были отмечены гражданской смелостью и высокими художественными достоинствами. Исповедальностью и искренностью дышат сборники стихотворений “Совесть” (1961), “Босиком по земле” (1965), “День творчества” (1968). Яшин — один из основателей Вологодской писательской организации, старший товарищ и учитель В. Белова, Н. Рубцова, А. Романова, В. Оботурова и других вологодских литераторов. Умер 11.07.1968 года, похоронен в Москве. Именем Яшина названа улица в Вологде и школа-интернат в г. Никольске, ему поставлены памятники и открыты музеи в г. Никольске и дер. Блудново.

В июне мы отметим 75-летие Василия Александровича Оботурова, который родился 02.06.1938 года в селе Говорово Вологодского района Вологодской области. В. Оботуров — критик, лауреат Всероссийской литературной премии “Звезда полей” и.м. Н. Рубцова (1999), автор монографий об А. Яшине, С. Орлове, С. Викулове, Н. Рубцове, В. Железняке-Белецком, книг о русской литературе второй половины XX века. С 1980-го по 1985 год и с 1990-го по 1993 годы В. Оботуров был ответственным секретарем Вологодской писательской организации. Умер 27.04.2008 года в Вологде.

## ВАСИЛИЙ ОБОТУРОВ

# СТАНОВЛЕНИЕ

К 100-летию со дня рождения А. Я. Яшина

Примечательна жизнь в литературе Александра Яшина.

К двадцати годам, едва закончив учительский институт (по нынешним меркам два курса педвуза), ещё не имея опытных литературных наставников, он издал свою первую книжку. Он пишет стихи, поэмы, рассказы. Ставши на путь приобщения к книжной культуре и мастерству, Яшин работает много и упорно, активно учится. Его новые стихи и поэмы становятся заметным явлением в литературе конца 30-х годов.

Войну Яшин прошёл, как и многие литераторы, – корреспондентом и политработником, в то же время не оставляя писания стихов. А после войны – широкое признание, Сталинская премия, книги – одна за другой.

Очень велик был риск стать таким, как многие. Но А. Яшин нашёл в себе силы понять цену внешнего успеха. И сам процесс переработки его представлений есть явление литературы подлинной, высокой, драматичной.

Признанный мастер стиха Николай Асеев ещё в самом начале работы молодого Яшина в поэзии отметил его несомненную творческую одарённость. И всё-таки он мог остаться заурядным литератором, чей удел в потомстве – пылиться на полках книгохранилищ да время от времени упоминаться в работах историков литературы. Будущее художника всегда определяют время и склад его личности. Творческая судьба, которую в острейшей борьбе определяет сам писатель, выбирая пути и нормы жизненного и творческого поведения вполне сознательно, – такая судьба всегда особенно поучительна. Зерно драматизма, неизбежно прорастающее в этом случае, даёт живительные всходы. Такова судьба и Александра Яшина.

“Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться”\*, – писал в одном из писем Лев Толстой накануне своего сорокалетия. И Александру Яшину, который бесконечно любил великого правдоискателя, пришлось пройти через сомнения и заблуждения, через ошибки и прозрения. Острая неуспокоенность, пробудившаяся в нём в ту пору, определила, по сути, весь последний период его жизни и творчества. Если раньше он, как представлялось, не знал неуверенности в себе, то теперь, кажется, сомнения не оставляют его.

*Не слабым слыву,  
А в голос реву:  
Туда ли плыву я?  
Так ли живу?*

К качественному перелому А. Яшин шёл сам, медленно и постепенно нащупывая свою дорогу. “Томлюсь, окружённый пустыми вопросами, конечно, проклятыми, конечно, немодными, давно – бородатými, и всё – переходными”, – снова пишет он в 1966 году в стихотворении, посвящённом К. Г. Паустовскому. Пишет с еле заметной иронией к себе, но, по существу, глубоко серьёзно: в его душе постоянно шла основательная внутренняя работа. Она не мешала ему, однако, быть внимательным к другим людям, и они тянулись к поэту, как на огонёк.

Как создаётся, как воспитывается склад восприятия человека, открытого другим людям? Академик А. А. Ухтомский, физиолог, писал: “...он создаётся большим, чисто физическим насилием над собою, готовностью ломать себя без жалости; затем преданием от других, прежде всего, от простого народа; наконец, детским отношением к миру как к близкому, интимно-любимому, уважаемому собеседнику и другу”; такой тип восприятия “удерживается лишь большим трудом, самодисциплиной, осторожным охранением совести”, но и ценен – “люди льнут” к нему, так как он “оказывается необычайно чутким и отзывчивым к жизни других людей”\*\*.

Как-то удивительно точно эти, в известной мере общие, рассуждения отражают натуру Александра Яшина. Да, стереотип личности общественной, открытой был в нём заложён с детства, закреплён всем укладом жизни “на миру” ещё в родной семье. Но, как часто бывает с деревенскими людьми, остающимися родное без большого ещё жизненного опыта, внешний успех “на городах” они оценивают как духовный рост, а их здоровая основа начинает глохнуть. Годы и жизненные потрясения, которых немало выпало на долю Яшина, помогли ему понять свою ошибку. Тогда-то и произошла переоценка ценностей, и в ломке их складывался тот поэтический характер, который открывает нам лирическая поэзия позднего Яшина.

Думается, по-особому важной для формирования духовного облика Яшина оказалась близость с М. М. Пришвиным (в лице которого, кстати, и А. Ух-

\* Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 54. М., 1935. С. 74.

\*\* Ухтомский А. Л. Письма, “Новый мир”, 1973, № 1. С. 263.

томский находит себе единомышленника. Опыт этих двух, кажется, столь разных людей во многом помогает лучше понять своеобразие личности и творчества А. Яшина). Большой жизнелюбец, обладающий глубоким душевным опытом, Михаил Пришвин вошёл в жизнь Александра Яшина в начале 50-х годов. Цикл коротких рассказов “Вместе с Пришвиным” написан поэтом спустя десятилетие, но он даёт ясное представление об их отношениях, которые поначалу были, пожалуй, только внешними. Серьёзных творческих переключек рассказы не обнаруживают; в них, скорее, отразилась та искренняя житейская симпатия, от зерна которой поднялся прочный росточек в душе А. Яшина.

Характерен образ, завершающий эти рассказы-воспоминания: последняя тропинка в жизни Пришвина – в снегу за балконной решеткой, на уровне шестого этажа, – ширится дорогой “в гущу народную, к тем, кто работает на земле и в лесах, и сказки складывает, и песни поёт, и на ком вся земля держится, – к людям, к людям. Бежит и разветвляется на много разных тропинок, таких же бесконечных и не похожих одна на другую”.

“И кажется мне, – заключает Александр Яшин, – что по одной из этих тропинок, уже не по пришвинской, а по своей, иду я сам. И может статься, ещё не поздно, и я расскажу людям обо всём, что увижу и услышу на своей родной стороне...”

“Для любого поэта дороги места, где он родился и вырос, будь это дальневосточные сопки с их пышной растительностью или блеклые тундровые пейзажи в районе Архангельска и Северодвинска. Всю свою жизнь он будет воспевать их, и, что бы ни говорили, ни писали об этих местах другие, для поэта они всегда останутся самыми лучшими, самыми примечательными местами на свете. И это естественно: здесь ему посчастливилось родиться, здесь складывалась его судьба”.

Так Александр Яшин говорил, выступая в Осетии в 1960 году, и мысли его выношены, проверены собственной практикой, начиная ещё с военной поры. И одиночество душит, и болезни подступают, “когда я к отчему порогу две весны подряд не заглянул”, пишет поэт в стихотворении “Ностальгия” (1948).

*Тянет в край, где я родился,  
К детству,  
В ягодные миштые места,  
Где тайга с деревней по соседству  
И угар от прелого листа.*

И снова на Алтае в 1954 году:

*Тянет в простор полей  
С каждой весной упорней.  
Всё-таки на селе  
Все мои корни...*

Возвращение и стало не только возрождением, но и временем мужественной зрелости, временем больших поэтических открытий, которое осознаётся А. Яшиным как второе рождение. Уже по-новому узнавая привычное (“Дом отцовский – как он был высок, а теперь смотрю: изба-избою!”), поэт задумывается и о себе: “Отчий дом с годами в землю врос, или вырос я за эти годы?” Да, поэт вырос, но это рост нравственный, вызванный не высокомерием, а чуткостью к жизни народной, к народному мироощущению.

К миру, от рождения близкому, родному, поэт подходит уже не с чужими мерками, а с собственными. Уважая самоценный мир своей личности как непрременное условие поэтического, вообще художественного творчества, поэт смог подняться над неизбежной для каждого ограниченностью. В стихотворении “Только на Родине” усилительные местоимения и выражают подобную ограниченность: “Да, только здесь, на севере моем, такие дали и такие зори...”; и уж, конечно, “нет нигде людей такой души, и прямоты, и силы...”. Поэт откровенен – это его умонастроение и душевное чувство, оно ему дорого, он верит в его истинность. Однако остановись он именно тут, мы бы говорили о провинциальной ограниченности, и только. Однако Яшин видит не только себя, но и других людей, а внимание к миру своей души помогает ему понять ближнего верно и создать глубокое по мысли и чувству стихотворение,

найдя точную концовку. В ней единственное – мир одной души – сливается с общим, при этом не растворяясь, а обретая истинное значение:

*Но если б вырос я в другом краю,  
То всё неповторимое,  
Как чудо,  
Переместилось, верно бы, отсюда  
В тот край другой —  
На родину мою.*

Само по себе возвращение к родным истокам, конечно же, не гарантировало Александру Яшину нового качества творческой работы. Но поэт шёл теперь к земле отцов человеком, сызнова многое передумавшим и о своей судьбе, и о жизни своих земляков. Шёл, надеясь здесь обрести себе опору и стремясь быть необходимым, полезным своим землякам. Он знал уже свое предназначенье в этом мире:

*Счастливый дар не на года  
Дастся  
И не в одолжение,  
Не для забав и развлечения,  
А навсегда —  
Со дня рожденья  
Для непрестанного труда.*

И происходит неповторимое, как чудо, приобщение к Отчизне, неповторимое, как чудо, преобразование личности художника, неповторимое, как чудо, явление поэзии истинной и совершенной, которой долго суждено волновать беспокойные души людские. А сам писатель, наверное, всей полноты своего огромного счастья испытать так никогда и не смог. Он собирал его по крохам, мучимый сомнениями, никогда не знавший успокоенности, накапливал и в стихах, и в прозе – для нас...

В последние десятилетия своей жизни Александр Яшин особенно часто жил в родных краях. Там, на берегу Юг-реки, вынашивались и писались многие его вещи.

Он вспоминал:

“Как это случилось – я сейчас и сам уже понять не могу. Вдруг представилось, что построить избу в лесу дело нетрудное. Изба ведь из лесу, деревянная, а лес – вот он, строевой, сосна к сосне... Только бы колхоз согласился помочь. А как он может не согласиться: колхоз-то ведь “мой”. Здесь я родился и вырос, и, кроме пользы, от меня никому ничего не было...

Представилось также, что изба эта на высоком берегу мне совершенно необходима: каждое лето я буду сидеть в ней и писать так, как никогда и нигде мне ещё не писалось. Это будет рабочий домик поэта. Да что поэта – я решил, что именно здесь-то и смогу стать настоящим прозаиком. Давно уже задуман и выношен мною большой роман, – где же его и писать, как не на Бобришном угоре, знакомом и родном мне с детства. Даже названия окрестных деревень здесь милы: Липово, Блудново, Сторожевая, Скочково, Осиново. А пожни какие кругом: Лебяжье, Смиряжиха, Бобриха, Вязовики... Герои мои сами будут приходить ко мне на дом, в гости, – это мои земляки, сверстники, бывшие однокашники: Горчаковы, Коноплёвы, Цыпышевы, Мишеневы, Поповы, Поникаровы, Залесовы...”

От этой земли пришёл Александр Попов-Яшин в литературу, с нею делил свои последние, не всегда отрадные думы...

Теперь писатель открыл себя настоящего и, хотя никогда не порывал с крестьянским корнем, почувствовал его с какой-то особенной значительностью. В рассказе “Угощаю рябиной” по поводу разницы в миропонимании между собой и детьми он пишет:

“Нет, дело не в возрасте. Дело в том, что я был и остаюсь деревенским, а дети мои – городские, и что тот огромный город, к жизни в котором я так и не привык, для них – любимая родина. И ещё дело в том, что я не просто

выходец из деревни, из хвойной глухомани, — а я есть сын крестьянина, они же и понятия не имеют, что значит быть сыном крестьянина. Пооди, втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живётся и пишется. Меня касается всё, что делается на этой земле, на которой я не одну тропинку босыми пятками выбил; на полях, которые ещё плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога”.

В эти годы А. Яшин проникается глубочайшим сознанием ответственности писателя перед своей профессией, перед своим народом. Его представления отразились в дневниковых записях и в стихах. 25 апреля 1958 года он писал:

“Чем больше всевозможных развлечений и забав, тем меньше сосредоточенности в себе и меньше творческой работы. У меня разболтанность появилась с приобретением “Москвича”. Сейчас есть автомобиль, фото- и киноаппараты, телевизор, магнитофон, охота, собака, рыбная ловля и прочие увлечения... И нет писателя”.

Работает А. Яшин в своё последнее десятилетие много, напряжённо, но со срывами: недели и месяцы плодотворного труда сменяются длительными перерывами, изнурительными сомнениями. Да и просто-напросто создать обстановку, необходимую для творчества, задача не из легких. А кто не мечтает о часах тишины и досуга, “во время которых вокруг тебя устанавливается понемногу ничем не нарушаемая, своя собственная атмосфера, и в той атмосфере все жизненные явления начинают размещаться так, как они должны быть и суть для тебя...”<sup>\*</sup> В домике на Бобришном угоре надеялся Яшин обрести душевное равновесие, без которого нет плодотворной работы.

21 ноября 1959 года он записывает в дневнике:

“С возрастом к нам приходит потребность большей душевной сосредоточенности, когда для каждого нового стихотворения бывает необходим материал уже многих лет жизни, а не одного-двух дней. Для поэта наступает как бы заново своеобразный переходный возраст со всеми так называемыми *проклятыми вопросами*.”

Писать в это время труднее, но радостней. Острее и глубже становятся чувства, любовь к родной земле и родному языку, острее ощущение причастности к жизни и делам своего народа и ответственности за всё. Хочется быть предельно правдивым, я бы сказал, совестливее и искреннее перед самим собой и перед людьми, как на исповеди”.

Как видим, поиски и сомнения Александра Яшина не оказались напрасными. Они определили его путь, образ жизни, нормы жизненного и творческого поведения.

Позже, 21 июня 1961 года, он писал в дневнике: “Раз поэзия — форма жизнедеятельности, то поэт, прежде всего, должен быть в своем творчестве самим собой, и это определит его форму, его творческое лицо”. К этому времени А. Яшин окончательно сложился как своеобразная личность, как самобытный художник слова, не утративший, однако, способности к развитию. Поэзия для него — не сочинение стихов, напротив, сочинительство вызывает его иронию:

*В дни юности ранней  
Отдался я слепо  
Профессии странной  
И даже нелепой.  
Смешное влеченье!  
И что за мученья —  
Писать сочиненья  
До оупленья?*

Не искусство ради искусства занимает Яшина: “Что — счастье? Что — тленье? В чём жизни значенье?” — вот какие вечные проблемы становятся предметом его раздумий и темой его стихов. Вечные вопросы, которые решаются каждым поколением сызнова и всегда остаются нерешенными, требующими ответов. И можно понять трудное признание поэта:

<sup>\*</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20-ти тт., т. 17. М., Худ. лит. 1965. С. 348.





НИНА ЯГОДИНЦЕВА

## СЫНОВНЕЕ ПРИНОШЕНИЕ

**“Материнская молитва со дна моря подымает”**  
*Народное присловье, которое я услышала от своей мамы*

Все настоящие стихи – о любви, истину эту трудно оспорить. Изданный Общественным благотворительным фондом “Возрождение Тобольска” двухтомник антологии сибирской поэзии “Слово о Матери” – стихи о любви безусловной, безграничной, всетерпеливой, прощающей, жизнетворящей.

Материнство – одна из святых тем поэзии. Смыслов здесь так много, что слова звучат и замирают, и дальше говорит только любовь. Юрий Ильясов, магнитогорский поэт, ушедший из жизни год назад, написал:

*...И только у могильного креста  
Мы вдруг поймём в сиротстве чёрной ночи,  
Что все слова о маме — немота,  
Невыразимость, боль и многоточье...  
<...>  
И в ней — испепеление грехов,  
А истина в немыслимом ответе, —  
Что не было без матери стихов,  
И нет стихов о матери на свете.*

О маме трудно писать и невозможно не писать, потому что вертикаль смысла этого простого слова начинается близко, ближе некуда – в сердце, восходит к образу Родины земной и небесной и в немыслимой высоте видится ликом Божией Матери, чья жертвенность стала средоточием, символом любви и боли всех матерей мира, тех, кому

*...полночный лепет малыша  
Слышней, чем гром морской или небесный...  
Эльдар Ахадов (Красноярск)*

Эти слова могут быть равно обращены и к родной матери, и к Родине, и к Той, под чьим светлым Покровом пребывает и пребудет Россия... В них звучит и сыновняя благодарность, и вера в земную счастливую судьбу, и провиденье вечной высшей заботы... С укреплением в душе любви и веры сквозь черты родного лица проступают святые лики, а в ликах Родины и Богородицы – материнские черты. И даже если происходит самое страшное – ребёнок теряет свою земную мать, становится сиротой, его не должна покинуть – и никогда не покидала – мать-Родина:

*Ещё в сиротства дни босые,  
Уж как бы там ни бедовал,  
Я всё ж не мачехой Россию —  
Родною матерью назвал.*

*И так потом на всех дорогах,  
Меня манивших новизной,  
Она и ласковой, и строгой,  
И доброю была со мной...*

*Геннадий Лысенко (Владивосток)*

Автор проекта и редактор-составитель антологии Юрий Перминов замыслил эту книгу как приношение Матери. Он объединил стихи поэтов Сибири, в изначальных своих границах охватывавшей и Урал, и Зауралье, и Хабаровск и Владивосток, — и тех поэтов, чья судьба была так или иначе с Сибирью связана. В этом тоже есть глубокий смысл, ведь только к концу двадцатого века подзабылось выражение “матушка-Сибирь”, поскольку ни по звуку, ни по духу оно не совместимо с хищным новоязом. Впрочем, и Родину матерью мы сейчас называем всё реже: настигает волна мутного беспамятства, ужас забвения. Многим авторам антологии Россия видится бесприютной и гонимой — из-за сердец остывающих, прежде всего:

*Пустырями, туманом облитыми,  
Мимо ржавых плугов на стерне  
Ходит с тихой и кроткой молитвою,  
Как в чужой, незнакомой стране...*

<...>

*На порог не пустили, облаяли,  
Хохоча, освистали вослед...*

*Валентина Телегина (Пермь)*

И это материнское смирение, кротость её ставят ей в вину, презирают и даже высмеивают! Уже прочно вошли в обиход ТВ и СМИ чудовищные по смыслу понятия “социальное сиротство” и “суррогатное материнство”, уже слова “мать” и “отец” объявлены нетолерантными, поскольку оскорбляют чувства “нетрадиционных” супружеских пар, а рождение детей накрепко связано не с жертвенной любовью и долгом продолжения рода, продолжения жизни на Земле, а с определённым материальным достатком...

Как остановить это разрушение, воссоздать единство земного и небесного материнского образа?

*Мне хочется писать стихи, в которых  
Звучали б строки, как сердцебиение,  
И рифмовались Родина и мама,  
Большая Родина и маленькая мама,  
А больше и не надо ничего.*

*Николай Пересторонин (Киров)*

В начале девяностых, когда в моём родном Челябинске, как и во всей стране, встали заводы и по полгода не выплачивали зарплату, на вопрос женщин: “Чем кормить детей?” — тогдашний руководитель спокойно ответил: “Не надо было рожать, раз прокормить не можете”. А ведь этой фразой подписывается небытие, потому что в бытии звучит другое, светлое и утешное: “Дал Бог дитяту — даст и хлебушка”. Именно в эти годы Станислав Куняев (теперь — Москва, но прежде неё — сибирский Тайшет) написал:

*Женщина жертвует лепту  
храму во имя Твоё.  
Русскую женщину эту  
обворовало ворьё.*

*Матерь — заступница наша,  
Русь — Твой последний удел,  
глянь — унижения чаши  
переполняет предел...*

Видимо, всё-таки правы психологи, утверждая, что из отношения к матери вырастает потом отношение к Родине, и те, кто сегодня распродаёт, унижает и уничтожает Россию, равнодушно покидает её, предадут, прежде всего, своих матерей — их бессонные ночи, их ежедневный жертвенный труд служения жизни. Пели ли им колыбельные? Читали ли сказки? Водили ли за слабую ещё маленькую ручку по опавшей листве, первому снегу, мягкой зелёной муравке? Почему не хватило им витаминов материнской любви?

Едва ли возможно ответить на эти вопросы. Но ведь таких людей всё равно мало, и их намного меньше, чем кажется. Эффект массированно вбрасываемой “информации” умножает зло и делает его гигантским, заслоняющим собой свет. И жизненно важно каждому становится говорить, повторять, утверждать другое, цельное виденье мира, исполненного жертвенной любви, где

*Как грудь кормящей матери, кругла  
Наполненная светом пиала.  
В неё впадает млечная река,  
Несущая по небу облака.  
И, как младенец к матери своей,  
Рассвет губами припадает к ней.  
...Из этой пиалы я тоже пью  
И вместе с ней вкус жизни познаю.*

*<...>*

*...Так с молоком моей земли родной  
Я впитываю этот мир земной!*

*Лидия Иргит (Тува)*

*(Перевод с тувинского Е. Семичева)*

Поэтический посыл омича Юрия Перминова стал основой, камертоном двухтомного собрания, и в его стихах, посвящённых матери, вся духовная вертикаль понимания света материнства явлена отчётливо и сильно:

*И это утро — Божья милость,  
и каждый день, и каждый час...*

*Россия — нынче мне помстилось —  
устала, матушка... От нас? —  
шумящих, страждущих, живущих  
укромно — друг от друга врозь —  
в кирпичных и бетонных куцах,  
и слепо верящих в “авось”...*

*Вот так же —*

*сам, небось, не мало*

*шумел, как ветер-суховей! —*

*“Я не устала...” — скажет мама,*

*и ты, оглохший, веришь ей...*

В антологии-приношении больше тысячи страниц, более пятисот авторов. Каждая книга по высшему счёту — поступок, ответ, чёткий пограничный знак. Идею поэта Юрия Перминова подхватили в Кемерово, Тюмени, Тобольске, Надыме, Благовещенске, Екатеринбурге, Томске, Хабаровске, Красноярске, Кызыле, Кирове, Омске, Ханты-Мансийске, Иркутске, Перми, Бийске, Кургане, Якутске, Челябинске... Она объединила авторов, пишущих на русском, алтайском, юкагирском, долганском, эвенкийском, бурятском, якутском, хакасском, нанайском, ненецком и немецком, идиш и других языках. Всех этих поэтов воспитала мать-Сибирь, земля сколь благодатная и щедрая, столь суровая и требовательная к людям, живущим на ней.

Антология объединила и лучших профессиональных художников Сибири, и фотографов, и детей, чьи безыскусные рисунки – первое проявление благодарности, ещё вне понимания, но в полную меру безотчётной, чистой детской любви.

Женские образы на страницах книги – очень разные, они словно выхватывают прекрасные женские лица из пёстрой повседневности, и в каждом лице – свет, в каждом – внутренняя сила и тайна. Ведь ежедневно каждая мама для своего ребёнка преобразует жизнь в счастье:

*Блещет бездна голубая,  
вьются ласточки — и вдруг  
туча, туча грозовая  
надвигается на луг.*

*Маму вскачь перегоняя,  
на бегу взглянув назад:  
“Туча, туча грозовая!” —  
мальчик с девочкой кричат.*

*Мать прижала их, лаская,  
а уста её поют:  
“Что вам туча грозовая,  
если мамка с вами тут?”*

*И, о страхе забывая,  
восклицают все втроем:  
“Туча, туча грозовая!” —  
и хохочут под дождём.*

*Владимир Трофименко (Сибирь–Москва)*

Читая антологию, я не искала поэтических изысков – слова благодарности по сути своей должны быть просты и безыскусны, но нужно, чтобы они звучали чаще, повторялись и вплетались в ткань повседневной жизни.

Антология собирает по крупицам образ русской матери, на руках пронесшей через страшный двадцатый век своих детей, отдававшей им последний скудный кусок хлеба, но сполна напитавшей детские души любовью и верой в жизнь. И в облике, встающем со страниц, я видела родные черты своей мамы Антонины Александровны, у которой война отняла отца, не дала возможности выучиться... Жизнь её и сегодня, в старости, полна неустанного труда, и меня всегда восхищают, переполняют благодарностью и радостью жизни мамина крестьянская мудрость, мамина доброта, бесконечная светлая забота её и спасительная молитва.

Лишь в одном стихотворении антологии я не узнала дорогих мне черт. Сюжет его довольно прост, хотя и с неожиданным “поворотом”. Художник решил нарисовать Мадонну, но рука его дрогнула и написала портрет старой женщины. Он

*...услыхал: почти без звука,  
почти бесслёзно  
с холста заплакала старуха  
в ночи морозной,*

*где нет волхвов, а тот младенец,  
прожив три лета,  
на стопку белых полотенец  
глядит с портрета...*

*Слепая зорко смотрит в душу:  
“Я знаю, знаю”.  
И рот по-старчески иссушен —  
кора земная —*

*и шепчет имена, безбожно  
попутав святцы.  
Всё пережито. Больше можно  
не волноваться.*

<...>

*И подошли к картине трое,  
и рядом встали.  
“Вот матушка, — один промолвил, —  
моя святая”.*

*“Судьба моя, — другой заметил, —  
Ты некрасива”,  
И горестно подумал третий:  
“Моя Россия”.*

Это стихотворение выбивается из общего ряда: сюжет его отстранён от личного переживания, оно — не о маме самого автора, и потому духовная вертикаль “мама — Родина — Мадонна” (а в русской традиции — Богородица, Матерь Божия) не вырастает из сердца, а выстраивается умозрительно. Один из героев видит в старой, доживающей свои земные дни женщине Россию. По логике сюжета эти слова заключают стихотворение и фокусируют его центральную мысль, с которой согласиться даже не страшно, просто — кощунственно. Стихотворение без веры, а значит, без выхода, без спасения.

Но в книге очень много стихов, в полной мере дающих ответ этой умозрительности. Вот Алексей Решетов (Березники):

*На берегу дороги дальней,  
Седой бродяга, блудный сын,  
За голос матушки печальной  
Я принимаю шум осин.  
Я в чёрный день не без призора:  
И в чистом поле небеса,  
И во сыром бору озёра —  
Её усталые глаза.  
Я глажу реденькие злаки,  
Внимаю шороху ветвей,  
И хорошо мне, бедолаге,  
С бессмертной матушкой моей.*

Здесь образ мамы и образ Родины слиты неразделимо, и старость — не путь к смерти матери, а путь к бессмертию Родины. В утверждении себя частицей Родины обретает силу жить мать, потерявшая сына на войне, — в стихотворении Людмилы Татьяничевой (Челябинск):

*Пуля,  
Жизнь скосившая сыновью,  
Жгучей болью захлестнула мать.  
Некого с надеждой и любовью  
Ей теперь под кров свой ожидать!*

<...>

*...Снег дымится.  
Он пропитан кровью.  
Меж убитых тихо мать идёт  
И с суровой терпеливой скорбью  
В изголовье Вечность им кладёт.  
А в душе не иссякает сила.  
И лежит грядущее пред ней,  
Потому что ведь она —  
Россия,  
Мать ста миллионов сыновей!*

Так связаны и спасаемы жизнь частная, отдельная – и вечная жизнь народа, Родины. В антологии много стихов о войне, о тяжести, которая легла на женские – материнские – плечи. О страшных утратах и о бережении детей – прежде всего. Но нигде нет безнадежности и уныния, только свет, благодарность и мужество взрослых детей. Вот слова одного из молодых авторов антологии Григория Глушнёва (Омск):

*То тепло невозможно растратить,  
Что подарено мамой твоей...*

Много светлых картин детства, таких вот, как эти:

*Сестра в бадейке  
Моей чашки-ложки.  
Сноха в углу  
На прялке лён прядёт.  
А мать печёт  
Лепёшки из картошки  
И мне на печь украдкой подаёт...*  
Денис Цветков (Иркутск)

*У мамы вода дождевая в кадучке,  
Как чистое зеркало для облаков.  
Умывшись, усну на цветастой подушке  
Под близким сияньем родных потолков.*  
Валентина Останина (Омская обл.)

Антологию пронизывают, объединяя, сквозные темы и сквозные образы: военное детство и детство счастливое, желание вернуться на материнский порог, в детство и счастье, мама – вечно молодая и накрепко затверженные слова материнского завещания: как жить на этой земле без неё, что хранить, защищать и завещать внукам и правнукам... И материнский образ Родины – пекущейся о детях своих, страдающей, но ежедневно терпеливо трудящейся и побеждающей, и молитвенный образ Божией Матери...

*Где умом не берёшь — бери разумом,  
Бери разумом — верой русскою,  
Верой русской родной, православною,  
Православною верой, отеческой.  
И молись, и проси Богородицу —  
Богородицу — нашу Заступницу!*  
Игорь Кушелев (Иркутск)

Антология утверждает неразрывные узы, связующие основы человеческой жизни: служение и долг, любовь и благодарность, веру и верность. На страницах соседствуют живущие ныне и уже ушедшие поэты, классики и те, чьи имена читатель, возможно, узнает впервые. Но и признанные метафористы, и авторы негромких, безыскусных дневниковых стихов говорят о мамах и обращаются к мамам просто, умеряя дерзкие взлёты резвого пера.

Изо всех справочных материалов для составителя оказались важны только город, год рождения и кровная связь поэта с матерью-Сибирью. “Здесь нет титулов и званий, мы все – дети своих матерей, дети Родины”, – пишет он. Согласна: перед мамой у нас один титул – дитя, для неё – наивысший. И ведь перед Родиной – тоже...

*Мне говорят, что на краю Россия.  
А на краю России для меня  
Со стен часовни в слабом свете дня  
Глядят Матрёны,  
Ксени,  
Марии,*

